

НОВОБЫИ  
МИР

6

НОВОБЫИ МИР

1964

6

1964

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 6

Июнь, 1964 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Из новой книги стихов «Раненый камень». Перевел с балкарского Н. Коржавин	3
ЕФИМ ДОРОШ — Дождь пополам с солнцем. Деревенский дневник. 1959	11
М. СВЕТЛОВ — Два стихотворения	84
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Запасаемся светом. Пора и мне. Стихи	86
АЛИТЕТ НЕМТУШКИН — Моя тропа. Перевела с эвенкийского М. Борисова	88
М. ПАРХОМОВ — Девять баллов, рассказ	89
Е. ГЕРАСИМОВ — Куда речка течет (Из подмосковных впечатлений)	125
Е. РЖЕВСКАЯ — Второй эшелон, рассказ	160
АННА АХМАТОВА — Из трагедии «Пролог, или Сон во сне» (С послесловием А. Синявского — Раскованный голос)	172

### ПУБЛИЦИСТИКА

С. ИВАНОВ — Третье слагаемое	177
И. КИЧАНОВА — В погоне за XX веком (Современные проблемы католической церкви)	193

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ — Деревенские очерки Валентина Овечкина (К 60-летию со дня рождения писателя)	207
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство* 230

А. Македонов. Поэзии пристальный опыт.— И. Борисова. День за днем.— А. Лебедев. На грани или за гранью? — С. Розанова. Художественный мир Толстого.— М. Ландор. Книга идей и характеров.

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	245
<b>А. Крюков.</b> Воспитание нового человека.— <b>И. Ермашев.</b> На передовом дипломатическом посту.— <b>М. Галлай.</b> Нет, не исчерпана военная тема...— <b>Мих. Цунц.</b> Поэзия научной мысли.	

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ АРХИВОВ МЮНХЕНСКОГО ГЕСТАПО. Публикация кандидата исторических наук Е. Бродского	258
КОРОТКО О КНИГАХ	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ  
«РАНЕННЫЙ КАМЕНЬ»

*С балкарского*

*Ночь свадьбы*

Висит над аулом луна. Свет лежит на скале,  
Снега на хребтах, лес зеленый, поляны, стремнины.  
И темные реки текут по скалистой земле  
К хлебам, что созрели на нивах Чегемской долины.

Луна над аулом. Ночь свадьбы. Уже привезли  
Невесту. С подругами рядом сидит она скромно.  
Танцуем, поем, веселимся, как будто мы шли  
По жизни легко и наш день не бывал еще темным.

А юноши в круг выбегают и пляшут, легки,  
Как будто вовек никакой не узнают печали.  
Потом поднимаются медленно с мест старики,  
Танцуют — да так, словно горя они и не знали.

Ночь свадьбы идет. Тост за тостом, как света поток,  
Вершин белизна в них и рек неумная сила,  
Блистанье зарниц. Пробки с треском летят в потолок,  
И в стены, и в двери летят, чтоб веселье бурлило.

В открытые окна деревья глядят, как из мглы,  
И видят невесты и девушек тонкие лица.  
Ночь свадьбы идет. Над аулом вершины белы,  
На них эта полночь июльская грудью ложится.

А девушки пляшут так плавно, как будто несут,  
Боясь, что расплещутся, ведра воды родниковой.  
Пусть строчки мои эту плавность их не растрясут,  
Пускай сохранит ее прелесть звенящее слово.

Ночь свадьбы идет. В тостах — яркие звезд огоньки  
И шелест чинар, что растут за аулом, на воле,  
В тех тостах сияют под ясной луной ледники  
И дождь шелестит, поливая подсолнуха поле.

Ночь свадьбы идет. Слышен крик: — Бубен, бубен! Сильней!  
Эй, парень, что ноги жалеешь — гремит плясовая!  
Как будто не знали мы боли и горестных дней —  
Мы пляшем, поем. Лунным светом двory заливаает.

Мы свадьбу справляем, пируем, беду победив,  
Луна нам завидует, хоть и глядит величаво.  
У горного лета сейчас как бы счастья прилив:  
Леса зеленеют и пахнут высокие травы.

Рассвет наступает. Луны за окном уже нет.  
Белеют хребты, где-то солнце встает за горою.  
Поднявшись, сказал тамада, освещенный зарею:  
— Восславим же радость и выпьем за новый рассвет!

### *Играют Шопена*

Бьют капли по стеклам. Деревья блестят за окном.  
Темнеть начинает. Молчит обезлюдевший дом.  
Изранены сумерки, вечер смешался с дождем:  
Играют Шопена.

Луна над землею, и девушка смотрит, бледна.  
И руку на сердце свое положила она.  
След крови на свежем снегу. И вокруг — тишина:  
Играют Шопена.

Готовые пасть за свободу в чистойшей из битв,  
Бойцы атакуют. Кровь льется. Сражение кипит.  
Но сил не хватает. Неправый опять победит:  
Играют Шопена.

В пути журавли заблудились, журлычут, кричат.  
Но, как ни кричи, нет пути ни вперед, ни назад.  
И ранен повстанец. Он прячет измученный взгляд:  
Играют Шопена.

От стаи журавль отстает. Слышен клекот орла.  
Журавль разбивается — брызнула кровью скала,  
Вернулась зима и могилы опять замела:  
Играют Шопена.

Хоронят бойцов—тех, кто пал за свой гордый народ.  
И ветер о скорби притихшим деревьям поет,  
Над бездной времен—безучастных снежинок полет:  
Играют Шопена.

Мужчина сидит. Зубы сжаты — ничем не разжать,  
Прикрыты глаза. Бесполезно его утешать.  
Но волосы гладит ему его старая мать:  
Играют Шопена.

Трава прорастает. И вновь оживает любовь.  
И женские руки на плечи любимого вновь

Ложатся. Но — нет! — не забыты ни горечь,  
ни кровь:  
Играют Шопена.

Растаяли льды и снега моей горной страны,  
И речка звенит, и деревья опять зелены.  
Рассвет. Перевалы уже отовсюду видны:  
Играют Шопена...

## *Время*

(Отрывок)

...Все пули, что в твои попали крылья,  
У нас в сердцах застряли — в глубине.  
Снега равнин мы кровью обагрили,  
Горели мы не раз в твоём огне.

Порой ты спотыкалось, и с тобою  
Мы спотыкались тоже в трудный час.  
Ты горький яд давало нам порою.  
Но все же знамя красное для нас

Осталось тем же. Мы не забывали,  
Что цвет его — цвет зорь грядущих дней,  
И, падая, его не отдавали  
Своим врагам — врагам судьбы твоей.

Зря без отцов детей ты оставляло,  
Но дети подросли и вышли в бой  
И погибали, снег глотая талый,  
Презрев обиду и гордясь тобой.

Твоей неправоты мы знали силу,  
Но в горький час — сыны своей земли —  
Мы были с нею — зданья возводили,  
Растили виноград и скот пасли.

Плоды и мед ты, время, мне давало,  
Но часто пил я горечи вино.  
Твоя мне копоть очи забивала —  
Твои рассветы видел все равно...

## *Тихие стихи*

Желтеет за окном. Скользят лучи косые.  
Хочу тебе сказать я тихие стихи.  
Мать воду родника нам в ведрах приносила.  
Мои стихи теперь, как та вода, тихи.

Пусть так теперь звучат стихов моих признанья,  
Как эта тишина — она сейчас во всем, —  
Так старенькая мать сидела на диване,  
Так сумерки теперь вошли в наш мирный дом.

Мои стихи к тебе тихи, как снег на склоне,  
 Как снег. Но только в них не холод, не мороз,  
 Они теплы, как ты — твой взгляд, твои ладони,  
 Тихи, как тот цветок, что в нашем доме рос.

Такие говорить стихи тебе я стану,  
 В них — ты, твои шаги, твой взгляд и голос твой.  
 Пусть льются в тишине, как струйки из-под крана,  
 Как ласточка в дому, кружатся над тобой.

\* \* \*

Пред женщиной — ее руками и глазами,  
 Пред красотой ее  
 немого я немей.

Все делает она умелыми руками —  
 Стирает, варит, шьет, купает малышей.

О, рук твоих тепло, рук, мне создавших счастье,  
 Умелых, добрых рук — мне их дороже нет.  
 Они смуглы. А я их в тесте видел часто,  
 Цвет теста оттенял их смуглый нежный цвет.

Все радости земли, все горести и раны  
 Проходят сквозь тебя, все в сердце носишь ты,  
 Прости мне дни, когда блуждал я, как в гумане,  
 И низвергал тебя, как в пропасть, с высоты.

Распахнуто окно. Деревья пожелтели.  
 Твоя рука в моей. Сидим. Молчим вдвоем.  
 Мне кажется, года вот так же пролетели,  
 Как журавли летят сегодня за окном...

## *Снегопад в горах*

В горах снегопад. Побелели холмы и дорога,  
 И скалы высокие — словно твоя красота.  
 Снег падает медленно, тихо, задумчиво, строго,  
 Как мысли мои о тебе в этот час.

И всегда.

Как будто плывут над ущельями белые птицы,  
 Идет этот снег не спеша, без труда, без помех.  
 Желая сегодня охотнику не оступиться:  
 Охотничьи тропы невидными делает снег.

Нет ветра, мороза. Ушли облаками туманы.  
 Громады гранитные, белая ель на скале.  
 Снег падает плавно, бесшумно, с утра непрестанно,  
 Как мысли мои о друзьях, о судьбе, о земле.

Снег падает так, как свой сказ развивает  
 сказитель —  
 Уверенно, вдумчиво, медленно, без суеты.  
 И кажется: все испытанья, надежды, события,  
 Вдруг став журавлями, сейчас облетают хребты.

Снег, снег над дорогой, стоит — как завеса  
 сплошная,  
 Вблизи и вдали — только снег, все хребты в белой  
 мгле.

Снег падает плавно, идет никому не мешая,  
 Как мысли мои о тебе, о любви, о земле.

Снег медленно падает, тихое белое чудо,  
 Чиңары высокие молча на склонах стоят.  
 И кажется: снова я где-то далеко отсюда,  
 И мне только снится спокойный родной снегопад.

### *Памяти матери*

Когда мне, как другим, грозила смерть в бою,  
 Вдруг мать я вспоминал, и было легче все же,  
 Я знал: она потом оплатит смерть мою  
 И позабыть меня уже вовек не сможет.

И становился я от этого храбрей,  
 Шел в бой и презирал смертельную угрозу.  
 Нам оилу придают и слезы матерей —  
 Не только их слова, но даже слезы. Слезы.

\* \* \*

А матери всех тех, кто раньше их терял,  
 Не хуже, чем моя, хоть их спокойны лица.  
 Снег горести на них, тот снег, что нынче стал  
 На голову мою уверенно ложиться.

О руки матерей! С сегодняшнего дня  
 Я понял до конца: я знаю вашу силу.  
 О все, кто матерей лишился до меня!  
 Я стал таким, как вы, и буду до могилы.

О все, кто матерей лишился! Я сейчас  
 Вашу вашу боль постиг. Отныне вашим стану.  
 Да, матери за жизнь нас ранят только раз,  
 Теперь и у меня в душе такая рана.

### *Ночь и рассвет*

1

Днем вижу я липы и слышу веселый  
 Плеск речки. И вновь мои мысли ясны.  
 Днем вижу я зданья, где жить новоселам,  
 А ночью мне снятся кровавые сны.



А ночью — война, мое мертвое тело,  
И мать в черной шали рыдает по мне  
В ауле. Я ж, холм обхватив обгорелый,  
Лежу. Не вернусь я — погиб на войне.

Днем радуюсь белым Эльбруса вершинам  
И девушкам — так их улыбки нежны,  
И книгам, и школьным товарищам сына,  
А ночью я вижу кровавые сны.

А ночью опять генеральские лица  
И стрелы на картах. Проснусь... И опять  
Мне снятся бездомные люди, мне снится,  
Что некому мертвых земле предавать...

## 2

Рассвет. Выбегаю, себя забывая:  
Все живо — деревья, дома и цветы!  
На небо смотрю — облака проплывают,  
Жизнь, ты не сгорела, в цветении ты!

Рассвет. Все светлей небеса над домами,  
Все — школы, кино — как всегда, как вчера.  
А ночью тревожно: враг снится и пламя,  
В котором сгорает большая гора.

Поэт, ты тревожней душой, чем другие,  
О Пушкин! Твой стих так просторен, богат.  
Мне нравятся неба тона голубые.  
Неужто их в черную пыль превратят?

Рассвет. О земля! Если ласточка-птица  
Сломает крыло, боль и то так остра!  
Рассвет. Он повсюду, он в окна стучится.  
Вновь, радуя сердце, белеет гора!..

### *Зимой в Терсколе*

Зима в Терсколе. Тут, беседуя с горами,  
Живу. А по ночам мне снова снишься ты.  
Я слышу, как ветра всю ночь гудят упрямо,  
Но сосны утром вновь прямые, белые, чисты.

Зима в Терсколе. Я веду со снегопадом  
Беседу. Сквозь него ты вновь идешь ко мне.  
Твой воротник в снегу, и все тебе тут радо,  
Все — сосны, горы, снег, идущий в тишине.

Все это снится мне. Ты знаешь ли об этом?  
Все это снится мне сияньем давних лет.  
Здесь все бело, весь мир захвачен белым цветом,  
Здесь только дым из труб окрашен в черный цвет.

Зима в Терсколе. Я живу, благословляя  
Все, что дает нам жизнь — любовь, надежду, смех,

Пишу стихи о том и счастье обретаю.  
Садится не спеша на ветки сосен снег!

Зима в Терсколе. Я пишу. Ложатся строки  
Спокойно и легко в открытую тетрадь.  
В них — эти сосны, снег, в них — блеск вершин  
высоких,  
В них — ты. Мне хорошо тебя здесь вспоминать.

Зима в Терсколе. Я, беседуя с горами,  
Живу. Вокруг меня — лишь белые хребты.  
Рождается мой стих. И, чуть родившись, прямо  
Через реку Баксан спешит домой, где ты...

\*.\*

О люди! Все, кому не отказал в тепле,  
Кому полезен был — пусть даже и не прямо,  
Кому не больше пусть, чем капля на стекле,  
Но радость я принес,— благодарите маму.

Все те, с кем в жизни я сердечным, добрым был,  
За все мое добро — благодарите маму,  
Все те, кому в пути хоть раз я пособил,—  
За все мое добро благодарите маму.

Все, кто листал не зря страницы книг моих,—  
За все мое добро благодарите маму,  
Все те, кого хоть раз сумел согреть мой стих,—  
За все мое добро благодарите маму.

\*.\*

Белозубым мальчишкой с порога победно глядят,  
Улыбаясь мне, радости все, пережитые мною.  
А со мной скорбной женщиной в траурной шали  
сидят  
Пережитые горести и не дают мне покоя.

На сухом и нетесаном камне уселись они,  
Как в ауле любила сидеть с матерями другими  
Моя мать... И сидят, и молчат, и проходят так дни.  
Я давно пережил их, но все не расстанусь я  
с ними...

\*.\*

Ты не ел того хлеба невзгод и нужды,  
Что давала судьба мне так щедро, так часто.  
Потому и заносчивым сделался ты,  
Что ни разу в твой дом не входило несчастье.

Черный хлеб и беда учат многому нас,  
С ними часто становятся люди мудрее.  
Эту книгу читал я с грузом. Но сейчас  
Я об этом, по правде сказать, не жалею.

## *Раненый камень*

Я, над раненым камнем склонясь, горевал.  
От огня почернел он, от горькой беды,  
Он мне мертвым казался, и я тосковал,  
Потому что хотел на нем видеть цветы.

Я над срубленным деревом в горе сидел,  
Потому что хотел его видеть в листе.  
Чтоб в тени его дети играли — хотел,  
Чтоб лежала весь день его тень на траве.

Жизнь любить — не до слез, не до боли — нельзя.  
Оттого-то и грустным порою я был:  
Всех пропавших и павших оплакивал я,  
Потому что живыми их очень любил.

*Перевел Н. Коржавин.*



---

---

ЕФИМ ДОРОШ

★

## ДОЖДЬ ПОПОЛАМ С СОЛНЦЕМ

*Деревенский дневник. 1959*

**Ж**аркий день в конце июня. Послеобеденная тишина. Собирался как будто дождь, но тучи прошли стороной, и опять нестерпимо сияет небо над нашей зеленой улицей — над пыльными крышами, над сыроватым еще сеном, разостланным для просушки перед каждым домом.

Тополиный пух летит в воздухе. Не видать ни души.

Можно бы пойти в «город», как здесь говорят, не подозревая, что точно так же говорили и триста лет назад, когда улица была пригородной монастырской слободой. Но в городе, по крайней мере там, где я бываю, разговоры по преимуществу будут о том, что теперь самое время косить, а вон такой-то председатель колхоза и такой-то — не косят. Разговоры эти, сказать по совести, мне надоели, как, впрочем, и сводки, и критические корреспонденции на эту тему, публикуемые в газете.

Запах цветущих трав стоит сейчас в лугах. Председатели — тот же Иван Федосеевич из Любогостиц — хорошо знают, что и райком и газета требуют начинать сенокос, что и по науке — лучшее, богатое витаминами сено бывает в пору цветения. И все же они ожидают Петрова дня.

Увы, я не могу уже с молодой запальчивостью обвинить председателей в косности. Мне представляется не лишенным резона сердитое замечание Ивана Федосеевича: «С этими вашими витаминами мы без лугов остались». Не то чтобы Иван Федосеевич был против витаминов. Он утверждает лишь, что если косить с Петрова, то травы успевают отцвести, семечко падает на землю и на будущий год бывает хороший травостой. Конечно, после Петрова дня сено несколько хуже, но зато его больше, а Ивана Федосеевича, при недостатке у нас кормов, интересует не столько питательность их, сколько объем. И в этом его соображении, по-моему, тоже есть известный резон. Короче говоря, любогостицкого председателя заботит не место в сводке и не похвала журналиста, но урожай сена и восстановление луга, и одного этого, я полагаю, достаточно, чтобы отнестись к нему с доверием и уважением.

Здесь мои размышления прерывает негромкий окрик.

На улице, под высоким нашим окном, в соломенной шляпе и в тщательно выглаженной песочного цвета рубашке стоит Николай Семенович Зябликов. Агроном по образованию, великий знаток растений и почв, до последнего времени преподававший в здешнем сельскохозяйственном техникуме, Николай Семенович недавно вышел на пенсию. Теперь он свободен отдалась давней, главенствующей страсти — краеведению, которое вбирает в себя и растения с почвами, и местные обычаи, историю, геологию...

Я как-то сказал Николаю Семеновичу, что вообще-то неплохо знаю травы и злаки, однако с недавнего времени, бывая в лугах или в лесу, стал различать растения, которых раньше будто и не замечал. Они так и лезут в глаза, каждое в отдельности, но я не знаю их названий. Стало быть, с возрастом я приобрел в приметливости, а вот знаний мне здесь недостает. Николай Семенович вызвался учить меня ботанике.

Мы отправляемся к Московскому шоссе. Мы выходим из города и у развилки, где в сторону Москвы глядит белая с синими буквами доска: «Райгород», оставляем пышущий сухим жаром асфальт. Мы сворачиваем вправо, на булыжник, который скрежещет под нашими каблуками, шагаем по разбитым доскам железнодорожного переезда, после чего, миновав кладбищенскую рошу, вступаем в заросшую травой улицу пригородного села Юрьевского.

Я бывал здесь прежде только проездом, и теперь, когда мы неторопливым шагом идем в тени старых ив и берез, я с любопытством разглядываю старинное село, под которым лет семьсот назад, на берегу реки Идши, сидели осадой не то суздальцы, не то владимирцы, увязшие в осенней грязи. В селе много новых и совсем недавно отремонтированных домов. Дома весело и не без хвастовства покрашены красной, желтой и голубой масляной краской, убраны резными оконными наличниками, подзорами под стрехой и теремками на крышах. Иные из мотивов резьбы повторяют резные украшения древнего русского зодчества.

Николай Семенович, привычно взглянув на вынутые из брючного кармашка плоские вороненые часы, начинает рассказывать о так называемом уличном сообществе растений. Особенность этого сообщества в том, что почвой ему служит жесткая, плотно убитая земля. В это сообщество входят: подорожник большой, гусятая лапка, мятлик однолетний, травка-муравка...

Улица меж тем становится как бы шире и светлее, вероятно, оттого, что здесь нет деревьев. Видна болотистая луговина и остановившаяся среди тростников речка. На пригорке, которым кончается улица, впереди последних изб, стоит выведенный до окон сруб. Внутри сруба, наклонившись над светлыми гулкими бревнами, плотник в оранжевой майке тукает топором.

В грязной речке, подняв платице, голенастые девчонки ловят корзиной уклек или пескарей. Река и семьсот лет назад была такая, как сейчас, если стоявшие на ее берегах войска могли перекидываться камнями, как говорит летописец. Он рассказывает про осаждавших, что они «много пакости сотвориша, села пожгоша, скот поимаша, жито пашоша».

Мы переходим по пыльному мосту через речку и сворачиваем влево.

Николай Семенович, выдернув некую проволочную былинку с обтерханной метелкой, показывает ее мне и спрашивает, как она называется. Я затрудняюсь ответить. Подождав, он называет ее сам — бескильница. Он говорит, что эта невзрачная травка — верный признак засоленности почв.

Мягкая полевая дорога ведет нас к небольшой деревеньке.

Обочины дороги густо заросли, и Николай Семенович, перечисляя названия трав, говорит, что они обычно составляют придорожное сообщество. Растения эти в большинстве своем мне известны: костер безостый, пырей, тимофеевка, овсяница луговая, ежа, тмин... Здесь растет еще и борщевник, и луговая герань. Меня удивляет мощь растений, сочность их листьев. Встречаются большие овальные листья с зубчатыми краями, собранные по пять или даже по семь штук; но больше всего узких и длинных, остроконечных, плоских или же сложенных вдоль, в

просторечии именуемых травинками. Отовсюду торчат метелки, зонтики и колосья, унизанные мелкими цветами иной раз величиной с крупинку или игольчатый волосок — белые, зеленые, желтоватые. Однако пестрят и крупные красные и синие цветы. Цветущие травы пахнут жарко, отзываясь медом и несколько пылью.

Придорожное сообщество, рассказывает Николай Семенович, потому бывает таким богатым, что с дороги сюда наносит пыль, содержащую органические вещества, и растения, следовательно, в изобилии получают питание. Я слушаю его, и мне представляется, что все это я и прежде знал,— по дорогам ведь прогоняют скот, ездят на лошадях, теряют сенную труху.

Николай Семенович то и дело наклоняется, рвет траву. Он показывает мне попеременно тимopheевку и лисохвост, однако в руки не дает, полагая, не без экзаменаторского коварства, что я не сумею отличить тупой, твердый цилиндрический колос тимopheевки от очень похожего на него, но только мягкого и пушистого колоса лисохвоста. При этом он говорит, что определить качество луга в пору его цветения — не так уж трудно; надо учиться распознавать травы, когда они едва отросли. Он дает мне пощупать две одинаковые, как мне кажется, травинки — шероховатую, в жилках, и чуть шершавую. Одна из травинок, оказывается, принадлежит почти несъедобной щучке,— он сорвал ее, пока мы шли сырым кочковатым лужком,— другая же — овсянице луговой, отличной кормовой траве.

Сама собою приходит мысль, что товарищам, которые руководят у нас в районе сельским хозяйством, недостает именно такой вот пристальности. В течение семи лет, что я езжу сюда, здесь сменилось четыре секретаря райкома, все приезжие люди, и несколько раз перестраивалось то начальствующее учреждение, которое некогда было райземотделом, а теперь именуется инспекцией, где сидят два или три ученых агронома, благополучно состарившихся в своей вечной, хотя и меняющей вывески канцелярии.

Зеленая деревенька, в которую мы входим, двумя короткими своими посадами, поставленными наискосок один вслед за другим, смотрит на узкую, спрятавшуюся в кустах речонку. Речонка течет к заболоченной долине той самой Идши, которую мы только что перешли. Над мягким рельефом болота протянулась прямая и жесткая железнодорожная насыпь, обрезавшая понизу простершийся за нею некошенный луг. На дальнем краю луга, сияя серебряными и золотыми главами, стоит у озера белый древний Райгород.

Николай Семенович между тем говорит, что весьма любопытным бывает и железнодорожное сообщество: на склонах насыпей и в выемках. Здесь можно встретить растения из других, далеких мест — семена их принес поезд. Впрочем, и в придорожном сообществе, если взять современные автомобильные дороги, тоже встречаются растения, занесенные издалека.

Я вспоминаю, как недавно, когда мы ехали с Иваном Федосеевичем по одной из здешних шоссеинных дорог, любогостицкий председатель обратил мое внимание на заросли исполинского травянистого растения, кусты которого теснились на бугре у поворота. Это был донник, весь в мелких белых цветочках, собранных в редкие кисти. Потом он часто встречался нам — желтый или белый, удивительно обильно цветущий в нынешнее жаркое лето. От донника исходил сухой и пряный запах; он вызывал неясные, несколько романтические представления о нетронутых степях и пылящих кочевьях. Иван Федосеевич сказал мне тогда, что в прежнее время донник здесь будто бы не встречался, его занесли сюда

с Дона, вообще с Украины,— у нас тут и Кубань, и Дон, и украинские степи — все Украина. Он объяснил, что донник пошел с колхозов, точнее, с того времени, когда колхозы обзавелись автомашинами и стали привозить в эти места яблоки и пшеничную муку, а мешки и ящики накрывали этим самым ветвистым донником. Да и по названию слышно, что трава нездешняя, что она занесена из донских степей — донник.

Сейчас, когда я вспоминаю этот наш разговор, мне становится понятно, как это происходило в незапамятные времена: человек встречал, например, хотя бы вот этот торчащий под плетнем кустистый злак, на метелках которого топорщатся плотные щеточки колосков, и говорил «ежа», угадав сходство с ежом.

Этим моим мыслям в известной степени отвечает и то, о чем говорит сейчас Николай Семенович. Мы прошли уже с ним заросшую высокими травами деревеньку, даже как бы косматую от этих трав и от свисающих сверху ветвей старых берез. Николай Семенович рассказывает, что в пору его детства у них в деревне ребятишки ели борщевик, шавель. Дикими растениями и сейчас лакомятся дети по деревням. Николай Семенович говорит, что ребятишки, в сущности, повторяют далеких пращуров, которые, когда приходили на луг, разговаривали с ним,— наши предки знали каждое растение, его питательные или лечебные свойства, его пользу или вред для животного и человека.

Рассуждения моего приятеля наводят на мысль, что из разговора человека с растением возникала поэзия; она закрепляла народный опыт.

Я говорю об этом Николаю Семеновичу. Я привожу в пример почти обрядовую праздничность наших сенокосов. А разве в сказках, где участвует разрыв-трава, не слышатся древние поверья о чудодейственной силе некоторых растений?.. Я называю еще своеобразную рабочую памятку, строку изустного месящеслова: «С Петрова дня красное лето, зеленый покос». Но апостол Петр, как и пророк Илья, заменил громовника Перуна, низводителя дождей и растителя злаков. Значит, когда здешние председатели говорят, что начнут косить с Петрова, они как бы ссылаются на опыт людей, обитавших в этих местах еще в Перуновы дни. Должно быть, уже тогда было замечено, что к началу второй декады нынешнего июля все травы вступают в ту пору спелости, когда они и укосны, и съедомы.

Так я возвращаюсь к тому, о чем уже думал сегодня.

Разговор мой с Николаем Семеновичем, хотя и начался он с практической ботаники, позволил мне вдруг увидеть в сенокосе не только скоротечную крестьянскую работу, определяемую сельским календарем, но и некую коренную часть народного бытия. И если давеча, размышляя о двух взглядах, какие существуют у нас в отношении сроков косьбы, я рассматривал каждый из них лишь со стороны хозяйственной целесообразности, то сейчас я понял, что здесь имеет место спор между комнатными, по преимуществу головными людьми и теми, кто дал имя растению, сложил сказку, выразил свои воззрения в пословице и запечатлел знания в примете.

Скоро под нашими подошвами начинает похлупывать — мы вступили в заболоченную низину. Солнце уже значительно продвинулось к закату, и болотце, освещенное им сбоку, ослепляюще зеленеет. Над лоснящейся травой возвышается сусак, поднявший свои собранные зонтиком розовые цветы.

Я оглядываюсь на только что оставленную нами деревеньку. Она торчит из-за пригорка растрепанным стогом. Местный историк, лет во семьдесят назад составивший описание здешнего уезда, сообщает, что в тринадцатом веке в этой деревне будто бы жила молодая волшебница,

состоявшая в любовной связи со своим князем. Тот же историк рассказывает, что в сельце напротив, куда мы сейчас идем, в одиннадцатом веке ночевал однажды христианский проповедник, которому явившийся во сне апостол вручил жезл и повелел сокрушить Велеса — «скотьего бога». Истории эти не так уж легендарны. Волшебница — это ведь волховка, кудесница, языческая жрица. Что же до проповедников христианства, то они не отличались терпимостью в отношении народа, крепко державшегося своих древних богов.

Как тесно заселена тут земля — в пространстве и во времени.

По меньшей мере тысячу раз, каждую весну, человек пахал эти поля. Они лежат вплоть до дымчатого горизонта — чуть побелевшие ржаные нивы, серебристые с зеленью овсы и совсем сиреневые пары, то резко освещенные садящимся солнцем, то накрытые тенью. Стада пестреют среди пастбищ.

Мы сидим с Николаем Семеновичем на теплых кирпичях церковной ограды. Жара уже свалила, и от травы идет острый, сыроватый запах. Будто каменные, лежат в траве белые козы. Мы сидим и рассуждаем о том, что труд крестьянина — древнейший на земле, и как же это дико, когда опыту, выстраданному поколениями пастухов и земледельцев, противопоставляется сочиненный в кабинете циркуляр. Делается это как бы от имени науки, но наука ведь не перечеркивает, а развивает опыт человечества.

Я говорю Николаю Семеновичу, что минувшей зимой познакомился с одним секретарем райкома, приятелем нашего Алексея Петровича, — Алексей Петрович несколько лет назад был у нас секретарем и сейчас работает в обкоме партии. Так вот, этот мой новый знакомый — огромный, большерукий и громогласный мужик — однажды сказал мне с грубоватой откровенностью, хотя и не без преувеличений, что, мол, двадцать лет учили мы колхозника, разумеется, желая ему добра, чтобы он держал скот на чистом полу, а колхозник сопротивлялся, но мы упорствовали, пока не настояли на своем, и теперь остались без навоза. Недавно, продолжаю я, случилось мне побывать у Алексея Петровича в обкоме. Я рассказал ему про встречу с его приятелем и о нашем с ним разговоре. Тогда Алексей Петрович в свою очередь стал рассказывать, тоже не без преувеличений, которые я назвал бы поэтическими, как в одном районе, где он работал, в самом лучшем колхозе к весне, бывало, коровы чуть ли не под крышей стояли. Увидев это впервые, он принял за стыдить председателя, обвинил его в некультурности, но тот возразил, что навоз из-под копыта — самый богатый, и что из кучи на улице ему и даром не надо. Алексей Петрович чрезвычайно оживился, вспоминая, какой это был сочный, плотный, слоистый навоз, не то что тот сухой и комковатый, который вывозили на поля в других колхозах.

Весь этот мой несколько живописный рассказ Николай Семенович деловито сводит к трем пунктам. Он говорит, что сохранение навоза под скотом, если имеется достаточно подстилки и пол непроницаем, во-первых, сокращает до минимума потери азота; во-вторых, позволяет навозу приобрести однородность, так как он постоянно утаптывается; в-третьих, создает условия, при которых навоз нормально разлагается.

Однако при всем том, продолжает Николай Семенович, он все же позволит себе заметить, что содержание скота на чистом полу — далеко не единственная причина недостачи у нас навоза и ухудшения его качества...

В старину говаривали, замечает он, что луг кормит поле. Но в течение четверти века, расширяя посевные площади, мы распахивали луга. Мы затопили триста тысяч гектаров мологско-шекснинских пойменных



лугов, что не могло не сказаться на ярославском животноводстве. Подперев плотинами Волгу, мы получили дешевую электрическую энергию и одновременно потеряли сенокосные угодья в нескольких областях, связанных с волжским бассейном. Вероятно, в этой части страны больше негде было взять электричество, но из этого следует лишь, что тем решительнее надо было заняться луговодством.

Я слушаю Николая Семеновича, и у меня начинает складываться убеждение, что он говорит об одном из тех средств, какие способны коренным образом изменить состояние дел в сельском хозяйстве нашей нечерноземной стороны. Без навоза у нас и семян не вернешь, а чтобы иметь навоз в изобилии, нужны прежде всего сенокосы и пастбища. Нужна еще и подстилка, и для этого есть здесь и торф, и соломы будет достаточно, если как следует удобрять поля, если, имея сено, не скармливать солому скотине.

Все это известно было еще древним римлянам. Казалось бы, знают это и те товарищи, которые сегодня требуют от председателей, чтобы они начинали косить незамедлительно,— каждый из них скажет, что без сена нет навоза — значит, нет и хлеба. Разница только в том, что надоедливая их опека, если бы даже не вредила она сенокосным угодьям, сводится к поспешному затыканию дыр, тогда как Николай Семенович говорит о необходимости восстановить старые и устроить новые луга. Этим последним и будет достигнут одновременный успех и в животноводстве и в полеводстве.

Меж тем вечереет. Мы уходим из села.

Козы лениво встают, уступая нам дорогу. Мы идем мимо открытого настежь двора, куда входят одна за другой белые куры.

Мы переходим железнодорожное полотно. Над ним все еще стоит запах нагретого металла и щебенки. Проселок приводит нас к выпуклому и светлому булыжному шоссе. Каждым камнем своим оно плотно улеглось на некрутом склоне, между двумя заросшими канавами. Справа шоссе как бы кончается на вершине склона — дальше ничего не видеть, только небо, но я знаю, что в той стороне Ужбол, где я прожил несколько лет. Сейчас мы с Николаем Семеновичем сворачиваем налево, идем вниз, к московской автомобильной дороге.

Мы снова переходим через Идшу, дельта которой, заросшая рогозом и тростником, хорошо видна на светлой зелени заболоченной озерной поймы, справа от нас. Озеро синее вдаль; на высоком мысу, впереди всего города, стоит белый Дмитриевский монастырь.

Навстречу нам идет от реки малый с двумя налимками на кукане.

Мы оставляем пахнущую бензином асфальтированную магистраль и спускаемся по крутому склону насыпи на мягкую тропинку, протоптанную в граде. Эту тропинку протоптали между двумя рядами молодых кленов и тополей деревенские женщины, которые ходят в город с молоком и ягодами. Здесь прохладнее, чем наверху, на асфальте. Нам слышно, как за кронами деревьев бегут машины — сперва нарастает гудящий стон, затем раздается шипение, и стон начинает убывать. Несколько ниже, между стволами, нам виден как бы поставленный стоймя и чуть наклонно, вытянувшийся вдоль шоссе цветущий луг. То ли потому, что травы растут на склоне, одно растение выше другого, то ли оттого, что они такие крупные, но я вижу каждый экземпляр отдельно, как под увеличительным стеклом...

Здоровенный мужик в серой неподпоясанной рубаше косит траву.

Николай Семенович останавливается. Я не могу понять, почему он с таким волнением спрашивает: это чей покос? «Малюток», — с достоинством отвечает мужик. Он ставит косу окосьем вниз и кладет руку на пятку. Николай Семенович сомневается, чтобы все это сено досталось

«малюткам», то есть лошади Дома ребенка... Мужик, ухмыльнувшись, снова принимается косить: что ни взмах — то копна. «Эх! — восклицает Николай Семенович,— если бы дать этим травам выспеть: какие были бы семена!» Он говорит с горячностью, что обязательно пойдет в инспекцию, добьется, чтобы инспекция запретила косить такие угодья, что надо поручить ученикам техникума заняться сбором таких редкостных семян...

Однако постепенно Николай Семенович успокаивается. Конечно, он знает, что никто не станет возиться с этими семенами. Скажут, много ли их там соберешь. Подумают, какая от них польза — ни в сводку не вставить, ни в рапорт по начальству. Еще и посмеются, не в глаза, так за спиной.

Приятель мой принадлежит к тем русским интеллигентам из крестьян, которые мальчишками зачитывались Некрасовым, а потом, студентами, Добролюбовым, Чернышевским... Почему это так получается, что таких вот людей, исполняя некую формальную обязанность, используют по преимуществу для чтения лекций и никогда не позовут, чтобы поговорить, в райком партии?

А ведь Николай Семенович мог бы рассказать следующее.

В самом начале коллективизации в мOLOGско-шекснинском между-речье, откуда родом Николай Семенович, начато было им и еще одним товарищем производство семян лугопастбищных трав. Николай Семенович, занимавшийся этим делом еще с единоличными крестьянами, причем очень успешно, выступил тогда на заседании краеведческого общества с проектом организации семенного рассадника. Одновременно пришел с таким же проектом в райземотдел и тот, другой, товарищ. Оба молодых агронома — Николай Семенович больше луговод, ученик знаменитого Дмитриева, а второй отчасти мелиоратор,— сколько я понимаю, действовали не по какой-либо инструкции, не по циркуляру, а сообразуясь лишь с велением профессиональной совести. В тех местах, где они работали, на тамошних поемных землях с их высоким уровнем грунтовых вод, зерна собирали шесть или семь центнеров с гектара, лен, хотя и вымахивал он изрядно, давал очень плохое волокно, и только травы бывали на диво хороши.

Николай Семенович, если не в те времена, когда он составлял свой проект, так несколько раньше, в двадцать пятом году, когда он впервые занялся размножением семян,— на взгляд аппаратного работника был прекраснoдушным чудачком, каким и сегодня назовут его некоторые руководящие здешние товарищи, когда он предложит им собирать вдоль дорог семена трав.

Все началось с того, что к нему, заведующему базой Лугового института и преподавателю сельскохозяйственной школы, однажды обратился с письмом агроном, работавший в государственном семенном рассаднике, где был выведен и размножен новый сорт овсяницы. Должно быть, тоже энтузиаст, агроном просил незнакомого ему товарища отправиться по деревням и уговорить крестьян посеять эту овсяницу на семена. Николай Семенович договорился с крестьянским обществом, что каждый хозяин посеет по полоске, и это составило тринадцать десятин, по пуду семян на каждую десятину.

Когда стал поспевать урожай, рассказывает Николай Семенович, было такое же, как сейчас, жаркое лето, семян уродило много, и удались они на редкость крупные. Их пропустили через две сортировки, запаковали в новые двойные мешки, по тридцать два килограмма в каждом, снабдили двумя этикетками — снаружи и внутри мешка. Продавай, куда хочешь. Тогда покупали семена за границей, платили по двадцать шесть рублей за пуд, причем неизвестного сорта. А здесь был отличный сорт, цена — всего только восемнадцать рублей, и семена произвели фурор

среди агрономической публики. Довольны остались и крестьяне. Они снимали по сорок пудов пшеницы с десятины. А на деньги, вырученные за овсяницу, можно было купить столько хлеба, что в среднем на десятину выходило около двухсот пудов. И уже не на тринадцать, а на сто пятьдесят десятин заключили они договор с рассадником. Потом они организовали три семеноводческих товарищества.

И вот, когда началась коллективизация, у Николая Семеновича появилась мысль создать союз колхозов, которые растили бы лугопастбищные травы на семена. К этой же мысли пришел еще один агроном. Николай Семенович вспоминает, как их обоих сразу же вызвали в окружной центр, познакомили, засадили писать сводный проект, а потом с этим проектом отправили в Москву одного весьма энергичного товарища, который добился разрешения основать Мологско-шекнинский рассадник семеноводства лугопастбищных трав, куда вошли колхозы четырех без малого районов. Были созданы курсы по семеноводству для партийного актива. В скором времени семенниками трав занято было уже пять тысяч гектаров. Здесь производилось семьдесят пять процентов всех семян, какие давала нечерноземная полоса. Поднялось и животноводство, потому что много стало сена.

Теперь на этом месте Рыбинское море. Семеноводством лугопастбищных трав сейчас никто не занимается. Изредка в небольшом количестве покупают семена за границей. Этим летом, например, наша область получила канареечник тростниковидный и райграс пастбищный. Рассовали эти семена чуть ли не по всем районам, посеяли их колхозники вразброс, вручную, с весьма печальным нарушением агротехники.

Покамест я слушал Николая Семеновича, мысли мои относительно коренного стержня, который способен держать сельское хозяйство в этих зеленых, изобилующих водой краях с их бедными почвами, улеглись в некую краткую и прямолинейную схему: семена трав — луг — животное — навоз...

Однако разговор с Николаем Семеновичем наводит еще на размышления о демократических традициях провинциальной русской интеллигенции, и эти свои мысли я считаю самым дорогим для себя результатом нашего урока ботаники. Я вспоминаю земского агронома Зубрилина, ставшего потом знаменитым. Еще в старое время он прихотил волоколамских крестьян к посевам клевера, и слухи об удивительном черном сене пошли ходить по деревням. Позднее, в советские годы, Волоколамский уезд Московской губернии с помощью Зубрилина первым в стране ликвидировал трехпольную систему земледелия. И я не могу не задаться вопросом, откуда же это взялось, чтобы руководители, хотя бы здешние — областные или районные, — обязательно ожидали указаний сверху, касающихся, например, семеноводства трав и вообще луговодства, меж тем как рядом живет Николай Семенович, который отлично знает, как на приозерных наших болотах, осушив их, организовать семенное хозяйство. Мне представляется, что именно такие вот факты имел в виду Ленин, когда в известном письме к Осинскому говорил о необходимости углубиться в настоящую жизнь, в уездную, в волостную, в сельскую.

Под деревьями, где мы идем, стоит зеленоватый сумрак.

Озеро стало серым и почти неотличимо уже от неба над ним. Между нами и озером темной и сырой массой растут из налитой водой земли высокие травы; от них исходит резкий запах, какой бывает, когда разотрешь пальцами стебель сочного растения. А с шоссе все еще тянет теплой пылью и чуть бензином, хотя машины слышны теперь лишь изредка.

Внезапно сверху, выскочив, должно быть, из остановившейся машины, точно с неба сваливается на нас рослая девушка в короткой, тесной серой юбке и розовой кофточке, желтоволосая,— эти три цвета только и видны были, когда она, запыхавшись и что-то выкрикивая, бежала по склону насыпи. От быстрого бега, или это у нее вообще так устроено, пышные светлые волосы девушки как бы вихрем отнесло назад. Она обнимает Николая Семеновича, и по загорелой длинной ее руке скользит к плечу повешенная на руку большая и плоская серая сумка. Николай Семенович нас знакомит, и девушка называет себя: «Люда». Я догадываюсь, что это бывшая ученица Николая Семеновича. Она хороша собой, длинноногая, с высокой грудью и прямыми плечами. У нее несколько широкое, с узким подбородком, румяное и загорелое лицо темнее волос, углы губ чуть приподняты и рисунок рта повторяет линию подбородка.

Голос у Люды, оказывается, с едва уловимой хрипотцой. Она восхищается тем, как это хорошо получилось, что вот ехала ненадолго к сестре в Райгород и увидела вдруг из кузова машины Николая Семеновича. Потом она почему-то вспоминает, как еще на первом курсе возвращалась с девочками из учебного хозяйства и как они попали под дождь, разулись, бежали босиком под этими самыми деревьями. Про дождь она говорит — «улевный», то есть проливной, и мне приходит на мысль, что выглядит она интеллигентнее, чем это есть на деле. Несколько раз она употребила слово «зараньше» вместо «заранее».

Николай Семенович спросил, как дела, и Люда ответила: «Сило-сую!» Потом, отвечая на вопрос, как ей вообще живется в колхозе, куда после окончания техникума ее направили около года тому назад, она принялась рассказывать, что сперва было плохо, так как председатель колхоза, присланный из города банковский служащий, сам совался во все и агронома держал вроде на побегушках. Она очень переживала, считая, что даром получает деньги. Например, проверит она всхожесть семян, установит нормы посева, а председатель отменит ее указания: не имеешь, мол, права распоряжаться. Когда она ездила сдавать вступительные экзамены в заочный институт, председатель высказал неудовольствие. Она огрызнулась в ответ, и они вовсе перестали разговаривать. В то время как раз колхоз укрупнился, и она попросилась работать заведующей участком, состоящим из трех деревень. Это в стороне от большой дороги, километрах в двенадцати от села, где живет председатель. Место глуховатое, ни клуба нет, ни электричества, но она рада, что получила самостоятельность. Посевную она провела хорошо, за удои ей выдали премию, а теперь ее участок заготавливает ранний силос: силосуют крапиву, лопухи, выкашивают траву по оврагам.

Я спрашиваю Люду, много ли платит ей колхоз, и она отвечает, что больше тысячи в месяц, не считая того, что ей еще и хлеба сколько-то полагается, и сенокосный участок. Николай Семенович в свою очередь интересуется, пробовала ли она столь рекомендуемый сейчас наземный способ силосования. Люда говорит, что не пробовала, а хочется.

Так, разговаривая, поднимаемся мы по склону насыпи на шоссе, под открытое небо. Стоит северный летний вечер, светлый и без теней. Дома и деревья впереди нас от вечернего освещения выглядят плоскими. Юноши с еще не просохшими после купанья прическами выезжают из города на велосипедах. Перед каждым велосипедистом сидит на раме его девушка, вытянув и скрестив у шиколоток ноги. Велосипедисты кружат по пустынному шоссе. Шуршат шины. Изредка звякнет вдруг звоночек.

В городе, на перекрестке, мы прощаемся. Мы услазливаемся, что как-нибудь соберемся с Николаем Семеновичем и приедем к Люде.

Николай Семенович, когда мы остаемся одни, говорит, что это ведь та самая девица, которая взбунтовала техникум против Антона Иваныча Шеина, тогдашнего его директора, за что была исключена из комсомола и чуть было из техникума не вылетела, хотя до окончания ей оставался какой-нибудь месяц; однако Антон Иваныч, сколько ни требовал от него этого Василий Васильевич, бывший в ту пору секретарем райкома, все-таки исключать ее не стал.

Какой большой выдался сегодня день!..

\* \* \*

С утра дождь и ветер. По временам проясняется, между тучами образуются синие, как будто мокрые просветы. Потом снова пасмурно. Беспорядочно стучась то в наши окна, то в окна домов напротив, сыплется крупный дождь. Деревянные дома потемнели. Крашенные железные крыши блестят.

Михаил Васильевич, хозяин дома, где я останавливаюсь, когда бываю в Райгороде, полеживает на застланной одеялом постели и оглушительно зевает. Сестра его, Дарья Васильевна, робко осведомляется, не съездит ли он в город, не купит ли говядины. Михаил Васильевич хотя и невнятно от зевоты, однако с присущей ему категоричностью говорит, что свежей говядины теперь не найдешь, какая теперь говядина — богом убитая!

Меж тем приходит соседка и рассказывает, что в минувшее воскресенье у Ивана Милостивого собрался в ограде народ, человек шестьсот, заперли церковь, старого попа служить не допустили, написали на него жалобу архиерею, и вчера с утра двое прихожан и староста поехали в областной город просить, чтобы попа этого архиерей убрал, оставил одного молодого.

«Какой он поп, — говорит Михаил Васильевич, — жулик он, а не поп».

Дарья Васильевна и соседка соглашаются, что старый поп — хулиган и матерщинник. Они принимают за вспоминать, как однажды он изматерил в алтаре псаломщика, после чего церковь освящали. А нынче в страстную субботу, уже и черед наставился, он не захотел куличи святить, сидел дома и ломался: пускай, дескать, староста хорошенько попросит. На него и благочинному жаловались, и в милицию ходили. Милиция говорит: это нас не касается. Благочинный же и сам не лучше — недавно пришли его звать покойника отпеть, а он отказался: у меня, мол, гости. Из-за благочинного и шум сделался в воскресенье, потому что, когда старого попа не допустили служить и пошли за молодым, то молодой сказал, будто он благочинным от службы отстранен, и вот тут решили запереть церковь.

Михаил Васильевич вздыхает: падает религия! Одно бабье только и ходит в церковь, — рассуждает он. У него товарищ поступил было в церковные старосты, так ушел — не сладил с бабами. Теперь у них баба староста.

Старик не знает, что и в прежние времена случалось нечто подобное. Я где-то читал, как при Екатерине на Ивановской площади в московском Кремле протопресвитер Успенского собора в крестном ходу «во все свое громогласие» обругал и «тупинками потчевал» и приказывал сторожам надавать по шее и выгнать вон протопресвитера Архангельского собора...

Погода тем временем начала развёдриваться.

На улице еще свежо и сыро, однако в листве деревьев высоко над крышами домов и во всех дворах — должно быть, в вишенниках и в кустах сирени — щебечут, и свиристят, и чирикают неизвестные мне пичужки.

\* \* \*

День все же выдался ясный. Припекает, но воздух довольно холодный — это чувствуешь в тени или же когда облако вдруг найдет на солнце. В городе пустынно, многие магазины еще закрыты на обед, базар уже совсем пустой, и лишь у автобусной станции толпятся деревенские жители, по большей части женщины, тяжело одетые, раскрасневшиеся, в пыльной обуви.

Дремлет единственная лошадь у коновязи на Сенной площади.

Изредка с грохотом проносится грузовая машина.

На иных улицах мостовая разобрана, булыжник уложен в кучи, из глубоких черных канав, недавно вырытых, тянет холодом и гнилым болотом. Кое-где, обнесенные лесами, белеют сложенные из силикатного кирпича стены двухэтажных домов, еще не законченных постройкой. На лесах, не стесняясь в выражениях, жилистые бабы покрикивают на разомлевших парней.

Отцветают старые тополя, за стволами которых виднеется желтое с белыми пилястрами здание бывшей гимназии — теперь это «Школа № 1». Воздух полон медленно падающими крупными пушинками. Тополиным пухом завалены и тротуар и мостовая. Под заборами и возле домов пух лежит кучками.

Печаль летнего дня в небольшом городке.

Мне еще не пришлось побывать у Николая Леонидовича, председателя в Усолах, посмотреть, как он устроился в новом доме, и я отправляюсь к нему, но дом — обшита серыми плитками коробочка под шиферной кровлей, — дом заперт, тюлевые занавески на окнах сдвинуты. Не нашел я председателя и в конторе.

Приходится возвращаться в город.

У поворотка на Павлушино подсаживаю девушку, ожидавшую автобуса. Она тихо сидит, поставив на колени сумку, из которой виднеются книги и тетради. Я спрашиваю ее, не учительница ли она, но девушка говорит, что нет, сама еще учится. «В техникуме?» — продолжаю я спрашивать. «Нет, — говорит она, — на курсах колхозных бухгалтеров». — «Значит, кадр Николая Леонидовича?» — выказываю я свою осведомленность в здешних обстоятельствах. Девушка сдержанно отвечает, что нет, пока что неизвестно, где она будет работать, курсы платные, распределять выпускников никто не станет. Тогда я говорю, зачем же она поступила на эти курсы, оставалась бы в колхозе, пошла бы в свинарки — и заработок хороший, и прославиться можно, еще орден получила бы или медаль... Девушка еще сдержаннее отвечает, что некоторые ее подруги пошли в свинарки, но зарабатывают всего тысячу в год: они ведь с привеса получают, а привес мал — кормов нет. Это — во-первых. А во-вторых — голос ее, показалось мне, задрожал, — она интересуется математикой. Но какая же, говорю я, математика на курсах бухгалтеров?..

И тут девушка рассказывает, что по окончании десятилетки она решила поступить в пединститут на физмат — на физмате конкурс всегда меньше, потому что девчонки боятся математики, а она не боялась. Для поступления требовалась справка с местожительства, но председатель сельсовета такую справку выдать отказался. Он сказал: пускай она принесет бумажку от председателя колхоза, что тот отпускает ее учиться. Однако Николай Леонидович, посмотрев на меня искоса, говорит девушка, бумажки такой не дал. И тогда она поступила на одиннадцатимесячные курсы бухгалтеров, где справок с местожительства не спрашивают, поскольку они краткосрочные. Все-таки это близко к математике и она не забудет, чему учили в школе.

Я спрашиваю, кто ее родители, и она отвечает, что отца не помнит, отец погиб на войне, когда ей еще и года не было. А мать — колхозница, она от матери и едет сейчас, из Павлушина. Кто же, продолжая я спрашивать, платит за обучение, и сколько, и где она живет. Девушка говорит, что плата за обучение — сто рублей в месяц, и за койку, которую она снимает, она платит пятьдесят, и еще на автобус тратит, на хлеб, чай, сахар — продукты она привозит из дому. На все это, конечно, дает мать. У матери больше детей нет, она овдовела двадцати трех лет, но замуж снова не пошла. Она у нее хорошая, ей ничего не жалко, на себя она и не гратится.

Девушка выходит у почты, смущенная тем, что ей не пришлось заплатить за проезд.

Весь вечер нейдет она у меня из головы. Я не виню Николая Леонидовича — ему люди нужны, не сомневаюсь я и в том, что девушка в конце концов своего добьется, поступит на физмат... Но как же все-таки это так — мечта о математике и заинтересованность председателя в рабочих руках!

\* \* \*

С Андреем Владимировичем, мелиоратором, захавшим к нам сюда по пути в заволжские колхозы, землям которых угрожает подтопление, мы отправляемся в гости к Капе, воспитаннице моих домохозяев. Капа еще прошлой весной окончила медицинское училище и с зимы стала работать фельдшерницей в инвалидном доме, километрах в двадцати с небольшим от города.

Едем мы долго, разбитым пыльным проселком, желтеющим среди зеленой всхолмленной земли. В машине жарко и душно, потому что из-за пыли нельзя опустить стекол. Нас то и дело накрывает то вправо, то влево, то мы вдруг всем днищем машины ощущаем неровности дороги. Мы осторожно сползаем вниз, в сырой овражек, или же принимаемся забираться на холм.

Разбитая эта дорога начинается за Урсколом, оставшимся позади.

Даже не глядяваясь в несколько замутненный пылью ландшафт, можно догадаться, что мы находимся высоко над уровнем озера Каово, на северном берегу которого стоит Райгород. Я уже однажды ехал здесь, лет пять тому назад, и тогда из кузова грузовой машины, когда я смотрел в ту сторону, откуда мы ехали, видны были цепи холмов и округлые поля на их склонах, мягко сбегающие в долины или в овраги, заросшие кустами, причем все это, и еще луга, и болота, чередуясь и образуя складки, постепенно понижалось к синеющей далеко внизу приозерной котловине.

Свернув налево и объехав бревенчатый мостик, по которому почему-то никто не ездит, мы прямо через сухую канаву, в этом месте неглубокую и наезженную, въезжаем на обширный, поросший муравкой пустырь, на одном краю которого блестит пруд, а на другом, за дощатым забором с настезь отворенными воротами, стоят в разное время построенные дома, в их числе один оштукатуренный двухэтажный, по всему видно, помещичий.

От невысокого строения за прудом к нам бежит Капа.

При всем том, что девица она вполне современная, есть в ее облике — в тяжелой и длинной светлой косе, переброшенной через плечо, в чуть свободном легком платье, будто накинутом впопыхах, когда крикнули, что гости едут, наконец в певучем и ленивом ее «оканье», с которым никакая школа не могла справиться, — есть во всем этом нечто уездное.

Андрей Владимирович квартировал прежде у стариков, вырастивших Капу, и она питает к нему чувства почти дочерние. Что же до него,

знавшего ее девочкой, то ему, я думаю, нравится в ней еще и этот ее безмятежный провинциализм, напоминающий ему далекую юность и милых сверстниц.

Капа предлагает нам прогуляться. Мы идем в сад, старый, запущенный, с заросшим валом, вдоль которого вокруг одичавших, обломанных яблонь тянется узкая и темная липовая аллея. Над невыкошенной травой между яблонями пляшет в солнечном воздухе мошкара. Пахнет сухой землей. Сразу же за валом свежо зеленеет молодой овес. А дальше, сколько охватит взгляд, между холмами и на их склонах видны пастбища, нивы, пары...

Весной, рассказывает Капа, день и ночь здесь звенела вода.

Она советует нам посмотреть здешнее озеро, и мы отправляемся в сторону мелкого и редкого леса, где меж берез чернеют елки, некоторое время идем колесистой сырой дорогой, минуем поляну с невысокими, далеко отстоящими друг от друга кустами можжевельника, снова входим в лес, теперь сплошь еловый, за которым открывается кочковатый луг. На опушке, среди ободранных можжевелевых кустов, дымит костер и пасется стадо.

Мы идем заболоченным лугом, кочек все больше, и все выше они, между кочками под нашей тяжестью из чуть пружинящей земли выступает вода. Мы принимаемся прыгать с кочки на кочку, чувствуя подошвами, какие они мягкие, останавливаемся, потому что дальше уже не пройти из-за воды.

Впереди нас, бугрясь, простерся заросший серой травой кочкарник, — она и на взгляд жесткая, какая-то металлическая, эта белесая, растущая из топи трава. Вровень с низкими берегами лежит спокойное, оловянно поблескивающее озерце, на котором кое-где темнеют островками тростники.

Мошкара висит колеблющейся сеткой.

Мы возвращаемся в усадьбу и заходим в то невысокое строение позади пруда, откуда выбежала нам навстречу Капа, — есть в нем нечто от барака, хотя это обыкновенная крестьянская изба, но только поставленная так, что глядит она на дорогу не фасадом, а боковой стеной с одним лишь окном и дверью без крылечка, ведущей прямо в сени. В сенях, на высоком пороге открытой в избу двери, сидит тшедушная девушка в темном ситцевом платочке, завязанном под подбородком. Она пристально разглядывает нас, затем несколько неуверенно и невнятно здоровается. Капа рассказывает о ней, что зовут ее Марьюшка, она совсем глухая, но в инвалидах жить не соглашается, а работает здесь же по найму, скотницей. Капа говорит ей с небрежной ласковостью: «Поди погуляй, родимая». И хотя Марьюшке, видать, страсть хочется остаться, она все же встает и уходит.

«А это тетя Саша, санитарка», — объясняет Капа, знакомя нас с немолодой уже, приветливой женщиной, некрасивой и опрятной. Тетя Саша, поскольку она тут самая старшая, приглашает войти, но, когда мы усаживаемся вокруг стола посреди избы, оказывается, что она деликатно вышла. Капа говорит, что она очень хорошая и что все трое они живут дружно.

«Спишь-то ты где?» — осведомляется Андрей Владимирович. Капа кивает в сторону застланной голубым тканевым одеялом постели, в изголовье которой белеют аккуратно взбитые подушечки; постель устроена недалеко от окна, единственного в комнате, словно бы даже не у места, на ходу. Правее этой койки, вдоль стены, идущей от двери, стоит такая же точно казенная койка, поставленная куда основательнее, но только с небрежно накинутым поверх бугорчатого сеника вытертым серым одеялишком. «Тут Марьюшка спит», — объясняет Капа, и чтобы мы



поняли, отчего так неприятна у скотницы постель, добавляет: «Она все по тюрьмам жила».

Затем с той же простодушной детскостью, с какой, бывало, она рассказывала о школьных подругах и случившихся в школе происшествиях, Капа рассказывает про Марьюшку, что та проживала в Москве, у замужней сестры, потому что родители у нее умерли, а когда началась война, она ушла из седьмого класса и поступила на завод, но сестра эвакуировалась, будить Марьюшку стало некому, и однажды она проспала, опоздала на работу, за что ее судили, сослали в лагерь, и вот там, на Севере, в лагере, Марьюшка оглохла.

В самом дальнем от двери углу стоит еще постель, и это не казенная койка, но собственная кровать — широкая, высокая от перин, с крахмальной занавеской на изножье, с кружевным подзором и белым вязаным покрывалом, с целой выставкой подушек и подушечек под вышитыми накидками. Над кроватью на убранной салфеточками и рукодельными дорожками стене висят в рамках увеличенные, грубо отретушированные фотографии.

Капа говорит, что это тети Саши постель.

А на фото, добавляет она, вся ее семья.

На двух фотографиях изображены широколицые и скуластые женщины с маленькими остолбенелыми глазами, одна помоложе, другая постарше, и в этой последней лишь с трудом можно узнать доброжелательную, немного печальную тетю Сашу. Что же до мужчины на третьей фотографии, лицо которого, столь же невыразительное, напоминает большую картофелину, то, по сходству его с обеими женщинами, он казался мне их братом.

Капа объяснила, что это тети Саши муж, убитый на войне, а вон та — тети Саши покойная дочь. Девушка она была уже немолодая, старше двадцати пяти лет, гуляла с одним молодцом, а он перестал с ней гулять, она сильно переживала и утопилась в пруду, еще в той деревне, где они прежде жили, и после этого тетя Саша продала дом и переехала сюда.

Я подумал, что нарядная эта постель была для тети Саши как бы частью ее дома, воспоминанием о семейном счастье и еще утверждением себя, своей личности, среди казенного и случайного быта общежития. Мне захотелось снова взглянуть на эту женщину. В сенях послышался шорох, я оглядываюсь, но это — Марьюшка, чрезвычайно довольная собой. С искательной улыбкой, невнятным своим голосом предлагает она нам холодного квасу и принимается наливать из эмалированного чайника в толстые стаканы мутноватую светлую жидкость, нестерпимо кислую, отзывающую погребом.

Домой мы собираемся засветло из-за плохой дороги.

\* \* \*

После ночного дождя утро стоит прохладное. Издалека доносится негромкий колокольный звон. Должно быть, звонят у Воскресения Словоушего, потому что ближняя к нам церковь Ивана Милостивого все еще закрыта. Мне рассказывал Сергей Сергеевич, архитектор, реставрирующий здешний кремль, как несколько дней назад в связи с ремонтом старинной Воскресенской церкви побывал он у ее настоятеля, местного благочинного, и как тот, узнав, кто он такой, улыбнулся и сказал, что в городе проживает еще один архитектор. Благочинный назвал иеромонаха Геронтия, того самого ивановского попа, которого гонят прихожане. При этом он и фамилию его назвал. Сергей Сергеевич вспомнил, что у них в институте был такой студент.

\* \* \*

Жарко. На булыжной мостовой по временам встает пыль.

День тянется томительно долго, глухой и душный. Часу в седьмом вечера свет становится серым и тени исчезают. А в начале восьмого в наступившей тишине слышится далекое погромыхивание. И вдруг обрушивается гроза — с градом, с ослепляющими молниями, с треском, на который гулко отзывается земля. Гроза ходит над городом, то отступая, то возвращаясь. И после одной из вспышек, когда всем существом торопишь готовые рухнуть небеса, вместо ожидаемого удара возникает ровный шум дождя.

Вечер наступает не по-летнему рано, сырой, темный.

Николай Семенович, к которому я захожу, знакомит меня с бывшей своей ученицей, год назад начавшей работать агрономом в самом бедном колхозе соседнего с нами района. На взгляд ей лет восемнадцать. Она невелика ростом, худощава, у нее узкие бедра и чуть кривые ноги.

Бывшая ученица Николая Семеновича мила своей молодостью и тем, как не умеет она скрыть, что радуется штапельному, первый раз надетому платьицу, блестящей брошке, прическе, сооруженной из туго заплетенных лоснящихся кос, малиновому, специально для города сделанному маникюру.

Все это я непроизвольно отмечаю, покамест гостя рассказывает Николаю Семеновичу, что клевер у них в колхозе был заповиличенный и она возила его отбивать, а тимофеевка была просто засоренная, но она увеличила норму высева, вообще с семенами было плохо, потому что колхоз не имеет ни хранилищ, ни сушилки, много семян погибло, они брали ссуду, и овес им достался краснодарский, но все равно пришлось сеять.

Николай Семенович советует сейчас же, где лучше посева, выделить сортовые участки, чтобы иметь свои семена, заставить председателя купить сушилку и отремонтировать хранилища, понаделать в них сусеки... В качестве примера энергии и стойкости, необходимых агроному, он приводит случай с одной из бывших учениц техникума, работавшей в конце сороковых годов участковым агрономом и сумевшей отстоять семенное зерно, которое приказано было сдать в поставки. Девушка отобрала у председателей ключи от хранилищ, чему те обрадовались, и, сколько ни таскали ее в райком и райисполком, она стояла на своем, ссылаясь на закон. И вот весной, когда надо было сеять, только в колхозах этого участка оказались семена. Пришлось председателю райисполкома сказать на совещании, что в районе нашелся только один умный человек.

Когда я возвращаюсь домой, уже совсем темно. Женщины в мокрых пиджаках и кофтах гонят черных намокших коров. Светлеется булыжная мостовая. Из давно не чищенных, переполненных канав, растекаясь сквозь мураву на обочине, льется на тротуары вода. А на высокой мостовой сухо.

На город снова заходит гроза.

Далеко за полночь продолжается тяжкий грохот, и время от времени в черных стеклах окна, до половины завешенного белой занавеской, вспыхивает свет, освещающий на мгновение бревенчатые стены узкой моей комнаты.

\* \* \*

Сегодня только и разговору, что о вчерашней грозе.

Говорят о том, что пастух напился пьяным, остались одни подпаски, они побоялись гнать стадо, и потому так поздно встретили вчера женщины коров. И еще говорят, что шаровая молния ударила в Ивана Богослова на Идше, расщепила деревянный крест и опалила крытую лемехом маковку. А Михаил Васильевич, по обыкновению своему с превеликим шумом пришедший с улицы, отдышавшись и перестав стонать, принялся

рассказывать, как в деревне, недалеко от того места, где живет Капа, грозой убило его товарища, колхозного сторожа, с которым он еще в солдатах служил.

Печет солнце. Повсюду блестят лужи.

Сергей Сергеевич, к которому я зашел в кремль, в чертежную, приглашает ехать с ним в наш областной город. У него там сегодня доклад о реконструкции «хором для пришествия великих государей» — путевого дворца, выстроенного в семнадцатом веке на своем подворье здешним владыкой на случай приезда царя или кого-либо из членов царской фамилии.

Чертежницы, работающие у Сергея Сергеевича, собирают необходимые ему для доклада материалы. Я помню их еще девушками, всегда тщательно одетыми. А теперь они повыходили замуж и несколько огрубели, одеваются неряшливо, ходят в тяжелых, разношенных, запыленных туфлях, без чулок. Мне даже кажется, что и язык их стал грубее. Они говорят друг дружке, собирая чертежи: «Ложи сюда... Ложь на мой стол». А ведь каждая из них окончила десятилетнюю школу, училась на специальных курсах.

Для этих молодых женщин государством создан огромный аппарат, работающий изо дня в день, с утра и до ночи, — радио, печать, кино, библиотеки. Все это имеется даже в маленьком городе, все это им доступно, библиотеки и вовсе бесплатны, почему же они так удручающе неинтеллигентны? И насколько же интеллигентнее в сравнении с ними, да и без всякого сравнения, любогостицкий председатель, ходивший в школу только две или три зимы. С Иваном Федосеевичем можно, например, рассуждать о земле как о единственном незаменимом средстве производства или же вспоминать трагические обстоятельства, при которых князю Юрию пришлось начинать битву с татарами на реке Сити, столь печально окончившуюся.

Этими своими мыслями я делюсь с Сергеем Сергеевичем уже в поезде.

Сергей Сергеевич вспоминает, как он выговаривал чертежницам, поленившимся вычертить Ивану Федосеевичу проект дома, который тот облюбовал для себя в строительном журнале, и как одна из них, оправдываясь, сказала, что им недосуг и что беды не случится, если председатель колхоза подождет. Сергей Сергеевич возразил, что ему неудобно перед Иваном Федосеевичем, человеком почтенным и всеми уважаемым. Тогда другая чертежница осведомилась, чем, собственно, так уж замечателен любогостицкий председатель? На это Сергей Сергеевич ответил, что Иван Федосеевич, например, обо всем имеет свое мнение. «Значит, он начальство не уважает!» — нисколько не сомневаясь в своей правоте и сознавая собственное над Иваном Федосеевичем превосходство, осуждающе воскликнула молодая женщина.

Меж тем в вагоне темнеет. Поезд идет под огромной, низко нависшей, угольно-дымчатой, слоистой, клубящейся тучей. Слева от нее до самого горизонта небо матово серебрится, а справа, рядом с нею, протянулась светлая, как бы светящаяся полоса. Должно быть, из-за соседства с этой чуть желтоватой полосой туча здесь чернее, она — иссиня-черная. Стремительная ломаная молния пробегает по туче, и одновременно, на короткое мгновение, вагон освещается металлической сиреневой вспышкой.

Земля под тучей светло-зеленая. По яркой этой зелени изо всех сил скачет рыжий теленок. Тяжко обрушивается обломный дождь. Все вокруг мутнеет, горизонт дымится, у самой земли как бы встает туман.

Но вот поезд бежит уже под светлым небом. В полях блестят дороги.

Интеллигентность, говорю я Сергею Сергеевичу, продолжая наш разговор, мне кажется, начинается с того, что у человека обо всем есть свое, выработанное им, быть может, даже выстраданное суждение, тогда как

мещанин, напротив, руководствуется так называемым общепринятым мнением, расхожей истиной, не обременяющей ни ума, ни совести.

Приезжаем мы далеко за полдень.

Мокрый город, слегка курясь, сияет под солнцем.

Хоромы для пришествия великих государей лет около восьмидесяти тому назад были перестроены в винный склад; при этом понадобилось обрушить своды и разобрать до подоконников второй этаж, где находилась большая одностолпная Красная палата. Под нею с точно таким же, но только более массивным столпом посередине, от которого расходятся кружальные своды, помещалась поварня. Из поварни в Красную палату по внутривстренной лестнице подавались кушанья к царской трапезе. Поварня и расположенная рядом хлебня, кордегардия, большой зал с открытой наружу аркой, куда в ненастье въезжали подводы с провизией и где они разгружались, уже реставрированы, как и прочие помещения первого этажа. Что же до второго, то от линии подоконников он еще только восстанавливается.

Сергей Сергеевич говорит о различии между реставрацией и реконструкцией, о том, что первая означает выправление, очищение от последующих напластований, отчасти даже восстановление того, что утрачено, тогда как вторая имеет своей целью полное воссоздание исчезнувшего.

Мое внимание привлекает не эта, специальная, часть доклада, где речь идет еще и об особенностях изобретенного русскими строителями кружального свода, и о других инженерных подробностях. Мне интересно, когда Сергей Сергеевич принимается рассказывать, как выглядели хоромы, особенно второй этаж с его гульбищем, то есть открытой галереей, с переходами на кремлевские стены и к владычным хоромам,— как это все выглядело в дни приезда царя и царицы с царевнами, одетых в красочные костюмы, сопровождаемых нарядной свитой. Он говорит о тщательно разработанном этикете, где было точно установлено, в какой колокол бить, когда царский поезд въезжал в ворота, в какой после... На древних иконах, замечает он между прочим, где изображен рай, можно видеть эти прогулки по переходам и гульбищам, взятые художником из современной ему действительности.

\* \* \*

Утро в нашем областном городе,— только что политый асфальт набережной, и нависшие низко корявые ветви старых лип, полные круглых листьев, и черная, классического рисунка чугунная решетка, за которой блестит широкая, покойная, медленно вспухающая река. С реки едва тянет влажным холодком. Маленький буксир толкает баржу. Белые речные трамваи бегут вверх и вниз, пересекают реку от берега к берегу. За рекой и правее, за впадающим здесь ее притоком, в как бы пыльное небо уходят черные, и серые с желтизной, и совсем белые дымы. А позади лип, вдоль пустынной асфальтированной мостовой стоят в тени белые ампирные особнячки с колоннами, среди которых приглушенно пламенеет оранжевый, с белыми просветами в рустовке бывший губернаторский дворец. Как раз напротив дворцового подъезда, выдавшись вперед, поместился над откосом берега род балкона. Рассказывают, что здесь по вечерам в виду прогуливающихся по набережной горожан губернатор пил чай.

Вообразив идиллическую эту картину, я почему-то вспомнил некогда читанный мною дневник неизвестного священника, здешнего жителя, судя по некоторым записям, человека молодого, кроме священничества, исправлявшего еще обязанности учителя в различных учебных заведениях и в частных домах. Дневник начат им был весной 1808 года и окон-

чен поздней осенью 1812-го. Среди записей о том, как один дворянин подарил автору дневника целковый в благодарность за наставление его сына в гимназии, что было для него, учителя, диковинкой, или же о покупке 15 марта ведра пенного вина, какового, отмечено в соответствующем месте, стало только до 17 дня апреля, встречаются записи о совместных с преосвященным службах и о чтении при этом нашим попиком евангелия по-французски, о приобретении «шапки ушанью с променю старой», о первых словах любимого сына: «Поненя, котяка, такой...» Мирное течение жизни вдруг прерывается: «С начала июня месяца начала быть война с французами. Чем-то кончится». Оканчивается дневник, сколько помнится мне, так: «Любезное дитя, мой сын Евгений скончался. Болезнь его продолжалась целую неделю, сильная судорожная. Думаю, случилась она от простуды, случившейся во время бегства жены в Романов от всеобщего злодея».

Чаепития губернатора всем запомнились. А горе моего попики умерло вместе с ним. Впрочем, сострадав Акакию Акакиевичу Башмачкину, не сострадаем ли мы и миллионам ему подобных, о которых, употребив древнюю формулу, можно бы сказать: «Имена их ты, господи, веши».

Я иду в обком партии, рассчитывая повидать Алексея Петровича, бывшего секретаря райкома в Райгороде. Собственно, из-за этого я и ночевать здесь остался. Но Алексей Петрович, сообщает мне его секретарша, с сегодняшнего дня в отпуске. Я отправляюсь к нему домой, куда поспеваю как раз к той минуте, когда мой приятель, усевшись с женой и сыном в машину, собирается ехать в Любогостицы, к пригласившему его на весь отпуск Ивану Федосеевичу. Оказывается, он переехал туда еще в прошлое воскресенье, и сейчас там пока что домовничает его мать. Алексей Петрович предлагает мне ехать с ним, а уж из Любогостиц в Райгород меня как-нибудь отправит Иван Федосеевич.

У нас спустила резина, и мы сворачиваем на обочину. Сразу же становится нечем дышать. Мы выскакиваем из машины, от одного из колес которой протянулась по серому шоссе изогнутая черная полоса — с горячего асфальта как бы корка содрана. Шофер отправляет нас погулять. Мы с Алексеем Петровичем, перепрыгнув через заросшую канаву, над которой повисли тонкие, в светлой листве, ветки старых берез, идем некошеной луговиной. На сухом склоне за канавой краснеют ягоды земляники, совсем мягкие и теплые. А дальше стоят высокие травы, осыпанные мельчайшими желтыми, белыми и зеленоватыми цветочками. Оттуда идет жаркий запах. Мы останавливаемся, чтобы не мять траву.

Алексей Петрович, толстый, раскрасневшийся до малиновости, обеими руками отдирает от тела мокрую рубашку, потряхивает ею, вздыхает: «Косить... косить надо. Чего ждать-то!» Я рассказываю ему о своем разговоре с Иваном Федосеевичем, который убежден, что косить надо начинать, когда травы отцветут и обсемят луг. Алексей Петрович замечает, что к лугам у нас отношение как к божьему дару, а между тем к ним надо приложить труд — луг нужно и проробороновать, и подкармливать время от времени, и подсеивать. Но в области не осталось ни одного хозяйства, которое производило бы семена лугопастбищных трав.

Минут через двадцать мы приезжаем в Любогостицы.

Иван Федосеевич занимает большой, на две квартиры, дом, в котором до него обитали начальник тюрьмы и его помощник, — когда колхоз купил тюрьму, председатель посчитал необходимым приобрести в собственность весь дом. Сперва он поселился в одной половине, окнами на дорогу, затем, должно быть тишины ради, переехал в другую, к великому огорчению матери, которой было интересно поглядывать в окошко на проезжающих. Из-за этого последнего Иван Федосеевич снова переехал...

Переезды эти ему наконец надоели, и он соединил обе квартиры дверью, причем зимой все равно живет в одной, а нынче летом вторую отдал Алексею Петровичу.

В полутемной и прохладной от деревьев за окнами провинциальной зале, куда мы входим, встречает нас мать Алексея Петровича, тихая старушка в очках, кажется, бывшая ткачиха, — она сидела с газетой у окна, и мне вспомнилось, как Алексей Петрович рассказывал, что первым его комсомольским поручением было научить мать грамоте и что читать она выучилась, а вот писать не умеет, потому что не было у нее практики.

Алексей Петрович велит матери нарвать луку к закуске, и, когда она приносит его, он выговаривает ей, зачем она нарвала этого, а не другого: ей ведь с первого дня сказано, что этот лук на товар посажен, этих гряд трогать не надо. Старуха, не возвышая голоса и не оправдываясь, говорит: «Не надо было, я и не рвала, а теперь понадобилось».

Приходит Иван Федосеевич. Он приглашает нас прогуляться, покамест не поспел самовар, но Алексей Петрович отказывается, и мы отправляемся с Иваном Федосеевичем вдвоем. Мы ходим с ним под липами возле дома, и он, показывая на светлеющий вдоль границ участка недостроенный забор, говорит, что лес он сам напилит на колхозной пилораме и столбы, пока позволяло время, ставил с зятем часов до девяти утра, а теперь ему недосуг доделывать — придется нанимать «шабашников». Со свойственной ему увлеченностью он объясняет мне, где у него будет яблоневый сад, где огород и как он устроит промывную уборную, причем, сколько я понимаю, интересуется его не выгода или удобства, какие он получит, а самый процесс придумывания и возможность осуществить замысел. Он точно так же рассказывает о постройках на хозяйственном дворе колхоза, расположенном через дорогу, где над рекой, на месте старой избы, в которой он жил несколько лет назад, протянулся гараж с шестью или семью воротами, желтеющими в белой стене из силикатного кирпича. К гаражу примыкает длинный навес на кирпичных столбах — для комбайнов и тракторов. Здесь будет и мастерская, говорит Иван Федосеевич, и бокс, и яма: ни к кому обращаться не станем с ремонтом, разве что с капитальным... Он предлагает мне посмотреть постройку.

Когда мы входим на хозяйственный двор, где посреди черной, глубоко взрытой колесами грязи гудят отправляющиеся в рейс тяжелые грузовики, председателя окликает тощая бабенка лет тридцати двух, а может, и сорока. Под темным ее платишком свободно висят плоские груди. Подоткнутый подол открывает до колен забрызганные грязью босые ноги с торчащими косточками щиколоток. Покамест мы шли сюда, я слышал, как она энергичным, резким голосом что-то приказывала нескольким молодцам, грузившим машину. Вот об этом своем деле она и говорит сейчас Ивану Федосеевичу. Председатель разговаривает с ней уважительно, не то чтобы приказывает, скорее советует взять не еловые бревна, а осинку, и она сразу же, пронзительно и чуть выпевая окончания слов, кричит через весь двор молодцам в машине: «Эй, слышь, еловые-те не берите... Осину надо брать!» Я смотрю на нее, почерневшую от постоянной работы на ветру и на солнце, жилистую, потную, некрасивую, и вдруг прихожу к мысли, что она очень симпатична мне этой своей энергией, самозабвенностью.

\* \* \*

Начало восьмого... После томительно жаркого дня из-за озера, со стороны Рыбного, стала заходить гроза. Небо там темное, сизое, молнии то освещают его розовым светом, то прошивают сверху донизу ломаными белыми линиями. Озеро лежит зеленое, бутылочное, с белыми барашками, стремительно вскипающими за рядом ряд и бегущими к городскому берегу. На городской стороне солнечно, светло, небо здесь голубое.

Мы гуляем с Сергеем Сергеевичем по крепостному валу.

Стены кремля, и башни, и храмы над стенами, недавно побеленные, тепло светлеются, на плоскостях их и округлостях отчетливо видна каждая архитектурная подробность — бойницы, варовые щели, карнизы, наличники, колонки и арочки аркатурных поясов. Свет сейчас мягкий и тени неглубокие, они не контрастируют, а только лепят объемы. На единственной золоченой маковке самой высокой, владычной церкви, на золоченых крестах и подзорах, на повернутых в одну сторону золотых прапорах башен и дымоходов лежат оранжевые блики, — точнее сказать, только на выпуклом боку маковки горит блик, а все остальное золото слегка блестит.

Падает несколько капель. Еще несколько...

Мы решаем вернуться в башню к Сергею Сергеевичу, прибавляем шаг, идем еще быстрее, подгоняемые все более частыми каплями. И вдруг обрушивается ливень. Мы бежим садом вдоль кремлевской стены. Высоко над нами, где-то под кровлей перехода, отчаянно, испуганными голосами кричат воробьи. Воздух полнится беспорядочным шумом их крыльев и криками, которые слышны сквозь шум ливня и листвы над нашими головами.

\* \* \*

И опять жарко с утра. Я достал заткнутый за электрический провод на стене снопок высушенных трав, собранных с Николаем Семеновичем во время «урока ботаники». Я перебираю их. В нагретой солнцем комнате запахло вдруг миндалем и пылью — или, проще сказать, степью. Это донник желтый так пахнет. В который уже раз мне подумалось, что о каждом таком растеньице, о каждой травинке, растет ли она в степи или в лесу, в лугах, вдоль дорог, на болоте, сорняком на пашне или в огороде, человеку известно все и что опыт этот приобретен не просто наблюдениями, а вследствие голода, болезней, гибели животных...

Тысячелетиями складывалась эта библия, записанная ботаниками: «Козлятник лекарственный. По берегам рек, на лугах, по балкам и опушкам лесов. В народной медицине применяется как мочегонное и потогонное, для лечения диабета, для усиления секреции молока. Золотарник обыкновенный. По кустарникам, лесам, полям, дорогам. Вредно для животных, вызывает заболевание печени».

Мы едем с Иваном Федосеевичем в лес, на колхозную лесосеку, куда он звал меня давно. По дороге Иван Федосеевич предлагает вдруг остановиться в Доме инвалидов, заведующий которого будто бы давний его приятель. Я был уже здесь однажды, когда приезжал к Капе. Мы въезжаем в широко раскрытые ворота большого двора, пустынного, белого от солнца, и едва успеваем выйти из машины, как навстречу нам из конторского вида домика устремляется коренастый, присадистый мужчина в сияющих сапогах и защитной суконной гимнастерке — заведующий, как я догадываюсь, — и приветствует нас радостными восклицаниями. Можно заметить, что он не очень твердо стоит на ногах. Сквозь запах одеколона и сапожной ваксы отчетливо различим водочно-луковый дух. Он вводит нас в контору и представляет мрачному малому лет тридцати и круглолицему, белокожему, скопческого обличья подобострастному старику как лучших своих друзей.

Малый поднимается несколько принужденно. А старик вскакивает с места, ахая и охая; захлебываясь, кудахча и закатывая глаза, приговаривает: «Какая радость, какая честь!..» Впрочем, оба они как-то очень тихо и быстро ретируются. Хозяин тем временем приглашает нас в соседнюю с конторой комнату, такую же чистую, побеленную, где вдоль стен помещаются две узкие койки со свежим бельем, с подзорами и взбитыми

подушками, а между койками — столик с почти пустой водочной бутылкой черного стекла и тремя мутными гранеными стаканчиками, из которых один недопит. Стоят еще три тарелки с остатками окрошки. Валяются хлебные корки. Стол засорен чесночной шелухой, среди которой встречаются шуплые зубки.

Хозяин извиняется, что уже выпил. У него, говорит он, день рождения — пятьдесят семь стукнуло. Он садится на заскрипевшую под ним табуретку, приглашает и нас сесть. Есть в его внешности что-то южное — в загорелости, в черных волосах с едва поблескивающей сединой, в бритой крепкой шее, в шумном этом гостеприимстве, я бы даже сказал — хлебосольстве, при всей скудости стола. Нетвердой рукой он разливает остатки водки — выходит вместе с недопитой стопкой по полстопки на брата. Он предлагает выпить, радушно поводя руками над столом. «Вот тут у нас закусочка, — говорит он и, как завзятый гастроном, перечисляет: — Окрошечка, чесночок...»

Он вихляется на табурете, жмурится, поглаживает волосы.

Не то чтобы хвастая, а как бы вводя нас в курс, он рассказывает, что ежегодно расходует ни много ни мало пятьсот с лишком тысяч рублей, не считая продуктов подсобного хозяйства, что сеет он порядочно овса и лошадей кормит одним овсом — зато и везут в любую распутицу.

Иван Федосеевич спрашивает, много ли у него народу, и он отвечает почти по-военному, почти отдавая рапорт: «Списочного состава девяносто два человека, на сегодняшний день на довольствии девяносто человек и сорок человек персонала». После этого он вздыхает, жалуется, что у него создалась тут сложная обстановка. Когда я спрашиваю, что у него случилось, он говорит озабоченно, что фельдшера в отпуск отпустил.

Он несколько раз говорит об этом, пока Иван Федосеевич не перебивает его: «Полно тебе, заладил, расскажи лучше, как живешь». И тогда он говорит, что живет хорошо, получает шестьсот девяносто, пятьсот отдает жене, она у него в Райгороде живет, а сто девяносто оставляет на питание. Жена, сообщает он, в парикмахерской работает, может быть, мы ее видели — на рынке. При этом он нежно улыбается. С еще большей нежностью рассказывает он о детях. Сын — в армии, капитан, а дочь — студентка. Кончила школу — только две пятерки, нет — две четверки. По физике... Нет, по английскому четверка и по математике. «И она у меня — фьюить. — Он делает широкий плавный жест... — Экспромтом. В институт».

«Вот мы с ним, — принимается он вспоминать, — с Иваном Федосеевичем, мы вместе начинали. Он председатель колхоза, и я — председатель. Я сам колхоз организовал — на базе кулачества. Год был председателем. Ох и раскулачивал я здесь... Ох и раскулачивал... Как класс. Твердо».

Больше ничего он и не говорит, только повторяет эти несколько слов. Он сидит, поворотясь к Ивану Федосеевичу, и мне видна лишь его короткая, широкая, хорошо выбритая красная шея.

Вдруг он заявляет, что ему полагается персональная пенсия. Он говорит, что все документы уже оформил. «Хочешь, — спрашивает он Ивана Федосеевича, — сейчас покажу». Он срывается с места, чтобы бежать в контору, но Иван Федосеевич останавливает его: «Зачем я буду чужие документы смотреть!» Тогда он садится, сразу как-то обмякает, бормочет: «Персональная... шестьсот рублей... — Затем, оживившись, признается: — Боюсь подавать. — И произносит шепотом, с хитрой улыбкой: — Опасаюсь».

Мы собираемся ехать, и он провожает нас, зовет в гости, говорит, показывая на койки, что ночевать есть где. Во дворе, показав на несколь-



ко ободранных кустиков и жалкий цветничок за грубым заборчиком, он замечает: «Садик. Отдохнуть можно». Он говорит, что у него тут озеро, спиннинг есть, фьюить, на тридцать метров. И опять вспоминает, обнимая Ивана Федосеевича: «Помнишь в тридцать седьмом? Всех пересажали... Я здесь один остался за всю советскую власть. Звоню Венке Малафееву — принимай исполком, а я все отделы. Ох и шуровали мы с ним вдвоем! Твердо! — И снова шепотом, с хитрой улыбкой: — Опасаюсь по-давать».

При этих последних словах он прикладывает палец к губам.

У ворот, прислонясь к верее, стоит паренек лет шестнадцати, без шапки, стриженный, в серой «приютской» одежде. Увидев нас, он мгновенно подтягивается, замирает, стоит смиренно. Иван Федосеевич кладет ладонь на его голову, спрашивает: «Ты чего, сынок?» Паренек мотает головой, показывает пальцами на рот и уши — дескать, глухонемой.

Уже в машине я говорю Ивану Федосеевичу, что приятель его, думается мне, подопечным своим внушает ужас. Помнится, Капа рассказывала, что однажды ему устроили темную. Хотя по-своему он, вероятно, заботится о них — во всяком случае не обворовывает. Вот у него день рождения, а он пил под инвалидскую окрошку и чеснок; мог бы приказать мясо жарить, или сделать яичницу, или послал бы на озеро рыбы наловить.

Иван Федосеевич соглашается, что заведующий Домом инвалидов, пожалуй, честный человек. Затем прибавляет: «Он вроде того козла — возле стога сена с голоду сдохнет». Я спрашиваю: неужели все то, что он здесь говорил, правда? «Конечно, правда», — говорит Иван Федосеевич. Он рассказывает, что когда этот его приятель был уполномоченным по раскулачиванию, то вошел в такой раж, что приходилось от него людей отбивать. В тридцать седьмом действительно стал он заместителем председателя райисполкома. Выше этого не поднимался. Сделали было его председателем райпотребсоюза, но он сразу проторговался, и тут все увидели — дурак. А с пятьдесят третьего он покотился.

\* \* \*

В соседней комнате, у Михаила Васильевича, сидит гость — ровесник его и старый приятель, с которым он еще в школе учился. Гость прибыл из Москвы, куда он переехал на жительство тридцать с лишним лет тому назад. Над городом только что прошла негромкая гроза, дождь то перестанет, то снова припустит, деваться мне некуда, ни работать, ни читать разговаривающие за стеной старики не дают, и я поневоле прислушиваюсь к их разговору. Гость рассказывает, что племянник, специально ездивший за ним в Москву, тут как-то поставил мотор и прокатил его по озеру, однако сиверко было, волна... Михаилу Васильевичу, сколько я понимаю, слушать про это неинтересно; он спрашивает, много ли народу в Москве, велико ли движение. «Идут и едут, ползут и лезут», — отвечает гость. Михаил Васильевич не в первый уже раз предлагает согреть самовар, но приятель его отказывается: «Я от чаю, замечаю, мало пользы получаю... Я знаешь, что пью, я шиповник пью с молоком». Должно быть, Михаил Васильевич не нашелся, что сказать; помолчав, он осведомляется: «Чего зубы не вставишь?» Гость говорит, что не хочет. «А я вставил да в кармане ношу», — со вздохом сообщает Михаил Васильевич.

В комнату, слышно мне, входит Дарья Васильевна. Гость говорит, что лук у нее, видел он, очень хорош: стрел нету. Дарья Васильевна, не часто в своей жизни слышавшая похвалу, как я могу догадаться, вся просияла. «Все оттого, что семена держу на печке», — объясняет она с достоинством и рассказывает, что сосед напротив купил нынче лук на рынке, так он у него весь в стрелку пошел. Она добавляет, не без желания похвастать своей осведомленностью, что этот ее лук уже не годится,

надо его менять. И, как бы снисходя к непросвещенности в таких делах столичного гостя, замечает: «Третья земля». Короткое это определение содржит в себе выработанную здесь в течение столетий крестьянскую науку о луке. Первая земля — это выращенный из чернушки, то есть из собственно семян, так называемый севок, вторая — полученный из севка выбороч, третья — выращенные из этого последнего товар и matka. А уж из матки, которую хранят не в тепле, как выбороч, а в холоде, чтобы лук стрелку дал, снова вырастет чернушка — семена таким образом обновятся.

Михаил Васильевич ворчливо говорит, что от лука в доме мошка заводится. «Мошка себя покажет», — возражает Дарья Васильевна, имея этим в виду то, что до мошки лук и не долежит, надо его перебирать. Старуха жалуется гостю, что хозяин не велит ей держать лук на печи, и Михаил Васильевич несколько смущенно оправдывается: «Она еще и чужой кладет». Дарья Васильевна, совсем осмелев, говорит, что и всего-то корзиночку положила соседка, места не унесла. «Добро сделал — не кайся, — рассуждает она, — а зло не воротишь». Но Михаил Васильевич наш привык, чтобы последнее слово оставалось за ним, и уже не сестре, а гостю говорит про соседку, что она такая: при тебе — по тебе, а без тебя — про тебя.

\* \* \*

В Ужболе, перед домом Натальи Кузьминичны, на пологой луговине, бывало выбитой, когда рядом в клубе помещалась контора, могуче раскустилась ромашка, не покрывая еще, правда, всей земли. Вообще улицы здесь, кажется мне, позаросли, и это результат «разжалованности» Ужбола, откуда переехало правление. В колхозе опять новый председатель, поскольку Ромку Глебушкина, заменившего года два назад всеми любимого и уважаемого Николая Леонидовича, пришлось снять, — едва став председателем, он принялся строить себе дом и попался в закупке краденого шифера. Нынешний здешний председатель, молодой агроном, сын адмирала, говорят, перевел правление в соседнее село Урскол, километра за четыре от Ужбола. Туда, однако, не проехать. Мостик через канаву в ложбинке разбит, перед ним и позади него валяются в грязи вывороченные машинами булыжины, а по обеим сторонам чернеют глубокие, заплывшие рытвины. Дико это выглядит посреди исправной, сухой булыжной дороги между двумя селами, входящими в один колхоз. Обезопасить мостик я не рискую, а идти пешком мне что-то не хочется, да и дел у меня в Урсколе никаких нет, вернусь-ка я в Ужбол.

Тетка Лизавета, когда я говорю ей, что нового ихнего председателя все хвалят, не то соглашается со мной, не то возражает: хвалить-то его хвалят... Затем, оживившись, принимается вспоминать: «Николай Леонидович наш, бывало, косить мы идем, встанет часов в пять, стоит где-нибудь так, что и ему всех видать и он всем виден — народ-то и поторапливается. А сейчас и в восемь выходят и в девять. Никогда не ругался он, черного слова от него не слышали, зато уважали».

«И этот не ругается, — замечает ее дочь Сонька. — Он так и сказал на собрании: не ожидайте, что я вас по-матерному буду ругать». Рассказывает она об этом с иронией, хорошо понимая, что молодой агроном и в мыслях не держит, чтобы колхозники стали работать без подобного поноуждения, однако прибегать к нему в силу культурности своей считает зазорным, о чем и ставит их в известность, дабы в них пробудилась совесть.

«Да мы и не видим его, — говорит тетка Лизавета. — Вот и председатель у нас агроном, — принимается она рассуждать, — и зоотехник есть, и еще агроном по полям... А силос закладывают не знай как. Я ведь знаю, я возле этого жизнь прожила. Силосуют клевер в ямах, очень хороший

клевер, сверху заваливают землей... Сонька вон возит зимой силос, говорит, на метр он испорченный. Надо бы сверху клевера той же травы с озера положить. Я Ване Сурикову, бригадиру нашему, говорила: пошли ты баб с серпами на озеро, они-те нажнут травы. Если и пропадет трава, не жалко — не клевер. Так ведь разве он меня послушает».

«Какой-то неразвязный он,— говорит Сонька,— ни слов, ни дела»

«Не надо бы и ставить его бригадиром,— как бы оправдывая Ваню, говорит Лизавета,— он ведь шофер, он в сельском хозяйстве не понимает, да он и не хотел, отказывался, а его заставили — коммунист, говорят»

«Какое-то неживое он существо»,— стоит на своем Сонька.

Лизавета меж тем рассказывает, что решили они косить сперва озерину — то есть приозерную пойму,— чтобы всю ее выкосить и приняться за пожню. Пошли мужики, косили, потом спрашивают Анку, жену Вани: какая норма? И на другой день ни один не вышел. Только бабы пошли.

«Велика норма?» — спрашиваю я сочувственно.

«Норма-то невелика, да трудодень мал... Оплата мала».

Затем, должно быть, вспомнив, как я сказал о председателе, что его хвалят, тетка Лизавета говорит, что, может, он и хороший, только мы его ни разу не видели, он заявил: если кому надо — в контору придет. Она осведомляется, побывал ли я уже в Усолах, и с гордостью говорит, что Николай Леонидович какой хороший дом себе построил.

Я возвращаюсь домой, в Райгород, и всю дорогу нейдут у меня из головы слова тетки Лизаветы: «Я возле этого жизнь прожила...» Конечно, разбитый мостик посреди исправной дороги, и некоторое количество испорченного силоса, и то, что из-за невысокой оплаты мужики не стали косить озерину,— все это в глазах приехавшего из столицы агронома, волею начальства ставшего здесь председателем, досадные упущения, мелочи. А для тетки Лизаветы, и Соньки, и всех, кого я только знаю в Ужболе, подобные мелочи, дурные ли они, хорошие ли, и есть жизнь.

\* \* \*

Ночью снова была гроза. Она ходила где-то вокруг города, скорее всего вдоль противоположного берега озера. Грома не было слышно. От времени до времени в тишине вспыхивали молнии. Лил ровный дождь.

А с утра пасмурно, тепло. Сеется мелкий парной дождик. Он то перестанет, то снова польет, усилится и вдруг опять перестанет. Земля повсюду черная, и на грядательно разделанных грядках — на площади перед Дмитриевским монастырем, во дворах, везде, где только можно копать, — промытые дождем, ярко зеленеют листочки огурцов, сквозные султанчики моркови, перья лука. Дождь чисто промыл и асфальт в центре города. Вдоль тротуаров здесь прежде росла низкая муравка, и это не от бедности земли, а от вытоптанности ее, сбитости. Сейчас, имея в виду посадить цветы, горкомхоз поставил между тротуарами и мостовой невысокие чугунные загородки.

На рынке весело от петрушки, редиски, моркови и луку.

Сергей Сергеевич, которого я встретил здесь, про минувшую ночь говорит — воробьиная. Я представляю себе, как тихие молнии освещали время от времени его круглую башню с пятью ее узкими окнами, откуда видно и озеро с заозерьем, и Дмитриевский монастырь вдалеке на мысу, и огороды под кремлевской стеной, и древние палаты совсем близко.

Часу в шестом вечера, когда давно уже разведрилось и все просохло, на пустынной ради воскресенья главной улице, недалеко от Каменного моста, построенного лет сто назад через древний крепостной ров, одиноко кружит на велосипеде приезжая, должно быть девушка. Черные ее

волосы, туго связанные у затылка, приподняты и свисают конским хвостом. На ней красная, в крупных цветах кофта распашонкой. Широкий зад, обтянутый синими, чуть ниже колен, брюками, плотно поместился в седле. Лицо у девушки широковатое, загорелое, несколько монгольское. Вся она вызывает представление о горячей степной кобылице.

А по тротуару, взяв друг дружку под руку, в нарядных платьях и раздушенные, идут шеренгами в городской парк вчерашние подростки, вперые обувшие туфли на высоких каблуках, перешептываются, хихикают, поглядывая на мотающийся хвост и голые икры велосипедистки.

\* \* \*

Мать Ивана Федосеевича, согнутая под прямым углом старуха лет восьмидесяти, катит от реки тачку с только что выстиранным бельем. Она и усадьбу сама обрабатывает, и стряпает, и примывается, как здесь говорят, то есть моет полы. Иван Федосеевич рассказывает, что мать молит бога, чтобы бог дал ей работать до самой смерти. Это не от нужды, конечно, и не жадность тут, а привычка, потребность, какой является потребность мыслить.

Мы едем в Угожи, где в сельском Совете у Ивана Федосеевича сегодня прием избирателей. Когда мы въезжаем в село, внимание моего приятеля привлекает одноэтажный кирпичный дом, в котором не то ремонт идет, не то его перестраивают. Иван Федосеевич останавливает машину, спрашивает прохожего мужика, что это за постройка. Мужик отвечает, что здесь баня будет. «Не тут надо бы баню ставить,— говорит Иван Федосеевич,— а вон там, где сток. Куда у них тут грязная вода пойдет?»

День стоит жаркий, по-настоящему летний, пыльный.

Большое, торговое в прошлом село протянулось длинной улицей вдоль озера. Другая улица, покорооче, пересекает первую и ведет к пристани. В месте их пересечения образовалась просторная горбатая площадь, сбоку которой возвышается закоптелая церковь, где лет двадцать помещались мастерские МТС. Другая церковь виднеется вдалеке, на пригорке, откуда к озеру опускается луг. Дома в селе по большей части старинные, с полукруглыми окошками под двускатной кровлей, иные в два этажа, каменные или с нижним каменным этажом, встречаются с мезонинами, с узкими, о восьми стеклах окнами, с рустовкой, и эти последние напоминают скорее дворянские постройки, нежели крестьянские.

Иван Федосеевич предлагает зайти в аптеку, выпить боржому.

В аптеке тихо. Желтые застекленные шкафы с банками и скляночками отражают солнце. Две женщины, из которых одна немолодая, сухонькая, а другая — девушка, неслышно движутся среди поблескивающего или же сверкнувшего вдруг летучим блеском стекла. Пахнет лекарствами, травами.

Мне нравится здесь. Я могу предположить, что Иван Федосеевич не столько даже пить хотел, сколько ощутить то чувство освобождения от первобытных неудобств, во множестве еще существующих в деревне, какое почти незнакомо обитателям больших городов.

Сельсовет помещается в двухэтажном доме, который прежде принадлежал купцу, среди прочих своих дел державшему еще и пароходы на Волге. Первый этаж занят архивом, в одном из его помещений сваливают дрова, а собственно сельсовет — во втором. Потолки здесь низкие, лепные, с тяжелыми выпуклыми кругами в центре, где крюк для лампы. с подсобием колбас по карнизам, причем сам потолок выкрашен белой масляной краской, а лепнина — белой с голубой. В общей комнате, в углу, поблескивает кафельная печь, в другом — стоит огромный, с часозню,

гардероб, весь в мягко изогнутых линиях. Комната вся пряничная, кустодиевская.

Посетителей никого нет. Пахнет пылью, чернилами.

Старообразная девица трудится за столом.

Навстречу нам выходит из своего кабинета председатель, меньшей брат Ивана Федосеевича. Он был председателем колхоза здесь же, в Угожах, но в прошлом году колхоз объединили с соседним, правление которого помещалось в Ржищах, присоединили к ним еще три, назвали это огромное хозяйство «Россия», поставили во главе его Кирилла Федоровича Чернова из Ржищ, а Павла Федосеевича, не в пример брату человека тишайшего, направили на советскую работу. Павел Федосеевич принадлежал к числу тех председателей колхозов, которые хотя и не радуют местных руководителей какими-либо выдающимися новациями или же обязательствами, зато неукоснительно выполняют все их распоряжения. Был он честен, шибко не пил, если не считать, впрочем, того случая, когда ему, немолодому уже отцу трех или четырех дочерей, жена вдруг родила сына. Прямо из родильного дома он отправился в чайную, где до того усердно праздновал, что потом, повстречав возвращавшихся с лесозаготовок колхозников, ввалился к одному из них в розвальни, отобрал у него вожжи и с гиканьем, с песнями покатыл центром города. Здесь на беду его встретились ему заезжие иностранцы, любители русской старины. Они охотно оставили древнюю архитектуру и живопись ради загулявшего мужика в розвальнях, принялись его фотографировать, а он, шупленький, морщинистый, однако сияющий, в расчищенных хромовых сапогах, в новой фуражке, распространяя вокруг запах цветочного одеколона и пудры, мешавшийся с винным перегаром, приглашал прокатиться с ним, звал в гости. После этого случая, думается мне, улыбка его стала еще виноватее, застенчивее.

Павел Федосеевич перечисляет упраздненные сельсоветы, которые входят в нынешний угожский сельсовет, и они с братом сходятся на том, что получилась примерно бывшая волость. При этом Иван Федосеевич с присущим ему практицизмом осведомляется, много ли больше стали теперь платить. Брат отвечает ему, добавив, смеясь, что если бы у него было еще тридцать пять человек, то получал бы он в месяц на сотню больше. «А ты мертвых душ прикупи!» — в свою очередь смеется Иван Федосеевич и принимается рассказывать, к удивлению моему, не гоголевский сюжет, а некий житейский случай, как уверяет он, использованный Гоголем.

Братья вспоминают старину, правда, не столь уж давнюю. Они говорят о владельце этого дома, как он в первые же дни революции продал все свое здешнее имущество и куда-то исчез, а потом объявился в Питере советским служащим. Говорят они и о других местных воротилах, поминая то и дело Берлин, Гельсингфорс, Варшаву... Называют и Швецию. Во все эти места из Угож шел лук, горошек, чеснок, цикорий. Отправляли и производившееся здесь мятное масло. У одного угожского старика старший сын сидел в Берлине, откуда слал телеграммы: по такому-то адресу отгрузить того-то столько-то пудов, а того-то — столько. Павел Федосеевич напоминает Ивану Федосеевичу, как старик этот поместил в газетах объявление: «Сыновьям моим кредита не открывать...» У него еще был сын в Питере, отчаянный ни рок. Берлинский-то и прискакал домой, обиделся, почему отец написал «сыновьям», а не указал, какому сыну. Он и отделился тогда, соглашается Иван Федосеевич. Речь заходит еще об одном здешнем мужике, управлявшем зеленым делом в Гельсингфорсе и женившемся на шведке. После революции он приехал с женой и детьми в Угожи — дети его плохо знали по-русски, — но потом вернулся в Финляндию.

Любопытно, что все эти дельцы, продававшие лук или горошек всюду, где это было выгодно, держались все же деревенского дома. Иные из них оставались здесь чуть ли не до коллективизации. Иван Федосеевич рассказывает об одном таком предпринимателе, жившем как раз напротив него. — девочки его дразнили девочек Ивана Федосеевича: «коммунистки... коммунистки», на что те отвечали: «буржуйки... буржуйки». Он успел ликвидировать все свои дела перед самым раскулачиванием и отбыл в Москву. Вспоминаю и я предприимчивую владелицу хутора в бывшей Черниговской губернии, которая, все распродав, сидела со своими дочками до тех пор, пока откармливаемый ею кабан не достиг кондиционного веса. Когда однажды утром приехали ее раскулачивать, на снегу посреди опустевшего подворья чернела и курилась теплая еще солома, на которой палили кабана.

Приемные часы Ивана Федосеевича меж тем истекают. Можно было заранее сказать, что в такой день, как сегодня, в самый сенокос, никто на прием к депутату не придет. Но я не знаю случая, чтобы Иван Федосеевич манкировал своими общественными или партийными обязанностями.

Посидев еще немного, мы уходим.

Иван Федосеевич по обыкновению своему решает посмотреть, нет ли чего нужного в здешних лавках. Он иной раз привозит из таких поездок то гвозди, то скобы или навески. Мы идем с ним в так называемую верхнюю лавку, промтоварную, а есть еще и нижняя, продуктовая, на берегу озера. Перед лавкой, стеклянные двери которой прикрыты по случаю учета, толпится народ. Пускают только старух, пришедших за гарным маслом для лампадок. Пустили, однако, и нас с Иваном Федосеевичем. Он спрашивает дверные скобы и шеколды, но их нет, тогда он приценивается к кровельным материалам.

Тем временем я вдыхаю запахи пеньковых веревок, хомутов и седелок, чуть кислотатый запах стали, исходящий от серпов и кос. Вспоминается бесконечное летнее утро в детстве, настезь раскрытые двери каменных амбаров в глубине длинного двора, откуда, из сумеречной их пустоты, все еще тянет хлебом, хотя прошлогоднюю пшеницу хозяин ссыпки давно уже вывез, а новая только поспевает. Амбары сложены из белого известняка, укрепленного кирпичными столбами. Внизу, возле фундамента, известняк стал зеленым и как бы плюшевым, кое-где здесь белесо желтеют в тени колокольчики страшной белены, а несколько дальше, на припеке, во множестве тарачится веселая кульбаба — сорвешь ее золотой цветок, расщепишь на четыре части стебель, возьмешь в рот и побежишь с диким криком: «Кульбаба... кульбаба», и от этого колдовского слова концы расщепленного стебля завьются. А потом бабушка соберется на базар. На базаре тесно от подвод. Из-под лошади ударяет вдруг в замусоренную землю теплая пахучая струя. Звенят, когда шелкают по ним пальцем, глиняные горшки. Безучастно лежат в пыли связанные куры, от которых не набрать бы вшей. Мужики в свитках и смазных сапогах озабоченно выбирают веревки, подпруги, гужи и тоненько поющие синие косы. Конца не было этому утру и жаркому тихому провинциальному летнему дню.

Иван Федосеевич окликает меня, зовет в нижнюю лавку.

Нижняя лавка занимает первый этаж двухэтажного полукаменного дома окнами на озеро, сбоку к ней примыкает протянувшийся к озеру же кирпичный лабаз, образующий вместе с лавкой уютную зеленую площадь. Здесь тоже полно народу, открыта только одна створка двери, и мы решаем, что и здесь сегодня учет. Приятель мой, улыбнувшись, осведомляется: «Можно ли взойти?..» — «Можно, можно!» — расступившись и пропуская нас, говорят мужики, по большей части из тех, какие имеют обыкновение околачиваться возле сельских лавок, своего рода клубов.

Кто-то не без подобострастия добавляет: «Таким дорогим гостям да нельзя!»

В лавке полутемно. Пахнет всякого рода бакалсей. От низко нависшего бетонного потолка и от толстых кирпичных стен идет приятный в такой жаркий день холодок. Две продавщицы торгуют за двумя прилавками. Одна продает селедки, масло, соль, колбасу... Другая — вина, сахар, конфеты, пряники. В продаже есть крупная свежая клубника, почти вдвое дешевле, чем в городе. Иван Федосеевич интересуется, откуда она, и продавщица отвечает, что из совхоза. Девушка при этом просит извинить, что ягоды немножко в земле — ночью здесь был сильный дождь. Она то и дело спрашивает, не предложить ли нам этого, не угодно ли нам того, говорит, что поступили болгарские голубцы. Иван Федосеевич рассказывает, как он великим постом кормил ими мать, сказав ей, что в голубцах одна капуста да каша. Старуха была очень довольна, радовалась, до чего хорошо у нее пост прошел, нисколько она не ослабла. Тогда Иван Федосеевич сознался, что в голубцах было мясо. Однако мать это ничуть не смутило. Мать спокойно заметила: «Ну-к что ж, грех на тебе...» Женщины, внимательно слушавшие рассказ любогостицкого председателя, соглашаются со старухой.

Иван Федосеевич, купив перцовки, колбасы, консервов и клубники, предлагает ехать в Скнятиново, к младшей его дочери Флоре, начальнику тамошнего производственного участка. Кстати сказать, я никак не могу привыкнуть к этому нововведению, учрежденному Кириллом Федоровичем Черновым, председателем колхоза «Россия», и Василием Васильевичем, тогдашним секретарем райгородского райкома. Самое слово «начальник», сдается мне, неуместно в колхозе, где хотя бы по идее, если и не всегда в действительности, каждый из членов — равноправный хозяин.

На выезде из села у самой дороги стоят два тополя с обломанными внизу сучьями и ободранными стволами. Пустырь позади деревьев, поросший лопухами и иван-чаем, полого опускается к пересохшей речонке Воробыловке. «Вот тут я и начал хозяйствовать, когда отделился,— говорит Иван Федосеевич.— Тополи эти посадил... И век жил бы, пахал бы землю, крестьянствовал». Он показывает через дорогу, где по заросшим буграм и ямам тоже угадывается брошенное жилье, и объясняет, что вон оттуда и кричали соседские девчонки его дочкам: «коммунистки», а те им отсюда: «буржуйки». Отец их приходил жаловаться, на что он ему возражал, что ведь так оно и есть: вы — буржуи, а мы — коммунисты.

Мы едем полями, мимо заросшего лука и невысоких, как бы обтерханных овсов, местами сплошь желтых от сурепки. Приятель мой неодобрительно помалкивает, потом говорит: «У нас чище». Но вот погнулись рослые, чистые овсы, сильный, кустистый картофель, хорошая пшеница и рожь. «Это уже Флоркин участок», — не без отцовской гордости заявляет он.

В Скнятиново, где мы останавливаемся посреди широкой зеленой улицы, я догадываюсь, что Иван Федосеевич не очень-то знает, где здесь живет его дочь. Он несколько небрежно спрашивает об этом у подошедшего к машине мужика в рубахе распояской. Мужик, торопясь и стараясь угодить, кричит, что «Флора Иванна во-о-он где проживают...» Едва только мы трогает с места, он бежит вслед за машиной, объясняя, что сейчас Флоры Ивановны нет дома, они уже с месяц времени уехали в отпуск. Иван Федосеевич, словно для него это не новость, нисколько не удивлен, с еще большей отчужденностью он осведомляется, проедет ли мы здесь на Васильчиково — в прошлом году село это вместе с двумя другими деревеньками присоединилось к любогостицкому колхозу. Мужик, сказав, что проедем, вдруг с простодушной радостью восклицает: «Вы ведь

Иван Федосеич!.. Я знаю!» Приятель мой не находит нужным ответить. Он отворачивается от мужика, и в этом его движении такая холодность, что мужик, расположившийся было потолковать с нами, быть может, даже проехать, чтобы вывести на правильную дорогу, в растерянности остается стоять посреди улицы.

Сразу же за Скнятиновом мы сворачиваем с проселка, некоторое время едем зеленой, не очень наезженной полевой дорогой, потом кочковатым лугом, потом снова проселком, неведь откуда взявшимся и куда ведущим, изрядно размытым недавними ливнями. Мы переваливаем затем через заросшую канаву, и мотор нашей М-29 при этом натужно ревет.

Жарко, хотя уже близок вечер. Пыль пробивается откуда-то снизу и ложится на серую ковровую обивку. Каждая кочка, каждая окаменевшая борозда и каждая рытвина побуждают машину то приподняться, то опуститься, причем вне всякого ритма. Иван Федосеевич, исхивший эти места пешком, много лет ездивший здесь на лошади, потом на велосипеде, по обыкновению своему сидит прямо, чуть приподняв голову, искренне полагая, сколько мне известно, что условия, в каких ему сегодня приходится ездить, не только современны, но и весьма комфортабельны.

Мы переезжаем вброд речку, потом еще раз переваливаем через канаву. «Ну, теперь мы дома,— говорит Иван Федосеевич.— Тут наши земли пошли». Дороги здесь все так же плохи, вернее сказать, их почти совсем нет, однако он вовсе оставляет попечение о том, где мы едем.

Справа за косогором виднеется Васильчиково. Нам следовало бы повернуть в ту сторону, но Иван Федосеевич приказывает шоферу ехать домой. Он говорит, что ведь и там, небось, празднуют, еще и в гости станут звать, а не пойти неудобно, и когда я спрашиваю, о каком празднике речь, объясняет: «Тифинская!» Я вспоминаю, что вчера, как я слышал в автобусе, и впрямь была «тихвинская», в деревне же имеют обыкновение праздновать два дня. Мне понятна теперь и некоторая восторженная расторопность мужика в Скнятинове, и даже то, почему приятель мой, оказавшись неподалеку от дочери, решил навестить ее. Разумеется, чудесное явление иконы божьей матери Тихвинской, обретавшейся прежде во Влахернах в Константинополе и будто бы при Дмитрии Донском приплывшей по водам Ладожского озера к реке Тихвинке, где впоследствии построен был монастырь, Ивану Федосеевичу глубоко безразлично, и все-таки он настолько крестьянин, что ходить по гостям в будни советится. А деревенские праздники, хотя суть их мертва для него, он хорошо помнит.

В Любогостицы мы приезжаем перед закатом. Иван Федосеевич зовет попить чаю. Приходит и Алексей Петрович, еще больше, кажется, располневший здесь, красный от свежего загара. Он рассказывает, что едва только встанет поутру — как сразу же с удочками на речку, никакого курорта не надо. Из кухни вдруг слышится пронзительный, хозяйский голос старухи: «Ну что же — поедете аль нет? Чего машина-то зря стоит!» Иван Федосеевич, смутившись и одним лишь взглядом давая понять, что перечить матери уж не стоит, поднимается с места: «Пошли, провожу».

Солнце садится багровое. Жара свалила, и в вечернем воздухе резко пахнет соками скошенной травы. Иван Федосеевич с удовлетворением замечает, что день выстоял. Оказывается, сегодня Самсон Сеногной. По примете, которая, сколько я помню, всегда сбывается, если на Самсона дождь, то сорок дней дожди будут. Алексей Петрович, вздохнув, говорит, что послезавтра уже Петров день, и, как водится, добавляет: «Петр-Павел час убавил, Илья-пророк — два уволок, а Иван Постный — три порснул». Последнее, признаться, я слышу впервые.



\* \* \*

Еловый лес за Козьмодемьянами. Светлеются и березки, кое-где и сосенки встречаются, но преобладает все же ель. В ельнике тенисто, паутина липнет к лицу, земля плотно выстлана сухой хвоей, сучками и серым, истлевшим листом, должно быть занесенным сюда осенними ветрами. Воздух между деревьями горяч и недвижим. Пахнет нагретой еловой корой.

А в смешанном лесу на полянах спит солнце и свободно ходит ветерок. Запах смолы здесь едва ощутим, мешается с запахами цветущих трав. Дрожат на ветру колоски, метелочки — то зеленые, то серебристые, то красноватые. Алеет липкая гвоздичка. Голубеют колокольчики.

Мы идем с Николаем Семеновичем сечей. Черные пни торчат из густой травы. В местах посуше, на припеке, возле пней полно земляники — ягоды как бы тают на солнце и выглядят мокрыми, такие они спелые. Николай Семенович замечает, что лес здесь рубили зимой, когда снегу было много, поэтому и пни высокие. «Безобразие это! — произносит он одно из самых крепких своих ругательств. — Сколько дров пропало».

Миновав сечу, мы входим в темный, замусоренный ельник. Елки здесь тонкие и высокие, они стоят тесно, с их коротких прямых веток почти до вершины хвоя осыпалась. Нас все время сопровождает треск легко обламывающихся, падающих нам под ноги сухих сучьев. Мы продираемся к светлеющему впереди полю, предполагая, что там дорога, и когда выходим к нему — останавливаемся, чтобы полюбоваться побелевшей рожью, которая слегка волнуется посреди обступившего ее леса. Николай Семенович говорит, что и овес уже выколосился... хорошее лето! А я смотрю на рожь и думаю о том, что так вот, в лесах, и начиналась Русь.

Потом, пока мы идем к шоссе, где нас должна ожидать наша машина, Николай Семенович, вспомнив, как я рассказывал ему однажды, будто донник, по мнению Ивана Федосеевича, завезли сюда из степи в колхозные времена, говорит, что относительно здешних мест он утверждать не берется, но в молотско-шекснинском междуречье, откуда он родом, донник был всегда. Вообще же, рассуждает он, местная сорная растительность весьма интересна, так как в прежние времена сюда привозили семена со всего света и вместе с семенами различные сорняки.

Я слушаю постоянного спутника моих прогулок и не первый уже раз дивлюсь тому, как это случалось в почти сплошь неграмотной стране, что из деревенского мальчика, единственным чтением которого был журнал «Русский паломник», с течением времени образовывался интеллигент.

\* \* \*

Андрей Владимирович, вернувшийся вчера вечером из поездки по заволжским колхозам, где появилась угроза подтопления земельных угодий, оказавшихся в соседстве с высоко поднятой плотинами Волгой, прежде чем ехать ему домой, в Москву, предлагает съездить в заозерное сельцо Кононово, откуда был родом его отец, сын тамошнего причетника.

В нескольких километрах от поворотка на Угожи мы сворачиваем с сурзальского большака, томительно долго, проваливаясь то одним, то другим колесом в колдобины и подняв желтую пыль, едем проселком, потом, остановившись около закрытой лет тридцать назад церкви, некоторое время бродим по затоптанному, заросшему репьем кладбищу, где и следа не осталось от могилы причетника, после чего трогаемся в обратный путь.

На выезде из какой-то деревни мы сажаем попросившуюся в машину старуху. Собственно, это она показалась нам старухой, а всего-то ей лет пятьдесят с немногим, и была она, видать, хороша собой. Она с этого и начала разговор, заявив, что не годы ее состарили, а горе, и с уверен-

ностью привыкшего к известности человека сказала, что мы, наверное, слышали о ней — ее сын три года назад убил двоих своих детей. Она выжидала, какое это произвело впечатление, затем стала рассказывать.

Было это как раз в Петров день. Сына нарядили возить лес, а не должны были наряжать. Он обиделся и напился в лесу: сперва русского выпил, потом стал пить самогон, потом «черта»... Это денатурат, по-здешнему. От него он и осатанел. Приехал домой, а жены дома нет, пришла мать, с детьми сидит. Жена у него — по деревне первая красавица, он к ней в дом вошел. Только непутевая она. И он непутевый. Жили они плохо. А детей он любил, и дети его любили. Мальчики были — одному год, другому три. Как взошел он в избу, они обрадовались, повисли на нем, ласкаются. А он ходит по дому пьяный, но не ругается, и она за ним ходит — уговаривает его лечь, но он ничего, не сердится, не отправляет ее прочь. А уж вечер, стадо гонится... Мать и пошла домой.

Вдруг — кричат на улице. Она выбегает, видит — сын откуда-то скачет на лошади. Будто бы он к озеру скакал, да передумал, вернулся и полез в пруд. А пруд — мелкий. бродит он в нем, хлебает грязную воду, никак не утонит. Лучше бы уж он в озере — там бы утонул.

Тут ей и приди в голову — дети! Побежала к нему домой...

Он ведь как боялся крови, видеть ее не мог, если палец обрежет, так не смотрит. А тут — оба мальчика лежат зарезанные. Люди говорят, жену бы он зарезал, семь лет дали бы, а за детей — расстрел.

Андрей Владимирович спрашивает: «Чем же это он их?»

«Хлебным ножишком», — объясняет старуха.

Она говорит, что не стала хлопотать о помиловании, не знает, жив ли сын, нет ли, потом осведомляется, в город мы едем или в Угожи к пароходу. Я отвечаю, что к пароходу, а машина пойдет в город, куда, если ей надо, ее довезут. Но она заявляет, что поедет пароходом.

\* \* \*

Слышно было, как всю ночь лил мелкий, но спорый дождь.

Утро занялось сырое, туманное. Во дворе у нас пахнет мокрой землей, травой. Двор уже весь выкошен, и низкая, со следами косы, не успевшая отрасти трава свежо зеленеет. Только около сарая, вдоль забора и вокруг нескольких теснящихся к соседней усадьбе вишневых деревьев и ягодных кустов торчат еще высокие, отдельно различные травы. Краснеется уже малина, чернеет кое-где смородина. Сквозь туман проглядывает белесое солнце. Туман рассеивается. Начинает припекать. Становится жарко. Весь день стоит влажная жара.

Вечером под нашими окнами неожиданно останавливается машина Ивана Федосеевича. Мне кажется, что он чем-то расстроен. Впрочем, за самоваром он несколько веселеет, в который уже раз осведомляется у Михаила Васильевича, сколько тому лет, и когда тот, по обыкновению своему прибавив, отвечает, что восемьдесят, уверенно говорит: «Ну, ты еще поживешь... Ты еще крепкий».

После этого он заявляет, что сам думает прожить до ста.

И принимается рассказывать о своем дяде, бывшем городском садовнике, умершем в прошлом году девяноста восьми лет от роду. Дядя этот, Алексеем Николаичем его звали, был старшим у деда. А дед жил хорошо, он отдал старшего сына в сельскохозяйственное училище. Потом, когда тот кончил училище и женился, он отделил его, купил ему дом в городе. Алексей Николаич вкупился в мешане, стал работать агрономом в земстве, а после революции еще тридцать лет проработал городским садовником.

В прошлом году Иван Федосеевич приехал однажды в город на попутной машине, сошел у бани, слышит, вроде дядя Алексей Николаич

его окликнул: «Эй, племянник, стой!» Оглядывается, и верно — он с газом, с венником и узелком... в баню идет. «Скоро я помру, племянник,— говорит он.— Ты вот что, ты приезжай за мной на автомобиле, свежи в деревню». Иван Федосеевич возражает: «Так ведь, дядя Алексей, наших теперь в деревне уж никого и нет: мать-то \ меня живет». Однако тот настаивает на своем: «Все равно свежи. Я хоть на дома погляжу, на речку, на бочаги... Попрошиться надо». Иван Федосеевич пообещал, а на другой день ему позвонили: дядя Алексей Николаич помер. Оказывается, пришел он из бани, попил квасу, лег и помер.

Не надо было ему квасу пить, рассуждает Иван Федосеевич. Михаил Васильевич спрашивает: а как же пиво? Иван Федосеевич убежденно говорит, что пиво можно, пиво после бани пей, а квасу нельзя. Странно, но он верит в такие вещи, как мне кажется, им же самим придуманные.

Как всегда, Иван Федосеевич собрался уходить неожиданно.

Я провожаю его, и он рассказывает мне, что поссорился нынче с матерью: она ведь до сих пор его учит, во все вмешивается... Иной раз придет колхозница с просьбой, он откажет, а мать ему выговаривает: почему отказал? Так теперь к ней уже стали ходить с просьбами. Он ей и скажи нынче, пускай к Павлу возвращается, а она в слезы, говорит: «Как же я вернусь, от людей стыдно, скажут, что за барыня трехпоместная».

Вздохнув, он замечает: «И мы ведь с вами старые будем».

Перед сном я захожу еще к Николаю Семеновичу. Домоправительница здешняя, Петровна, женщина деятельная, осведомленная во всем, что происходит в околоте, и одинаково увлеченная каждым событием, лекция ли это в клубе наискосок от их дома, поминки либо свадьба в соседней улице или же поповская усобица у Ивана Милостивого, спрашивает меня в чрезвычайном возбуждении, едва я переступаю порог: как мне нравится фельетон в сегодняшней газете? Я отвечаю Петровне, что фельетона не читал да и не знаю, о какой газете речь. Я намереваюсь спросить у нее, где же хозяева... Однако Петровна, толкнув плечом дверь, вдруг исчезает — должно быть, к соседям. Минуту спустя она тащит мне газеты и с превеликим торжеством показывает фельетон, опубликованный вчера в областной, а сегодня перепечатанный в местной.

Помимо фактов, о которых я уже слышал, — как ивановский поп изматерил в алтаре псаломщика, как он пил и бесчинствовал, — автор фельетона рассказывает еще и об исцелении бесноватой, из которой, по заявлению попа, изгнано было им семь бесов, после чего, присовокупляет уже от себя фельетонист, поп с этой кликушей пьянствовал.

Петровна моя с особенным удовлетворением подтверждает этот последний факт. «Как же, — говорит она, — вечерину делали, пили вино». И я понимаю, что областная газета, а следом за нею и наша местная, в сущности, поддержали всех тех прихожан Ивановской церкви, которые именно за озорство и за пьянство осудили старого попа. Газета несколько не поколеблет их религиозные убеждения, а только лишь утвердит в давно сложившемся мнении, что отцу Геронтию в церкви служить не пристало. Я подозреваю, что они и не считают его настоящим попом, он архитектор, этому делу и не учился, а вот молодой — тот ученый поп. «Теперь уж его снимут,— говорит Петровна.— В газете проташили!»

Для Петровны газета и те обстоятельства, какие сложились в ивановской церкви, вовсе не отделены некой стеной, они сосуществуют. А вот для авторов фельетона и для обоих редакторов, напечатавших его, такого рода подробности жизни, куда хочешь не хочешь входит и поповская

усобица, и «хлебный ножишко», и множество случаев, подобных тому, из-за которого Марьюшка нежданно-негаданно оказалась в тюрьме — «будить некому стало, она и проспала», — для них все это, сдается мне, как бы чужая, неизвестная страна, где, не владея языком, невольно попадаешь впросак.

\* \* \*

Сизое небо с утра, пыльное какое-то, с едва проступающими кое-где облаками. Часа в три пополудни поднялся ветер — сухой и горячий, порывистый. Потом стало тихо. Зной нестерпимый — тридцать два градуса в тени.

Кремль, когда я подхожу к нему, резко белеет на фоне неба. Сверкают и плаваются чешуйчатые серебряные маковицы, горит золото подзоров и крестов. Сергея Сергеевича я нахожу на зеленом соборном дворе. Реставраторы поставили возле собора лесопилку, рядом с которой лежат напиленные доски. Они нагрелись на солнце, и от них жарко пахнет. Кажется, жаром пышут и круглящиеся над нами пучинистые соборные главы. Я только недавно узнал, что самое широкое место главы, имеющей приплюснутую форму, называется пучина, вероятно, оттого, что здесь ее распучило.

Мне нужно на почту, и Сергей Сергеевич отправляется со мной. Короткие тени деревьев лежат на слепящем асфальте. Небо посветлело, оно светится, и на него больно смотреть. Улицу возле почты замыкает небольшой оштукатуренный дом с мезонином, желтый, с белыми наличниками и карнизом. Сергей Сергеевич высказывает предположение, что мезонин, некогда излюбленный в провинции, есть не что иное, как древний русский теремок, надо лишь вообразить вместо двускатной кровли бочечную. Я вспоминаю, что и сам думал о тех временах, когда дворяне, отпущенные Екатериной в свои поместья, обстраивали провинцию домами новомодной архитектуры, а рядом еще стояли дедовские хоромы, — те самые плотники, которые выводили кровлю бочкой, трафили вывести и фронтон «мизомима».

Николай Семенович, которого я застал у себя по возвращении домой, предлагает продолжить урок ботаники. Он говорит, что, пока не скосили озерную пойму, мне надо обязательно побывать там. Мы отправляемся с ним к озеру, входим в высокую, по грудь, жестковатую траву, и под ногами у нас сперва чуть пружинит, а потом уже и чавкает, и хлюпает, и сквозь резину сапог охватывает холодом зыбучее болото. Травы цветут. Колоски канареечника одеты крошечными рыжеватыми иголочками. У бекмании они сиреневые. У манника кисти зеленые с красноватым оттенком.

Местами розовеет сусак... Нога нащупывает кочку, другую, не угадав, проваливается между ними. Осока, острая и блестящая, слегка изогнутая, простирается перед нами и как бы ходит волнами.

Снова травы по плечи.

Мы идем гуськом, раздвигая теснящиеся жесткие стебли. Они зелены и лоснятся. Внизу, у их корней, темно поблескивает вода. Я дивлюсь первобытной силе, скрытой в болоте. Я вспоминаю, что произрастающий здесь канареечник именуется тростниковидным. Любая здешняя трава — с тростник. Мне приходит на мысль, что в такой вот илистой пойме, припекаемой, как и сейчас, жарким солнцем, могли сложиться древние слова: «Да произрастит земля зелень, траву сеющую семя...»

Мы проваливаемся по колена, и то, на чем задерживается нога, до того зыбко и ненадежно, что от напряжения начинают болеть мышцы. «Тут речка!» — объясняет Николай Семенович. Я ступаю нетвердо, потому что не вижу, куда ставлю ногу, и не надеюсь встретить опору.

Вода всплескивает при каждом моем шаге. С шумом шагает и Николай Семенович. Птицы, гнездящиеся в траве, по временам взлетают, вспугнутые нами. Я смотрю, как они кружат над плотными, колыхающимися травами, и догадываюсь, что их здесь великое множество, высиживающих птенцов.

Ногам уже не холодно, они намокли и разогрелись от ходьбы. Из речки мы выбрались, и теперь идти несколько лучше. Я первый раз на таком большом болоте, и хотя неприятно, что нога не может ступить твердо, пересиливает все же чувство восхищения этим обширным пространством, на котором тесно стоят питаемые болотными туками могучие травы.

Печет солнце. Тяжело и остро пахнет соками растений.

Впереди, на уровне наших глаз, далеко простерлась едва колеблющаяся изжелта-зеленая плоскость, за которой лежит озеро, почти неотличимое от неба. Вспоминается восторженное обращение древнерусского поэта к светло-светлой и украсно-украшенной родной земле: «Многими красотами ты нас дивишь: дивишь озерами многими, реками и источниками местнотчимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями чудными... Всего ты исполнена, земля Русская!»

Левее нас, громко переговариваясь, идут молодые бабы. — только платочки их белеют один позади другого. Должно быть, это коровницы из ближних улиц. Они идут уверенно, быстро, не напрямки, как мы с Николаем Семеновичем, а словно бы хорошо известной им дорогой. Пока не выкосили пойму, они покашивают траву, — кто их здесь устережет!

Мы держим путь на колокольню, проступающую в небе за озером.

Солнце уже довольно низко. Появились во множестве комары. Заметно похолодало, и я вдруг вообразил всю ту воду, какую пропитана почва под нами и далеко вокруг. Я спрашиваю Николая Семеновича, не пора ли возвращаться? Однако он предлагает дойти до озера. «Пока мы дойдем, — говорю я, — пока будем обратно идти — стемнеет». — «А мы лодку вызовем и переправимся к Дмитриевскому монастырю», — возражает Николай Семенович, имея в виду лодочные причалы под монастырем, на противоположной от нас стороне береговой излучины. «Может статься, — говорю я, — что там сейчас никого нет, да и услышат ли нас!» Николай Семенович глядит на меня несколько растерянно и одновременно с укоризной. Был бы он один, нипочем бы не вернулся, даже если бы пришлось здесь заночевать.

Мы возвращаемся. Я вспоминаю о речке, скрытой в зарослях травы.

\* \* \*

Иван Федосеевич огородил усадьбу высоким глухим забором, с воротами, с калиткой. Городил он сам, да еще зять помогал, — правда, с началом сенокоса пришлось и людей принанять. Алексея Петрович смеется: «Говорят, здесь любогостицкий губернатор проживает!» Бабка, мать Ивана Федосеевича, недовольна: «Никого и ничего не видать». А Иван Федосеевич стоит на своем. «Вот еще поверху карниз пушу, — говорит он, — покрашу, и очень хорошо будет, липы спасу». Пока не было забора, липовые аллеи с их выбитой землей выглядели остатками гибнущего парка. Возможно, они и погибли бы, место здесь бойкое, каждый ходил и ездил.

Мы с Алексеем Петровичем рассуждаем о том, что в старое время из поповских семейств вышло много крупных деятелей русской культуры. — разговор возник в связи с встретившейся в газете фамилией ученого. Иван Федосеевич, привыкший быть первым в любом разговоре, послушал нас и, решив, должно быть, что речь ведется в похвалу обра-

зованности прежнего духовенства, заявляет вдруг, что и он ведь образование получил от попа.

Он рассказывает, что все это произошло еще перед коллективизацией. Был он тогда председателем сельсовета в Анненском. И вот однажды, перед выборами, когда уже были составлены списки избирателей, здешний поп, который был, понятно, «лишенцем», в воскресенье при большом стечении народа в церкви, отслужив обедню, объявил, что слагает с себя сан и просит граждан духовным своим отцом отныне его не считать.

Тут же в церкви он и облачение снял.

А на другой день пришел в сельсовет и подал заявление о восстановлении в избирательных правах. Через пару дней он снова пришел, спрашивается: «Как там мое заявление, гражданин председатель?» Иван Федосеевич ему очень обрадовался, говорит, что заявление — ладно, выключат его из «лишенцев», а вот пусть-ка он объяснит, что это такое «догма»? «Ты вот, — говорит он, — пишешь в заявлении, что еще в академии был против догмы».

«С тех пор у нас и пошло, — заключает рассказ Иван Федосеевич. — Он в кооперации счетоводом работал — почитай до самой смерти: он и умер-то не так давно, после войны. Мы с ним тогда на разные темы беседовали. Книги я у него брал, так называемые научные. Их три брата было — все попы. Один в Фоминой горе сад развел — дендрарий. Тоже снял с себя сан».

\* \* \*

Мы с Николаем Семеновичем едем к Люде, предупредив ее телеграммой. День сегодня не очень жаркий. Далеко впереди, замкнув дорогу, медленно возникает церковь в Нагорье — темный прямоугольник с высоко поднятыми над ним плоскими полукружиями куполов. Мы давно миновали повороток на Городище, где живет Люда, и едем в Нагорье только затем, чтобы представиться председателю колхоза. Церковь, освещенная и приобретя объем, отходит в сторону, открывается петля, которую делает дорога, и я не первый уже раз дивлюсь мастерству, с каким неизвестные русские мужички-строители выбирали место и ставили сельские храмы.

Нагорье стоит на возвышенности, господствующей среди полей и заросших ольхой оврагов. В зеленых лугах, только лишь по рельефу их, угадывается узкая петлистая речка. Лесистые холмы протянулись по горизонту.

Председателя колхоза мы нашли возле церкви, огромной, некогда побеленной прямо по кирпичу, а теперь облезшей, с тяжелыми портиками из четырех колонн под нависшими над ними фронтонами. Построена она, должно быть, лет сто назад. Строилась, похоже, по проекту ремесленника с академическим дипломом. Только прочность постройки да еще удивительно точно выбранное место заставляют вспомнить стародавних зодчих. Впрочем, место скорее всего выбирали они, потому что селения здесь древние и церковь, конечно, поставлена взамен старой. Двери церкви распахнуты. Председатель предлагает нам войти внутрь. Внутри полутемно и прохладно. На стенах и на мощных четырехгранных столпах виднеются остатки масляной живописи в так называемом итальянском вкусе. Пахнет хлебной пылью. В углу лежит зерно, его насыпают совками в мешки, подтаскивают их к весам и взвешивают. Председатель рассказывает, будто графу, владевшему Нагорьем, приснилась однажды, что он станет строить церковь, а построив — умрет. Граф строил сорок лет, после чего действительно помер. Председатель говорит, что это он слышал от местных жителей. Сам-то он нездешний, продолжает он, хотя из этого же района. В деревне он почти и не жил, рос в

городе. Он кончил авиационное училище, служил в летных частях, потом демобилизовался и приехал в свой район, работал здесь в ДОСААФе, потом в банке, потом учился в облпартшколе и стал партийным работником. После сентябрьского Пленума ему предложили ехать председателем в колхоз. Он стал было отказываться, но ему намекнули, что могут и партбилет отобрать. Вот он и сидит здесь уже пять лет. А жена все еще в городе, только в этом году согласилась переехать. Колхоз строит ему дом, но это еще не скоро будет, денег в колхозе мало. Он спрашивает, не хотим ли мы посмотреть часовню, где похоронен граф, и осведомляется у кладовщика о какой-то женщине, у которой, как я догадываюсь, ключи. Кладовщик говорит, что она должна быть здесь.

Председателю лет под сорок. Он хорошего роста. У него большое, чуть удлиненное лицо с крупной челюстью, чистое и слегка загорелое. Светлые его волосы аккуратно зачесаны со лба назад. Говорит он правильно, можно бы сказать, интеллигентно, однако слов у него мало, и все они книжные, вернее газетные. Он представляется мне флегматичным, но это оттого, быть может, что ему неинтересно в колхозе.

Около часовни, кирпичной будки с четырехскатной кровлей и маленькой главкой, с которой сшиблен крест, стоит грузовая машина. Деловитая бабенка в сапогах и в черной юбке, с полевой сумкой в руке, прижав коленкой железную дверь, отмыкает тяжелый висячий замок. Она что-то говорит шоферу про масло, потом, отперев часовню, отпихивает ногой бочку из-под бензина. Она ходит по цементному полу, позвякивая подковками сапог, гремит смятой жестяной воронкой. В часовне пахнет, как в керосиновой лавке. К противоположной от входа стене, не очень высоко от пола, прикреплена мраморная доска, треснувшая, испачканная чем-то черным и жирным, с высеченными в ней и позолоченными надписями. Золото хорошо сохранилось. Граф родился, читаю я, в 1780 году, 25 июля, скончался 29 июня 1859 года. Графиня была моложе мужа на двадцать один год. Она умерла спустя двадцать лет после его кончины.

Николай Семенович смотрит несколько растерянно. Я тоже не найдусь что сказать. Шофер, получив масло, уехал. Бабенка нетерпеливо поглядывает, скоро ли мы уйдем. Я вдруг начинаю прощаться. Председатель все тем же ровным своим голосом приглашает приехать: здесь и с улочками есть где посидеть, и ружьишко у него имеется. Странная неловкость сковывает меня. То ли потому, что мы все же гости, то ли из-за того, что похоронен в часовне граф, но я никак не решусь сказать этому опрятному молодому человеку в сиреневой шелковой тенниске, с невозмутимыми светлыми глазами навывкат, что он — осквернитель могил.

Позднее, по дороге в Городище, мне вспоминается, как года четыре назад, должно быть в мае, приехал я к Ивану Федосеевичу в Любогостицы. Я нашел его на бывшем тюремном дворе, неподалеку от перестроенного собора или виноградной, точно не помню, перед невысоким сводчатым сооружением, возвышавшимся посреди блестящей на солнце грязи. Свод был когда-то обрушен, однако часть его сохранилась. Подобно арке, охватывал он вход в неглубокое подземелье, в полутьме которого лоснились жирные железные бочки. Резко пахло соляжкой. Любогостицкий председатель, как мне казалось, прикидывал, нельзя ли сюда вкатить еще бочку. Не здороваясь, он сказал мне, что это ведь склеп здешних князей, — он выговаривал «склёп», а фамилию назвал знаменитую, носили ее и воеводы и сенаторы. Помнится, я где-то читал, что один из князей погиб в бою под Оршей лет четыреста с лишним тому назад, другой сражался под Псковом против Батория, третий, в середине девятнадцатого столетия, собрал и опубликовал в Париже сборник материалов о Марии Стюарт, четвертый же, видный дипломат и люби-

тель отечественной старины, составил редкостное собрание предметов и документов по истории России восемнадцатого века. Иван Федосеевич уверял, будто Любогостицы принадлежали прежде князьям и перешли к монастырю по вкладу, почему князья и похоронялись здесь. Когда монастырь закрыли, сказал он, он сам ломал склеп, а когда открывали тюрьму, посоветовал устроить в нем склад горючего. Проговорив это, он посмотрел на меня с несвойственным ему смущением и не то спросил, не то высказал предположение: «Скажете, варвар!» Потом добавил: «А я не отрицаю, что был варваром».

Не один раз вспоминал я потом этот случай, недавно же снова вспомнил, перечитывая статью Блока «Интеллигенция и Революция», где Блок отвечает на им же поставленный вопрос, почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? «Потому, что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа». Этому минуло сорок с лишним лет. В ту пору грозно и оглушительно шумел поток революции, гул которого, по словам Блока, «все равно всегда — о великом». Мне думается, Блок не удивился бы исполненному достоинства признанию Ивана Федосеевича. Но представлял ли он себе и молодого человека в сиреновой тенниске, не выдавшего у себя в деревне господ, чисто вымытого, с большими белыми руками, ногти на которых коротко обрезаны!

Городище — небольшая деревенька в два посада, поставленных глаголем, с некоторым разрывом в том месте, где бы должен быть угол. Здесь мы и остановились, обнаружив, что отсюда земля круто опускается в овраг. Он обнимает деревеньку двумя неглубокими рукавами, протянувшимися позади изб. Избы крыты тесом, позеленевшим от времени, или дранкой. Перед каждой избой растут старые липы. Они сейчас в полном цвету, и запах их мешается с запахом сохнущего повсюду сена. Николай Семенович говорит про липу, что это славянское дерево, причем с особенной ласковостью. Точно так же, помнится, сказал он однажды про иву: хороша ивушка растет по русским деревням. Корье ивы, объяснил он мне тогда, употребляется для дубления кож, прут идет на всякое плетение. Сейчас он говорит, что лучший мед — липовый, липа шла и на пчелиную колоду, и на ложки с плошками, из ее лыка плели лапти, липовым цветом и по сию пору лечатся. Жалко лишь, говорит Николай Семенович, и это я слышу от него не первый раз, меды варить разучились. Медовой сытью с кутьей, продолжает он свое рассуждение о липе, поминали покойника. Ничего нового в том, о чем рассказывает Николай Семенович, разумеется, нет, необычно только, что не березу, а липу назвал он деревом славян. Я слушаю его, и мне приходит на мысль, что прежде, пока я не стал бывать в этих краях, я не чувствовал, с какой естественностью настоящее связывается с прошлым.

Николай Семенович спрашивает, куда бы нам сейчас пойти. Люда, сказала нам ее хозяйка, ждала нас в обед, решила, что мы уже не приедем, и отправилась с бабами убирать сено — теперь она будет к вечеру.

На противоположной стороне неглубокого овражка, который справа входит в разверзшийся под нами просторный, светлый овраг, выстроились по вершине холма житницы. Они стоят как бы на краю земли, за ними только широкое и высокое небо. Должно быть, хозяева житниц поставили их в стороне от деревни, да еще за оврагом, опасаясь пожаров.

Мы спускаемся в овражек, медленно идем вверх по зеленому лобастому склону к серому городку из рубленых домиков. Они стоят на высоких столбах, у них глухие, без окон, стены — разве что волоковое окошко чернеется. Спереди, над дверью, к которой ведет высокое крыльцо, выдвинувшийся край некрутой крыши образует род навеса. Из со-



ломы на крыше глядят крюки — сухие, побелевшие от времени сучья, напоминающие рога. Житницам, я думаю, лет шестьдесят — семьдесят, однако выглядят они древними, и не только из-за этой своей рогатости. Как и в любой крестьянской постройке, здесь угадывается опыт многих поколений. Столбы, на которых стоят житницы, понадобились для того, чтобы хлеб не лежал близко к земле, чтобы не достать его было мышам. Столбы эти подняли житницу на один уровень с телегой, и от этого легче было вносить и выносить мешки с зерном; можно было, не нагибаясь, ставить их на крыльцо или же брать с него, причем навес защищал от непогоды.

Серый деревянный городок на зеленом холме.

Холм этот, успел узнать Николай Семенович, так и называется — Городок. Стоишь здесь и, даже не глядя вокруг, чувствуешь высоту места. А посмотришь — огибаая холм, темнеет внизу извилистая, узкая, с крутыми склонами, заросшими ольхой, каньонообразная долина речки. За речной долиной — распаханное холмы с желтеющими ржаными нивами или же только что скошенными, блекло-зелеными клеверницами, с деревенькой в ближних полях за речкой. Холмы окаймлены зарослями ольхи, как бы громоздятся цепь над цепью, уходят к дальнему лесу, опоясавшему горизонт.

Николай Семенович предлагает пойти в поля.

Проселком по дну оврага мы выходим к ольшанику с шумящей среди деревьев речкой. Отсюда хорошо смотреть на зеленый лоб холма, из-за которого выглядывают избы Городища. Через речку положены высокие бревенчатые лавы, пружинящие под нами. Вода в речке мутная после недавних дождей. Лавы опираются в красноватый, обрывистый и размытый берег. Мы поднимаемся по глинистой, в трещинах, тропинке.

Наклонившись вдруг, Николай Семенович достает из выбоины на дороге несколько серых рассыпающихся комочков и, показав их мне, говорит, что это туф. Он обращает мое внимание на то, что земли здесь черные, и объясняет это наличием туфа, то есть извести. Он приводит в пример мясо, в котором, если его просолить, прекращается работа бактерий, в результате чего оно не разлагается. Но известь как раз устраняет засоленность, бактерии принимают усиленно работать, и в почве образуется перегной. Мы идем с ним над заросшей раkitами тесной речной долиной, в которую, деля землю на некие выпуклости, опускаются темные от ольхи овраги. Мы обходим их, имея по левую руку сырые ольшаники, а по правую — уходящие вверх поля, чаще всего клеверные. Николай Семенович объясняет, что ольха растет на хороших землях, много же ее здесь потому, что скотина ольху не объедает. Он как бы читает книгу. Я называю это зрячестью знания. Но Николай Семенович не только сведущ во многом и охотно делится знаниями, он наделен еще редкой способностью не обижаться, когда собеседник, устав от обилия впечатлений, попросит его пока что перестать рассказывать.

Николай Семенович спрашивает, какого года, по моему мнению, вот этот клевер, и, не дождавсь ответа, говорит: первого. На клеверном поле первого года, объясняет он, должно быть ржаное живье. И костра в нем много — на второй год клевер не дает костру развиваться. Он говорит, что имеет в виду, конечно, первый год укоса, потому что, как мне должно быть известно, клевер сеют ранней весной, по ржи, по так называемому черепку, утренниками, когда севок может войти в озими, схваченные морозцем. Но начинают косить клевер со следующего лета.

Николай Семенович обращает мое внимание на то обстоятельство, что вместе с клевером была скошена и не поспевшая еще рожь. Он спрашивает, догадываюсь ли я, откуда она взялась. И принимается расска-

зывать, словно он все это видел, как прошлым летом, когда рожь уже выспела, ее стали убирать так называемым раздельным способом, потому что он считается передовым, и пока она лежала в валках, дожидаясь подборщика, зерно осыпалось. А ведь способ этот именно тем и хорош, что хлеб косят невыспевшим и дают ему дозреть в валках, чтобы предотвратить утечку зерна. Впрочем, для здешних мест раздельная уборка вообще не годится, потому что рожь, даже если она и недолго пролежит на клевере, то есть как бы на влажной подушке, припекаемая сверху солнцем, мгновенно прорастает. Но что поделаешь, когда многие руководители, отвечающие за состояние дел в деревне, одержимы почти религиозной верой в спасительность не то чтобы одной системы земледелия, но даже одной сельскохозяйственной культуры, одного рабочего приема.

Я высказываю предположение, что здесь не столько даже вера, все же имеющая своей основой убежденность, пускай и ошибочную, сколько нерассуждающее усердие. Помнится, говорю я, лет десять тому назад, в заволжской степи председатель райисполкома в самый разгар весеннего сева доверительно сказал при мне председателю колхоза, что не так станет спрашивать с него за сев, как за посадку лесных полос. Мне потом приходилось видеть, продолжая я, эти торчащие из пересохшей земли прутики, по которым, торопясь к сеялкам, проедет подвода с семенами.

Нагнувшись, Николай Семенович срывает растеньице и, показав его мне, говорит, что здешний, северный клевер можно отличить от южного по числу междоузлий: в северном их семь-восемь, в южном четыре — шесть. Он объясняет еще, что по двум светлым полоскам на каждом листочке легко определить — культурный это клевер или дикорастущий.

Николай Семенович может без конца говорить о клевере, причем, как я догадываюсь, к его увлеченности ботаника прекрасным «трифолиумом» примешивается крестьянское уважение к богатым клеверным семенам. Впрочем, заметив под зарослями ольхи слева от дороги пышно растущую чину, выкинувшую длинные кисти желтых цветов, и мышиный горошек с его густыми однобокими сине-фиолетовыми кистями, он восклицает восторженно: «Это белок!» Если бы знали бабы, говорит он, скосили бы — и свиньям вместо концентратов. Он рассказывает, что у них дома, в мологско-шекснинском междуречье, было много этой чины и мышиного горошка: знаменитая брейтовская свинья на них воспиталась.

В неглубокой ложбине, куда мы спускаемся, светло зеленеет между черной зеленью ольхи низко срезанная трава. Аккуратный стожок стоит посредине. Некоторое время мы идем скошенным лугом, постепенно опускающимся к речке. Мы решаем где-нибудь здесь перейти ее, чтобы не возвращаться назад. Однако моста мы не находим. Только в одном месте переброшено через речку тонкое, неверное бревно. Берег здесь зыбкий, под башмаками почавкивает. Мы возвращаемся к лавам. Навстречу нам, в гору, вероятно к деревеньке в полях, идет немолодая женщина с полными ведрами. Чтобы вода не плескалась, в ведра положены лопухи. Женщина подтверждает, что она из Колеснева, то есть из темнеющей среди ржи деревеньки. Воду, говорит она, переменяв под коромыслом плечо, они берут внизу, из родника. Оказывается, неподалеку от лав из обрывистого берега бьют ключи. Родники и шумят, а не речка.

Люда приходит под вечер. Она в коротком ситцевом платьице, побелешем от стирок, в тапочках на босу ногу. Оттого, что она целые дни в поле, под солнцем, волосы ее стали еще светлее. А лицо все такое же румяное, хотя и загорелое, темнее взбитых, будто летящих назад золо-

тистых волос. В свободном своем платьишке, под которым почти ничего нет, она выглядит такой же статной. От нее пахнет сеном, немного луком. Она с обеда гребла и ворошила, но словно бы и не устала, так легко и быстро ходит она по избе, собирая ужинать. Она рассказывает с некоторой запинкой не то от смущения, не то из-за привычки обдумать каждое слово, что на время сенокоса организовала звено, куда входят доярки, трактористы, счетовод участка, зоотехник и она сама, конечно. Постоянно же в полеводстве работает человек пятьдесят — пятьдесят пять. И это не так мало, потому что в трех деревеньках здешних сто дворов.

Ужинать мы садимся в задней половине избы, куда одной стороной выходит печка, чело которой глядит в тесную кухню. Здесь живет хозяйка, благожелательная старушка Анна Захарьевна, — Люда занимает переднюю, чистую половину, окнами на улицу. Мы едим холодную картошку с зеленым луком и постным маслом, ржаной хлеб домашней выпечки, необыкновенно вкусный, и яйца, сваренные в кипящем и булькающем на столе самоваре. К чаю подаются белые булки. Люда говорит, что сюда приезжает автолавка и они с Анной Захарьевной купили мешок белой муки.

После ужина мы отправляемся погулять. Мы идем не к оврагам, а в наполненную сторону. Солнце садится красное, и Люда замечает, что это — к вёдру. Разговор заходит о приметах и поверьях, о народном земледельческом календаре. Мы с Николаем Семеновичем вспоминаем четырехтомный труд А. Ермолова «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах». Девизом своим Ермолов взял слова Пушкина: «Старайся наблюдать различные приметы». Он отлично сознавал, сколько здесь суеверий и фантастических представлений. За всем тем он понимал и то, что крестьянин, всего ближе находясь к природе, чувствуя на результатах своей деятельности ее могущественное влияние, постоянно прислушивается к своим ощущениям, следит за растениями и животными, которые восприимчивее к изменениям погоды, нежели иные метеорологические приборы, и сообразуется с этими своими наблюдениями.

Мы идем полями кукурузы — невысокой, с как бы смятыми бледными листьями, едва видными среди сорняков. Люда говорит, что кукурузу обрабатывали какими-то химикатами, но пошел дождь, смыл их, кукуруза заросла, а полоть ее сейчас некому — сенокос. «Сколько навозу сюда ввалили! — вздыхает она. — Посеять бы здесь овес с викой — никаких бы забот не было». Люда рассказывает, как на одном из семинаров Иван Федосеевич, рекомендуя сеять мешанку, напомнил: небось видели меня в кино, как я ее ем!.. Говорят, снять эту картину распорядился новый секретарь обкома, года полтора назад сменивший прежнего, о котором все теперь согласны, что хотя и был он резковат, но зато справедлив и умен. Новый секретарь начал с того, что к уборочной кампании выпустил цветные афишки, призывавшие рабочих и служащих выполнить свой патристический долг — помочь колхозникам убрать урожай. Затем он ввел в обиход еженедельные радиопереключки, во время которых распекал сидевших по своим кабинетам секретарей райкомов и председателей райисполкомов, тогда как те не могли ему возразить. Наконец он придумал выпустить фильм, изобличающий противников кукурузы, причем главным из них назван был Иван Федосеевич, и при прежнем секретаре слышавший «идеологом» мешанки. Ничего не подозревая, любогостицкий председатель повез приехавших к нему кинооператоров смотреть посеvy овса с горохом и, чтобы убедить их, насколько эта мешанка хороша, предложил, протянув горсть стручков и овсяных зерен молочной спелости: «На-ка, почавкайте». Он и сам поел, и при этом не видел, как его

снимали. Так он попал в картину в числе тех, кто «мешает нашему движению вперед». Рассказывают, что, когда ее показывали впервые на партийном активе, он ушел из зала.

Темнеет. Люда, словно припоминая, произносит несколько стихотворных строчек, что называется приподнятых, звонких. Она спрашивает, правда ли, что это написал Маяковский. Я говорю, что у Маяковского такого не встречал, да и слишком это для него звонко. Люда замечает с некоторой сдержанностью, что это из ненапечатанного, подруга дала ей переписать. Нечто похожее, помнится, было у меня и с Иваном Федосеевичем, который, прочитав мне известное стихотворение Демьяна Бедного про некие «главы» и «снабы», заведшие переписку относительно павшей кобылы, спросил, не скрывая собственного своего надо мною превосходства, знакомо ли мне это, а потом добавил небрежно: «Оно ведь запрещенное».

Мы входим в луга, недавно выкошенные. Николай Семенович, с которых пор занявшийся топонимикой, спрашивает Люду, как называется это место. «Заполица», — отвечает Люда. Заполица может означать только лишь одно — за полями. Комары одолевают нас. Впереди высоко стоят темные некошенные травы. Люда говорит, что здесь уже косить нельзя — мокро, за голенища заливает. В сущности, это и есть Ляхово болото, откуда вытекает здешняя речка. Николай Семенович склонен считать, что название болота восходит к временам польско-литовского нашествия. Такого рода заблуждения весьма распространены. Мне часто приходилось слышать, как про какую-нибудь деревеньку Панки, которых немало в Подмосковье, рассказывают, будто бы в Смутное время ею владели поляки, однако я где-то читал, что корень этого слова угро-финский.

К удивлению моему, Николай Семенович не спорит.

В Городище мы возвращаемся берегом речки. Земля впереди нас постепенно поднимается, и куда-то за высокую эту землю, повернув направо, уходит речка. Люда говорит, что вон то место — Сухая Кулига. И здесь спрятать нечего. Кулигами почти повсеместно называют либо расчищенный под пашню участок леса, либо гривку, островок однородной растительности. Впрочем, несколько дней спустя, в Райгороде, я посмотрел у Даля и убедился, что показанная Людой возвышенность, омываемая речкой, как нельзя лучше иллюстрирует следующее его толкование: «Река дала кулигу, колено, образовав по одну сторону сухую кулигу, мыс».

Люда с Николаем Семеновичем разговаривают об осоке. — я несколько отвлекся, вглядываясь в темнеющие за изволом крыши деревни, и не расслышал, с чего начался разговор. Люда говорит, что осоку прежде считали несъедобной. Но если осоку засилосовать, скот ее хорошо поедает. Николай Семенович с присущей ему приверженностью к точности поправляет Люду. Осока водяная, рассуждает он, и вообще-то прекрасная трава, однако в здешних местах она не растет, зона ее распространения севернее. Отличные кормовые достоинства, собственно, и у местной острой осоки, продолжает Николай Семенович, и если скот ее не ест, то голько лишь из-за так называемых кремневых ресниц, которыми он режется. При силосовании они пропадают, разумеется.

Признаться, мне неинтересны подобные разговоры. Я понимаю увлеченность и Люды и Николая Семеновича такого рода делами, потому что вижу в них прежде всего ботаников, исследующих полезные свойства растения. Однако здесь есть нечто общее с восторженными рассуждениями по поводу кормовых достоинств еловых или черт их знает каких веток в то время, когда луга наши дают куда меньше сена, чем могли

бы давать при хозяйском к ним отношении, а в лесах оно вовсе пропадает.

Огромная туча, различимая даже в темноте, закрыла почти все небо и где-то слева, за речкой, соединилась с землей. Справа, между тучей и темными полями, тлеет оранжевая полоса. Погромыживает вдаль. Мы входим в темную и тихую деревню. Дождик накрапывает. Дальние молнии вспыхивают беззвучно, и только некоторое время спустя жестко, с раскатом ударяет гром. Гроза идет стороной. Здесь же, в деревне, глухо постукивая в соломенные и деревянные крыши, льет теплый дождь.

Мне слышно, как Люда говорит Николаю Семеновичу, что и хвощ охотно поедается скотом, на что тот замечает рассудительно, что от хвоща, может быть, и польза есть. В хвоще, говорит Люда, содержится кремний, а кремний, как известно, содействует укреплению костяка.

Люда стелет нам в передней половине. Сама она уходит к Анне Захарьевне и уносит с собой лампу. Дождь перестал, и за окнами посветлело. Спустили собаку. Она с остервенением лает на какого-то, должно быть нездешнего, прохожего человека, остановившегося посреди улицы. Анна Захарьевна кричит ему что-то, и он отправляется своим путем. Становится тихо, только собаки перебрехиваются да где-то по соседству бьют часы — десять!

\* \* \*

Первое утро в деревне!

Я хорошо помню, как ровно сорок лет тому назад, правда не в середине июля, а в мае, вот так же проснулся на полу в деревенском доме, и пол был глинобитный, а не деревянный, зато соломой пахло, как сейчас, и, как сейчас, гудело пламя в топившейся печке, но в том степном селе топили кизяками и дым отличался от здешнего легкого, смолистого дыма тем, что был он тяжелый, горьковатый. В окна светило такое же солнце, казавшееся холодным после ночного дождя, и хотя с тех пор прошла целая жизнь, я и сейчас так же радуюсь первому утру в деревне.

Накануне я впервые в жизни выехал из нашего уездного города. Ехали мы лошадьми, под вечер пошел дождь, широкий большак сразу потемнел, затем стал черным, блестящие ошинованные колеса резали его, швырялись полосами грязи, постепенно увязали, катились медленнее, и мы всей семьей шли возле подводы, подталкивали ее, помогали лошадям.

Мне почему-то вспоминается, как перед этим, когда еще только собирался дождь, мы проезжали небольшое село — у нас там все села, украинский язык не знает различия между селом и деревней. Белели хаты под высокими темными вербами, серые тучи бежали над ними, ветер заворачивал и рвал листья на вербах, и по листве как бы перебежали светлые пятна. Посреди села, отражая и тучи и вербы, темно поблескивал ставок. Мы и прежде, вероятно, проезжали какие-то селения, но я почему-то запомнил на всю жизнь именно это село, опустевшую перед дождем улицу и блеск ставка среди серой земли.

И еще я навсегда запомнил, как ночью, промокшие, увязли мы в въезде в какое-то село, — у нас колесо сломалось. Дождь перестал. Кажется, и в темноте было видно, как черна грязь, из которой приходилось выдирать ноги. Собаки лаяли. Смутно белела хата за плетнем, едва освещенным затеплившимся наконец в окошке огоньком. В этой хате, где, по счастью, проживал колесник, я и проснулся в то давнее утро.

Я протер запотелую шибку, как называла моя бабушка оконное стекло, и увидел матово-черневшую, глубоко изрытую уличную грязь, нашу увязшую по ступицу подводу, из которой были выпряжены лошади, и стоявших возле сломанного колеса мужиков. Мне было одиннадцать

лет, далеким прошлым, казалось мне, был тот холодный осенний вечер, когда в столовой, под висячей лампой с молочным белым абажуром, за круглым столом, с которого не убрана была чайная посуда, отец впервые читал мне стихотворение о несжатой полосе и о пахаре, которому моченьки нет. Испытанное мною в тот вечер ощущение общности своей с неведомым мне обнажившимся лесом, с опустевшими полями, со всем тем, что потом обозначилось словом «деревня», никогда уже не покидало меня, хотя я еще и не знал, как называется это чувство. Деревенская Россия теснилась в моем сердце множеством картин. Еще не умея читать, я выучил с голоса и твердил: «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу...» На сто верст вокруг никакого леса не было, однако я слышал, «как сучья трещат», видел сквозь облетевшие деревья «ясность прозрачных небес», — почти полвека спустя, зимними сумерками, слушая, как стучит мерзлая земля, которой торопливо закидывали гроб отца, я смотрел на прозрачное синее небо, светившееся между голыми черными ветками, думал об отце, благодарил его за все, что он мне дал, в том числе и за те давние осенние вечера, когда он читал мне вслух и я узнавал страну, в которой живу. Я жил одной жизнью с мальчиком, чью «избу освещает огонек светца». Печаль и сострадание вызывали во мне строчки: «Чахлая рябина мокнет под окном; смотрит деревушка сереньким пятном».

А потом был день, когда учитель русского языка, присадистый рыжеватый немец в крагах и френче, начиная первый свой урок, негромко проговорил: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора — весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера...» Голос его поднялся и зазвенел: «Где бодрый серп гулял и падал колос...» Он выдержал паузу и снова стал говорить тихо: «Теперь уж пусто все — простор везде, — лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде».

В те две зимы, пока еще можно было учиться, потому что потом внезапные перестрелки и оружейные обстрелы чуть ли не ежедневно нарушали мирное течение уездной жизни, — в те две зимы учитель в крагах каждый день читал нам что-нибудь новое. Оказалось, что рядом с действительной жизнью есть еще и другая, вернее сказать такая же самая, но только существующая в стихах и в прозе, — священное писание о русской земле, как назовет потом Горький русскую литературу. В том, другом мире, изображенном писателями, все было такое же, но как-то крупнее, отчетливее, будто под стеклом бинокля. Там можно было наблюдать, «как по оврагам в полдень громко на пену прядают ручьи». И вместе с тем взгляд приобретал способность как бы одновременно видеть многое: «Последний сноп свезен с нагих полей, по стоптанным гуляет жнивьям стадо, и тянется станица журавлей над липником замолкнувшего сада».

Еще удивительнее было то, что обыкновенные люди становились здесь особенными. Разве мог я вообразить, когда мне случалось видеть, как из кузни возле базара навстречу остановившему лошадей мужику выходит кузнец, чтобы он способен был не отозваться на вопли заживо сгорающих людей, даже злобно заметить при этом: «как не так», и тут же полезть спасать кошку, бегающую по загоревшейся кровле сарая, прикрикнув на потешавшихся мальчишек: «Чего смеетесь, бесенята... Божья тварь погибает». Но совсем уже непостижимым было чудо, когда нечто ничем не примечательное выглядело в книге необычным. На всю жизнь запомнился мне неторопливый рассказ о том, как в ворота гостиницы губернского города NN въехала рессорная бричка и как два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, принялись рассуждать, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет, и порешили, что в Москву доедет.

Когда я вышел из хаты, возница наш расплачивался с колесником. Подвода стояла на затравеневшей обочине. Все те же праздные мужики, совсем как в Гоголя, обсуждали достоинства нового колеса, полагая, что оно не то что в Одессу — в Москву доедет.

«Может быть, пройдемся перед чаем?» — говорит Николай Семенович. Оказывается, и он давно проснулся. Мы берем в сенях ведро и отправляемся умываться к колодцу. На дворе тихо, не жарко. Куры бродят в тени дома, негромко постанывают. Кисловато пахнет сохнущими на солнце дровами, уложенными в поленницу.

Мы идем клеверным полем первого года пользования, пестрым от цветущих сорняков. Клевер растет куртинками, между которыми стоит рожь или же торчат желтые, лиловые, белые и синие цветы. Темные клочки клевера и яркие цветы между ними сообщают полю сходство с облезлой шкуркой запаршивевшего животного. Смотреть на это и больно и неприятно. Николай Семенович определяет засоренность по какой-то, кажется, пятибалльной системе. «Осот желтый, — говорит он, — два балла, осот лиловый — три, местами — четыре, ромашка — три, пулавка красильная — два, метелка — четыре...» Он все это записывает в книжку привязанным к ней на веревочке карандашом. «Польнь серебристая, — слышу я, — польнь обыкновенная, василек, вьюнок, хвощ...» Зачем он это делает, я не знаю, никто не спросит у него эти сведения, никому нет дела до этой страшной беды.

«Надо бы скосить сейчас клевер вместе с сорняками, — говорит Николай Семенович, — и засилосовать. А то ведь созреют сорняки!..» Он обращает мое внимание на соседний с клеверным полем не то перелог, не то пар, заросший костром ржаным и метлой. Он говорит, что надо скорее все это скосить на сено, иначе обсеменится земля. Здесь всего ге́ктар, не больше, но ветер понесет семена на другие поля. Он спрашивает, представляю ли я себе, отчего здесь перелог, и высказывает предположение, что семян не хватило, вот и бросили землю.

Куда ни посмотришь, всюду рослые, сильные сорняки. Здесь и василек луговой, и разные осоты, и чертополох, и польнь, и крапива... Все это цветет, иное уже зреет. И если бы только здесь, в Городище! Пагуба эта почти повсеместная.

Сколько земли пропадает у нас — плохо засеянной, заросшей сорняками, а то и вовсе брошенной, зарастающей не то что сорными травами, но кустарником, дрянным, мелким лесом. И это — в районах, практически не знающих засухи, с наивысшей в стране плотностью населения, рядом с железными и шоссейными дорогами, вблизи промышленных городов, нуждающихся в картофеле, в овощах, в молоке и мясе.

Речь пока что о стороне экономической, но есть и другая.

Эта земля — Россия!

В сущности, самое слово «Россия», вобравшее в себя так много, что для того, чтобы рассказать об этом хотя бы бегло, необходимы десятки и десятки томов, — это слово, точнее сказать понятие, им обозначенное, происхождением своим обязано распаханному среди леса полям, потому что в начале была земля... И не случайно, я думаю, в языке нашем «земля» — это и почва, и народ, и страна, и весь мир.

За завтраком, увидев кого-то в окошко, против которого она сидит, Люда вдруг вскакивает из-за стола и с необыкновенным оживлением спрашивает Анну Захарьевну: «Тетя Аня, вы ничего не будете увеличивать?» Звякает дверная щеколда, и в избу входит сухопарый, темный с лица мужчина с большим, толстым портфелем в ремнях, одетый, как он, должно быть, считает, под «уполномоченного» — хромовые сапоги с

галошами, защитные галифе и черное кожаное пальто с загибающимися лацканами. По тому, с каким достоинством садится он на поспешно вытертую Людой и пододвинутую к нему табуретку, как неторопливо расстегивает ремни портфеля,— по всей самоуверенной его повадке можно догадаться, что он не только знает наперед, с какой радостью встретят его в любом деревенском доме, особенно женщины, но и полагает это естественным. В нашу с Николаем Семеновичем сторону он и не смотрит. Раскрыв устроенный наподобие книги портфель, он достает из его отделений большие, наклеенные на тисненные паспарту фотографические портреты. Люда с неожиданной в ней робостью спрашивает, можно ли ей посмотреть, берет одну фотографию, другую, третью, рассматривает их, держа в далеко отставленной руке, восхищается подкрашенными розовой акварелью кукольными лицами, говорит, что хочет увеличить портрет папочки, погибшего на фронте, когда ей было три года, и, вскочив с места, суетясь, выбрасывая какие-то конверты, открытки, белье, листает альбом, ищет на комодке под вязаной салфеткой, роется в его ящиках. Не найдя фотографии отца, она решает увеличить свою, советуется с тетей Аней, с этим агентом,— про нас с Николаем Семеновичем она забыла. Впрочем, когда агент предлагает ей на одном экземпляре сделать фотографическим способом надпись: «Если свидеться нам не придется, значит, наша такая судьба, пусть навеки с тобой останется неподвижная личность моя»,— Люда, взглянув на нас, смеется, отказывается...

Агент, взяв карточку и аванс, выписав квитанцию, уходит.

Люда спрашивает, не хотим ли мы пройтись с нею в Колеснево?

Пока мы идем деревней, я замечаю, что дома здесь не такие, как в селах на большой дороге, которая всего в пяти или шести километрах от Городища, или же как под Райгородом, в приозерных селах. Там крыша железная, обыкновенно в три ската, причем на переднем стоит резной теремок, с карнизов свисают пышные подзоры, пышностью отличаются и наличники, по большей части со сквозной резьбой, и вся эта резьба покрашена белилами, а то еще и синей и зеленой краской.

А здесь крыши двускатные, тесовые или драночные. Слуховое окошко на фронте вырезано полумесяцем, под ним по всему фронту пущены планки с арочным завершением, заставляющие вспомнить строгие аркатурные пояса на стенах владимирских и ростовских храмов. Под этими «аркатурками» идет скромное резное кружево, ничем не покрашенное, потемневшее от времени. И наличники здесь простые, не всегда крашенные. Крылечки открытые, с приступком и навесом на резных столбах.

И еще я замечаю, что здесь все здороваются с незнакомым человеком — не только дети и старухи, как это все еще принято почти повсюду в деревне, но и молодые женщины, и мужики, даже парни. Я говорю об этом Люде, и она соглашается со мной. Она говорит, что народ тут вообще хороший, приветливый, не пьяница и не ругатель, не то что в Нагорье, на большой дороге, тех так и называют: «большелорожники».

Мы идем несколько левее вчерашнего и речку переходим выше, по широкому проезжему мосту. Как и вчера, когда мы с Николаем Семеновичем были в Городке, а позднее шли полями, приходит вдруг ощущение высоты. Тихо и еще не жарко. Далеко впереди, правее Колеснева, за полями, возле темного леса видна колокольня Никольского, которое тоже входит в участок Люды. Дорога извивается среди всхолмленной земли, поверху она ровень с обочинами, а на склонах выбита глубоко, она здесь ниже земной поверхности, желтоватая, сухая, в трещинах.

Николай Семенович заговорил с Людой о каких-то сеялках, которыми и зерно можно сеять, и травы, о том, что тимофеевку лучше высе-



вать с рожью, а уж клевер весной подсеять ручной сеялкой, производительность которой весьма высока. Чтобы разговаривать было удобнее, мы все усаживаемся на поваленное и обрубленное толстое дерево на краю поля, под старой ивой. Дорога здесь круто идет вниз, нам виден красноватый срез земли под прошитым корнями трав слоем гумуса.

Я говорю, что неужели же нельзя выпускать сеялки с моторчиком, самодвижущиеся, — у нас вон по всем деревенским дорогам трещат и мотоциклы и мотопеды... Разговор заходит о всякого рода новациях в сельском хозяйстве, и Люда говорит, что у них, как и повсюду, дворы чистят каждый день, а хранить навоз негде, он без соломы, сохнет, портится, да и лишний это расход. Надо бы держать скот на подстилке, на навозе, как это было раньше у крестьянина, вывозить его надо бы раз в год, и навозу будет больше, и качество его будет хорошее. Еще она говорит, что всем колхозам велят возить торф. У них же своего торфа нет, добыли они его далеко, деньги затратили, но не вывезли — перевозка дорогая. А рядом гибнет навоз, запасти его легче и дешевле, чем торф, но от колхоза требуют выполнения плана по вывозке торфа, да и соломы нет для подстилки, потому что ее сжигают в поле.

Пока молотили рожь, объясняет Люда, отвечая на мой недоуменный взгляд, солому не скирдовали — рук не хватало. И потом ее не свезли, не было волокуши. Так и ушла она под снег. А весной надо было сеять и клевера надо было освободить, иначе они выпреют; солому стали свозить, но времени было в обрез; часть свезли, остальное — сожгли. Это по всему району так было. Всюду костры пылали. Если бы договориться с колхозниками, говорит Люда, и отдать им некоторое количество соломы, они бы ее всю вывезли, и у колхоза была бы подстилка, и у колхозников, стало бы у них вволю навоза — они бы лишний в колхоз отдали.

Николай Семенович, согласившись с Людой, замечает, что никогда этого не бывало в русской деревне, чтобы молотили одновременно с уборкой. Надо строить соломенные навесы, под ними сухо, они проветриваются, и дешевы они. И сушилки нужны. Как бы это разрядило обстановку в жнитво! Жни, вяжи, скирдуй. А потом, на свободе, когда все убрано, молоти. Так оно и было всегда.

Я соглашаюсь с Николаем Семеновичем, но мне кажется, что необходимо найти причину, почему эти навесы не делаются. Надо же наконец задуматься над тем, почему этот колхоз предпочитает сжечь солому, но только не отдать ее колхознику. И картошку повсюду оставляют в поле, и траву не выкашивают; если же колхозник возьмет себе, то он — вор. Хозяин ли он в своем колхозе, как это бы должно быть по смыслу самих слов — «коллективное хозяйство»?

А насчет того, хозяин или работник, говорит Люда, то у них в колхозе — работник. Никто здесь не поговорит с колхозниками, не объяснит, какие работы намечены, что делается, что уже сделано.

Я говорю, что производственные совещания и воспитательная работа, конечно, нужны. Но суть не в этом. Колхознику никто не гарантирует заработную плату, следовательно, он должен иметь возможность вести хозяйство таким образом, чтобы не было убытка, иначе ему получить нечего будет. Странная вещь, вот уже сколько лет, когда у нас в Рай-городе, да и в области разговор заходит о сельском хозяйстве, то говорят по преимуществу об укрупнении колхозов, о посылке в колхозы председателей из города, о кормовых достоинствах кукурузы, об ароматных дворах, и не всем приходит в голову поинтересоваться, сколько зарабатывает колхозник, станет ли он зарабатывать больше, если колхоз укрупнят и председателя пришлют нового, да и что он вообще обо всем этом думает, не считает ли он более удобным для своей местности

кирпичный двор, а не арочный, не находит ли, что по здешним землям на силос выгоднее сеять вико-овсяную смесь, чем кукурузу.

Люда говорит, что получается заколдованный круг — чтобы колхозник был в колхозе хозяином, ему пужно знать, что здесь, а не на усадьбе он заработает себе на жизнь, по чтобы столько зарабатывать, он должен стать хозяином. Конечно, продолжает она несколько мечтательно, когда наше государство будет богаче... Но я не даю ей досказать, так как мне надоело простодушное невежество, а то и ханжество, в чем я Люду, однако, не подозреваю, предполагающие в отношениях между государством и крестьянином нечто от благотворительности. Я говорю, что богатство нашего государства зависит и от того, сжигают ли в колхозе солому или превращают ее в навоз, всю ли траву перерабатывают в мясо и в молоко или часть остается невыкошенной, весь ли до последнего клубня выкапывают картофель... Впрочем, от этого зависит и достаток крестьянина. И не в том вовсе выход, чтобы разбогатевшее вдруг государство помогло от щедрот своих колхозам, — иное дело, разумеется, вызванные экономической целесообразностью капитальные вложения в сельское хозяйство. Пора отказаться от встречающегося иногда противопоставления интересов колхозника интересам государства, которое приводит к тому, что пускай лучше солома сгорит, причем за то, чтобы ее сжечь, еще и трудодни начислят, пускай бабы надрываются и тащат на себе бог знает откуда ветошь для подстилки, но зато будто бы «государственный интерес», в сущности, некая отвлеченная догма, соблюден. Вот с этого и надо начинать, чтобы колхозник сам решал, сколько соломы оставить в хозяйстве, а сколько раздать, и не разумнее ли будет сразу же отдать за работу часть урожая, чтобы кончились наконец позор и безобразие, когда под снег уходит не только трава в лесу, но и картошка в поле, и хлеб, да еще в такое лето, когда один ленивый не уберет.

Разговор наш прерывают косцы, идущие со стороны Городища, из лугов. Они останавливаются, здороваются, вперебой рассказывают, что приехал-де Степан Павлович из «райза», а с ним женщина — не заместитель ли председателя райисполкома! Гражданочка все кукурузой интересовалась, почему сорняки, почему не обработали химикатами, а они-де, — косцы показывают друг на дружку, — Лидушка вот, и Кузьма Михалыч, и Катерина, и Чапай, они объяснили, что обработали. мол. да что ты станешь делать, дождем смыло. Рассказывая нам сейчас об этом, косцы, особенно один пожилой мужик, впадают в тот сочувствующий, страдающий тон, каким они, можно предположить, только что разговаривали с приезжим начальством, искренне сожалея о причиненном ему огорчении.

Люда говорит, что ей придется вернуться. Возвращаемся и мы.

Припекает. В тени какого-то ободранного куста возле дороги, на травке, ожидая нас, сидят Степан Павлович из инспекции и приехавшая с ним женщина. Приезжая, оказывается, агроном по защите растений — есть такая у нас в Райгороде станция, должно быть межрайонная. Выясняется, что, как и Степан Павлович, женщина эта лет двадцать пять тому назад училась у Николая Семеновича, но работала все это время где-то на Кубани, а теперь вот вернулась на родину. Она коренастая, дотемна загорелая, с черными жесткими волосами, если и не совсем татарка, то все же южного, степного типа, и никогда не подумаешь, что родилась она чуть ли не в том же селе, километрах в сорока от Райгорода, откуда родом и светловолосая Люда. Она наставляет Люду, как устроить, чтобы школьники, пионеры, — она выговаривает «пионэры», — проползли кукурузу. «Пообещаете им конфет, — говорит она, — или поездку в Москву». Она уже успела узнать, что учительница, хотя у нее отпуск, никуда не уехала и охотно организует ребят.

Женщина эта выглядит дельным администратором, возможно, что и агроном она знающий, однако деятельность ее представляется мне какой-то несерьезной. Ездит она из района в район, возят ее зачем-то агрономы из инспекции, вроде бы дело делается, а сорняки — растут, и не на одной кукурузе, которой она только и занята.

Должно быть, такой уж характер у агронома по защите растений, что ей обязательно нужно все разузнать, надавать рекомендаций, распорядиться, не допуская и мысли, что из этих ее действий ничего не последует. Что же до Степана Павловича, то он прямо противоположен ей. Двадцать пять лет он состоит на службе в одной и той же канцелярии, под разными только вывесками, почему и называют его колхозники, ничтоже сумняшеся, Степаном Павловичем из «райза». Он пережил с десяток секретарей райкома, у каждого из которых были свои увлечения и пристрастия в сфере сельского хозяйства, и не то чтобы обленился, скорее обтерпелся, ко всему привык, не ожидает от своей деятельности ничего, кроме законной пенсии в ее конце. Никто из районных руководителей всерьез его не принимает, и не потому, чтобы он был плох или несведущ, напротив, агроном он толковый, просто место такое, и тянет эн свою лямку, колесит по району, попросившись в чью-либо машину, а прежде, моложе был, так голосовал, пешком ходил...

Спросив для порядка о молоке, поскольку повсеместно снизились сейчас удои, как, впрочем, и каждый год об эту пору, и выслушав ответ Люды, сказавшей с той естественностью, с какой скажет об этом каждая крестьянка: «Так ведь жара, слепень!» — Степан Павлович благожелательно молчит. Заметно, что ему, несколько располневшему в свои без малого сорок пять лет, полуденные прогулки по полям затруднительны.

Тем временем энергичная эта женщина снова обращается к Люде с разного рода наставлениями и советами, которые, как я замечаю, Люде не интересны — она ведь недавно кончила техникум и книжные знания еще свежи в ее памяти. Но вот агроном упоминает о каком-то приборе для определения потребности растения в азоте, фосфоре, калии... Люда оживляется, спрашивает, где такие приборы продаются, какая им цена, и говорит, что она бы на свои деньги купила. Агроном возражает, что на свои незачем, для нее это дорого, а для колхоза расход невелик.

Не доходя Городища, все поворачивают на кукурузное поле.

А я отправляюсь в деревню.

В избе жарко, даже в передней комнате, куда выходит только одна стена печки. На задней половине, у Анны Захарьевны, где немолчно жужжат мухи, и вовсе дышать нечем. Оттуда тянет сухим печным жаром. Я усаживаюсь подле окошка, обращенного в заросший травой палисадник. В палисаднике растет липа, накрывшая его своими ветвями. Здесь прохладнее. Стекла трех других окошек, глядящих на улицу, накалины солнцем.

Напротив, вдоль стены, стоит узкая кровать, застланная розовой китайской купальной простыней, из-под которой выпущен кружевной подзор. В головах постели возвышается горка взбитых подушек в белых, с кружевами, нарядных наволочках, — на ночь их снимают, спят на ситцевых. На стене возле печки, на прибитых к ней металлических крючках, распяленные плечиками, висят пестрые летние платья, под которыми аккуратно поставлены зеленые босоножки и белые туфли на высоких тонких каблуках. Между окнами помещен комод, над ним повешено узкое зеркало в точеной деревянной раме. И еще висят на стенах фотографии, хозяйские, по-видимому, — большие, каждая в отдельной рамочке, развешены под самым потолком, а маленькие, штук по десять в

рамке, несколько ниже. Плакат с дояркой тоже, вероятно, принадлежит хозяйке. А вот репродукции с «Неизвестной» Крамского и «Всадницы» Брюллова куплены, конечно, Людой. Ей принадлежат и книги на столике в углу, недалеко от окна, возле которого я сижу, — Исаковский, определитель растений Нейштадта, учебники по общему земледелию, агротехнике полевых культур... Здесь лежат еще и номера журнала «Крестьянка». На столе, поверх скатерти, постлана газета. Стоит чернильница. Все это устроено для занятий. Люда учится в заочном институте, и над столом прикреплено расписание, по которому она занимается.

Мне приходит на мысль, что все здесь, пожалуй, как дома у Люды, и что у Анны Захарьевны, когда с ней жили ее сын или дочь, где-нибудь да учившиеся, было примерно так же. Это вот и есть современная крестьянская изба, и присутствие здесь человека образованного не вносит в обстановку избы, в сложившийся здесь быт каких-либо существенных изменений, как это бывало в старые времена, когда в доме у мужика поселялся учитель или агроном. Однако, свидетельствуя о пережившемся деревенском обиходе, обстоятельство это одновременно побуждает задуматься еще и над тем, что не так уж велик пример, какой могут подать колхозникам сельские специалисты, если иметь в виду не их профессиональные знания, но общую культуру. Это прекрасно, разумеется, что Люда и Анна Захарьевна понимают друг дружку буквально с полуслова, но вот в оценке художественно увеличенных портретов они могли бы и не быть так уж единодушны, как, впрочем, и в других подобных случаях.

«Без товарища-то вам не повадно!» — сочувствует мне Анна Захарьевна. Я говорю, что не хотелось таскаться по жаре. Анна Захарьевна приглашает приезжать зимой, у них тут с горок на лыжах хорошо покататься и на зайца можно сходить. Я спрашиваю, тепло ли у нее в избе, есть ли чем топить. Она отвечает, что дровами они не бедствуют, лес у них — колхозный. Продавать, правда, председатель не велит, говорит: топить — топите, а спекулировать колхозными дровами не дам.

Те года, — продолжает она, и я догадываюсь, что речь идет о каком-то совершенно определенном, причем нелегком времени, — те года только дровами и жили. У кого трудней много, так ему лошадей два раза в неделю давали зимой. За зиму возов двенадцать в город отвезут, а воз-от — полтора ста рублей. Молоко еще возили, у кого корова. Но только с ним трудно. Возьмешь вечернее да утрешнее — два бидона, повесишь на себя, и пять километров пешком до автобуса. Изломаешься. А там, если не сядешь на шестичасовый, молодежь ведь побойчее, отти-снут, жди другого или на попутную просись... Весь день и уйдет.

Я спрашиваю: «Молоко-то какое — топленое?»

«Топленое, — отвечает Анна Захарьевна. — Только прежде, — говорит она, — когда колхоз был маленький, молоко никто не продавал. Незачем было. Работали не как сейчас, дружно работали, с рассвета, можно сказать, хотя и труднее приходилось, машин не было. И получали хорошо, килограмм по семь, а то и по восемь. Теперь не то. Теперь хуже». «Отчего же хуже?» — спрашиваю я. «Людей не стало», — говорит Анна Захарьевна. «Куда же они девались?» — продолжаю я допытываться. «Поразъехались, вишь».

Я пытаюсь дознаться, почему вдруг стали уезжать люди, на что Анна Захарьевна отвечает несколько неопределенно: «Машины пришли». — «Но почему, если пришли машины, сделалось хуже, а не лучше?» — «Земли, вишь, много, — уклончиво замечает Анна Захарьевна, — разве ее обработаешь?»

Должно быть, рассудив, что она вроде бы огорчила меня, Анна Захарьевна говорит, что сейчас ничего, сейчас получше. Я спрашиваю, откуда у нее такой хороший барометр, не от агронома ли какого-нибудь, стоявшего на квартире, достался? Я еще вчера заметил на задней полочке, рядом с ходиками, большой швейцарский aneroid, за толстым стеклом которого, сквозь круглое отверстие в центре циферблата, виден был матово поблескивающий медью и сталью механизм. Анна Захарьевна отвечает, что барометр покойный муж купил давно, еще в единоличном хозяйстве. Тогда ни у кого в деревне не было барометра, заявляет она с гордостью. и радио ведь еще не было, все приходили к ним по году узнавать.

Увеличенная фотография мужа Анны Захарьевны привлекла мое внимание еще вчера. Мне понравился этот светловолосый, с продолговатым лицом мужик в бороде лопатой, одетый в пиджак и косоворотку, — такими благообразными изображали в старых учебниках географии великороссов. Я невольно взглядываю на него сейчас, и Анна Захарьевна, перехватив мой взгляд, вздыхает. Я спрашиваю, давно ли помер муж. Она отвечает, что запрошлой зимой. «А лет ему сколько было?» — «Шестьдесят шесть». — «Что же он, болел чем?» — «Сердцем», — говорит Анна Захарьевна и принимается рассказывать не без удовольствия от того, что это меня интересует.

Был он у нее, рассказывает она, работающий, смирный, не ругался, не пил — разве что иногда за компанию рюмочку выпьет. В колхозе много работал. Легкий он был, за ним не поспеешь. Два бидона с молоком поставит в мешок, свяжет их, через велосипед перекинёт — и зашагал.

В сенокос это случилось. Пожаловался он, что устать стал. «Так ведь годы, Володя, — сказала она ему, — шестьдесят шестой уж пошел... Ты бы с молодыми-то не косил, не тягался». — «И то, мать», — согласился он.

Все лето ему недужилось.

Стали картошку копать. Он и говорит: «Что-то мне, мать, тяжело, николи так тяжело не копалась она». А я ему: «Ну и не копай, — с ласковостью в голосе рассказывает Анна Захарьевна, — делай, что полегче, я копать буду, а ты выбирай да вози». Он и повибирал ее, и всю на тачке перевозил. «У нас, — объясняет она, — три половицы в избе отнимешь — и сыпь картошку прямо в подполье. Так Володя догадался лавку поставить, чтоб не поднимать ему мешок, а на лавку класть и сверху сыпать.

Убрали мы картошку. А уж осень подошла. Подмораживает.

Приходит к нам Володи двоюродный брат. — он в город переезжал и дом уже продал, — приходит звать Володю литки пить. А мы только отобедали, не хочется Володе идти. «Сыт я, — говорит он мне, — ну как я пить стану! Да и не пойти, говорит, нельзя — обидятся». — «Конечно, говорю, сходи — посидишь, рюмочку выпьешь». Он и пошел. Потом уж рассказывала братнина жена: сидит он, рюмочку только и выпил, есть ничего не ест и вдруг говорит: «Чего бы я поел!..» Чего бы, говорит, поел, — повторяет Анна Захарьевна, и в голосе ее слышится простодушная хитрость захмелевшего человека. Она выдерживает паузу, затем продолжает с интонацией деланного недоумения. — «Чего же?» — будто бы не догадалась братнина жена. А брат рассердился на нее: «Чего, чего! Меду бы он поел. Вот чего». У них все уже упаковано было, она и говорит: «Как я его достану, уж и не знаю». — «Достань, — приказывает брат. — Раз человеку хочется, достань». Достала она меду. Блюдец целое наклала, стожком. Таково, говорит, в охотку поел он, с аппетитом. Я уже спать легла и не слыхала, как Володя домой пришел, как на печь залез. Просыпаюсь среди ночи — а он на лежанке сидит, ноги свесил. Засветила я огонь. «Что, говорю, Володя?» — «Да что, что — дух

вон!» — говорит. Дышать ему, значит, нечем — задышка. Я ему говорю: «Надо бы, Володя, в больницу съездить — на ерген». — «Съездим», — говорит. Сели завтракать. Не хочется ему, говорит, есть. «Ты много-то и не ешь, — уговариваю я его, — зачем тебе картошка или каша. Ты чего полегче съешь. Яичко, чаю сладкого... Тебе и сытно будет, и легко».

Одела я его, довела до шаса, сели мы в автобус...»

Голос Анны Захарьевны звучит тише. Рассказывает она еще обстоятельнее: как осмотрел Володю врач и каков он был из себя, как велел нянечке: «Ведите, Олимпиада Эрастовна, больного на ерген», — она запомнила даже имя и отчество нянечки, должно быть, потому, что все относящееся к последним дням мужа воспринимается ею как нечто весьма важное. Она вспоминает, как попросила, чтоб ей разрешили самой отвести больного в рентгеновский кабинет, и как врач сказал, что это можно. Просветили Володю, продолжает она рассказывать, спрашивают, не было ли в легких воспаления. У него вон тут, показывает она на грудь и чуть ниже, черное что-то, как платок. Снова отвела она Володю к врачу. Тот велит сейчас же положить больного в больницу. Нянечка говорит: еще не собрался больной, что выписывается. А врач: «Все равно, Олимпиада Эрастовна, которого выписывают — посидит, а этого кладите».

Палатная сестра велела ей приходиться завтра — будет, мол, посетительский день. Она пришла. Выходит Володя — слабый, тихий. «Ну как? — спросила она. — Уколы делают ли?» — «Нет, говорит, не делают». — «А кормят как?» — «Кормят, отвечает, хорошо, ты ничего не носи». А она ему молока принесла, яблок, икры, — сестра говорила, все так носят. И на другой день пришла, принесла передачу, сестра не берет, говорит, не ест он, зачем добро переводить. А на третий пришла... говорят — помер.

Анна Захарьевна, пока рассказывала, слезинки не уронила.

Я думаю, муж для нее как бы жив, и не оттого, что она верит в загробную жизнь, — он живет во всех тех мелочах и подробностях повседневного их существования, какие сохраняет память старой женщины.

Под вечер мы уезжаем из Городища. Мы обещаем Люде приехать снова на день ее рождения, как она сказала — на второй день Казанской.

\* \* \*

Неожиданно серое, прохладное утро. После обеда пролился тихий дождик. Улица наша выглядит чистой — пыль на мостовой пририта, свежо зеленеет короткая, как бы подстриженная грава. К открытым нашим окнам подошел Александр Иванович Кривцов, живущий через дорогу. Сперва у них с Михаилом Васильевичем шел разговор о дровах. Потом Михаил Васильевич, как это почти всегда бывает, когда они встречаются с Александром Ивановичем, подражая его, говорит, что тот-де никогда не позовет, не угостит кружовенной или смородиновой. Александр Иванович возражает. «Пожалуйста, говорит, заходи в любое время — налью стакан». Однако Михаил Васильевич говорит, что из-за стакана и заходить не стоит: «Если уж пить, так до протокола!»

Через дом от нашего, где на узкой полоске земли, отведенной городским архитектором в обход всех законов, возводится шлакобетонный, о два окошка домик, — точнее сказать, перед самым этим домиком два дюжих мужика, взявшись за большой, тяжелый грохот, рама которого сколочена чуть ли не из плаха, принимаются просеивать песок.

Александр Иванович, посмотрев, говорит: «Вот дураки, кто же так делает — они через час из сил выбьются!» Он объясняет, да мы и сами это знаем, что грохот надо поставить наклонно, подпереть чем-либо —

и пошвыривай лопатой песок... Михаил Васильевич подзадоривает его: ты, мол, не нам, ты им расскажи. Однако Александр Иванович отказывается — еще отругают. Он вспоминает, как собрался недавно на рыбалку, шел с веслами к озеру, а на берегу какой-то гражданин олифу варит, и костер у него под ведром — огромный. Александр Иванович показывает руками размеры ведра и какой огонь был под ним, и мне чудится, будто я вижу оранжевое пламя и вскипающее в ведре густое темное масло. Выждав, пока все это запечатлеется в нашем сознании, Александр Иванович продолжает рассказывать, как он сказал этому человеку: кто же так варит льняное масло, оно же загорится; и как тот послал его к известной матери. Но едва он подошел к лодке, еще и весел не успел положить, слышит — сзади крик. Он оглянулся и увидел, как горит, гудя, олифа в ведре, а человек пляшет вокруг, головой мотает, машет обожженными руками, суется к ведру, но разве к нему подступишься, да и спасать там нечего.

Удивительно картинно рассказывает Александр Иванович.

\* \* \*

Печет весь день...

Перед вечером, когда уже не жарко, молодые отцы катят по асфальтированному тротуару главной улицы легкие колясочки, сияющие хромированными частями и кружевным бельем, — чешские, немецкие... Остановятся, обменяются несколькими словами — снова покатают свои колясочки.

Народу на улице пока что немного.

Под окнами в пряничных наличниках сидит крупная, рыхловатая женщина лет тридцати с небольшим, уперев розовые босые ноги в горячий асфальт. Светлая, толстая, расплетающаяся коса переброшена через плечо. Лицо красное, измятое, заспанное — спала после обеда. А скоро и чай.

Позвякивая звоночками, едут на велосипедах две загорелые, сухощавые деловитые бабенки с большими сумками, повешенными на раму.

Неподалеку от рынка, в пустынной в этот предвечерний час улице, вымощенной круглым булыжником, напротив дома с вывесками: «Нотариальная контора», «Юридическая консультация», «Нарсуд» — стоит автобус. В городе до сих пор существовала одна автобусная линия — из конца в конец, а теперь открыли еще и кольцевую, и скорый на язык райгородец назвал бегающие по этому кольцу маленькие машины — «спутник».

К кремлю я подхожу со стороны рынка, и мне сперва открывается с угла гостиный двор — две уходящие вдаль приземистые, несколько покосившиеся аркады. Позади, заслонив собою полнеба, освещенный низким и красным садящимся солнцем, высится белый, слегка порозовевший куб собора с пятью нависшими над ним слепящими серебряными главами. Рядом с собором и вознесенной сбоку от него звонницей, в сквозной галерее которой висят тысячепудовые колокола, белеют кремлевские стены, и башни, и храмы, круглятся серебряные и зеленые главы, поменьше соборных, вонзаются в небо красные шатры с золотыми прапорцами.

Возле ворот кремля и внутри — на булыжной площади с непросыхающими лужами и в средневековых двориках, где пахнет аммиаком и отсыревшим кирпичом, поворотясь в разные стороны, торопливо работают художники, молодые и старые, холеные и тщедушные, заморенные. Они равнодушны к неповоротливым тяжелым грузовикам, проезжающим. Кажется, по их этюдникам, к проносящимся с пулеметной стрельбой трехколесным фургончикам и только поглядывают то и дело на ухо-

дящее солнце. На холсте, на картоне и на бумаге изображенный маслом, темперой, акварелью, сангиной возникает разъятый на части кремль.

Смеркается. Перед иными домами на лавочках уже сидит народ. От автобусных остановок идут высадившиеся из автобуса распаренные, покрасневшие женщины с тазами, с полотенцами через плечо, чаще всего цветастыми, китайскими, некоторые ведут за руку голенастых девочек, повязанных по самые глаза светлыми платочками. Сегодня баный день — женский.

За тюлевыми занавесками открытых окон, в черноте комнат вспыхивают голубые экраны и принимается говорить диктор. Этот его отдельно существующий, отчетливый говор сопровождает меня до зеленой моей улицы, в конце которой белеется Дмитриевский монастырь с почерневшим от времени огромным сферическим куполом над фронтоном ампириного собора. У нас телевизора нет. У нас и коробочку репродуктора включают только тогда, когда передаются местные известия и сводка погоды. Из открытых наших окон доносится голос Михаила Васильевича, заказывающего на завтра обед: «Щука-то еще лучше... Щука и обирается хорошо».

Едва войдя во двор, я различаю вдруг между грубыми запахами огорода тонкое, пряное, иначе не скажешь — благоухание. Это цветет кривенькое деревце лоха, торчащее над огуречными грядками. В его обвислых и будто измятых серебристых листьях светло желтеют мелкие цветочки.

Хороший русский писатель Иван Евдокимов, умерший в первые дни войны, писал в середине двадцатых годов в книге «Провинция»: «СССР только начинается на Красной площади, но свое великое продолжение имеет за Москвой в голубых, розовых, желтых и зеленых домиках провинции, на дорогах, на ночных плотках, в вагонах ж.-д. линий, на трудовых пашнях и лугах равнин, в настоящем деревенском воздухе, с детства накачанном в наши легкие». Едва ли можно что-либо прибавить к этому, разве что расширить перечень того, что тридцать пять лет тому назад входило в понятие «провинция», назвать совхозные поселки в целинной прежде степи, автомобильные магистрали, небольшие, однако многоэтажные заводские города, огнями своими долго провожающие ночью путешественника, деятельное многолюдье рабочих армий, лагерями расположившихся вокруг котлованов или же на берегах перекрываемых рек...

\* \* \*

В семь часов утра ни одного облачка в сереньком, едва подкрашенном синькой небе. В восемь — появилось несколько круглых легких облаков. Затем их стало больше. Создавалось впечатление, будто те первые выпуклые белые облака, теснившиеся с краю неба, были как бы высланы вперед, чтобы разведать местность. И вот они двинулись, а за ними — ряды других, и скоро все небо, сразу приобретшее нестерпимую синеву, уставилось рядами крутобоких, ослепительно снежных облаков.

Не жарко. Изредка шевельнется ветерок.

\* \* \*

С тех пор что я знаком с Иваном Федосеевичем, кажется, четвертый раз гошу я у него на Казанской. Пока он жил в Стрельцах в чужих людей, да и здесь, в Любогостицах, пока не купил дом и не перевез к себе мать, никаких праздников он не праздновал. Напротив, он рассказывал мне, что в праздник обычно уходит из деревни, потому что все зовут в гости и надо обязательно пить, а не пойдешь — обидятся. Он отправляется в поля, где никого нет, неспешно похаживает по лугам,



болотам, и хотя хорошо знает эти земли, каждый раз на ум придет что-нибудь новое... Когда же к нему переехала мать и он снова, впервые после ухода от жены, зажил своим домом, само собой получилось, что на Михайлов день, который празднуется у него на родине, в Угожах, и на Казанскую — здешний престольный праздник, — он стал ожидать к себе гостей. Разумеется, в бога он давно не верует, и церковные праздники для него — лишь даты земледельческого календаря, из которого известно, например, что «введенъё ломает леденьё», а на «здвиженъё — хлеб с поля движется», что же до праздников храмовых, то они к тому же напоминают еще ему, как и каждому деревенскому человеку, куда бы ни занесла его судьба, родную деревню, где самый большой праздник — какой-нибудь никому не ведомый «Касарымский», образованный русским мужичком, великим мастером обминать и переиначивать чужезычные слова, из епископа Григория Неокесарийского, жившего в третьем веке в Малой Азии. К слову сказать, если бы не так часто менялись названия колхозов и связаны они были с календарем, может статься, сложился бы обычай праздновать свой, деревенский, праздник, который и заменил бы престольный.

Ивана Федосеевича дома я не застал — он с утра в городе.

Я отправляюсь к Алексею Петровичу, который успел уже сегодня и порыбачить и поспать, и теперь, в сетчатой майке, в полосатых пижамных штанах, босой сидит праздну, наслаждаясь, по-видимому, ничегонеделанием.

Алексей Петрович спрашивает, слышал ли я, говорят, будто Чернов, председатель колхоза «Россия», собрался в отпуск на курорт? Я отвечаю, что слышал, и не от кого-нибудь — от жены Чернова, заезжавшей к нам на днях. Она жаловалась, что Кирилл Федорович надорвался, да и она устала, они, мол, не отдыхали несколько лет, а зимой тоже не поедешь, и новая книга у него запланирована, материал собран...

Алексей Петрович рассказывает, что Чернов как-то говорил ему, что вынужден будет по болезни совсем уйти. Да и уйдет, пожалуй. Какая безответственность! И чего же стоят все эти его статьи, лекции!

Я говорю, что виноват здесь больше Василий Васильевич.

Мне представляется, говорю я, что еще в то время, когда Алексей Петрович был секретарем райкома, а Василий Васильевич — председателем райисполкома, он заприметил дельного, энергичного председателя колхоза, стал не то чтобы помогать ему, скорее потворствовать некоторой его склонности к прожектерству. Кирилл Федорович ремонтировал хозяйственные постройки, обновлял семена, наводил порядок в севооборотах, организовал Совет старейшин, разработал систему бригадного хозрасчета... Все это было встречено поддержкой и местной газеты, и райкома партии. О председателе колхоза из Ржищ стали писать, его приглашали читать лекции. А когда Алексей Петрович ушел работать в обком и секретарем райкома избран был Василий Васильевич, дня не проходило, чтобы газета не выступила с каким-либо хвалебным материалом о Ржищах, шла ли речь о работе детских учреждений, о вывозке ли торфа или о выполнении налоговых органами финансового плана. Сам же председатель разъезжал с лекциями, писал статьи, написал брошюры, хотя, если взять главное, ради чего существует колхоз — производство сельскохозяйственных продуктов, то успехи здесь были невелики.

Не хватало терпения, выдержки, необходимых, чтобы по копейке собрать рубль. Не хватало решимости осесть в Ржищах, куда даже летом не всегда проедешь в «победе». Не хватало мужицкой стойкости, пренебрежения к бытовым неудобствам, к сугробам по крышу — зимой, к налипшей на сапоги чудовой грязи — осенью. А без всего этого нечего надеяться сделать что-либо серьезное в запущенном хозяйстве.

И вот, как я теперь понимаю, ради внешнего успеха, ради поддержания начавшегося вокруг «передового» председателя шума, к не очень-то крепкому колхозу в Ржищах с тремя его деревнями присоединен был и вовсе уж слабый угожский колхоз, в котором тоже три деревни. Следом за этим, так сказать, наращивая успех, новое хозяйство объединили с пятью другими, несколько побогаче, назвав его громким именем «Россия».

Алексей Петрович замечает, что предостерегал Василия Васильевича против чрезмерного укрупнения колхозов. Самое большее, на что можно было пойти, говорил он ему, это объединить Ржищи с Угожами, хорошо представляя себе при этом, как трудно будет председателю с предпринимчивыми здешними огородниками, которые в прежнее время и земли-то не пахали — нанимали работников. Я говорю Алексею Петровичу, что Чернов мне рассказывал, как угожские мужики, когда он принялся их стыдить, почему они не выходят косить, отвечали, пускай, мол, «деревня» косит, имея в виду колхозников из других селений, а они сроду не кашивали.

Мне представляется, продолжаю я, что новое укрупнение, после которого в колхозе стало десять тысяч гектаров земли, — это при здешних-то болотах и оврагах! — предпринято было еще и ради достатка некоторых из вновь присоединенных колхозов. Затем взяты были ссуды, полученные авансы под будущие поставки молока и овощей, и Кирилл Федорович вдруг объявил, что переводит колхозников на денежную оплату. И снова пошел шум — со статьями в газетах, с лекционными поездками Чернова по области, с выступлениями Василия Васильевича на активах, где он заявлял, что денежная оплата будет введена во всех колхозах района.

Я могу предположить, что секретарь райкома не очень обременял «Россию» поставками. Сколько я помню, что-то не слыхать было, чтобы колхоз продал государству какое-нибудь исключительное количество молока или мяса, как, впрочем, и того, чтобы он не выполнил обязательств. Зато много говорили о покупке Черновым новых мастерских бывшей МТС стоимостью в три миллиона, о генеральном плане перестройки Угож. И хотя в колхозе, например, дохли поросята, земля по-прежнему оставалась в забросе и никаких построек почти не возводилось, председателя приглашали выступать по телевидению, областной музей поместил его портрет и представил к награде грамотой Министерства культуры, столичный институт предложил участвовать в дискуссии по проблемам колхозной экономики.

Должно быть, еще до этого нервы у него были предельно напряжены, и когда по возвращении из Москвы, выступив по телевидению, он ехал из областного города домой, с ним случилась, выражаясь по-старинному, нервная горячка. Молодой мужик несколько степной, татарской складки, мускулистый, подвижный, с постоянным блеском живых глаз, он стал прихварывать, обмяк. Трудно было вообразить, чтобы еще не так давно этот человек мог рассказывать с гордостью, как он идет читать лекцию, и никто при взгляде на него не подумает, что он — председатель колхоза.

Он стал поговаривать, что не в одной денежной оплате суть, и я догадывался, как ему трудно, обязавшись платить колхозникам каждый месяц, доставать для этого деньги. Я его спросил однажды, какую выгоду принесло укрупнение пяти или шести и без того не маленьких колхозов, и он ответил, что сейчас появилась возможность разместить культуры сообразно с тем, как это было в прежнее время: одни деревни могут заняться хлебом, картошкой и травами, другие — овощами, луком. Он говорил мне это как бы даже оправдываясь, и я оставил намерение возразить ему, что специализация теперь поощряется и ради нее незачем было укрупняться.

Вообще, говорю я Алексею Петровичу, мне стало его тогда жалко, хотя я и понимал, что благодаря авантюре с укрупнением он переехал из захолустья в большое село, в построенный колхозом комфортабельный трехкомнатный домик с центральным отоплением, и что платят ему изрядно, поскольку председатель получает в зависимости от величины хозяйства.

В нем появилась некоторая вялость и одновременно беспокойство.

Однако в следующий мой приезд, когда Василий Васильевич был уже начальником областного управления сельского хозяйства, я услышал, что Кирилл Федорович прочат в председатели райисполкома, на место Александра Сергеевича, избранного секретарем райкома. Признаться, говорю я Алексею Петровичу, мне не понятно, как Кирилл Федорович решился уйти из колхоза, ведь обнаружилось бы, что весь шум был из ничего.

Алексей Петрович не соглашается со мной. Он говорит, что у председателя, который пришел бы на место Чернова, первое время все шло бы вроде хорошо, — сам Кирилл Федорович и помогал бы ему. А потом могло оказаться, что новый председатель завалил дело. Забрать Чернова в райисполком помешала речь Никиты Сергеевича, говорившего о необходимости сократить аппарат, управляющий сельским хозяйством, и передвинуть высвободившиеся таким образом кадры на работу в колхозы.

Говорили еще, вспоминаю я, будто был и такой план — укрупниться с колхозом в Усолах, который хотя и невелик, но с приходом туда Николая Леонидовича заметно поправился. Алексей Петрович говорит, что и он это слышал, даже сказал однажды Ликину при встрече: не смей, дурак будешь! А вообще-то, говорю я, была как будто идея и Ивана Федосеевича проглотить — мечта об одном гигантском колхозе по всему Заозерью.

Я собираюсь рассказать Алексею Петровичу, как прошлой осенью, в ответ на мое замечание о том, что Иван Федосеевич выглядит на редкость молодо, Василий Васильевич мстительно проговорил: ну, это уж последние годы его. Мне вспомнились эти его слова, когда пронесся слух о присоединении к «России» любогостицкого колхоза, и я подумал, что в намерении этом известное значение имело желание избавиться от ненавистного председателя. Я уже начал было рассказывать, но здесь в комнату вошел только что приехавший из города Иван Федосеевич.

Он мрачен, зол, не поздоровавшись, говорит, что разругался с начальством. Он объясняет, что ему планируют девятьсот тонн молока, ничего не оставляя для нужд хозяйства, для продажи горторгу, тогда как Чернову, у которого земли чуть ли не втрое больше, — восемьсот. Опять, говорит он, стригут... И на кой черт он тогда коров покупал.

Был бы у него совхоз, рассуждает он, пожалуйте, все забирайте. У совхоза и капиталовложения, и фонд заработной платы. А ему откуда взять денег, чтобы платить людям, развивать хозяйство? Ведь он только тем и жив, что часть оставшейся после поставок продукции продает горторгу или тресту ресторанов, то есть тому же государству, но по розничной цене минус десять процентов торговой скидки. И пока заготовительные цены не повышены, чем больше он сдаст молока, тем разорительнее это для колхоза.

Он картинно изображает, как Фетисов, снова объявившийся, но только на должности заместителя председателя райисполкома, разверстывает по колхозам план. Лет двадцать тому назад Фетисов начинал работать здесь сотрудником районной газеты, потом стал редактором и членом бюро, причем зарекомендовал себя тем, что если его пошлют в колхоз

провести отчетно-выборное собрание, то выбран будет обязательно тот председатель, на котором настаивает райком, как бы ни голосовали колхозники, а уж если он поедет уполномоченным по хлебозаготовкам, то после него, как любил он хвастать, мыши в амбаре лбы себе расшибут в поисках зернышка. Фетисов был избран вторым секретарем райкома, затем — первым, но однажды зарвался — торопясь отрапортовать, перепахал неубранный картофель, за что был снят и исключен из партии. Его послали заведовать рестораном на вокзале, однако в партии, на беду, восстановили. Вскоре он уже был уполномоченным Министерства заготовок, а спустя короткое время его рекомендовали в председатели райисполкома. Впрочем, к следующим выборам с ним вышло что-то скандальное, пришлось сунуть его в дорожный отдел, откуда он и взят был на должность заместителя.

Показав, как это получается у Фетисова, когда он пишет, кому сколько чего сдать, руководствуясь лишь одним соображением — выполнить план, Иван Федосеевич говорит, что у этого человека рука не дрогнет оставить ребятишек без молока — ведь без капли оставит! Иван Федосеевич рассказывает, как на него нажимали, чтобы он скупил коров у колхозников. Ему было бы нетрудно это сделать — у него и кормов достаточно, и помещение есть. Он бы и молоком обеспечил каждую семью. И все-таки он не решился, сообразил, что ему сразу подсчитали бы, сколько у него должно быть товарного молока, и все забрали бы подчистую.

И еще он говорит, несколько невнятно правда, о каком-то масле, которое его понуждали купить и сдать взамен молока, чтобы перевыполнить план. Алексей Петрович, должно быть знавший об этом, смущенно добавляет, что Василий Васильевич как-то приходил к нему в обком, просил подбросить сливочного масла, но он ему, конечно, отказал. Я догадываюсь, что Алексею Петровичу совестно за Василия Васильевича, он машет рукой: чего тут, мол, толковать! — и спешит рассказать, как перед отпуском выезжал для расследования подобного случая в соседний район. Председатель колхоза, когда он стал его спрашивать, верно ли, что он покупал масло и сдавал его вместо молока, сперва отпирался, а шофер, с которым тот ездил, все рассказал: и где брали, и как разбивали ящики и деформировали масло, чтобы оно не было похоже на государственное.

Тревожно становится от такого рода историй.

Мы все молчим, как бы не решаясь высказать вслух одолевающие каждого мысли. Слышно, как в соседних комнатах собираются гости. «Пошли», — говорит Иван Федосеевич.

Он знакомит нас с двоюродной своей сестрой, бывшей ткачихой, пенсионеркой, приехавшей к нему из города стряпаться на праздник. Он говорит, что семья у сестры — двадцать человек: дочери, зятья, внуки... Вообще, рассказывает он с характерной для него в подобных случаях наивной гордостью, у него в городе чуть ли не тридцать семей родственников всех состояний, почему он и знает так хорошо город.

Сбоку стола сидит с гармоникой младший сын Ивана Федосеевича — малый лет восемнадцати, горбатый после перенесенного им костного туберкулеза. Он уже успел где-то выпить, сидит красный, с капельками пота на лице, посапывает, рванет вдруг мехи, и все мы вздрагиваем. Он принимается хвастать, что сам весь усад обработал, говорит, что думает отделиться, — он живет с матерью, первой женой Ивана Федосеевича, — просит отца, чтобы тот выписал сколько-то там верей, а деньги он отдаст. Иван Федосеевич говорит, что ладно, выпишет, однако малый не отстает, требует купить ему велосипед, задирается, и можно ожидать, что он вот-вот сорвется, примется скандалить. Но здесь к дому подкатывают на

велосипедах две девушки — дочь Павла Федосеевича с подружкой, внимание от малого отвлечено, и он обиженно умолкает.

Девушки исчезают в соседней комнате, шушукуются там, шуршат чем-то, и оттуда начинает пахнуть парфюмерией. Затем они выскакивают, переодетые в одинаковые легкие белые платица, с пышными белыми бантами в косах и, хихикая, перешептываясь, убегают на улицу.

Входит Павел Федосеевич, слегка пьяный, со всегдашней своей улыбкой на морщинистом лице. После нескольких рюмок, добродушно и виновато улыбаясь, он сует брату какую-то бумажку, просит подписать. Бумажка, как я понял, адресована леснику, с которым Павел Федосеевич, по его словам, уже договорился. Речь идет о разрешении накосить сена для сельсоветской лошади — должно быть, на участке, отведенном колхозу. Иван Федосеевич подписать бумажку отказывается, говорит, ладно, приезжай послезавтра в два, нет, в три часа, вместе поедем в лес, покажу тебе клочок, где косить. Однако брат не отстает: подпиши...

Мы с Алексеем Петровичем отправляемся полежать в тени под липами, откуда наблюдаем неторопливое течение сельского праздника. Всюду уже отобедали, и по улице, сытые и пьяноватые, медленно прогуливаются хозяева с приехавшими к ним гостями. Молодые мужчины по большей части в шляпах, синих или зеленых, некоторые с баянами, и почти в каждой такой прогуливающейся семье у кого-либо из мужчин висит на ремне фотоаппарат. Выбирают место для фотографирования, выстраиваются шеренгой, поставив спереди детей. Одетые в темное тетушки напряженно замирают, а разряженные девицы жеманятся, взвизгивают. Успокоившись, они охорашиваются, то поправят прическу, то шарфик и снова вдруг прыскают.

Когда мы возвращаемся, Павел Федосеевич все так же просит брата подписать бумажку. Я подозреваю, что и приехал он ради этого, причем сенишко, должно быть, и корове его перепало бы, не одной сельсоветской лошади. Однако Иван Федосеевич, хотя он уже и выпил, твердо стоит на своем: приезжай послезавтра в половине третьего, поедем в лес, покажу уголок. Но Павла это почему-то не устраивает. Я думаю, он столкнулся уже с лесником и по бумажке этой накосил бы сколько хотел.

\* \* \*

В Городище мы отправляемся всей семьей, прихватив и Николая Семеновича. С утра было знойно, потом поднялся ветер, на небо наволокло белесую дымку, закрывшую солнце, и стало прохладно. Вскоре, однако, тем же ветром дымку рассеяло, но жара уже не вернулась, хотя ветер пропал. Должно быть, часов около семи мы останавливаемся перед домом Люды. Мы едва успеваем выйти из машины, как следом подкатывает другая, из которой с не свойственным ему проворством выскакивает грузноватый Степан Павлович из «райза». Он предупредительно открывает заднюю дверцу. Три нарядно одетые женщины, поправляя смятые в дороге платья, с шумом кидаются к Люде, тискают ее, целуют. Потом они знакомятся с нами.

Первой подходит самая старшая, лет сорока должно быть, худоская, гибкая, с коричневым, как бы иссушенным лицом. Можно предположить, что женщина она бойкая, однако обходительная, хорошего деревенского воспитания. Она называет себя: Надежда Алексеевна, и я догадываюсь, что это звеньевая из Нагорья, у которой жила Люда, пока была агрономом колхоза. Затем протягивает вялую пухлую ручку миловидная девица, теперешняя квартирантка Надежды Алексеевны, почему она и приехала к Люде на день рождения. Что до третьей, то о ней я тоже наслышан — это новый здешний агроном, девушка лет двадцати трех, родом из-под Москвы, в прошлом году окончившая сельскохозяйственный

институт. Она маленькая, худенькая, с совершенно белыми, гладко причесанными волосами, с такими же бровками и ресницами, которые только потому и видны, что лицо загорело. Светлана Александровна — называет она себя и энергично пожимает каждому руку.

Степан Павлович принимается вдруг прощаться. Оказывается, он был в Нагорье на открытом партийном собрании и по доброте своей вызвался доставить гостей к имениннице. Поднимается страшный шум, Степана Павловича не отпускают, он что-то объясняет, потом машет рукой.

Люда, выпроводив мужчин в свою комнату, продолжает собирать на стол. Надежда Алексеевна стоит возле нее, прислушивается не то к шепоту девиц в сенях, не то к нашему разговору, затем, должно быть, решившись, но все же не совсем уверенно, идет к нам, принимается рассуждать с нами о наиболее выгодных в здешних местах севооборотах.

На крыльце кто-то вскрикивает, слышатся поцелуи, крупная, плечистая, шумная девушка с большим букетом цветов врывается в дом. На ней великоватая, видать ни разу не надеванная, красная импортная трикотажная кофточка. Стриженные светлые волосы ее растрепались. Она раскраснелась, вспотела. Сунув Люде букет, она начинает раздирать гребнем копну волос, утирается скомканным платочком и при этом рассказывает, что у них практика, она полола в колхозе, только в четыре кончила, прибежала в общежитие, умылась и переделалась, едва поспела на пятичасовой автобус, потом от шоссе все время бежала.

Это — Света, младшая сестра Люды, недавно перешедшая на четвертый курс нашего сельскохозяйственного техникума. Она и похожа на Люду, но только крупнее ее.

На некоторое время Люда исчезает, затем появляется в белом матовом платье из чуть шершавого шелка. Несколько нерешительно, с какою-то принужденностью она говорит: «Не пора ли к столам!» Так и мать ее, вероятно, говаривала. Впрочем, мать сказала бы: «Пожалуйста к столам».

Теснясь, все усаживаются за стол. Люда зовет Анну Захарьевну, но той, как водится, «не смело», она отказывается, говорит, что успеет еще поесть, у нее-де руки долгие, она не у мачехи росла...

Меж тем в избу набились глядельщики, по преимуществу ребятишки, заняли угол у двери, забрались на лежанку. Пришел какой-то пьяный малый, оказывается — шофер, приехавший за зеленым горошком. Он объяснялся каждому в добрых своих чувствах, особенно же Светлане Александровне, про которую всем говорил, что Света, Светик, она у них — как цветик.

Надежда Алексеевна, узнав, что шофер собирается сегодня обратно в Нагорье, обрадовалась, — с ним она и уедет. Она говорит, что ночевать ей здесь нельзя. Об доме она не беспокоится, объясняет она, у нее дочка двенадцати лет: она и уберет корову, и подоит. Ей вот косить надо выйти в четыре часа. Она обещала звену, что со всеми выйдет. А до Нагорья девять километров — когда еще придешь, да и устанешь!

Я говорю Надежде Алексеевне, что ее и наш шофер отвезет.

Она и вовсе успокаивается. Ничто уже не мешает той веселой неприужденности, с какой она считает приличным, должно быть, держаться за столом. Она то похвалит винегрет, то посоветует соседу взять хрену к студню, то попеняет кому-либо: «Что же вы не пьете, после вас ведь допивать не станут!» Она и встает первой из-за стола, говорит, что, мол, закусили, так надо рассказать, кто что умеет, — именно рассказать, а не показать, — и заявляет: «Я все расскажу, что знаю...»

Люда приносит гармонию, дает ее шоферу исполкомовской машины.

Надежда Алексеевна, пройдясь мелкими шажками, выкрикивает:

Говорят, что некрасива,  
 Ну и что ж поделаешь?  
 За красотой — не за цветами —  
 В полюшко не сбегашь.

Люда рассказывает мне, что Надежде Алексеевне сорок три года, она давно вдовец, однако живет строго. Семнадцати лет отец выдал ее насильно замуж за нелюбимого, и только когда они расписывались, она узнала, что муж старше ее лет на десять. У нее еще и сын был. Одиннадцатилетним, кажется, мальчиком он погиб во время пожара.

Меж тем уже смерклося. В избе стало совсем темно. Надежда Алексеевна предлагает идти на улицу. Перед избой полно народу, сидят на завалинке, стоят вокруг. Пришел здешний гармонист со своей дочкой, девочкой лет восьми. На девочке длинная юбка, кофточка навыпуск, концы завязанного под подбородком платочка торчат в стороны. Девочка пляшет и выкрикивает частушки как-то очень серьезно, по-взаправдашнему, с необходимым здесь автоматизмом интонаций и жестов, не как ребенок, а словно маленькая женщина. И так же всерьез старается переплясать ее Надежда Алексеевна. Собственно, они вдвоем только и пляшут.

Степан Павлович, поговорив о чем-то с Людой, уехал.

Спустя некоторое время собрался домой и пьяный шофер грузовика. Надежда Алексеевна со своей квартиранткой и Светланой Александровной решают ехать с ним, однако заметив, насколько он пьян, Надежда Алексеевна первая отказывается, заявив, что с малым этим убьешься, а у нее дочка, не оставит она ее сиротой. Я еще раз подтверждаю, что их всех, как только они захотят, отвезет шофер нашей машины.

Остается уговорить пьяного шофера, чтобы он никуда не ехал, ночевал здесь у тещи — все равно ему приезжать утром за горошком. Но он стоит на своем, и тогда Светлана Александровна, к великой его радости, садится к нему в кабину. Он дает газ, вопя от счастья, и машина, оторвавшись вдруг от всех, кто держался за нее, пока разговаривал с шофером, чуть не передавив нас, принимается буквально скакать.

Светит луна. Чернеются избы. Гармонь играет.

Тоненькая девочка в длинной юбке кричит горлом:

Полюбила я его,  
 Он — мальчишка ничего,  
 Между прочим, он не очень,  
 Ну да ладно, ничего.

На освещенной лунным светом широкой улице, пытаюсь развернуться, кидается из стороны в сторону грузовая машина, в кабине которой, в белом пыльнике, положив студенческий портфельчик на колени, сидит беленькая, гладко причесанная девушка-агроном, и родителям ее, где-то в железнодорожном поселке километрах в ста отсюда, не приходит в голову, что дочери их сейчас грозит какая-либо опасность.

Рванувшись, машина исчезает.

«Зачем она поехала!» — огорченно говорит Николай Семенович.

Я объясняю ему, что ей нельзя было не ехать, она ведь агроном колхоза, и машина колхозная, она отвечает за машину, поскольку все происходило при ней и она не сумела заставить шофера остаться.

Люда, всплыв, говорит: «Она еще перед совестью отвечает».

А Надежда Алексеевна все пляшет.

Девочка, мелко перебирая перед ней ножками, выкрикивает:

Ой, довольно, наплясалась,  
 Не пора ли нам кончать?

Про любовь и про измену  
Никогда не рассказать.

Надежда Алексеевна собирается уезжать. Она очень довольна, я думаю, даже счастлива: она выпила немного, побывала среди людей, наплясалась, накричалась, пожалуй, отдохнула — можно с утра и на покос.

Проводив гостей, мы отправляемся прогуляться. Мы идем проселком, среди темнеющих под светлым северным небом всхолмленных полей. Сильно пахнет землей и сырыми травами. Где-то недалеко кричит костель. В Никольском на колокольне бьют часы: одиннадцать.

Я замечаю, что Люда чем-то расстроена. Я спрашиваю ее, что с ней, и она говорит, что ей придется распрощаться с Городищем, вообще с колхозом, а уезжать не хочется. Она говорит, что Степан Павлович, перед тем как ему уехать, сказал, чтобы она подавала заявление об уходе и ее направят в другой колхоз или дадут работу в инспекции.

Здесь уже мы все принимаемся расспрашивать, что, собственно, стряслось, и Люда рассказывает, что как-то в начале весны, еще снег был, к ней приехал председатель колхоза, задержался, а тут поднялась метель, и он остался ночевать, после чего жена его всюду ходит и обвиняет ее, будто она живет с ее мужем. Люда рассказывает с некоторой запинкой, и мне представляется, что это не только от смущения, но еще и оттого, что этот гладкий молодой мужик с коротко остриженными ногтями действительно лез к ней и ей неприятно об этом вспоминать. Я думаю, она и в Городище переехала, чтобы жить подальше от него.

Все мы стараемся втолковать Люде, чтобы она не расстраивалась. Мы говорим, что решение перевести ее на другую работу вызвано трусостью районных чиновников, испугавшихся вздорной бабенки. Они даже не подумали, что этим своим решением, во-первых, как бы подтверждают грязную сплетню, во-вторых, лишают колхозников пришедшего ко двору руководителя. Поэтому, советуем мы ей, пускай она не соглашается уезжать.

Впереди, за холмом, встает колеблющееся холодное зарево. Это возвращается наша машина. Она переваливает через холм. Мы различаем белеющую рядом с шофером фигурку. Мы узнаем Светлану Александровну. Машина останавливается. Шофер рассказывает, что когда он ехал в Нагорье, то маленькую деревушку на полпути между Городищем и шоссе проскочил с ходу, а когда возвращался обратно, он уже не торопился и обратил внимание на засевший в луже грузовик. В кабине грузовика мирно спал угомонившийся малый, к плечу которого прикорнула Светлана Александровна.

Ночь какая-то беспокойная.

В три часа Люда отправляется проводить сестру Свету до шоссе. Вернувшись, она рассказывает, что Света села на попутный самосвал — до районного центра. Там она пересекает в автобус до Райгорода и как раз успеет в колхоз к началу работы. Выходит, она ездила к сестре на день рождения за восемьдесят с лишним километров, а ведь ей надо и обратно добраться, да еще опоздать нельзя. Впрочем, в провинции это естественно. «Россия на попутных машинах», — подумалось мне, когда я засыпал.

Только мы уснули — осторожный стук в окно: приехал шофер за гошкой. Малый он, видать, славный — проспался и чрезвычайно смущен. Иду будить Люду, устроившуюся спать в сенях — на мосту, как говорят и в здешней округе.

На дворе пасмурно, сильная роса.



\* \* \*

В девятом часу проглядывает белесое солнце.

Анна Захарьевна одетая спит на лежанке. Досыпает и Люда, не скинув платишка, в котором ходила выдать шоферу горошек. Это и есть бабий летний сон — урывками. Услышав наши с Николаем Семеновичем шаги, женщины вскакивают, выпроводив нас на улицу, принимаются за уборку.

Николай Семенович вспоминает детство, родную деревню. Он рассказывает, что был у них весенний праздник, после окончания полевых работ — «мольбы». Служили молебен о ниспослании урожая. Разумеется, точной даты не было, праздновали «мольбы», как отсеются. И вот, если кто из мужиков хотел проэкзаменовывать школьника, то спрашивал: сколько недель от троицы до молеб? Потом я вспоминаю, как Наталья Кузьминична, с похвалой отзываясь об энергии Николая Леонидовича, тогдашнего ужбольского председателя, называла его — рытик. «Он как рытик, — говаривала она, — отколь что берет». Правда, я слышал, будто по-здешнему это — крот, однако кротом скорее назвали бы человека угрюмого и малоподвижного. Мне кажется, что Наталья Кузьминична имела в виду примерно то же, что и современники знаменитого ростовского епископа Вассиана Рыло, прозававшие его так не потому, я думаю, что он был безобразен, а за неумоимость и энергию.

Люда молчалива и рассеянна. Она спрашивает, не пойдём ли мы с ней сено ворошить. Она говорит, что ей дали шестнадцать соток покоса — заросшую травой усадьбу в Колесневе, и она накосила сена для тети Нади. Самой-то ей усадьба не нужна, но тут вышло, что у тети Ани оказалось лишних девять соток, по уставу их должны были отрезать, вот она и взяла эти сотки, посеяла новый сорт овса, посадила немного огурцов и помидоров себе с тетей Аней, а заодно решила взять и остальные из положенных ей двадцати пяти соток — у тети Нади ведь корова, она нуждается в сене.

День меж тем разгулялся. Воздух горяч, но когда мы спускаемся к роднику, нас охватывает свежесть. Мы стоим под обрывом, чернеющим в склоне холма. Под черной толщей рыхлой земли голубеет плотная мокрая глина. Между землей и глиной в нескольких местах бьют ключи, проливаются как бы в бухточку, образованную полукруглой стеной обрыва, вытекают из нее небольшим ручьем, разлившимся среди черной грязи. Над обрывом, края которого густо заросли ольхой, террасами уходит вверх зеленая земля, и кое-где среди террас темнеют круглые кусты орешника.

Люда, взяв специально прихваченную нами кружку, балансируя на мокрых скользких слегах, посланных под обрывом, идет к тому из ключей, который выливается из трубы. Она вдруг веселеет. Она говорит, что если мы ее возьмем, то она поедет сегодня в город — к секретарю райкома.

Напившись ключевой воды, мы отправляемся в Колеснево.

Николай Семенович вырезал из орешника легкие двузубые вилы — сено ворошить. Люда говорит, что у них в деревне такие вилы называются «ворочалка». Николай Семенович говорит, что и у них они так называются.

Никуда она из Городища не уедет, заявляет Люда.

Она словно подбадривает себя перед разговором с секретарем.

В Колесневе людей почти не видать. Жарко. Тихо. Пахнет сеном. Сплошь заросшая земля усеяна желтыми звездочками гусиной лапки. Домов немного, стоят они просторно, перед каждым домом и посреди улицы растут липы, некоторые в шесть, в семь и даже в восемь ство-

лов, — от пня они отрасли?.. В крайней избе Люда берет оставленные здесь грабли.

Покос — за усадьбами: почти прямоугольная длинная полоса.

Сено Люда вчера раскидала, сверху оно сухое, а когда перевернешь — влажное, местами совсем сырое, и оттуда, снизу, идет горячий дух. Мы не торопясь ворошим его, и оно быстро сохнет. Становится все жарче. Воздух блещит. Небо в высоких, редких облаках.

И вдруг где-то далеко гроыхнуло. Мы ворошим быстрее.

Подул ветерок. Еще гремит. За деревней как будто чуть засинелось. И облака над нами стали темнеть. Солнце на мгновение как бы затмилось, утратило яркость, однако тут же снова засияло с прежней силой.

Мы решаем, что одни будут продолжать ворошить, другие — убирать в копешки. Лежащее рядами сено сгребается в валы. Люда, опустив грабли зубьями вперед, становится в конце вала, перед ней возникает ворох, катится, все увеличиваясь, покамест она не доходит до другого конца. Николай Семенович тем временем огребает вокруг. Посреди низко срезанной, будто выстриженной яркой травы встает матово зеленеющая копна.

А за деревней уже стоит туча.

Гремит. Солнце по временам скрывается ненадолго, хотя свет его остается, но только тусклый. Порывами дует ветер. Становится свежо, затем снова жарко. Кажется, сейчас еще жарче, чем было прежде — от горячего сена, от быстрой работы, от нетерпеливого, надсаживающего сердце и останавливающего дух желания убраться до дождя. Падают первые капли.

Туча все темнее и ближе; дымясь, она наползает на деревню.

Молния. Гром. А над нами еще светит солнце.

Люда говорит, что оставшееся сено не надо ворошить. Она велит скорее сгребать его в копну, чтобы потом растрясти и просушить. Мы торопимся. Ветер продувает насквозь. Все чаще падают капли.

Николай Семенович с Людой копнят, а мы подгребаем. Хочется почище подгрести, не оставить дождю ни сенинки... Я начинаю понимать, что мною давно владеет чувство тревоги, ощущение опасности.

Кончили.

Льет редкий светлый дождь пополам с солнцем.

А вдали гремит. Куда ни глянешь вокруг — темными, чуть отнесенными в сторону завесами льются из туч ливни. Мы идем деревней потные, немного промокшие. Дождь усиливается. Молнии сияют. Трещит гром.

Хозяин ближайшего дома, что-то делавший на крыльце, кричит, чтобы мы шли к нему. Мы бежим под навес крыльца. Хозяин выносит нам лавку. Самому ему уже места нет, он идет в избу и открывает окно, выходящее на крыльцо. Он разговаривает с нами, высунувшись из окна. Мы просим у него попить, пьем из своей кружки, и Николай Семенович шутит: как старoverы... Хозяин, словно замечание это требовало подтверждения, говорит, что старoverы действительно только из своей посуды станут пить и есть. Он рассказывает, как еще до колхозов работали они под Александровом у старoverов и как их кормили из отдельной посуды.

«А что работали?» — любопытствует Николай Семенович. «Мы плотники», — отвечает мужик. Он говорит, что у них вся деревня — плотники, но в войну почти всех поубивало. Николай Семенович спрашивает его еще, сколько чего они сеяли прежде, до колхозов. Мужик отвечает, и приятель мой, достав блокнот с привязанным к нему карандашом, все записывает.

Тем временем и дождь перестал.

Должно быть, слова хозяина избы о том, что в войну у них почти всех мужиков поубивало, напомнили Люде отца. Пока мы идем в Городище, она рассказывает, что у деда было двенадцать сыновей, жили все вместе — делится бабка не разрешала, — и хозяйство, конечно, было крепкое. В коллективизацию деду грозила высылка, тогда отец, как ей рассказывала с его слов мать, будто бы пошел за деда в ссылку — он неженатый еще был. Сослали отца в Коми-республику. Когда их привезли, начальник эшелона сказал: «Видите эту землю, она бедная, вы ее своими костями удобрите...» Потом отца вернули. Он женился. Первой она родилась — Люда; она с тридцать восьмого. А перед самой войной — Света. На войну отца взяли сразу, вскоре он погиб. Дед с бабкой еще живы. Дед тихий. А бабка — хотя маленькая она — как мужик. Она даже валенки подшивает.

После обеда, когда мы собираемся уезжать, все небо на северо-востоке в сплошной черной туче. Видно, как в трех местах из тучи льет дождь. А над нами еще солнце. Однако, едва мы выезжаем из деревни, капли дождя ударяются в ветровое стекло машины.

Навстречу нам едет самосвал. Люда просит остановиться — зачем это он к ней едет? Оказывается, это Надежда Алексеевна, покамест дождь не дает работать, решила перевезти сено. Она машет нам из кабины, как и вчера, когда уезжала, кричит, приглашая в гости: «Третий дом от лавки!..» Едва мы трогаем с места, Люда снова просит остановить машину — почтальон идет в Городище. Она нетерпеливо смотрит, как худенькая женщина в брезентовых туфлях на босу ногу и в порыве черной жакетке, поеживаясь под припустившим дождем, торопясь, листает пачку писем. Женщина протягивает два чуть намочивших письма, и Люда начинает читать то из них, что с маркой, а другое, с треугольным воинским штемпелем, откладывает. Затем она и его читает, рвет на мелкие кусочки и выбрасывает.

Только мы выезжаем на шоссе, с шумом обрушивается ливень. Асфальт, мгновенно потемнев, заблестел. Черная туча как раз над нами, дождь льет плотный, но сквозь толщу его, далеко слева, за черным краем тучи виднеется полоса светлого неба. Капли дождя, кажется, как бы укрупнились, побелели, я смотрю на асфальт — на нем подпрыгивают градинки.

Постепенно светлеет, и, когда мы высаживаем Люду на вымощенной бульварном площади районного городка, от которого еще километров шестьдесят до Райгорода, с белесого дымчатого неба сеется мелкий дождик.

В Райгороде дождя уже нет. Мокро. Свежо. Стемнело рано.

\* \* \*

Утром все в росе — трава, стожок сена перед крыльцом, ботва на грядках... Серые заборы, и стены сарая, и позеленевшая его крыша из щепы, мокрые после вчерашнего дождя, быстро просыхают на солнце. Блестит голубое небо, только на севере оно едва сереет. По всем дворам поют петухи. Дарья Васильевна смотрит на засеревшую часть неба, прислушивается к пению петухов и говорит, что не станет разбивать сено — дождь будет.

Постепенно небо становится сизым. Накрапывает.

\* \* \*

В начале девятого из Ужбола пришла Сонька. Она еле протиснулась в калитку с велосипедом, через раму которого переброшен мешок с огурцами. От нее только глаза остались, так она похудела и почернела на

сенокосе. Она рассказывает, что отпросилась в Москву — ранняя картошка поспела. Уже и автобус они с бабами заказали, но нужны деньги на дорогу, вот она и привезла огурцы на рынок. День, правда, не базарный, но она дорожиться не станет, ей бы поскорее — продаст перекупщикам.

Сообщив все это, Сонька спрашивает, слышали ли мы, что у них в Ужболе стряслось? И, не дав ответить, говорит: двадцать коров погребло! Помедлив, чтобы насладиться произведенным на нас впечатлением, она рассказывает, как вышла из дому, слышит — скотина ревет, глядит — сверху ей хорошо видно — на лугу за свинарником чернеются коровьи трупы, иные еще дергаются, а пастух бегаёт между ними, живые коровы мечутся... «Ой,— закричала она матери,— коровы клеверу объелись... Коробков режет их!»

Сонька объясняет, что пастухам теперь велят минут на двадцать выгонять коров в клевера — удои низкие. А у Коробкова с подпаском двести коров. Погнали они их, обратно же никак не выгонят. Где им вдвоем с эдаким стадом совладать. Коровы прихватились, а клевер, говорят, после дождя бывает вредный. Коробков хотел было на село бежать за помощью — все равно, думает, опоздаю... Бились они с подпаском, бились, перегнали коров с клевера на луг, тут коровы и стали падать, кататься.

Я не могу не заметить, что рассказывает Сонька умело.

При этом не надо думать, что Сонька равнодушна к случившемуся. Мастерство ее рассказа неосознанное, врожденное. Она искренне огорчена тем, что столько скота пропало. К тому же она по-бабьи жалеет коров — как они, здоровые, стали вдруг падать, кататься. Правда, она не дает еще воли своей бабьей жалости. Ей надо сейчас изобразить происшествие как бы глазами пастуха, передать его состояние.

Увидев, как коровы падают, Коробков понял, что им приходит конец. За ветеринаром послать нельзя было — суббота, короткий день. По этой же причине не было ни председателя, ни заместителя. Председатель живет в городе. А заместитель — в Медведях, до которых не ближе, чем до города, — колхоз теперь велик. И тогда Коробков стал резать издыхающих коров, чтобы кровь спустить. Если спустишь кровь, можно мясо продать, оно все равно как убойна.

Коробков бегаёт между коровами, режет упавших, а живые, почуяв кровь, разволновались, мечутся, ревут... Тут как раз доярки едут с совещания животноводов. С дороги им хорошо видно коров на лугу — как одни из них валяются, другие, будто они взбесились, скачут вокруг.

Теперь в Соньке говорит само бабье горе.

Когда она рассказывает, как переполошились бабы, как повыскакивали они из машины, кинулись к коровам, стали искать своих, — мне кажется, что это все было с ней самой. У одних коровы живы, те плачут от радости, обнимают их. Другие убиваются над зарезанными, голосят, причитают. «Шурка Бирикина, — сокрушается Сонька, — шестерых из восьми потеряла: легко ли! Уж и голосила она, уж так убивалась, еле отпоили».

Успокоившись, Сонька дополняет рассказ некоторыми подробностями. Она говорит, что две коровы так и пропали — не успел их зарезать Коробков. Надо было мясо свиньям отдать, но пока прособирались, оно протухло. Еще она говорит, что выгонять коров в клевер велит новый партийный секретарь — удои надо поднимать. Он тоже городской... на жалованье. А коровы, вздыхает Сонька, все молодые были — первогодки да переходницы.

Может быть, случившееся в Ужболе — всего лишь авария, возможная в любом производстве, при всем том, что и колхоз, понесший убыток,

вызывает сочувствие, и доярок, конечно, жалко. Я допускаю, что винить здесь некого. И все же меня не покидает ощущение нелепости этого происшествия, какой-то его, я бы сказал, пошехонской идиотичности.

\* \* \*

Жаркий и безветренный день. Молодая вишенка у нас во дворе вся блестит от переливчатых, многогранных плоскостей паутины.

Лук почти до половины пожелтел, стал валиться.

На главной улице, по краям тротуаров, за новыми невысокими чугунными загородками пестреют впервые высаженные в этом году цветы: полоса настурции, позади, возвышаясь над настурцией, — полоса белых, красных и синих петуний, а за ними — табак, кариопсисы, бальзамини... Еще жарко, хотя время уже около шести, цветы начинают пахнуть. Мужчины и женщины идут с огородов, несут корзины и мешки с огурцами.

Часов около двенадцати ночи весь город пахнет цветами и укропом.

\* \* \*

Пришел Николай Семенович. Я рассказал ему о несчастье в Ужболе. Оказывается, он ничего о нем не слышал. Он говорит, что дождь здесь ни при чем. В клевере, говорит он, старый ли он или молодой, — коров гоняли в отаву, как я узнал, — намочило ли его дождем или пастьба происходила в сухую погоду — ничего вредного нет. Просто надо соблюдать меру, не давать коровам объедаться. Клевер содержит в себе много белка, который начинает бродить, при брожении образуются газы — и коров пучит. Был бы поблизости ветеринар, ничего бы не случилось. Он сделал бы прокол и выпустил газы.

Я почти убежден, что ужбольский колхоз не потерял бы коров, если бы секретарь партийной организации, городской человек, распорядившийся пасти в клеверах, да и любой другой, кто привык распоряжаться в колхозах, опасался, что за причиненный убыток с него взыщут. Это — во-первых. Во-вторых, коли уж случилось несчастье — а они возможны в сельском хозяйстве, где имеешь дело с животными и переменчивой погодой, — размеры его не были бы так велики, если бы председатель не чувствовал себя служащим, которому по закону положено в субботу кончать работать в три часа. Можно ли предположить, чтобы помещик стал держать управляющего, который постоянно живет в городе и в горячую летнюю пору отправляется домой в те же часы, какие установлены для служащих городских учреждений! А ведь председатель колхоза — не управляющий, но избранный членами кооператива председатель правления, который бы должен жить одной жизнью с ними, зависеть от урожая в поле и скотины в хлеву.

\* \* \*

Восьмой час утра в самом начале. Только шум самовара на столе под вишнями да еще звенящий звук далекой моторки на озере нарушают тишину.

С одной стороны над столом нависли ветви вишневых деревьев, в листьях которых краснеют и поблескивают не частые уже ягоды, с трех других — стол увит душистым горошком, белые, розовые, сиреневые и красные цветы которого обильно сидят среди листьев, будто это мотыльки налетели. Горошек сажала Дарья Васильевна, как, впрочем, и все в огороде, Михаил Васильевич ходил вокруг и пофыркивал иронически: «Делать ей нечего», однако сейчас он охотно посиживает в тени горошка, а то еще, когда поблизости никого нет, встанет и тычет носом в каждый цветок — пахнет!

Неожиданно пришла Люда с подругой — она возвращается с областного семинара пропагандистов, и подруга проводила ее до Райгорода. Девушка эта работает агрономом в колхозе, находящемся километрах в ста двадцати севернее областного центра, то есть они с Людой живут друг от дружки на расстоянии двухсот пятидесяти километров. Чтобы повидаться с подругой, она выехала вчера в восемь часов вечера из колхоза, ехала на попутной, потом автобусом, потом по железной дороге, и около пяти часов утра они встретились в областном городе на вокзале. В шесть они прибыли в Райгород, где проведут день. К девяти вечера девушка снова должна быть в областном городе на вокзале, чтобы к завтрашнему утру вернуться в колхоз.

Подруги сидят рядом умытые, причесанные, пьют чай и как-то подетски рвут то и дело соблазнительно висящие над ними вишни, — в деревне ведь ни вишень, ни яблок или груш не купишь и редко у кого теперь есть свой сад. Куда они подевались, сады среднерусской равнины? Где она, владимирская вишня, быть может еще Боголюбским завезенная из Киева? Где антоновка, которую по осени продавали с возов синими, в обручах, мерами?

Пахнет самоварным дымком и хорошо настоявшимся чаем.

Старосветскость нашего дворика и тишина нравятся девушкам. Ой, как хорошо, говорят они, и спешить никуда не надо. Люда говорит, что дома она пьет чай из блюдечка — все некогда, а сегодня ей нечего делать, вот она и пьет из чашки. Она вспоминает, как я ей говорил, что самое дорогое для человека время — свободное, определяющее его развитие. В техникуме, говорит она, все свободное от занятий время уходило на работу в колхозе: на прополку, на уборку картофеля... Читали они мало, причем читательские конференции устраивались главным образом по книгам о деревне, чаще всего очень слабым. В кино, правда, ходили, но ни разу не бывали в областном музее, в картинной галерее, в театре, в филармонии.

Я спрашиваю, а где она побывала сейчас, во время семинара?

Люда отвечает, что нигде. В течение четырех дней им читали лекции о бригадном хозрасчете, о денежной оплате труда, об организации птицеводства, причем специально возили в птищесовхоз, и даже не устроили экскурсии по городу — одному из древнейших и красивейших городов России, добавлю я от себя. Эти крестьянские девушки — а их большинство среди молодых агрономов — не нуждаются, по-моему, в так называемом трудовом воспитании: они с детства и полюли, и копали картошку. Неплохо, я думаю, знают они и свое дело, потому что выросли в деревне и четыре года учились в техникуме. Единственное, чего им не хватает — общей культуры, и для этого-то необходим досуг.

Подруга Люды рассказывает о своем колхозе. Девушка говорит, что жить у них скучно, молодежи почти нет. Вечером, когда кино, посмотришь — молодежь, а утром на покосе одни бабы. Это все рабочие, дети колхозников, они работают на производстве. Люда подтверждает, что и у них так же: «Вечером — молодежь, а утром никого не найдешь». Без молодежи, без мужчин, продолжает девушка, очень трудно — телега в поле ломается, починить некому. И у нее то же самое, поддерживает подругу Люда, гвоздя вбить некому.

Я спрашиваю, на что живут люди, и девушка отвечает: усадьбой.

У них усадьбы большие, рассказывает она, по пятьдесят соток. Ее хозяйка, например, как и все другие, сажает немного картошки и овощей, для себя только, у них картошкой либо там капустой торговать не заведено, а остальное — покос. Сейчас пересматриваются размеры усадеб, не по уставу они, так хозяйка говорит, если отрежут — все разбегутся.

А что колхоз, спрашиваю я, много ли выдают?

Девушка рассказывает, что в прошлом году хорошо уродили клевера, вообще с сеном было хорошо, давали его и на сенокосные трудодни, и на общине, а теперь их объединили с развалившимся колхозом — стало хуже.

Мне все больше представляется, что укрупнение колхозов, как оно проводится в здешних местах, мера по преимуществу административная, бюрократическая. Укрупняется не производство, чего можно достигнуть увеличением количества машин, скота, удобрений, путем специализации хозяйства, когда вместо широкого ассортимента продуктов оно производит, скажем, только картофель и свинину в максимальных при данной земельной площади количествах, — укрупняется, то есть механически соединяется, земля. В этом есть известное удобство для районного начальства, которое спрашивает теперь не с тридцати или тридцати пяти председателей, а с девяти, десяти. Помимо того возникает иллюзия, будто в районе нет отстающих хозяйств, хотя в среднем продуктов производится столько же, сколько прежде, а иногда и меньше, потому что крепкие колхозы, как это случилось с библейскими тучными коровами, поедаются тощими. Но что совсем плохо, колхозники в этих огромных хозяйствах лишены какого-либо участия в обсуждении колхозных дел — живут по своим деревенькам и не то что друг другу, председателя в лицо не знают.

Вечером Михаил Васильевич берет у меня старую брошюру, в которой рассказывается о постройке местной гимназии, и принимается ее листать. Читать он не любит, разве что газету посмотрит — безразлично, сегодняшняя она или прошлогодняя, но зато не обойдет вниманием ни одной консервной банки, коробки или чего-либо другого, имеющего этикетку, — обязательно прочитает весь текст. Он и брошюру сейчас не читает, смотрит фотографии. Особенно внимательно он рассматривает групповой снимок комиссии, строившей гимназию. Всех этих людей он хорошо помнит, знает, что их давно уже нет в живых, но сейчас, увидев их всех вместе на снимке, он как бы впервые осознает, что они все умерли. «Этот в земле, — говорит он об одном, и в голосе его звучит некоторое самодовольство. — и вон тот, и тот... Всех земля взяла! — И вдруг с растерянностью, какой я никогда в нем не видел, замечает: — Сколько же там народу!»

Ночь холодная. Черное небо. Зеленая полоса на западе.

\* \* \*

С утра долго держится роса.

Весь лук полег. Встречаются уже сухие листья на земле.

Вода на озере возле берега по-осеннему прозрачная. Множество водорослей качается в воде. Говорят, что водоросли начали уже опускаться на дно, недели через две они все опустятся и озеро будет чистое, а пока что они навиваются на мотор, и владелец лодки то и дело опрокидывает его на себя, очищает винт. На ощупь водоросли мягкие. Удивительно свежий зеленый цвет, когда вытащишь растение из воды, тускнеет.

Мы прошли поля водорослей и оказались на чистой воде середины озера. Здесь ветер, крупная волна. Нос нашей моторки задран, а корма, где мы сидим, вровень с водой. Волна бьет по лодке спереди, по задранному днищу, и возникает ощущение, будто мы поднимаемся по ступенькам.

Мы поворачиваем, волна бьет сбоку, в лодке сидеть покойно.

\* \* \*

И еще один холодный солнечный день. К вечеру, однако, теплеет. В желтоватом предвечернем воздухе множество мельчайшей мошкеры. Пляшущая, снующая вверх и вниз мошкара висит повсюду подвижными, поблескивающими на солнце облачками — в городе над тротуарами, над крепостным валом, над огородами в заплывшем рву... Не оттого ли появилась эта мошка, что повсюду зреют и перезревают огурцы, лук лезет из земли!

\* \* \*

«Завтра Ильин день, — говорит утром Дарья Васильевна, — конец лету. Олень копыто обмочит — нельзя будет купаться: вода станет холодной. Потом первый Спас, олень другое копыто окунет — еще холоднее вода...» Все это я слышал много раз еще в детстве. Мне вдруг приходит на мысль узнать, представляет ли себе Дарья Васильевна этого оленя реально. Я спрашиваю ее: какой олень? Она отвечает: «Зеленый... Как трава».

\* \* \*

Когда деваться некуда, а читать не хочется, когда никого из знакомых не застанешь дома, в райкоме ни души, в кино идет китайский фильм, и вдруг оказывается, что ничего интересного не ожидаешь ни от прогулки по берегу озера, ни по валам, ни даже по той тополевой аллее на валах, которую в честь мудрого господина Бержере я назвал «Под городскими вязами», — в такой вот послеполуденный летний час в Райгороде нет ничего интереснее и успокоительнее поездки на пароходе до Угож и обратно.

Полупьяная команда, которую составляет небритый мужик в галошах на босу ногу, еще мужик, тоже небритый, тощий, в соломенной шляпе и в клетчатой рубашке, и долговязый малый, — выпивает в будке с надписью на двери: «капитанская каюта». По временам кто-либо из этой компании выходит на палубу, чтобы разжиться огурчиком на закуску, предпочтительнее малосольным. Пассажиры оказывают эту услугу охотно, с некоторой даже подобострастностью: «На-ка, милок, возьми. Еще бери... Ты и в прошлый раз моим закусывал». Матрос отвечает угрюмо: «Нам одного хватит».

Время отваливать, но нет кассирши. Опаздываем.

Пассажиры, особенно бабы, которых большинство, высказывают неудовольствие. Бабы едут с базара, некоторые из областного города. Они устало жуют хлеб. Им хочется пораньше попасть домой — праздник ведь! Когда ропот становится громким, мужик в клетчатой рубашке выходит из будки и с пренебрежительностью официального лица заявляет: «У нас расписание».

Наконец — отвалили. На озере свежо. Много лодок. Похоже, что возле каждой лодки вспыхивают белые огни — это мокрые весла отражают солнце. Потом лодок все меньше. Медленно вспухает синевато-серая вода.

Вдоль зеленого берега Угож на торчащих из воды шестах сушатся сети. В воде, неподалеку от причальных мостков, стоит лошадь с телегой. Мужик и две бабы торопливо сгружают с телеги мешки с огурцами, сваливают на мостки. На мостках уже полно мешков, набитых так туго, что их и завязать нельзя было, они едва зашиты шпагатом, под которым желтеются пучки одеревенелого укропа, — плату за провоз берут с мешка, и каждый старается втиснуть побольше. Пустая телега медленно тянется в гору.

Пароход не успел пристать, как мужики и бабы, согнувшиеся под тяжелыми мешками, пошатываясь, толкая идущих с парохода пассажиров, кинулись бежать по круто поднятым мосткам. На палубе запахло



укропом, чесноком, и эти запахи последних дней лета напомнили мне детство, степной наш городок, где запах укропа, чеснока и сельдерея с утра и до ночи держался в эти дни в воздухе, по всем дворам кипели самовары, в кипятке растворялась крупная серая соль, и бондари наперегонки стучали деревянными молотками, насаживая обручи на кадушки.

Хозяева огурцов, погрузившись, отдыхают, утирая пот.

Некоторое время на пароходе тихо, причал опустел.

Но вот стали появляться приезжавшие на праздник горожане вместе с провожающими их местными жителями. Идут семьями, большими компаниями, и среди множества лиц, фигур, сценок одни служат как бы фоном, тогда как другие занимают первый план. Внимание привлекает щеголеватый горбун лет тридцати пяти, с сухим горбоносим лицом, красногубый, с пышным черным чубом и пронзительными глазами стрельца с картины Сурикова. Он боек, задирист, высокий голос его выделяется из общего ровного гула. Несколько в ином вкусе, однако тоже живописна женщина лет под пятьдесят, бабушка, приподнявшая трехлетнего с виду мальчишку, обнажив ему предварительно задок — тугая, изогнутая, сияющая на солнце струя бьет в доски причала, брызжет, разливается лужей, стекающей в щели. Чуть поодаль, должно быть вконец истомленный жаждой, плечистый малый ложится грудью на мостки, опускает голову вниз, к воде — и жадно пьет.

Расталкивая всех, ведя под руку пожилую косолапую бабу, бедно одетую, некрасивую, пьяную, быстро, но нетвердо шагает пьяный плохонький мужичонка в пыльных резиновых сапогах, в выгоревшем и смятом бумажном костюме. Поднявшись со своей спутницей на палубу, он усаживает ее, объявляет всем, что это самый дорогой для него человек — кума, затем, чмокнув ее в щеку, говорит ласково: «Вот тут и сиди, хорошая моя, тут тебе хорошо будет». Но баба все валится набок, взгляд ее бессмыслен, глаза то и дело заводятся, и мужик старается пристроить ее так, чтобы она не свалилась. В какую-то счастливую минуту, когда ему удалось утвердить бабу в таком положении, что она перестала падать, он заторопился, стал прощаться и поспешно пошел прочь, продолжая объяснять — кума!..

Отгудел уже и второй и третий гудок, давно пора отправляться, но пассажиры идут и идут, бегут еще возле самого села, а те, что на пароходе, скандалят, и небритый мужик в соломенной шляпе, перед отправкой из города ссылавшийся на неизбежность расписания, с тою же важностью облеченного властью лица заявляет: «Мы не можем по расписанию. А если бы вы опаздывали — небось хотели бы, чтобы вас подождали».

Отваливаем наконец.

\* \* \*

Несколько дней по утрам не было росы.

Листья вишни начали краснеть. Жарко. Сухо.

Я заехал в Угожи, к Кириллу Федоровичу, председателю колхоза «Россия», сижу у него дома и слушаю его жалобы на угожских колхозников, которые работают не больше шести часов в день — это теперь-то, в уборку! Он рассказывает, что в селе не меньше пятисот человек трудоспособных, если считать всех жителей, а на покосе работает человек шестьдесят. Бригадир дает сведения о тех, кто работает, а про тех, кто не выходит на работу, не говорит, вернее, замечает, что «это уж вы, председатель, разговаривайте с ними».

Мне представляется последним делом — жаловаться на колхозников.

Но я молчу. А Кирилл Федорович, чувствую я, подбирается к какой-

то новой универсальной теории. Он говорит, что вот молодежь, недавно окончившая школу, ничего работает — но только на машинах. Сено возить — пожалуйста, охотно возят, а вот косить ручную — не хотят. Ручной труд молодежь считает зазорным, унижительным для себя, и это надо понять.

Голос Кирилла Федоровича приобретает былую уверенность.

Председатель решительно заявляет: механизация нужна, машины — вот в чем выход!.. Надо выровнять луга, покосы, надо сеять побольше клевера, тогда все сено можно будет убирать машинами. Останутся неудобные уголья — клочки, кустарники, — их надо будет стравливать скотине. В сущности, и пастьбу можно механизировать, не говоря о дойке. Таким образом, проблема будет решена — отпадет нужда в большом количестве рабочих рук. Пускай бегут, пускай себе пахнут усадьбы... Много людей не потребуется.

Он замечает попутно, что пробовал усадьбы отрезать — не помогло.

Рассуждает он энергично, безапелляционно, точно так же, как в свое время рассуждал о хозрасчете, о переходе на денежную оплату, полагая, что с помощью одних только этих средств — вообще-то разумных, как, разумеется, и механизация труда в сельском хозяйстве, — с маху решит все.

Но я сейчас не этому дивлюсь. И даже не тому, что председатель колхоза, вообще-то неглупый человек, не задался мыслью: откуда он возьмет денег, чтобы произвести мелиоративные работы, закупить сразу множество машин, да и продадут ли ему их в необходимом количестве. Меня не удивляет и то, что он как-то обошел такие производственные процессы, которые еще не механизированы или почти не механизированы — например, посадка, прополка и уборка лука, да и вообще овощей: что же, там будут работать любители ручного труда или особенно сознательные колхозники?

Не маниловщина и прожектерство удивили меня.

Мне показалось диким, что в одном из древнейших русских сел сидит крестьянский сын, руководитель здешних крестьян, пашущих эту землю с незапамятных времен, и с некоторым даже злорадством мечтает, как он их заменит машинами, потому что они все вдруг потеряли охоту работать.

Признаться, такое понимание выгод механизации мне внове.

После обеда, во время которого происходит этот разговор, мы отправляемся с ним погулять, идем берегом озера, по-осеннему уже синего, темного и, когда подойдешь близко, прозрачного: дно просматривается. Мое внимание привлекают невысокие деревянные домики с решетчатыми дверцами, протянувшиеся вдоль берега. Я бы посчитал, что это курятники, но только зачем было ставить их возле озера, да и пометом здесь не пахнет.

Кирилл Федорович говорит, что здесь у него были пекинские утки.

Он рассказывает, что купил некоторое количество этих уток, соблазнившись тем, что они крупные, дают отличный привес, а озеро у него — рядом. Когда набралось достаточно яиц, он отправил их на инкубаторную станцию, и получилось у него всего четыре с половиной тысячи голов, для которых он и построил этот лагерь на берегу озера. Но здесь утки почему-то стали гибнуть. Их находили на берегу с перекушенным горлом штук по сто ежедневно. Сперва нельзя было понять, кто их душит. Но скоро догадались, что это ондатра, выпущенная в озеро в тридцатых годах.

Посадили сторожа на берегу, несколько сторожей ездили на лодках — ничего не помогало. Зоотехник буквально пропадал на озере, старался понять, почему ондатра не душит обыкновенных местных уток,

которых у здешних колхозников и у горожан сотни, причем живут они без присмотра, не возвращаясь на ночь домой, у некоторых до поздней осени.

Пекинская утка спасалась от ондатры тем, что заплывала в каналы, но и здесь ондатра настигала ее. Все дело в том, как выяснилось, что местная серая, точнее песочная, утка — потомок дикой кряквы, она проворна, ныряет и уходит от ондатры, а вот крупная, жирная пекинка неповоротлива, изнежена, лишена инстинкта самосохранения. Конечно, гибнет и некоторое количество местной утки, но тем живучее оставшиеся.

Колхоз потерял три тысячи уток, не считая расходов по постройке и содержанию лагеря. Оставшихся уток увезли в далеко отстоящую от озера деревеньку, на пруды, но и там они гибнут, будто бы от обыкновенных крыс, чему я не очень верю — скорее всего надоело с ними возиться.

Во всей этой затее есть что-то помещичье — были такие бары, прогоравшие на всяких новомодных заведениях. Иван Федосеевич, разумеется, пекинских уток заводить не стал бы, о чем я говорю Кириллу Федоровичу, и тот соглашается со мной. Я рассказываю, что в прошлом году, когда пошло повальное увлечение птицефабриками, любогостицкий председатель тоже надумал было строить фабрику на миллион яиц в год, как он заявил однажды, но когда я его потом спросил, как подвигается строительство, он ответил не очень внятно: пока погожу. Суть в том, что в здешних местах, где производство зерна развито слабо, а завезти дешевое зерно пока что неоткуда, разводить птицу нет расчета. Да и какой смысл в новых заведениях, как все новое — чрезвычайно хлопотных, когда старые, коренные местные отрасли, и посейчас нужные, прибыльные, гложут, нуждаются во всяческой поддержке. Селения, входящие в колхоз «Россия», например, в былое время специализировались в производстве картофеля, цикория, лука, чеснока, мяты, огурцов и некоторых других овощей — каждое занималось одной-двумя культурами преимущественно, причем все это производилось в количествах, значительно превосходящих теперешние. Но кого удивишь картофелем или, того более, чесноком? Вот пекинская утка — иное дело! Об утке и в газете напишут, потому что не только не перевелись, но без меры расплодились на Руси знатоки, которые, как писал сто лет назад Энгельгардт, судят о рациональности хозяйства по тому, что здесь сеют рапс и корова круглый год содержится на привязи и кормится накошенной травой.

Об этом последнем я не стал говорить Кириллу Федоровичу, как и о том, что «прогрессивный» помещик за все свои хозяйственные причуды платил все же из собственного кармана, тогда как за его, председателя, глупости, равно как и за убытки, причиненные прожектерством и административным пылом какого-либо областного начальника, платит колхозник.

\* \* \*

Александр Иванович, наш сосед, живущий через дорогу, зазвал пить чай — это так говорится «чай», а на самом деле, как справедливо заметил однажды тот же Александр Иванович, собираются ради «оного». За столом Александр Иванович по обыкновению красноречив. Когда гости расходятся и мы остаемся с Александром Ивановичем вдвоем, он становится серьезным, спрашивает, давно ли я виделся с Иваном Федосеевичем и как у того дела, давно ли бывал в Ужболе, Угожах?.. Он рассказывает, что ездил недавно к себе в деревню и никак не поймет, почему там никак не ладится дело. Он говорит, что в колхозных делах не разбирается, но хочет сказать как охотник. Бывает, увидишь в лесу гнездо с птенцами — так они аккуратно устроены в нем... Возьмешь птен-

чика, полюбишься, потом хочешь на место посадить — не помещается. Ты другого птенца достанешь, примешься двоих укладывать, не входят они. Тогда ты и третьего вытащишь, и так и эдак примеряешься, ничего не получается — так усадить птенцов в гнезде, как их мать усадила, ничем не сможешь.

А ведь Александр Иванович, думаю я, прав. Сельское хозяйство можно успешно вести, сообразуясь с естественными — то есть природными и экономическими — условиями. Они-то и есть, если взять пример нашего соседа, природа-мать, законы и установления которой грубо нарушаются.

\* \* \*

Похоже, тепло вернулось. Дни стоят ясные, сухие.

Иногда утро бывает серое, росистое, сквозь молоко облаков едва проглядывает белесое солнце, потом, часам к восьми, к половине девятого облака как бы растворяются в солнечных лучах и становится жарко.

В такое лето, как нынешнее — жаркое, но не засушливое, то есть в обыкновенное среднерусское лето, особенно хорошо видно, какая она отличная работница — здешняя небогатая земля. Надо только эту землю пахать как следует, и удобрять, и не давать ей зарастать сорняками...

Во дворе у нас, как и всюду, пахнет луком. Дарья Васильевна дерет лук. Она укладывает его на серой пересохшей грядке репкой вместе, увядшим, отчасти уже пожелтевшим пером — врозь. Она говорит, что после Преображения лук отавится — как я понимаю, начинает отрастать.

Луковая кожа встречается даже на тротуарах в городе.

В деревне кое-где уже и обрезают лук, раскладывают для просушки перед избами. Дерут морковь, моют ее в прудах — на продажу. В большом селе Рыбном куда ни глянешь — всюду пламенеют оранжевые прямоугольники: это на своеобразных подносах, сетчатых или сплетенных из тонких ивовых прутьев. сушится нарезанная лапшой морковь. Белая пыль на дороге. Вся пойма озера, даже в глазах рябит, уставлена стогами сена. В жаркое нынешнее лето косить здесь было легко, да и травостой хорош.

В полях, взлохмаченные ветром, стоят одонья хлеба.

Серые пары пылят.

После полудня небо выцветшее, мглистое. Пахнет гарью. Должно быть, это сгорают от зноя миллиарды травинки, листья, источают запах горячей древесины миллиарды сучков и веточек. Пахнет близкой осенью.

Минуло еще одно лето в Райгороде.



---

---

М. СВЕТЛОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Столкновения все чаще, чаще,  
Не уходит драки перегар,  
Прошное воюет с настоящим,  
Спорят десятина и гектар.

Где ты, где ты к старшему почтенье?  
Презирает лампочка звезду,  
И весовщики в большом смятенье —  
Центнеры с пудами не в ладу.

Кепки на затылок отодвинув,  
Дорогие сверстники мои  
Наблюдали метров и аршинов  
Страшные кулачные бои.

И казалось бы — убыток не велик-то, —  
Связаны мы крепкою судьбой,  
Но поди-ка разреши конфликты  
Трудные меж мною и тобой.

Как люблю тебя я, молодую,  
Мне всегда доказывать не лень,  
Что закат с зарею не враждуют,  
Что у них один и тот же день.

\* \* \*

Какой это ужас, товарищи,  
Какая разлука с душой,  
Когда ты, как маленький, свалишься,  
А ты уже очень большой.

Неужто все переиначивать,  
Когда, беспощадно мила,  
Тебя, по-охотничьи зрячего,  
Слепая любовь повела.

Тебя уже нет — индивидуума,  
Все чувства твои говорят,

Что он существует, не выдуман —  
Бумажных цветов аромат.

Мой милый, дошел ты до ручки!  
Верблюдам пойдя докажи,  
Что безвитамины колючки,  
Что надо сжирать миражи.

И сыт не от пищи терновой,  
А от фантастических блюд,  
В пустыне появится новый  
Трехгорбый счастливый верблюд.

Как праведник, названный воров,  
Теперь ты на свете живешь,  
Бессильны мои уговоры —  
Упрямы влюбленные в ложь.

Сквозь всю эту неразбериху  
В мерцанье печального дня  
Нашел я единственный выход —  
Считай своим другом меня!



---

---

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

## ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОМ

В край добра и чудес  
С прежним рвусь интересом.  
Я из тех самых мест,  
Где семь верст до небес  
И все лесом  
Да лесом;

Где в затонах озер  
Лебединые крепки,  
А безлесный простор —  
Вроде южные степи;

Где ветров ералаш,  
Да суметы по пояс  
И, как пригород наш,  
За Архангельском —  
Полюс.

У полярных широт  
Быт порою неласков:  
Не всегда мед течет  
По усам  
Даже в сказках.

Грех на море пенять —  
Рыбы вдоволь,  
А все же  
Золотую поймать  
Не случилось,  
Не можем.

Не всегда на обед  
Апельсины  
И дыни.  
Неразменных монет  
Тоже нет и в помине.

Рукавицы в мороз  
Прикипают к ладоням.

С храпом тянут свой воз  
И олени и кони.

Слава наша хрупка,  
Вечны только мерзлоты...  
Но моим землякам  
Любы эти широты.

Ночи, правда, не в мочь,  
Но зато мы уж летом  
На всю зимнюю ночь  
Запасаемся светом.

### *Пора и мне*

Журавли улетают,  
Пора и мне.  
Осень листья сжигает  
На желтом огне.

Ветер рвет их и мечет —  
Расстиляет холсты,  
На кустах, будто свечи,  
Шеглы,  
Клесты.

Лен темнеет на стлищах,  
Собрать бы успеть!  
Рыба омуты ищет,  
Берлогу — медведь.

Даже мыши-полевки  
Спешат,  
Гнезда вьют.  
Все боятся зимовки,  
Всем дорог уют.

И друзья мои тянут  
На юг, на юг,  
Ближе к теплым лиманам —  
От морозов и вьюг.

Что ж, у всех свое.  
Вижу,  
Пора и мне.  
Только я хочу ближе  
К Печоре,  
К Двине,  
К родной стороне.





---

---

## АЛИТЕТ НЕМТУШКИН

★

### МОЯ ТРОПА

*С эвенкийского*

Мой аркан забыл оленье рога.  
Не глотает пули мое ружье.  
— Или ты не эвенк? — мне кричит тайга.  
— Или ты не охотник? — мне ветер поет.  
Нет, тайга, не забыл я родной народ,  
Для охоты я не слаб и не слеп.  
Но лежит белый лист, точно тонкий лед,  
И строка на нем, как мышиный след.  
Как еще неумела рука моя...  
Я не знаю, на радость ли, на беду,  
Из эвенков первый задумал я  
Разводить костер на бумажном льду.  
Я хороших, звонких слов наберу:  
Пусть по ним огонь пускается в пляс.  
Приходите, друзья, к моему костру,  
Приходите: ему не гореть без вас.  
А без вас мой костер, потускнев, умрет,  
Темный пепел его заметут снега.  
— Ну какой ты охотник? — ветер вздохнет.  
— Ну какой ты эвенк? — упрекнет тайга.

\* \* \*

А тропа свилась у ног,  
Как змея.  
Много на земле дорог —  
Где моя?  
Знает соболь верный след,  
Знает лось...  
Я брожу немало лет  
Вкривь и вкось.  
Снегом путь запорошен,  
Пылью книг...  
Только бы он к людям шел —  
Не от них.

г. Тура

*Перевела М. Борисова.*



---

М. ПАРХОМОВ

★

## ДЕВЯТЬ БАЛЛОВ

Рассказ

*При девяти баллах скорость ветра достигает 18,3—21,5 метров в секунду. Шторм причиняет небольшие разрушения: срывает домовые трубы и черепицу.*

*(По шкале Бофорта.)*

1

**П**очтовый прибыл ночью. Трамваи уже не ходили. Значит, такси... Только разве его поймаешь? А в здании вокзала деревянные скамьи с высокими спинками, полумрак, теснота... Лубенец решил, что не стоит дожидаться рассвета. Сняв широкий флотский ремень, он связал чемоданы и подсунул под ремень бескозырку. Теперь порядок. Руки у него свободны. Можно и в путь.

Тротуар недавно полили. Улица была широка. Киоски, деревья, магазины... У «гастронома» сторожихи в тулупах беседовали с милиционером. Из автофургона выгружали хлеб.

Город изменился мало — дома и деревья медленно старятся. Все те же улицы и бульвары. Над ними — теплая темнота окон, балкончики, увитые виноградом, цветы. Но одно окно светилось. На шестом этаже. Услышав музыку, Лубенец остановился. «А у нас во дворе...» Гуляют, черти. Он представил себе комнату: стол отодвинут к стене, на тумбочке проигрыватель с пластинками, паркет. Потом представил себе парней, танцующих с девчонками, и ему нестерпимо захотелось туда, захотелось увидеть обнаженную руку на своем плече. «А у нас во дворе... Лишь тебя не хватает чуть-чуть...»

А на его плече был ремень, который оттягивали чемоданы.

Лубенец посмотрел на часы. Он носил их циферблатом вниз. Чуть повернешь ладонь — очень удобно. Сейчас светящиеся усы стрелок были опущены. Без двадцати четыре...

Он свернул под деревья. Дорожка была посыпана песком. И Днепр был где-то рядом, рукой подать.

Сняв с плеча чемоданы, Лубенец подошел к обрыву и посмотрел на реку. Потом вернулся, сел и с наслаждением вытянул ноги. Устал все-таки. В самый раз соснуть часок. Но, подумав о том, что у него могут увести чемоданы, он потянулся за папиросой. Нема дурных!..

Обычно он курил дешевые сигареты, но сейчас распечатал пачку папирос «дюшес». Высший сорт. По случаю демобилизации можно и пофорсить. Человек отгрохал на Крайнем Севере четыре года и вернулся к родным берегам. Понимать надо.

Уже раскурив папиросу, он вдруг обнаружил, что использовал последнюю спичку. Теперь кури до одурения. Одну за другой, одну за другой... Последняя... И сразу вспомнилось: «Последняя у попа... жинка». Так говорил Сашка Осадчий. С улыбочкой, щура глаза... Интересно, как он теперь? Ребята писали, что стал капитаном и живет не тужит. Впрочем, давно пора. Они еще в ремесленном мечтали о капитанском мостике. Лубенец тоже наверняка был бы уже капитаном. Окончил бы техникум, факт. Судоводительское отделение, диплом в твердой обложке, музыка играет туш... Если бы, разумеется, не белые медведи...

Сашку он видел в темной косоворотке с оловянными пуговицами. Они жили в общежитии, заставленном фанерными тумбочками и металлическими кроватями (на тех кроватях, что возле крайнего окна, они с Сашкой отлично утрамбовали ватные тюфяки).

Он прикурил от окурка новую папиросу и снова представил себе Сашку, но уже капитаном в белоснежном кителе, и себя самого с дипломом в руках. Стоило ему о чем-нибудь подумать, как он всегда отчетливо и резко видел это.

Но ему ни о чем не хотелось думать. Будущее? Оно его мало тревожило. Первым делом он встанет на военный учет. Затем получит паспорт. Затем явится в отдел кадров. Кубриков много, и койка для него всегда найдется. Койка и шкафчик. И все войдет в привычную колею. Вахта, склянки, отдых, склянки, вахта... Здесь твой дом и твоя судьба. Дом без отрыва от производства, и судьба без отрыва от производства...

У него не было ни родных, ни близких. Он знал, что та, которая осталась на далеком Севере, о нем не горюет. Не он первый, не он последний... Ее звали Зиной. Она работала продавщицей в бакалейном отделе, была старше его. Но он привязался к ней. Хорошо, когда тебя ждут на берегу. Но когда он предложил ей уехать вместе, она рассмеялась: «Ты будешь меня кормить, да? Ты будешь меня одевать и развлекать, да?» Он не ответил. Что он мог сказать? У него не было ни копы за душой, и она это знала. Ему надо стать на ноги, выйти на горизонт. Для себя самого он стараться не будет, а вот для нее... «Вот тогда я к тебе и приеду», — сказала Зина.

И она осталась там, в городе Энске. Там, за полярным кругом, где все юбки нарасхват и где, как она знала, при свете северного сияния любое конопатое личико кажется красивым.

Ну и пусть, подумал он, так ей и надо. Потом он затянулся новой папиросой, а окурочек тщательно растер ботинком. Когда хочешь взбежать по трапу на борт подлодки, надо окурочек затоптать на пирсе.

Что ж, прости-прощай... Прощай, Север, прощай, город Энск. Уезжая, он оставил там цепочку кораблей на рейде, оставил себя самого в черной куртке подводника. Больше он не услышит, как рычит ревун, не увидит наглухо задраенного рубочного люка...

Последним с мостика сходил командир лодки, кавторанг. И вот уже далекое море, тишина в отсеках, темные льдины над лодкой (если поцелуешься с такой холодной дурой — пойдешь ко дну) ... Глубина все больше и больше... Потом — всплытие, солнечный воздух... И опять кавторанг задраивает люк, как бы перерезая пуповину, связывающую лодку с миром.

Чемоданы он сдал на хранение в подвале речного вокзала. Там потрескивали бледные трубки дневного света. Вокзал был новый, с широкими лестницами и высокой башней, над которой вертелся флюгер, но выглядел он так, словно строители еще не догадывались о существовании

железобетона, стекла и пластика: судя по тяжелым люстрам, решеткам и урнам, они только-только перешагнули в бронзовый век.

Рядом с новым вокзалом еще сохранился приземистый тухлый барак, выкрашенный в едко-зеленый цвет (теперь здесь размещались пригородные кассы), а на реке, приткнувшись к берегу, лениво покачивались дебаркадеры. Лубенец решил пройти вдоль берега.

Утро было пустым, белесым. Справа за ступеньки и выступы гранитной набережной еще цеплялся туман. Желтели песчаные отмели, поросшие осокой и верболозом, а вдаль, там, где новый мост перемахнул над плесом, поднималось солнце.

У берега вода неслась торопливо («Еще бы, прижимное течение», — сказал себе Лубенец). На верхнем рейде «А», должно быть в ожидании разгрузки, стояли низкобортные, плашмя осевшие в воду сухогрузные баржи и металлические нефтеналивные суда, прозванные на Днестре «безнками» (БН — баржа наливная, «Огнеопасно»), и Лубенец на глаз определил грузоподъемность каждой из них. Рудовоз — шестьсот тонн. Тентовая баржа — тысяча. Выходит, он еще не забыл. Да такое и не забывается. Даже через сто лет, прожитых вдаль от воды, поплывешь. Если, конечно, раньше умел плавать...

Он вспомнил о том, что далеко, ниже мостов, есть еще один рейд, на котором формируются составы, так называемый рейд «Б». Потом он спустился с насыпи к реке. Возле дебаркадера стояли речные трамваи. У входа в затон пытал земснаряд, волочивший за собой длинный загнутый хвост рефулёра. На тиховоде тарыхтела и барахтались лодка с подвесным моторчиком.

Нет, ничего не изменилось на реке. Вокруг теплоходов, пришвартованных к берегу канатами, слабо морщилась вода. По ней расплывались радужные нефтяные пятна. Пахло смолой и олифой, пенькой и ржавчиной. И запахи эти тоже были привычными, тихими.

Дойдя до причала, Лубенец поднялся по лесенке и, перейдя через дорогу, свернул в переулок. Там, он помнил, помещался «Буфет», в котором имели обыкновение собираться капитаны и шкипера. Несколько столиков. Горчица и крупная темная соль в солонках. Ледяное пиво. Когда приходишь из рейса и времени у тебя в обрез (надо получить топливо, продукты, зарплату, выклянчить у снабженцев равендук и запчасти, то да се), удается выкроить часок, не больше. И хватает этого времени лишь на то, чтобы по дороге завернуть в «Буфет». Дома можешь не побывать, а в этом заведении «отметиться» надо. Только там ты встретишь друзей и отдохнешь в холодке.

«Буфет» был на месте. Лубенец обрадовался знакомой вывеске. Слава богу, а то понаставят автоматов для продажи томатного сока и наведут культуру — тоска!..

Он толкнул дверь плечом. За стойкой орудовал все тот же толстый однорукий буфетчик Ефим. За стеклом, как и раньше, были расставлены плоские тарелочки со студнем и винегретом, а сам Ефим в халате, надетом на потную майку, которая была видна, когда он поворачивался спиной, отвешивал сыр и нарезал колбасу.

Было дымно. Несмотря на ранний час, за столиками уже сидело десятка полтора посетителей.

Лубенец разгладил свои «полярные» усы и попросил у Ефима бутылочку пива. Разумеется, «жигулевского». Уселся он в сторонке, возле окна.

За соседним столиком громко разговаривали. Старики, пенсионеры... Одного из них Лубенец даже узнал. То был Розенко, плававший когда-то на буксирном пароходе. Сашка Осадчий ходил у него в помощниках.

Капитаны пили пиво и жевали тарань, привезенную, должно быть, из самого Херсона. Тарань была прозрачной, янтарной. Говорили капитаны «за жизнь», о том, о чем они балакали промеж себя и пять, и десять лет тому назад. Про Мошкину речку и Ерик — есть такие гиблые места на Днестре, про Стайковские перекаты, будь они неладны. Лубенец невольно прислушался.

— Ефим! — крикнул буфетчику кто-то из стариков. — Будь добр, налей нам пять по сто...

Буфетчик, стоявший спиной к стойке, повернулся и поднял голову. На противоположной стене висели круглые морские часы. Их циферблат имел двадцать четыре деления. Черные стрелки подбирались к цифре «9». Ефим неуверенно произнес:

— Пожалуй, еще рановато...

— Ну,— подмигивая, спросил капитан.— А если по особой просьбе?

Ефим тоже подмигнул и посмотрел на Лубенца. Потом, очевидно решив, что морячок не продаст, он полез под стойку за бутылкой.

— Так и быть,— сказал Ефим, разливая водку по граненым стаканам. — Только идя навстречу пожеланиям трудящихся...

Дверь не закрывалась. Входили все новые и новые люди. В спецовках, в расстегнутых кителях. Кто за пивом, кто за сигаретами. Ефим ловко откупоривал бутылки единственной рукой, кромсал минскую колбасу. Что, нет денег? Ладно, завтра отдашь. А у кого, скажи на милость, есть деньги? Ефим работал весело, споро, не лез за словом в карман.

Бутылка уже опустела. Лубенец вертел стакан. Ему не хотелось уходить. Придется заказать еще, хотя денег — кот наплакал. И когда-то еще будет получка?

— Кажись, Лубенец?

— Он самый...

— А меня узнаешь?

— Что-то не припоминаю...

— Сотник моя фамилия. Мы с тобой на «Суворове» плавали.

— Правильно,— обрадовался Лубенец. — Было такое дело. Ну, а сейчас ты где?

— Механиком работаю. Четыреста десять сил, вспомогательные механизмы... Ты что, уже отвоевался?

— Вроде бы,— ответил Лубенец, разглядывая Сотника. Сразу видно, что механик. Промасленная спецовка, французский ключ за голенищем...

— Мы на котлочистку стали. — Сотник присел рядом. — Стоим в затоне, у берега. Загляни, если будет охота.

— Добре,— пообещал Лубенец.

— Кстати, дружка повидаешь. Он у нас капитаном. Осадчий...

— Да ну!.. — Лубенец подался вперед.

— А то здесь подожди. Босс должен прийти с минуты на минуту. Мы с ним условились. Ты не торопишься?

Лубенец ответил, что свободен. Потом поднялся и принес две бутылки пива. Для себя и для Сотника. Рублем больше — рублем меньше, один черт. А без пива какой разговор? Недаром говорится: сколько пива, столько и песен.

Он стал спрашивать про Сашку.

— Ты бы посмотрел на него,— сказал Сотник. — Аристократ. Плащ «болонья», костюмчик с иголки... В общем, ходовой парень...

Лубенец кивал. Он не стал пытаться, почему Сотник называет Сашку боссом. Может, так надо? И зависти он не чувствовал. Ему было

даже приятно, что Сотник говорит о Сашке с восхищением. Но он все время думал о том, как они встретятся. А вдруг Сашка тоже скажет: «Заходи, мы в затоне стоим...» Из вежливости. Кто знает. Все-таки капитан!

Он сидел спиной к двери и увидел Сашку позже Сотника. «Привет! Привет!..» Сашка был одет с шиком. Белая фуражка, шевиотовый китель с золотыми галунами капитан-лейтенанта, ботинки, надраенные до зеркального блеска... Неужели не узнает?

— Игорек, я сейчас... — сказал Сашка, которого остановил какой-то парень. Потом, отделавшись от этого парня, он увидел Лубенца и раскинул руки.

Лубенец поднялся ему навстречу.

— Николай!.. Я тебя сквозь усы разглядел...

Они обнялись.

— Вот уж не думал... — Осадчий выпустил Лубенца. — А ты ничего... — И, как когда-то в ремесленном, пропел:

Ни-ко-лай, давай закурим...

Лубенец выложил на стол «дюшес».

— Ого, — сказал Осадчий. — Красиво живешь, старик. Ну, чего мы сидим, как на именинах? Значит, так... Колбаски, маслица, огурчиков и... — Он выжидающе посмотрел на Лубенца.

— Валай, — сказал Лубенец. — Не возражаю.

— Действуй, Игорек, — Осадчий подтолкнул Сотника.

Сотник направился к стойке. Был он толст и неповоротлив. Закуска... А выпивка известно какая — «сучок». Ни коньяка, ни «столичной» у Ефима отродясь не было. Так что лучше не спрашивать. Иначе Ефим подождет губы с таким видом, словно его кровно обидели, и ответит, что здесь не ресторан.

Через несколько минут Сотник вернулся к столику.

— Пива достаточно? — спросил он. — Я взял две бутылки...

— Ты что? Неси дюжину, — отозвался Осадчий, не поворачивая головы.

Он смотрел на Лубенца ласково и умильно. А Лубенец в это время с тоской думал о том, что, когда дело подойдет к расплате, он опозорится. Сегодня угощает он, это — само собой. Иначе Сотник не суетился бы так. Ну, да ладно... Погибать, так с музыкой. И он потребовал папирос. Разумеется, самых лучших.

Выпили. Сотник поперхнулся, прикрыл рот ладонью.

— Пить не умеет, — пояснил Осадчий. — Он у меня больше по части полупроводников.

Лубенец понимающе кивнул. Полупроводники так полупроводники. То ли потому, что Лубенец давно не пил, то ли от усталости, но он быстро захмелел и теперь ему все было «до лампочки».

В два часа пополудни «Буфет» закрывался на обед, Ефим ведь тоже человек, верно? Ефим подошел к их столику и остановился.

— Закрываешь, Ефим? — спросил Осадчий.

— Ничего, можете остаться, — сказал буфетчик.

— Нет, мы тоже пойдем... — Осадчий поднялся.

— Сколько с нас? — трезвея, спросил Лубенец.

— Брось, я плачу. — Осадчий отстранил Лубенца рукой. — Ты мой гость, понял? И жить будешь у меня. Возражения не принимаются.

Лубенец не успел ответить. Отсчитывая сдачу, Ефим сказал:

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

## 3

Сотника Осадчий отослал на пароход (котлочистка — не его забота, пусть отдувается механик) и взял Лубенца под руку.

— Пошли, дружище. Дела мы обтяпаем завтра.

Лубенец не возражал.

Лето шло на убыль, но солнце еще палило в полную оилу. В воздухе стоял грохот — порт был рядом и за крышами домов виднелись клювы порталльных кранов.

— Раньше их, по-моему, не было, — сказал Лубенец.

— Точно.— Осадчий ловко попал окурком в урну.— Здесь новый причал отгрохали — будь спок. Для грузовых теплоходов. Идем, посмотрим...

У входа в порт высилась металлическая арка. По ее бокам на бетонных плитах ржавели трехпалые якоря. В пролете арки был виден затон. Десятка два теплоходов приткнулось к берегу. Раскачиваясь в деревянной люльке, какие-то парни в брезентовых робах красили белилами горячий борт пассажирской «ракеты». Другие парни, очевидно грузчики, возились с контейнерами. В проходной сопел над газетой небритый охранник. Увидев Осадчего, он взял под козырек.

— Со мной... — обронил Осадчий.

Новый причал был оборудован по последнему слову техники. Краны, автопогрузчики.

— Законченный цикл механизации,— пояснил Осадчий, останавливаясь возле новенькой самоходной баржи.

Шла погрузка. Баржа готовилась к отвалу. Капитан самоходки пома- хал Осадчему рукой.

— Хватит, посмотрелись, — сказал Осадчий.

Он повел Лубенца к себе. Жена вот-вот вернется с работы. А она у него строгая. Между прочим, медичка. Не любит, когда он опаздывает.

Жил Осадчий, как выяснилось, в отдельной двухкомнатной квартире, которую выцыганил совсем недавно. Ну, чего уставился? Действительно выцыганил. Повторив это слово дважды, он повеселел и стал рассказывать. Поначалу, когда он женился, ему дали комнатку. Десять метров без балкона, пятый этаж... И сидеть бы ему в этой комнатке до самой старости, не подвернись случай. Было у них отчетно-выборное собрание. Весной, перед открытием навигации. Секретарь парткома упомянул в докладе и про него. Молодой капитан, растущий. И в быту может служить примером — женился, получил комнату, культурно живет... Осадчий, надо полагать, сам выступит и расскажет.

— Ну, и я, понимаешь, сразу сориентировался, — сказал Осадчий.

Когда ему предоставили слово, он первым делом поблагодарил. Спасибо. Ему создали все условия. И зарабатывает он вполне прилично. Только за последний год они с женой приобрели гарнитур, купили приемник и телевизор. Мебели столько, что не помещается в комнате. Хоть продавай...

Тут он развел руками и под общий хохот сошел с трибуны. Вот дает! И начальнику пароходства — делать нечего — пришлось заявить, чтобы Осадчий не тревожился. Мебель продавать ему не придется. К первому мая они заселяют новый дом, и он дает слово, что предоставит Осадчему в этом доме двухкомнатную квартиру.

— Вот какая кибернетика,— смеясь, сказал Осадчий.

Он открыл ключом дверь и пропустил Лубенца вперед.

— Заходи, располагайся, как дома. Места хватит. Ну как, нравится? Лубенец одобрил. Не квартирка, а кают-компания. Жить можно.

— Мой тебе совет — женись, — сказал Осадчий. — У тебя есть подходящий человек на примете?

— Нет еще...

— Тогда мы тебе подберем. У моей Ольги есть подружка — модерна. С жилплощадью. Не пожалеешь.

— Мне сейчас не до этого, — ответил Лубенец, вспомнив почему-то Зину.

— Понимаю, — сказал Осадчий и принялся накрывать на стол.

Минут через пятнадцать появилась и хозяйка. Смуглая, вальяжная. Сняла туфли в передней, вошла в комнату и, здороваясь, протянула Лубенцу руку. Милости просим. Александр ей как-то рассказывал про Лубенца.

Мужа она называла полным именем: Александр. Для солидности, что ли.

Ольга Лубенцу понравилась. Зине было до нее далеко. Он и не подозревал, что есть такие. Раньше он думал, что такие бывают только в журнале «Огонек» и то на последней странице, там, где моды.

За столом разговор шел о всякой всячине. Потом Осадчий спросил:

— Слушай, а ты почему о себе не рассказываешь?

— Нечего...

— Понимаю, военная тайна, — усмехнулся Осадчий.

— Вроде бы так...

— Слушай, есть идея, — опять сказал Осадчий. — Хочешь ко мне первым помощником?

— Спрашиваешь!..

— Я — серьезно. Оклад, правда, небольшой. Всего сотня с хвостиком. И на прогрессивку надежды мало.

— А выслуга лет?

Осадчий присвистнул:

— Тю-тю... Оклад и тринадцать рубликов на харчи...

— И это все?

— И фунт дыма.

— Мне хватит, — сказал Лубенец. — Согласен.

— А то, может, на самоходку попросишься? Белый китель, чистота... Это не то, конечно, что баржи тягать. С угольком.

— За кого ты меня принимаешь? — обиделся Лубенец.

— Ладно, уже и пошутить нельзя, — сказал Осадчий. — Я тебя знаю. Иначе не взял бы к себе. Но ты подумай, время терпит. На работе я лютый.

— Ты и дома не сахар, — сказала Ольга.

Она встала из-за стола, подошла к приемнику.

— Не надо, — попросил Осадчий. — Лучше телевизор включи. Сегодня матч.

Из дому они уже не выбрались. Сидели у телевизора, потом пили чай, потом сумерничали на балконе среди матиол. Балкон висел над пеззвоном трамваев и шарканьем ног.

Лубенец попросил, чтобы ему постелили на балконе — не хотел стеснять хозяев. Нырнул под накрахмаленную простыню и зажмурился. Хорошо. Потом он подsunул руки под голову и прислушался. В комнате шептались. Лубенцу показалось, будто Ольга распекает мужа. Привел квартиранта на ее голову; Александр уедет в рейс, а она отдувайся...

Потом послышался короткий смешок. Лубенец успокоился. Нет, они говорят о другом... Но про себя он решил, что съедет при первой же возможности. Не в его привычках стеснять людей.

Как всегда на новом месте, ему не спалось. Он долго лежал с открытыми глазами. Ни о чем не думал.



Улица — подворотня — булыжник. Лубенец один против пятерых, которые напали на него исподтишка. Он дерется отчаянно, зло, до крови. И тут появляется Сашка, ввязывается в драку, их обоих избивают (у Сашки здоровенный «фонарь» под глазом), и они становятся корешками — водой не разольешь.

Зеленые ставни — яблоня — собака Рекс. Там жила Сашкина тетка. По воскресеньям они отправлялись к ней. Пилили дрова, копали картошку и в награду за труды наедались до отвала. (Интересно, торгует ли еще эта тетка на рынке?)

Потом цветастый шелковый халатик, бумажный абажур, следы помады на мундштуке папиросы. Это — Зина. Она тоже кормила его до отвала. Потом он увидел Зину... рядом с Ольгой. Потом себя и Сашку на «Суворове» — на этом буксире они проходили практику.

Сашка уже тогда знал, чего хочет. Он говорил, что у человека должна быть цель. А он, Лубенец, и сейчас не думает о будущем. Кем он хотел бы стать — инженером, капитаном, диспетчером? А черт его знает. Квартира ему не нужна. «Москвич» — тоже. Разве плохо просто жить и делать свое дело?

Другое дело — Сашка. У него жена. Для такой жены стоит разбиться в лепешку. (Тут он увидел подлодку, на которой служил. Лодка приближалась к огромной льдине, которая, казалось, вот-вот превратит ее в лепешку. Затем очертания подлодки расплылись у него перед глазами...)

## 4

Машина была разворочена. Кочегары стучали молотками в гребном колесе. Сотник с помощниками латал обмуровку парового котла. А наверху шла приборка. Палубу только что окатили водой.

— Зайдем ко мне, — сказал Осадчий.

Он вышел из рулевой рубки, остекленной с трех сторон. Лубенец снял руку с штурвала и следом пошел к трапу. Удивляться нечему — обыкновенный буксир. Только в рубке установлен компас. После того, как появилось Кременчугское море...

«Море! — усмехнулся Лубенец. — Посмотрел бы Сашка на настоящее море...»

Едва касаясь пальцами поручней, он прогрохотал по трапу. Каюта капитана была невелика — две клетушки мал мала меньше. За пологом стояла кровать и узкий шкафчик, грубо размалеванный «под дуб», а в рабочем «кабинете» рядом с жестким дерматиновым диванчиком был привинчен однотумбовый канцелярский стол. Справа от него зеленел медный раструб точно такой же переговорной трубы, какая была и наверху, на капитанском мостике. Сейчас труба молчала, в нее был включен медный кляп.

Опускаясь на диванчик, Осадчий спросил:

— Что скажешь?

И сразу, не ожидая ответа, громко позвал механика. Его беспокоили дымогарные трубы. Заменяли? Так-так... Котлолистку надо закончить досрочно, кровь из носа. Только досрочно. Все внимание машине и котлу. А вспомогательные механизмы они могут отремонтировать и на ходу.

Сотник моргал белесыми глазами. Перед капитаном он стоял невытяжку.

— Постараемся...

— Это не ответ.

— Сделаем.

— Так-то лучше, — усмехнулся Осадчий, и Лубенец понял, что он «работает на публику».

— Попробую как-нибудь уговорить линейного механика...— пробормотал Сотник.

— Попробуй, попробуй... Это — твоя забота, — Осадчий кивнул, — он человек сговорчивый...

Сотник вышел.

— Твоя каюта будет внизу, — сказал Осадчий и положил руку на колено Лубенца. — И заживем же мы с тобой, Колька! Что скажешь?..

— Ребята вроде бы ничего... — ответил Лубенец.

— Двадцать шесть лбов, один к одному, — ответил Осадчий. — Честно говоря, мне пришлось с ними повозиться. Знаешь, как меня встретили? Думали на бога взять, коллективную пьянку устроили. Ну, я одного списал на берег. А второму просто морду набил. По системе Макаренко.

— По системе?..

— ...Макаренко. Был такой автор, «Педагогическую поэму» написал. Ты прочти, она у меня дома на полочке. Силен мужик, ничего не скажешь!..

Лубенец нервничал. Сашка сам предложил, чтобы они вместе сходили в отдел кадров, а теперь сидит. Нашел время проводить культурно-воспитательную работу! Но разве ему скажешь? Неудобно...

Он слушал Сашку вполуха. Вчерашний день потерян. И вот опять. Не надо было ему ни с кем связываться.

— Сколько на твоих? — неожиданно спросил Сашка.

— Без четверти десять.

— Теперь в самый раз. — Сашка кивнул.

За эти годы он успел досконально изучить местные порядки. В десять часов перекличка. В одиннадцать — диспетчерское совещание. После обеда прием по личным вопросам. Но если хочешь поговорить с начальством с глазу на глаз, лучше не соваться к нему в приемные часы. Посетители по квартирным делам способны даже мертвого вывести из равновесия. Поэтому старайся улучшить минутку между оперативкой и диспетчерским. Тогда начальство еще добренькое.

Кабинет начальника отдела кадров был на втором этаже.

— На кадрах у нас сидит Дудников, — сказал Сашка. — Ты его не знаешь, его недавно прислали. Теперь вот что: подождешь в приемной, я сам к нему зайду. Ну, где твои документы?

На дверях висела под стеклом продолговатая бумажка: «И. С. Дудников». Ни должности, ни часов приема. И дверь была обыкновенной, двустворчатой. Лубенец остался в приемной. Секретарь-машинистка была уже не первой молодости и носила очки. Интересно, что она отстуккивает? «Зачислить...»? «Предоставить очередной профотпуск с сохранением содержания...»? «Объявить выговор...»? Лубенец подумал, что с таким лицом благодарности не выносят.

Все решалось в эти минуты. Там, за дверью с простой табличкой. Быть ему первым помощником или вторым. Если, разумеется, этот Дудников к чему-нибудь не придерется. Иначе — хоть в матросы иди. Другой специальности у него нету.

Он представил себе разговор с Дудниковым. «Демобилизовались?» — «Так точно». — «Что ж, нам люди нужны. Но для начала...» — «Согласен». — «Вот и отлично. Заполните анкету...» — «Разрешите идти?» Все будет просто и... буднично. Это только с войны солдат встречали с оркестрами, он сам видел. Да и то лишь в первые дни...

Дверь приоткрылась. Сашка выглянул и позвал:

— Давай...

За столом, позвякивая ложечкой в чайном стакане, сидел парень лет

тридцати. Он был без галстука, в сером пиджаке с маленькими пижонскими бортиками.

— Так это твой друг? — спросил Дудников у Осадчего. — Ничего ребенок!.. — Он улыбнулся Лубенцу. — У тебя какой рост?

— Метр восемьдесят два...

— Валерий Брумел! — с восхищением произнес Дудников. — Играл в баскет?

— Хоккей с шайбой, — отрывисто отрапортовал Лубенец. — Первый спортивный разряд.

— Тоже неплохо. Член партии?

— Кандидат.

— Ну, это дело поправимое, — сказал Дудников, поднимаясь из-за стола. — Но усы... Ты их зачем отрастил?

— Усы можно сбрить, — подсказал Осадчий.

Только сейчас Лубенец заметил, что Дудников маленького роста. У него были коротенькие ножки. Недомерок...

Дудников прошелся по ковровой дорожке к двери и обратно. Одно время он был на комсомольской работе, обращался ко всем, даже к незнакомым людям, на «ты». Он считал, что анкеты и формальности — все это пустяки. Главное, составить себе мнение о работнике. С первого взгляда. Таково знамение времени. А у него глаз наметан, на мякине его не проведут!..

— Считай, старик, что мы договорились, — сказал он Лубенцу. — Оформляйся и приступай. Осадчий на первых порах тебе поможет. Так что присматривайся, овладевай... Остальное, старик, будет от тебя самого зависеть...

Сложив руку лодочкой, он сунул ее Осадчему, а затем и Лубенцу. Извинился: торопится на диспетчерское... Сами понимают: конец месяца, осталось четыре дня, а план не вытанцовывается. Тонно-километров не хватает.

— Миллиона два я вам подкину, — сказал Осадчий уже в дверях. — Схожу на Днепропетровск...

— Маловато... Вот если бы ты мне миллиончиков сорок подбросил, — отозвался Дудников, — я бы тебе спасибо сказал.

Осадчий и Лубенец спустились по лестнице, вышли на улицу.

— Мировой парень, — сказал Лубенец.

— Плохих не держим, — ответил Осадчий. — Я знал, что мне он не откажет. Так что теперь с тебя причитается...

— За мной не заржавеет.

— Ладно, ладно... — Осадчий рассмеялся. — Ты куда теперь?

— В военкомат.

— Топай... А мне на пароход надо. Но ты смотри не задерживайся. Обедаем в пять.

— Есть! — весело откозырял Лубенец.

Вышагивая по бульвару в сторону военкомата, он принялся насвистывать. Все складывалось как нельзя лучше. Напрасно он дрейфил. Забыл, что хороших людей на свете куда больше, чем плохих. Недаром про то и в газетах пишут...

Освободился он около четырех. Рано! Лучше он явится точно к обеду, когда Сашка уже вернется. На противоположной стороне улицы была скамейка. Лубенец уселся и стал ждать. Ему было видно, как Ольга хлопочет возле плиты (окно было открыто). Потом он увидел Сашку и, когда тот скрылся в подъезде, поднялся. Теперь порядок. У него оттопыривались карманы. В одном была бутылка «столичной», а во втором «твиши», для Ольги. Сегодня у него хороший день. Они должны отпраздновать его назначение.

— «Твиши»? — обрадовалась Ольга. — Это мое любимое вино. Скажите, Николай, как вы догадались?

— Ты на меня не смотри, я здесь ни при чем, — сказал Сашка. — Слово!..

Он откупорил бутылки. Пирозать так пировать.

Потом, уже после обеда, когда он вместе с Лубенцом вышел на балкон покурить, Осадчий сказал:

— Мне на рассвете в рейс. Так что ты останешься на хозяйстве.

— Как? — Лубенец закашлялся.

— Ольге, понимаешь, дали отгул, — сказал Осадчий. — Я ее с собой беру. Пусть отдохнет, погода отличная. — И, затянувшись с такой силой, что запали щеки, скосил глаза: — А ты что думал, я ее с тобой оставлю? — Он рассмеялся.

Лубенец промолчал.

## 5

С чего начинается «гражданка»? Лубенец первым делом сбрил свои роскошные северные усы и спорол с фланелевки полупогончики. Был старшина второй статьи Николай Лубенец — и нет его. А есть теперь военнообязанный запаса.

Он долго рассматривал свой новенький военный билет. О войне он не думал. Детишки на бульваре пели: «Пусть всегда будет солнце...»

У Лубенца оказалась уйма свободного времени. Он не знал, куда его девать. Он просыпался, делал зарядку, жарил себе на постном масле картофель (картофеля в доме было много) и запивал еду чаем (сахара тоже хватало). Его обед и ужин состояли из тех же блюд, хотя иногда для разнообразия он вместо картофеля жарил лук.

Правда, в кухонном шкафу он еще в первый день обнаружил золотистые жестянки с крупой (гречневая, перловая, манная, на каждой банке надпись, чтобы не перепутать), но, во-первых, он не знал, что с ними делать, и, во-вторых, не хотел опустошать запасы гостеприимных хозяев. И на том спасибо.

А деньги у него были уже на исходе. Их едва хватало на дешевые махорочные сигареты и бутылку пивка, которую он позволял себе выпить у Ефима. Без пива он мог обойтись, но его тянуло на люди.

Его всегда тянуло к людям. Он с детства привык к их шуточкам, грубой «подначке», жалобам, песням, тоске, обидам, дружбе. Даже на подлодке рядом с ним в наглухо задраенных отсеках всегда были товарищи.

Пожалуй, ему надо было съездить за город на барахолку. У него были почти новые кирзовые сапоги, в одном из чемоданов отлеживался его старый двубортный костюм (он мог прожить и без него), однако от мысли, что ему придется расхваливать свой «товар», Лубенцу становилось мутно. А в скупке, он справлялся, такое барахло не брали. «Сейчас нищих нету», — сказал ему приемщик.

Так прошло несколько дней-близнецов.

Наконец, получив назначение на «Магнитогорск», он зашел в диспетчерскую, чтобы узнать, когда ожидается прибытие парохода. Вынужденное безделье уже тяготило его.

Стены диспетчерской были обиты войлоком. Тихо попискивал включенный селектор. Дежурный диспетчер и девушка-оператор чертили на графике кривые и прямые.

График был огромен, как скатерть.

— «Магнитогорск»? — переспросил диспетчер. — Сейчас посмотрим...

Слева на графике были напечатаны названия портов и пристаней. От них вверх и вниз тянулись тонкие цветные линии. Над каждой

линией твердым карандашом были выведены названия буксирных пароходов и номера барж. Линии обрывались там, где сейчас находились караваны.

Последние изменения в график внесли совсем недавно, после селекторной переключки, и диспетчер сразу определил местонахождение «Магнитогорска».

— В десять часов пароход проследовал Черкассы,— сказал диспетчер и потер кулаками свои воспаленные глаза.

— А когда он прибудет сюда?

— Сюда? — диспетчер не скрывал раздражения. — Не мешайте работать!

Окна диспетчерской выходили на реку. Сейчас вода была светлой и легкой. Перескакивая с волны на волну, промчал в сторону пляжа спасательный катер. Тихо попискивал селектор. Диспетчер ползал с линейкой по графику. Девушка-оператор торопливо завтракала. Все были заняты. До Лубенца никому не было дела, и он, потоптавшись за спиной сердитого диспетчера, неслышно вышел.

Ждать оставалось ровно двое суток.

## 6

«Магнитогорск» медленно вползал в затон. На гаке у него было шесть барж. Впереди, рассекая воду, шло крупнокалиберное крытое судно, за ним, счаленные попарно, двигались четыре баржи поменьше, а замыкало шествие небольшое валкое суденышко. Такой счал капитаны называют «бочонком».

Буксир был скуласт и крепок. В его клюзах висели тяжелые якоря. Стальной трос, провисавший за его кормой, на солнце был почти не виден, и оттого казалось, будто буксир шлепает сам по себе, а баржи движутся за ним сами по себе. Суда шли против течения, и вода перед ними расступалась как бы нехотя.

Был полдень.

В полдень вода в реке голубеет. В полдень на лентах транспортеров неслышно хрустит зерно, дремлют плавучие перегружатели, медленнее обычного кружат стрелы порталных кранов и лениво, косолапо переваливаясь, движутся грузчики. Вот они идут гуськом по сходне. Бригада, семь человек... Напялив на головы капюшоны из грубых мешков, с поклажей на спинах, они поднимаются по шатким доскам на борт дощаника и, повторяя движение своего бригадира, одним недовольным поворотом плеча мягко сбрасывают на палубу свой тяжкий груз. Сейчас полдень. Зной разлит по причалу и нет теней. И в самый раз расколоть сейчас о камень прохладный херсонский арбуз...

Лубенец явился на причал со всеми шмотками задолго до появления «Магнитогорска». В городе ему делать нечего, погулял и хватит.

Когда буксир замедлил ход («Ма-лый! Самый ма-а-лый!..») — чувствуя себя вахтенным, мысленно приказал Лубенец). обшарпанный рейдовый катер принялся растаскивать его баржи. А пароход, освободясь от каравана, отработал задним.

Решив, что пароход пристанет к дебаркадеру, Лубенец поднял чемоданы. Но тут буксир неожиданно развернулся — к нему подходила моторная яхта.

С парохода отдали левый якорь.

Вот досада! До парохода — кричи не кричи — было метров четыреста. Хоть бы, черти, догадались спустить шлюпку. Нет... Добирайся как знаешь.

К счастью, ниже дебаркадера по колено в воде стояли пацаны с удочками. Возле них покачивалась старая плоскодонка. Весла лежали на берегу. Лубенец подошел к пацанам. Тут такое дело... Пусть помогут, для них это раз плюнуть.

Один из пацанов попросил сигарету. Потом отвязал плоскодонку. Когда Лубенец разобрал весла, пацан оттолкнул лодку от берега и прыгнул на нос.

Через несколько минут, взобравшись на горячий борт буксира, Лубенец попал в объятия Сотника. Маленький, в широченных брезентовых штанах и заштопанной майке, пропахший машинным маслом, Игорек хлопнул Лубенца по плечу. Наконец-то! Его уже все заждались.

— А где Осадчий? — спросил Лубенец.

— Внизу, в салоне. Начальство принимает, — ответил Сотник.

Моторная яхта стояла у борта. На палубе сушилось белье, пахло влажным полотном и мылом. Под бельем, выгибая спину, прохаживался жирный кот.

— Да ты устранивайся, — засуетился Игорек. — Твоя каюта открыта. Давай помогу.

— Ничего, я сам... — Лубенец поднял чемоданы.

Жалюзи было опущено, и каюта была полосатой, как флотский тельник. На потолке, на отливавших мертвым блеском стенах, выкрашенных масляной краской, и даже на пикейном одеяле косо лежали темные и светлые полосы. Впережку. Было душно, и Лубенец поспешил открыть окно.

— Пойду доложусь, — сказал он.

— Успеется, не горит, — отозвался Игорек. — Пусть начальство уедет.

Они вышли на палубу. Игорек поправил на голове белый чехол от фуражки, заменявший ему берет, и присел у якорной лебедки. Он был не прочь побалакать. Лубенец не пожалевает, что попал на буксир. У них на «Магнитогорске» — лафа, это Лубенцу каждый скажет.

Перед глазами покачивалась мачта моторной яхты. Кот улегся и, вытянув лапы, сладко жмурил янтарные глаза. Снизу, должно быть из открытого иллюминатора, доносился чей-то густой голос. Лубенец невольно прислушался.

— ...А ты сделай так, чтобы на тебя не жаловались...

— ...Победителей не судят...

— ...Кому многое дано...

Голос был Лубенцу знаком. И слова тоже были привычные.

— Это под нами, — тихо сказал Сотник.

— Уйдем отсюда. — Лубенец отвернулся.

Они прошли на корму. Дверь камбуза была открыта. Лубенец увидел, как шкварчит на сковороде сало, и поспешно отвел глаза. Закурить бы! Он потянулся за сигаретами, продул мундштук. Потом протянул пачку Сотнику — угошайся!

Закурили. Пуская дым колечками, Сотник заговорил о том, что по расписанию им через три часа снова идти в рейс и надо бы послать ребят в магазин за продуктами. А то, может, подождать? Осадчий не любит, когда его подменяют.

— Пусть едут, — сказал Лубенец. — Кто у вас артельщик?

— Сейчас... — заторопился Сотник. Он был рад, что Лубенец берет ответственность на себя. — Спустить шлюпку?

— Давай...

Шлюпка закрипела на таях, плоско шлепнулась на воду. Артельщик и двое матросов, прихватив мешки и корзины, расселись на банках. Осталось мало времени, хоть бы успеть.

— А как у тебя с топливом? — спросил Лубенец.

— Маловато,— Сотник поморщился.— Бункер почти пуст.

— Чего же ты молчишь?

— Так ведь начальство пожаловало,— сказал Сотник.— Неудобно как-то...

— Знаешь, как у нас в ремесленном говорили? Неудобно только брюки через голову надевать,— сказал Лубенец.— Сейчас же доложи капитану...

Сотник ухватился за поручни и, поджав ноги, в три прыжка просвистел по трапу вниз. Когда приказывают — надо подчиняться. Это он усвоил на всю жизнь. А если что не так — его дело сторона. Видит бог, сам он не хотел беспокоить начальство.

Лубенец смотрел ему вслед. Зачем он вмешался? А черт его знает. Еще не приступил к работе, а уже суется не в свое дело. У Сашки небось тоже часы имеются. И идут они, надо полагать, не хуже лубенцовской «победы». Определенно не надо было пороть горячку.

Он жадно курил, досадуя и на себя, и на исполнительного Сотника, и почему-то даже на Сашку (нашел время лясы точить с начальством!), и чем больше он думал об этом, тем опрометчивее казался ему его первый шаг. Вечно его заносит! Кто он такой, чтобы приказывать?

Окурок перелетел через борт. А вот и Сотник! Игорек выскочил из люка пробкой. За ним на палубу поднялись Осадчий и Дудников — несмотря на то, что Дудников был сейчас в чесучовом кителе с отложным воротником, Лубенец его сразу узнал.

— Акклиматизировался, значит? — спросил Дудников, протягивая пухлую ручку.— Правильно. Давай, морячок, давай...

Потом он повернулся к Осадчему.

— Ну, мне пора... Будем считать, что вопрос исчерпан. Но на дальнейшее ты учти...

Осадчий приложил руку к сердцу. Учтет, будет умнее. Он подошел к борту и, когда Дудников перешел на яхту, бросил мотористу конец.

— Пронесло...

— Что ему надо было? — спросил Сотник.

— А ты бы у него спросил,— Осадчий усмехнулся, помахал рукой уходящей яхте.— Ну, все... Нашего брата всегда против шерсти гладят.

Это относилось уже к Лубенцу. Учись, пригодится. Когда-нибудь сам капитаном будешь.

Лубенец промолчал. Рука нашупала сигареты. Рядом с ними в кармане лежали ключи. Оба ключа были надеты на кольцо. В верхнем замке ключ повернуть до упора, потом... Но теперь это уже не имело значения. Он протянул ключи Осадчему. Как говорят по телевизору: благодарю за внимание... Квартира в полном порядке, даже паркёт начищен.

— Мать честная, совсем забыл!..— Осадчий сбил фуражку на затылок.— Ольга-то до сих пор под замком сидит. Ну и нагорит же мне. Похлеще, чем от начальства.

О чем это он? Лубенец не понимал.

— Я ее в каюте запер,— сказал Осадчий.— Начальство, понимаешь, не любит, когда жен катают... Вот и пришлось. Не знаю теперь, как отбрезаться...

Ольга сидела на диванчике с каменным лицом. Молчала. Стараясь не встречаться с ней глазами, Осадчий начал оправдываться. Не его вина... Даже Николая не встретил... С трудом выпроводил этого Дудникова... Верно, Николай?..

Пришлось подтвердить.

Он поздоровался с Ольгой.

Она ответила ему кивком совсем так, как это делала Зина. Смертельно рада... Ну да, теперь уже он виноват...

— Я уложила вещи. Будь добр, возьми мою сумку, — сказала Ольга куда-то в пространство между Лубенцом и Осадчим.

Лубенец увидел клетчатую сумку, которая лежала на кровати, и шагнул в сторону. Не надо вмешиваться. Третий — лишний. Про то и в песне поется из кинофильма «Путь к причалу».

«Магнитогорск» стоял в ковше массовых грузов. Вдоль берега тянулся горный хребет. Горы были черные, чуть дымились. Как в Африке — в детстве Лубенцу казалось, будто в Африке даже горы черные. Уголь блестел жарко, до боли в глазах. Пятитонный грейфер раскрыл свою пасть над бункером. У грейфера были острые клыки-бивни. Как у слона...

— Уголек что надо, марки «АК», — сказал Сотник, следивший за бункеровкой. — А в прошлый раз нам досталась одна пыль.

Лубенец не успел ничего сказать — его позвал Осадчий.

Дверь каюты была открыта. Ольга накрывала на стол. Стало быть, помирились. Жужжал электрический вентилятор «подхалм» с резиновыми лопастями. Ольга улыбнулась Лубенцу. Ее черные волосы были собраны на затылке.

Посреди стола стояла огромная сковорода. В ней плавали в масле куски жареной рыбы. И румяный картофель. Булка была свежей, воздушной.

Лубенец проглотил слюну, отвернулся. Клетчатая сумка на молнии все еще лежала на кровати. Выходит, Ольга не передумала. Жалко...

— Я думал, что ты обедаешь в кают-компании, — сказал Лубенец Осадчему.

— Конечно, — ответил Осадчий. — У нас котел общий. Но бабе там не место. И так, когда она на палубу выходит, на нее пялят глаза. Капитану хорошо, у него жена под боком. А мы что, рыжие? Знаю я эти разговорчики, сам был в матросской шкуре.

— Успокойся, больше я тебе мешать не буду, — сказала Ольга.

Ей все равно в понедельник заступать на дежурство. Урологическое отделение, тридцать коек. Она могла бы, конечно, побыть на судне еще два дня и вернуться домой на «ракете», но теперь решено — она остается.

Теперь это была прежняя Ольга — спокойная, снисходительно насмешливая. Ох, эти мужики!.. Что бы Александр делал без нее? Честно говоря, она удивляется, как он работает. Капитан. А ему самому еще нянька нужна...

Сашка сразу уцепился за это. Правильно. По прогнозам, осень будет теплой, солнечной. Вот он и предлагает... Ольге ведь обещан отпуск. В октябре. Они славно проведут месяц.

— Ну, это будет еще не скоро, — ответила Ольга.

Она не против. Конечно, другие мужья отправляют жен к морю. В октябре в Сочи бархатный сезон. Тут она вздохнула. Но что поделаешь, если у нее такой муж?..

Тарелка была пуста. Лубенец посмотрел на часы и поднялся. Они уходят в четыре, и Сашке надо проститься с женой. Третий — лишний...

Каждый рейс буксирного парохода точно обозначен в путевом приказе. В нем отмечена скорость на всех участках плеса, указан состав каравана, определены пункты отправления и прибытия. Рейсовый план-приказ капитан получает в диспетчерской.

Проводив Ольгу до трамвая, Осадчий вместе с Лубенцом отправился в диспетчерскую. Какие будут указания? Взять на рейде «Б» шесть барж? Ясно. Значит, полный вперед?..



Сдвинулась и пропала за кормой бетонная глыба элеватора, «Магнитогорск» ходко прошел под мостами. Диспетчер не подвел: на рейде его ожидало шесть счаленных по трое металлических барж.

С капитанского мостика весь рейд просматривался из края в край. Там копошились катера, перетаскивавшие взад-вперед тупоносые баржи, дымил старенький буксир, покачивалось похожее на утюг нефтеналивное судно, залитое «светлым» горючим (в отличие от «темного» — нефти — «светлым» мог быть либо керосин, либо бензин). Шла обычная работа, которой руководил охрипший капитан рейда.

Когда стальной трос, сплетенный из множества тончайших нитей, передали с «Магнитогорска» на головные баржи, на самом буксире вахтенные матросы начали выбирать его лебедкой. И тотчас трос, натянувшись, по-комариному тонко зазвенел. После этого пароход дал гудок, и широкие плицы его гребных колес шумно заколотили по воде.

Осадчий отослал с мостика второго помощника («Отдыхай, нечего тебе путаться под ногами, сменишь меня в двадцать часов») и по привычке окинул взглядом караван. Тяжелые баржи плыли важно, точно павы из ансамбля «Березка». На реке было спокойно.

— Не забывай, что на баржах теперь шкиперов нету,— сказал он Лубенцу.— Мы уже четвертый год без баржевых команд обходимся. Так что надеяться не на кого.

Он мог бы добавить, что тоже, между прочим, числится в инициаторах этого дела, но не стал распространяться. Зачем?.. Николай еще полагает, будто он расхвастался.

— Выходит, рули на баржах закреплены намертво? — спросил Лубенец.— Понятно... Слушай, а мне когда заступать на вахту?

— Не терпится? — Осадчий прищурил глаза.— Ладно, ладно... Но сначала тебе придется походить в дублерах, понял? Хотя бы первое время. Будем на пару стоять. Река теперь знаешь какая? К ней привыкнуть надо. На старом багаже далеко не уедешь.

Он взял курс на белый перевальный столб, затем, примерно на середине реки, велел рулевому круто забрать вправо и снова, метров через пятьдесят, отдал новое приказание. Караван приближался к перекату.

— Нехорошо получается,— сказал Лубенец.— Из-за меня тебе придется вкалывать. По шестнадцать часов в сутки.

— Не думай, что я такой добренький,— усмехнулся Осадчий.— Для себя стараюсь. Сегодня я, завтра ты... Когда-нибудь отстоишь за меня. Я напомним.

Форштевень буксира резал зыбкий раздольный плес. Осадчий быстро нащупал струю почти невидимого течения. Он смотрел вперед. Вот сейчас из-за поворота должен вынырнуть встречный...

То был пассажирский пароходик, обслуживающий местную линию. Осадчий приветствовал его протяжным гудком. На пассажирском и на буксире почти одновременно взмахнули белыми флажками, и суда разошлись правым бортом.

— Эй, на «Магнитогорске»! — крикнули в рупор с пассажирского.— На перекате берите влево. Там земкараван работал и кручу размыво!..

— Есть принять влево! — ответил Осадчий.

Он присел на скамью, расстегнул китель. Хорошо, когда продувает...

— Что, пришлось перейти на «махорочные»? Тогда угощайся, у меня «беломор», ленинградский. Он, правда, стал хуже, но ничего, курить можно.

— Я так и знал,— сказал он, широко улыбаясь.— Город деньгу любит. Когда я с Ольгой крутил, го, бывало, за три дня спускал всю получку. В театр — на машине, из театра — в ресторан... За ней тогда один

кандидат увивался, сотни швырял. Вот мы и соревновались — кто кого переплюнет. Вот какая кибернетика, да... Но ты вперед смотри. Видишь, косу натянуло? Когда мы вверх шли, ее еще не было, да... Это тебе не море. Хорошо морякам. У вас там всегда «семь футов под днищем»...

— Это как сказать,— ответил Лубенец, вспомнив темные, железные волны Баренцева моря. В это мгновение он снова увидел, как они бьют в гранитные берега, поросшие лишайником и редкой щетиной березовых стволов. Над этим редколесьем было ледяное небо, был сумеречный свет белых ночей.— Это как сказать...— повторил он в задумчивости и спохватился, когда море померкло.— Постой. Раньше, помнится, здесь по левому рукаву ходили...

— Было такое,— подтвердил Осадчий.— Не забыл, значит? В прошлом — нет, вру, в позапрошлом году путейцы спрямили ход. По старице тепсрь и на лодке не проедешь.

Берег приблизился почти вплотную. Кудрявая рошица. Будка бакенщика. Круча. Хата на взгорке... Лубенец снова открывал для себя эти знакомые, но позабытые места. Казалось, на реке ничего не изменилось. Все те же кручи и осокори, белые и красные пирамидки бакенов, косой полет чаек... И снова заливные луга, песчаные отмели, шляхи и гребли, вербы и ракиты над замшевой тишиной заливов, темные ветряки... Уже медленно и тихо смеркалось.

Вскоре вернулся второй помощник с заспанным, помятым лицом. На нем был куцый бушлатик в обтяжку и узкие цивильные брючки, из-под которых выглядывали пестрые безразмерные носки. Парню было лет двадцать, не больше.

— Разбудишь меня в половине двенадцатого,— сказал ему Осадчий и повернулся к Лубенцу.— Пошли...

— Нет, я, пожалуй, останусь,— ответил Лубенец.

— Дело хозяйское.— Осадчий потянулся, зевнул, закинув руки за голову.— Пока...

Будить его не пришлось. В полночь, когда стеклянно пробили склянки (помощник не решился его потревожить), он снова поднялся на мостик. Был он свеженький, как огурчик. Кто скажет, что он всю неделю недосыпал ночей? Ерунда. Осадчий кутался в длинный овчинный тулуп — под утро знаешь, как прохватывает? — а потом, уже сидя на скамье, подтянул голенца сапог. Он и Лубенцу посоветовал надеть шинель. Пижонить нечего.

Ночь была сырой, мутной. Буксир шел осторожно, словно бы ощупью. Лубенец прислушивался к ровному дыханию паровой машины. Слышно было, как колотят по воде колеса, как поскрипывает бортовая обшивка и ропщет под днищем вода...

Огни бакенов покачивались на темной реке. Шаткий ветерок крался низом. Он был ласков, навевал дрему.

— Куняешь? — спросил Осадчий.

Лично ему не привыкать. Подумаешь, ночная вахта!.. Сколько он их уже отстоял! А сейчас рядом Колька, есть с кем отвести душу. Кракота!..

Сейчас у него было такое чувство, словно он старше Лубенца лет на десять. Во всяком случае он, Осадчий, отвечает за его первые шаги. Только он, и никто больше, может наставить Лубенца на путь истинный. У Осадчего опыт. Он не первый год в капитанах ходит и, как говорится, знает, «с чем все это едят».

— У нас всего добиться можно,— сказал он доверительно, почти нежно.— Стоит лишь захотеть. От тебя что гребется? Давай план... Мы — лошадки, наше дело такое. План, проценты, экономия... Есть показатели — всегда будешь наверху. И не суй свой нос куда не следует —

у нас этого не любят... Каждому свое. Один план дает, грузы тягает, а другой мобилизует. Как Дудников. Это — его хлеб. Но, скажу тебе, ложная скромность тоже не украшает. Это только в трамваях написано: «Не высовываться». Для этого ума не нужно. А кто хочет выдвинуться, тот должен уметь сказать при случае слово. И вообще надо стараться быть у начальства под рукой. Ты это учти.

Лубенец слушал.

— Я для твоей же пользы...— продолжал Осадчий.— Хочу, понимаешь, чтобы ты тоже не пас задних. Каждый должен своего добиться в жизни, да... Не твоя вина, что я тебя обскакал. Придется тебе наверстывать.

Он произносил заученные слова. Против них трудно было возражать. Но Лубенец чувствовал, что в рассуждениях Сашки есть слабина: Тут что-то не так... Но он не знал, как это сформулировать. Неужели непременно надо чего-то добиваться? Получил человек образование, так нет, хочет стать профессором, потом академиком, президентом академии... Ну, а дальше что? Почему нельзя быть самим собою? Просто жить, работать, иметь друзей, ходить в гости, удить рыбу... Почему?..

До-би-вать-ся... Он старался разгрызть это слово. Одно дело, когда бросаешься с палубы в ледяное море (вода режет ножом!), чтобы спасти товарища. Это он понимает... Или когда, оставшись втроем против пятерых, стараешься забросить в ворота противника решающую шайбу и вырвать победу. Это он понимает тоже... Или когда всю ночь напролет колдуешь над проклятым движком для лодки, чтобы он заработал. В этом есть смысл... Или когда разбиваешься в лепешку, чтобы доказать свою правоту. Так надо... Но просто «добиваться»?.. А чего, собственно?..

Поеживаясь от холода, он спросил:

— Ну, а Игорек чего добивается?

— Сотник? — Осадчий, должно быть, скривился — по крайней мере Лубенцу так показалось.— Баба он, этот твой Сотник. Не от мира сего. Я таких не люблю.

— Странно. Тогда зачем он тебе? Не мог подобрать другого механика, что ли?

— Ну, свое дело он знает. Работает — дай бог каждому. А вообще у меня с ним разговор короткий: приказано — значит сполняй... Но ты не думай, я его не обижая, я за своих людей кому хочешь горло перегрызу. Надо уметь постоять за себя. Ты как считаешь?

Это тоже было правильно. Надо уметь постоять за себя. И за других. Только говорить об этом вроде бы и не полагалось...

Помолчали. Ночь тем и хороша, что можно молчать, молчать и курить. И вспоминать только то, что хочется. И не думать о том, что тревожит. Осадчий бы многое отдал за то, чтобы хоть на минуту перенестись домой и увидеть Ольгу. Пуокай чешут языки... А она спит сейчас. Спит... А потом пойдет на работу, потом вернется из клиники. Одна... Завтра и послезавтра. И еще много-много дней. Пока не придет «Магнитогорск».

Ему хотелось, чтобы все было именно так, но он знал, что так не будет (кому-то она улыбнется, с кем-то встретится), и он в который раз уже дал себе слово «навести порядок». Главное — отрубить. Хватит, наплавался. Пускай теперь другие поплавают. А замена... Он подготовит себе замену — тут он посмотрел на Лубенца, — чтобы потом, когда окончится навигация, перейти в капитаны-наставники (они все-таки чаще ночуют дома) или в диспетчеры. Быть диспетчером даже лучше. Отдежурил свое — и двое суток свободен. И Ольге тогда не придется говорить, будто она и в девках и замужем.

Так он думал, втянув голову в меховой воротник. В тулупе было тепло, и мысли его тоже были теплыми — приятные, ласковые мысли о

теплой житухе на берегу, и эта теплота разморила его, сделала добрым и словоохотливым. Окликнув Лубенца, он стал рассказывать ему про Ольгу. Она и умная, и красивая, и «положительная», и веселая — с такой не соскучишься. Словом, недаром все ему, Сашке, завидуют.

«Что у кого болит...» — подумал Лубенец. Ему смертельно хотелось курить, но он не решался попросить у Сашки папиросу. Пусть выговорится.

— Тебе не надоело? — спросил Осадчий.

— Ну что ты... — Лубенец вздрогнул.

Осадчий вытащил папиросы.

— Дай и мне...

— Бери... Кстати, как у тебя с деньгами? — спросил Осадчий. — Не стесняйся. Я недавно разбогател, нам прогрессивку выдали. — Он рассмехался. — Ольга не знает, я эти деньги зажал.

— Мне бы только на курево, — сказал Лубенец.

— Эх ты, тюлень! — Осадчий вытащил бумажник. — Одним дымом сыт не будешь. Тебе сколько?

— Рубля три.

— Всего-то? Мелко плаваешь...

— А зачем мне больше? Харчи бесплатные...

— Море смеялось, как сказал один классик! — Осадчий зашелестел бумажками. — На двухразовом питании можно ноги протянуть. Пятнадцать. Держи...

— Куда мне столько?

— Бери, пока дают.

— Ладно...

— Вы всем раздаете деньги, товарищ капитан?

Осадчий и Лубенец оглянулись одновременно. Спрашивал рулевой. Его скуластое лицо белело в темноте рубки.

— Как же, держи карман пошире, — ответил Осадчий. — Много вас тут найдется...

— Хоть одну красненькую...

— Вот... Учу их, а все без толку. — Осадчий повернулся к Лубенцу. — Хоть на берег никого не пускай. Появится копейка в кармане, так сразу на барахло ее тратят. Черные костюмы им подавай, мокасины... А я, когда рулевым плавал, даже грубошерстного кителя не имел. Помнишь?

— Так я же в рассрочку... — пробормотал рулевой.

— А в рассрочку разве даром дают? — спросил Осадчий. — Думать надо. И не проси... — Но, посмотрев на Лубенца, он отвел глаза и, закашлявшись, сказал: — Ну, черт с тобой, Петро... Вот тебе десятка. Только предупреждаю: в последний раз...

Потом, запахнув тулуп, он наклонился к переговорной трубе и приказал:

— По-олный!..

— Есть полный!.. — ответил из машинного отделения глухой, утробный голос, и Лубенец, стоявший рядом с Осадчим, не сразу догадался, что это Сотник.

— Са-а-мый по-о-лный! — повторил Осадчий и выпрямился.

Вахта подходила к концу.

И началась тихая, размеренная жизнь. Склянки, вахта, склянки, отдых, склянки... А за бортом бесконечно струилась вода. Густо-коричневая на рассвете, она к полудню по обыкновению становилась светло-синей, чтобы на закате порозоветь, а затем снова приобрести какой-то глухой, темный цвет. Вода, вода до самого горизонта...

Мало-помалу Лубенец втянулся в эту жизнь. Два рейса позади, начинается третий... А тут и Сашка раздобрился, сказав, что пора и честь знать. Пусть Лубенец приступает к своим прямым обязанностям. Хотя бы в дневное время. Пора. И Лубенец обрадовался. По крайней мере теперь он перестанет быть пассажиром.

А потом была получка, и Лубенец, расплатившись с долгами (ему пришлось подзанять денег у Сотника), почувствовал себя человеком.

С Игорем Сотником он быстро нашел общий язык. Как-никак, старые знакомые. Им есть что вспомнить. Не то что с другими... Лубенец был чертовски застенчив и всегда трудно сходился с людьми. Все боялся, как бы не подумали, будто он навязывается.

А с Игорем было легко. Иногда охота помолчать, верно? Иногда просто хочется, чтобы рядом был человек, который занят своим делом и отвечает тебе невпопад. Если так, то ищи Игоря. Либо в машинном отделении, либо в радиорубке. Где ему быть еще?

Сотник числился радистом по совместительству и все свободное время пропадал в радиорубке. Завидев Лубенца, он обычно спрашивал:

— А, морячок. Ну как, привыкаешь?

И Лубенец отвечал:

— Акклиматизировался.

Ему казалось, что так солиднее.

Между прочим, с легкой руки Осадчего палубная команда обедала за одним столом, а черные, пропахшие углем и металлом кочегары и машинисты — за другим. Никто не решался нарушить этот порядок. Хочешь за чистый стол — лезь под душ. И никаких. Только кто согласится лишний раз ошпариться кипятком? Спасибо за приглашение.

Сотник, само собой, тоже обедал на «черной» половине. Среди нечистых он был, пожалуй, самым чумазым.

Его, казалось, королева жевала. Даже на берег он сходил в мятой, обожженной спечовке, карманы которой были набиты всякой всячиной, и в кирзовых чеботах с рыжими голенищами. Был он одинок, зарабатывал вполне прилично, в скупых не числился, но ему просто не приходило в голову справиться себе обнору. Все деньги он тратил на какие-то конденсаторы, катушки и чертовы клеммы. Ими была забита доверху его каюта-клетушка. Чудак!..

Отстояв первую самостоятельную вахту, Лубенец спустился в радиорубку. Посидит рядом, понаблюдает, как Сотник шастает по эфиру. Только что был в Милане, и вот уже Белград, Анкара, Каир... А музыка, музыка-то какая! Большой театр!..

Дверь в рубку была открыта. Там что-то сухо гудело, потрескивало и посвистывало. Рубку наполняли чужие голоса. Толчея была такая, что не продерешься. Сотник горбился, наострив уши. Лубенцу он даже не кивнул.

Надо было отстроиться. Несколько станций работало вместе. Слышно было дыхание радистки с Голой Пристани, что под Херсоном, которая уныло повторяла: «Каховка, Каховка. Я — Голая, я — Голая...», и голос какого-то остряка-самоучки, отвечавшего ей: «Слушай, голая. Пора одеться...», и сердитый, начальственный бас, грозивший привлечь кого-то к «строгой ответственности», и хриплое бормотание человека, который без конца повторял: «Раз, два, три, четыре...», но так и не научился считать до десяти. Все они старались перекричать друг друга.

Но вот минутная стрелка часов уткнулась в цифру 21 — и все умолкло. Пальцы Сотника перестали двигаться. Он настроился на волну в пятсот килогерц. Мертвые минуты... Сейчас в эфир может выйти только тот радист, который спешит передать «SOS».

Это для него на бесконечно долгие сто восемьдесят секунд умолк сейчас воздушный океан. Это для него умолк весь мир, готовый принять одинокий и отчаянный сигнал бедствия. Ты можешь быть материалистом и не верить, что у человека есть душа, но когда в эфир летит двенадцать торопливо тревожных тире, а за ними «SOS, SOS, SOS» — спасите наши души, у тебя останавливается сердце. Люди! Верующие и неверующие! Белые и черные! Где-то в Тихом океане у архипелага Туамоту в эту минуту мечутся по палубе такие же люди, как и вы...

Три минуты кончились. Сотник опомнился и спросил:

— Ты что-то сказал?

— Нет... — произнес Лубенец. — Я просто так. А тебе когда-нибудь удавалось поймать «SOS»?

— Один раз. Но какое это имеет значение?

— Я не о том. На море всякое бывает, это я не хуже тебя знаю, — сказал Лубенец. — Но часто нет возможности воспользоваться рацией.

— Не понимаю. Если хоть один человек жив...

— А на подлодке?

Действительно. Сотник почесал за ухом. Выходит, что и радио не всегда выручает.

— На вашей лодке была мощная радиостанция?

Сотник был первым человеком, который не спрашивал его об опасности. Другие либо интересовались тем, весело ли живется подводникам, либо завидовали ему. Ведь у подводников такое красивое обмундирование!.. Да и кормят их, наверно, на убой...

— Я в Москву писал, в Министерство морского флота, — сказал Сотник. — Просился на атомный ледокол. Интересно...

— Работа как работа.

— Не говори. Надо всегда помнить, в какое время живешь. Ты бы хотел быть извозчиком? Нет... Теперь даже пацаны мечтают стать космонавтами.

— А ты? — спросил Лубенец не без подвоха.

— Мне уже поздно об этом думать. Да и данные у меня не те. Здоровье подкачало.

— Чего же ты хочешь?

— Почему я знаю? Мне все интересно. Электроника, телевидение... Литературу почитываю. Хочешь, могу дать.

— Я в этом ни черта не понимаю.

— Но ведь это так просто, — сказал Сотник. — А то, хочешь, я тебе схему дам. Такой транзистор сделаешь, похлеще «Спидолы».

— Нет, спасибо.

— Потом спасибо скажешь. Я для нашего шефа один такой сделал. Весной...

— Для Сашки? Странно, я у него не видел...

— Ага, он его потом подарил кому-то. Кажется, Дудникову. Теперь пристаёт, чтобы я новый сделал, поменьше. В Японии такие выпускают. Фирма «Сони». Не слышал? А я все не соберусь.

— Почему?

— Это для меня пройденный этап, — ответил Сотник. — Неинтересно.

— А если я бы попросил?

Сотник пожал плечами. Помочь он согласен. Но не больше. Нет смысла тратить время на ерунду. Ведь сказано: пройденный этап.

— Слушай, — сказал Лубенец. — Я хотел у тебя спросить. Только честно. Ты против Сашки что-то имеешь?

Сотник удивился:

— С чего ты взял?

— То ты его называешь боссом, то шефом...

— А теперь так говорят. Раньше говорили «хозяин», а теперь — «босс»...

— А Сашка знает?

— Конечно.

— Может, ты скажешь еще, что это ему нравится?

— Во всяком случае он не возражает,— ответил Сотник.

— А ты бы хотел...

— Что ты,— Сотник замахал руками.— Какой из меня начальник? Да и ты, между прочим, не годишься. Хватки у тебя нету, вот что.

Лубенец оторопел. Спасибо за откровенность. Оказывается, Сотник его сразу раскусил. Точно, нет у него этой хватки. Но, раз на то пошло, он и не претя в начальники. Ему и в помощниках неплохо.

Только Сашке он бы не признался в этом. Ни за какие коврижки. Сашка бы сразу спросил: «Что, ответственности боишься? На чужом горбу хочешь в рай въехать, да?» И получилось бы так, будто он, Лубенец, норовит спрятаться за чужую спину.

— Ты что-то сказал? — снова рассеянно спросил Сотник, скашивая глаза.

Лубенец не ответил.

Откинувшись на спинку стула, он следил за пальцами Сотника.

Руки Сотника действовали автоматически. Сейчас его мысль работала одновременно и на длинной, и на короткой волне. Он был далеко и близко. Прием... Посмотрев на Лубенца, он спросил у него глазами: «Как, ты еще здесь?» — и опять отвернулся. Ему некогда. Передача окончена. Спокойной ночи, дорогие товарищи радиослушатели...

## 9

«Магнитогорск» пришел к месту назначения утром, когда Лубенец отсыпался после четырехчасовой вахты.

Разбудил Лубенца Осадчий. Ворвался в каюту, плюхнулся на кровать в ногах у Лубенца. Оказывается, Осадчий уже успел побывать на берегу и виделся с Ольгой. Дело в том, что до сих пор нет приказа об ее отпуске и она с трудом добилась, что ее отпустят двенадцатого. Вот какая кибернетика!.. А сегодня только десятое. Это все штучки главврача, Осадчий не сомневается. Уперся — и ни в какую. У него, видите ли, свои соображения; он отвечает за клинику... Осадчий хотел взять его за грудки и потрясти, да, жаль, Ольга не позволила. Понимала, что он разнесет всю их лавочку к чертовой матери...

В головах Лубенца, на тумбочке, лежали сигареты. Осадчий потянулся за ними и, закурив, успокоился. Сказал, что Ольга приедет послезавтра.

Потом он сказал, что дело, разумеется, не в этих двух днях. Просто он уже настроился. И Ольга небось заждалась. Сначала ей обещали предоставить отпуск в мае, потом перенесли его на июль, на август... И вот уже октябрь. Последние светлые денечки. А там как зачастят мокрые дожди — из каюты носа не высунешь. Ну какой это отдых?..

— Когда отходим? — спросил Лубенец.— Ты заходил в диспетчерскую?

— Как всегда, по расписанию,— ответил Осадчий.

Он поднялся. Надо сбросить парадную робу. Вот-вот начнется бункеровка, а он в белой рубашке. Одну он уже загубил.

Когда он вышел, Лубенец отбросил одеяло и натянул на тельник фланелевку. Осень. А в Заполярье уже белым-бело, на Зине коричневая доха, полумшалок... Сегодня он уже снова вспоминает Зину. Первый раз он подумал о ней, когда Сашка говорил о жене. И вот опять... Все-таки

надо было ей написать. Так, мол, и так: устроился, жив-здоров, чего и тебе желаю... А вдруг она бы решила приехать? Впрочем, ее и калачом не заманишь, она себе на уме. И довольно об этом. Кто он такой? У него, правда, каюта, но завтра, когда придет зима — Дудников другого и не обещал, — ему в лучшем случае светит получить в общежитии койку.

А Зина, конечно, уже завела себе нового друга сердца. У нее это просто... Он мог бы написать ребятам, которые еще служат, чтобы разузнали. Но опять же — зачем? Легче ему от этого не станет. Другое дело, если бы Зина ему сама написала. Адрес он ей оставил. Письмо не затеется, дойдет.

Тем не менее он постучал ко второму помощнику и спросил, была ли почта. Что, только газеты? Понятно. Но ему не к спеху, он может и подождать.

Он вышел на палубу. И сразу позабыл и про Зину, и про все остальное. Надо было готовиться к отвалу.

И на этот раз им выделили шесть металлических рудовозов — стандартный состав. Баржи стояли на нижнем рейде. Судя по провозным документам, они были загружены лесом, кирпичом и кварцитами. Без малого тысяча восемьсот тонн.

Учалка отняла немного времени — матросы работали споро. Было ветрено. Прежде, чем заступить на вахту, Лубенец спустился в каюту за бушлатом. Приборку еще не кончили.

Внизу, под ногами, отфыркиваясь белым слепящим паром, равномерно дышала машина. Вахтенный возился с якорной лебедкой. Судовой кок чистил картошку над ведром. Радиорубка была на замке.

Вернувшись на мостик, Лубенец перегнулся через поручни. Под плечами колес умирали изжелта-зеленые валы. Выпрямившись, Лубенец приказал рулевому держать на белый створ, установленный на левом берегу.

Теперь можно было и покурить.

Но к вечеру ветер окреп, стал плотнее и жестче. Он был порывист, и вода под ним притихла. Потом хлынул дождь. Сначала казалось, будто он озорует, но когда густо стемнело и хмурая вода вспучилась, медленно раскачиваясь от берега к берегу, Лубенец понял, что погода разыгралась не на шутку. Пришлось дать команду, чтобы зажгли ходовые огни, а потом включить прожектор.

Толстый луч прожектора сразу наткнулся на низкое хмарное небо и, опустившись, запыгал по воде, выхватив из темноты низкий берег, одинокое дерево и постовой домик бакенщика с ослепшим окном. Возле домика на столбе раскачивались ромбы, круги и прямоугольники. Это бакенщик предупреждал, что сейчас на перекате глубина два метра десять сантиметров, а ширина судового хода равна сорока пяти метрам.

«Надо сравить грос», — подумал Лубенец. Головные баржи слишком близко шли за буксиром. Как бы их не навалило на его корму.

Он спиной почувствовал, что на мостике появился Осадчий. Выходит, не доверяет. Но Лубенец не оглянулся. У него были другие заботы. Бакенков не видать — раз. Впереди новый перекат — два. А за ним еще засемафоренный участок с односторонним движением, как бы не оплошать. И он, стараясь перекричать ветер, приказал:

— К наметке!

По палубе прохлюпал вахтенный. В мокрой робе, облепившей тело, как гимнастическое трико, и с длинным шестом, перехваченным посередине, матрос напоминал канатоходца. Но вот он остановился на носу буксира и, пергнувшись, опустил свой шест.

— Сколько? — крикнул Лубенец.

Выпрямившись, матрос ответил:



— Два десять!

А через минуту снова:

— Два пятнадцать!.. Два десять!.. Два!..

— Правее бери! — Лубенец повернулся к рулевому.

— Два пятнадцать!.. Два двадцать пять!..

Кажись, пронесло. Лубенец посмотрел на Осадчего. Что скажешь, капитан?

— Действуй! — Осадчий присел на скамью. — Ты почему дождевник не надел? Промокнешь до нитки.

Лубенец отмахнулся. Теперь уже поздно — хоть бери и выкручивай.

Мокро пробили склянки. Все, вахта кончилась... Но Лубенец не ушел с мостика. В такую погоду не до сна.

К утру распогодилось. Как всегда после дождя, над рекой поднялся бледный водянистый рассвет. Лубенец вытер лицо, улыбнулся.

— Рано смеешься, — сказал Осадчий.

Он был прав. Вскоре небо опять нахмарилось, плотные тучи обложили его со всех сторон, и встер, изменивший направление, погнал волну. Темные бугры стали выше, а хляби — шире. Теперь даже буксир, такой мощный и грузный с виду, валко кренило с борта на борт.

— Ну, теперь это уже надолго, — сказал Осадчий. — Помяни мое слово. Прошлый год штормило с конца сентября до самого ледостава. Представляешь, какая была работенка? Мы еле вытянули навигационный на сто семь процентов. Только буксиры да самоходки и плавали. А двудечные пароходы пришлось на прикол поставить.

Говоря это, он невольно пожалел, что согласился работать на буксире. То ли дело на самоходке или на пассажирском. Отработаешь на пассажирском четыре-пять месяцев и — отдыхай. А тут отвечай и за буксир, и за баржи... Но не в его привычке было оглядываться назад. Что сделано, то сделано. Он бывал и не в таких переплетах. Всю навигацию спишь вполглаза.

Он не сошел с мостика до тех пор, пока впереди не показался город. Лубенец поступил точно так же. Им даже чай приносили на мостик.

Город приближался. Уже видны были портовые краны. Еще несколько минут, и «Магнитогорск» дал протяжный гудок, а затем, рассекая форштевнем маслянисто-черную воду, завел баржи за волнолом.

В порту можно было укрыться от шторма. Там уже отставалось несколько судов. Но даже если бы шторма не было, Осадчий все равно вошел бы в этот порт. Перед выходом на Кременчугское волохранилище полагаюсь расчитать караван, перестроив баржи в кильватер, и запасись прогнозом погоды.

## 10

Акватория порта была тесно заставлена разнокалиберными судами. Бок о бок стояли пароходы, следовавшие вверх и уже оставившие за кормой взволнованный простор Кременчугского водохранилища, и пароходы, которым еще только предстояло вступить с ним в борьбу. Особняком держались пугливые самоходки, спущенные со стапелей недели две назад. Рядом с ними потрепанный рейдовый катер выглядел старичком.

Суда отдыхали.

07.30. «Магнитогорск» протиснулся между рейдовым катером и самоходкой. Бросили якорь. Оставив Лубенца на хозяйстве, Осадчий съехал на берег и поспешил в диспетчерскую.

В комнате дежурного диспетчера было накурено. Без конца дребезжали телефоны. Звонили по прямому проводу из центральной диспетчерской, из службы пути, из механико-судовой... Звонили грузополучате-

ли и грузоотправители, линейный механик и судоводный инспектор... Наконец звонили люди, не имевшие отношения к пароходству, но интересовавшиеся тем, когда придет рейсовый. Лысый диспетчер уже сидел. Он то ворковал в трубку: «Есть! Будет выполнено...», то отшучивался, доказывая, что он тоже не бог и не может знать, как обернется дело через какой-нибудь час, то ругался, переадресовывая чересчур любопытных в справочное бюро, к чертовой бабушке и еще дальше.

Диспетчерская была перегорожена деревянной стойкой с таким расчетом, чтобы посетители не торчали у диспетчера над душой и не совали свои носы в разложенный на столе график. У стойки сдержанно галдели, переминаясь с ноги на ногу, десятка полтора капитанов. Их интересовало одно. Когда наконец дадут разрешение на выход? У каждого план, расписание...

Осадчий остановился в дверях. Знакомая картина: Айвазовский, «Девятый вал». Потом, узнав по шапке-ушанке капитана парохода «Звезда» Розенко (в свое время Осадчий плавал у него помощником), он протолкался к стойке, на которую тот облакачивался. У Розенко была темная морщинистая шея. По его лицу никак нельзя было определить, сколько ему лет. То ли сорок, то ли все шестьдесят. Обычное лицо, испытанное дождями и ветрами и покрытое ровным, навечно въевшимся в поры загаром. И такие же невыразительные, выцветшие, как у всех старых судоводителей, слезящиеся глаза.

— С прибытием тебя,— сказал Розенко.— Присоединяйся.

— Ты давно пришел? — спросил Осадчий.

— Ночью.

— Ну и как?

— Не видишь разве? Вон и капитан «Орленка» загорает. Ждем. Говорят, скоро дадут новый прогноз.

— Ладно,— сказал Осадчий.— Так когда обещают сводку?

— В одиннадцать.

— Тогда я пойду. У меня дело.

Сейчас придет пароход. Он должен встретить Ольгу. Выйдя из диспетчерской, Осадчий спустился к реке. Хоть месяц поживет по-человечески. Он имеет право на это. А начальство... Плевать. Начальство даже не узнает, что жена у него на борту.

09.45. Встречающих не было. На дебаркадер сошел какой-то очкарик с портфелем. Один. И только спустя минуту показалась Ольга.

Осадчий протянул Ольге руку, отнял у нее чемодан.

— Наконец-то,— сказал Осадчий.— Я уже думал, что ты не приехала.

— Глупый.— Она взяла его под руку, ей всегда приятно было опереться на его сильную руку.

— Сильно болтало?— спросил он с тревогой.— Волна...

— Не очень,— она улыбнулась.

Но тут он вспомнил, что должен вернуться в диспетчерскую, и помрачнел. Он чувствовал себя обкраденным.

— Ничего,— сказала Ольга.— Мне надо разложить вещи, привести себя в порядок. Ну, иди. И будь умницей.— Она помахала ему из лодки.— Я жду тебя...

Он покорно улыбнулся. Пусть так. Потом, когда лодка отошла от берега, зашагал к диспетчерской. Авось, уже получен новый прогноз погоды.

11.00. Открыв дверь, он остановился. Лысый диспетчер прижимал телефонную трубку к уху плечом и одновременно писал, отчетливо повторяя каждое слово:

— Так-так... Прогноз до двадцати трех ноль-ноль... Ветер северо-западный, так... На водохранилище до пяти тире шести баллов, так, понятно... Волнение... По основной трассе в пределах ста тридцати тире ста сорока сантиметров. Понятно, дальше... По правобережной — сто тире сто тридцать, так... Что, можно отправлять? Понятно... Будет выполнено... Записываю: отправить пароход «Звезда»... Да, Розенко здесь, рядом стоит... Затем пароходы «Орленок», «Магнитогорск»... Все ясно. Нет, у меня вопросов нет...

Он повесил трубку, потер ладонью голый череп. Слышали? Будь на то его воля, он бы всех ублажил. Надоели они ему — поперек горла стоят. Но он только диспетчер, простой исполнитель...

Все разом вздохнули. В эту минуту никто не думал о том, что его ждет на водохранилище.

Один за другим ушли два парохода на Киев. Ровно в полдень отправилась вниз по Днепру «Звезда». Осадчий, который уже вернулся на судно, из окна своей каюты увидел, как «Звезда» тащит за собой вытянувшиеся цепочкой баржи. На мостике «Звезды» в своей неизменной шапке-ушанке стоял старик Розенко.

Затем мимо «Магнитогорска» проследовал пароход «Орленок».

Пора было приступить к расчалке. Но пока перестраивали баржи в кильватер, поступил новый прогноз погоды, теперь уже на период с четырнадцати часов дня до двух часов ночи. Пробежав радиogramму глазами, Осадчий успокоился. Ничего нового. По-прежнему пятибалльный ветер...

14.45. «Магнитогорск» дал протяжный гудок и выбрался из-за волнолома. За ним покорно потащились баржи. Сверху, с мостика, они напоминали послушный утиный выводок.

По реке широко ходила волна. Порой форштевень буксира нырял так глубоко, что вода перекатывалась через всю палубу. И тогда слышно было, как трещат стальные ребра-шпангоуты.

Все вокруг было стылым и серым. Берега отодвинулись, низко осели, и простор реки стал размашистее. Волна осмелела, расхрабрилась. Но Лубенца это не тревожило.

— Ты иди, — сказал он Осадчему. — Вдвоем нам все равно делать нечего. А Ольга, наверно, уже навела уют. Можешь не беспокоиться. Чуть что, я сразу дам знать.

— Ладно, — сказал Осадчий. — Конечно, такое событие полагалось бы отметить. Но Ольга против. Да и я, признаться, не люблю, когда на борту...

— Ничего, как-нибудь наверстаем, — сказал Лубенец.

16.30. Сотник принял по радио новую сводку: «Вниманию судоводителей... Передаем прогноз погоды на период с 17.00 12 октября до 05.00 13 октября... На Кременчугском водохранилище ветер северо-западный 6—7 баллов, во второй половине срока до 8 баллов. Волнение по основной трассе 150—170 см., по правобережной — 130—150 см...»

— Представляешь? — спросил Сотник, когда Лубенец ознакомился с радиogramмой.

— Что семь, что восемь баллов — один черт, — ответил Лубенец.

— Надо доложить.

— Ты его сегодня не трогай, — сказал Лубенец, — пусть отдыхает.

Но Осадчий сам появился на мостике. Должно быть, почуял, что дело неладно.

— По-моему, надо держаться правого берега, — сказал Лубенец.

— Зачем? Пойдем по основной трассе, — сказал Осадчий. — И так

сколько времени потеряли. К тому же ветер попутный. В случае чего доберемся до укрытий в районе маяков. Я там за отмелями не раз уже отстаивался.

— А может...

— Дрейфишь?— перебил Осадчий с усмешкой.— Ты прямо говори. А кто хвастал: «В океане и не такое бывает. Там как начинается штормяга, так на неделю. Тогда держись!..»

— Говорил, не отрицаю.

— Обиделся?

— А я не девица, чтобы обижаться,— ответил Лубенец.

Он подумал, что надо поставить в известность диспетчера. Так, мол, и так... Решили идти по основной... Но разве скажешь об этом Сашке? Засмеет!..

Отвернувшись, Лубенец поднес бинокль к глазам. Справа топал какой-то буксир.

— Это «Звезда»,— сказал Осадчий, когда Лубенец передал ему бинокль.— Розенко решил, наверно, отстояться. Мы его обставим.

— Вот видишь.

— Так то ж Розенко,— сказал Осадчий.— Осторожничают, батя. Ему рисковать нельзя, скоро на пенсию...

20.50. Уже стемнело. Темнота была густой, плотной. Западный ветер вспучивал воду, гнал двухметровые валы. Но не было ни эффектных синих молний, ни орудийных раскатов грома. Шторм всегда страшен своим однообразием и простотой.

Волна настойчиво била в железную скулу буксира.

Осадчий и Лубенец стояли рядом. Перед ними был размах Кременчугского моря, были песчаные островки. Удержать состав за песчаными отмелями не удалось. Попытки развернуться под бортовую волну тоже окончились неудачей. Что делать?

— Баржи сносит,— сказал Лубенец.

— Ничего, все будет в порядке,— торопливо отозвался Осадчий.— Так и будем идти вблизи островов.

Потом, помолчав, он спросил:

— Ты еще не ужинал? Спустись, Ольга пельмени приготовила — пальчики оближешь. А я тут пока постою.

Лубенец не заставил себя упрашивать. Подкрепиться не мешает. Но лучше он пойдет к Игорю. Попьют чайку, посидят...

В каюте его разморило и стало клонить в сон. Этого еще не хватало. Он поднялся, застегнул шинель. В карман положил несколько кусочков сахара. На всякий случай.

— Отдохнул?— спросил Осадчий.

Лубенец что-то пробормотал невнятное.

— Я тебе говорил, что напомним...— Осадчий приблизил лицо.— Так вот, у меня к тебе просьба... В полночь мне заступать...

— Добре,— сказал Лубенец.

— Понимаешь...

— Добре,— повторил Лубенец.— Я постою. Какое завтра число?

— Тринадцатое. Ты что, суеверный?

— Нет,— ответил Лубенец не очень уверенно.

24.00. И вот он снова один. Вода и ветер. Проектор рыщет по воде. Лубенец перешел на левый борт. Чиркнул спичкой и раскурил влажную сигарету. Ему это удалось с первого раза.

Но тут он ощутил сильный удар. Бортовая волна!.. Буксир рвануло вперед, плицы левого колеса пусто завертелись в воздухе. И в это же

мгновение Лубенец понял, что случилось... Буксиру стало слишком легко. Должно быть, оторвало баржи...

Было двадцать минут первого — Лубенец успел посмотреть на часы. Ветер гнал баржи в сторону волнолома, до которого оставалось всего лишь километров пять. Только одна баржа из шести продолжала идти за буксиром.

## 11

Осадчий выскочил на мостик без кителя. Ему достаточно было бросить взгляд на караван, чтобы все понять. Авария! Первая авария в его жизни. Да еще какая!.. Хвала аллаху, что на баржах нет людей. Иначе...

Баржи, оторванные от буксира, сносило к берегу.

— Где Сотник? — хрипло спросил Осадчий. — Пусть передаст по радио...

— В рубке, — ответил Лубенец.

Поздно. Сотник уже передал сигнал бедствия. Поздно... На помощь выслали катера. Поздно... Сашка, кажется, еще о чем-то спрашивает? Поздно...

Лубенец бил озноб. Поздно... А вот и катера. Два теплохода. И буксир. Не иначе как «Тамань». Но волна такая, что к баржам не подойти. Поздно!

Баржи, потерявшие управление, гнало на волнолом.

Надо было попытаться спасти хоть головную баржу, ту, которая не оторвалась. Авось, еще удастся отвести ее в убежище Цибульник и поставить на якорь. Лубенец повернулся к рулевому:

— Право руля!..

— Правее держи, куда смотришь? — Осадчий, стоявший рядом, крикнул на рулевого. — Правее, тебе говорят!

Ему не следовало вмешиваться. Но он уже плохо владел собой. Все пропало. Из-за этой аварии вся его жизнь пойдет насмарку.

Лубенец отошел в сторону. Сашка имеет все основания его отстранить. Он, Лубенец, виноват. Авария на его совести. Хотя, если бы не Сашка — зачем лезть на рожон? — они преспокойно отстоялись бы в районе Витово. Как Розенко. Старик не дурак.

Но он тут же отогнал от себя эту мысль. После драки кулаками не машут. Потом он увидел Ольгу. Другую бы давно укачало, а она не побоялась подняться на мостик. Ольга принесла Сашке шинель. Еще простудится...

Потом Ольга ушла — Лубенец услышал ее шаги. Потом... Впрочем, он не мог бы сказать, когда они завели баржу в убежище. Все, что было потом, как-то смешалось в его памяти. Был ветер. Были крики, грохот, брызги в лицо... Наконец было то, чего он больше всего боялся: катера не смогли подойти к баржам и баржи вышвырнуло на внешний откос волнолома...

На самом буксире оторвало шлюпбалку, разбило окна...

А когда они завели головную баржу в убежище и поставили ее на якорь, снова появилась Ольга.

— Идите чай пить, — сказала она с трапа. — Я приготовила...

Она не сошла с трапа до тех пор, пока они не спустились к ней.

Чай, варенье... Только ей это могло взбрести в голову. Вот уж не думал Лубенец, что Ольга так глупа. Хозяйничает, раскладывает бумажные салфеточки... И ничего не видит, не понимает...

Он придвинул к себе стакан, отхлебнул из него, и ему стало горячо. Сашка хмурился. Ольга сидела напротив. Она держалась просто, была сдержанно спокойна, и Лубенец, взглянув на нее, должен был сказать себе, что ошибся. Ольга знала, что делает. Она неспроста затеяла это чаепитие.

Все молчали. О том, что произошло,— ни слова. Как по уговору. Но Сашка не выдержал.

— Еще счастье, что мы вчера не заложили,— сказал он.— Представляешь?

Лубенец не успел ответить. Ольга сказала:

— Александр!..

Она любила его за то, что он был смелым. За то, что умел бороться. Идти с ним рядом было легко. Ей нравилось даже то, что он много и аппетитно ест.

Иногда она сравнивала его с другими, даже с Лубенцом. Ей было приятно, что ее Александр помогает этому рукастому, застенчивому и, очевидно, плохо приспособленному к жизни парню. Такие, как Лубенец, в любую штормягу (мысленно она повторила его любимое словечко) выдюжат, но даже мелкие неурядицы приводят их в смятение. Другое дело ее Александр.

— Александр!.. — повторила она с укором.

Но Сашка уже завелся.

— Любой дурак имел бы право сказать, что авария произошла под пьяную лавочку,— произнес он хмуро.

— Ну, такое еще доказать надо,— сказал Лубенец.

— Доказать? Экспертиза подтвердит. А сколько выпили — не имеет значения. Хоть по рюмочке.— Осадчий усмехнулся.— Судоходный инспектор свое дело знает, будь уверен.

Ольга поняла, что не должна вмешиваться. Конечно, было бы лучше, если бы они не говорили об этом. Но теперь уже поздно.

— Пускай,— сказал Лубенец.— Я ему все выложу. Я был на вахте и виноват...

Он посмотрел на Ольгу. Трусом он никогда не был. Не для того ли она его позвала? Хотела выяснить. Так вот, она может быть спокойна...

Ольга не опустила глаз. Потом она посмотрела на мужа. Сашка молча вертел пустой стакан.

— Александр!..

Он вздрогнул. Он еще не знал, какие слова она хочет услышать.

— Спасибо...— Лубенец отодвинул табурет.

— Подождите,— сказала Ольга.— Если кто виноват, так это Александр. Капитан все равно отвечает. Я ваши правила плавания тоже знаю. читала. В штормовую погоду капитан обязан находиться на мостике. Даже... даже если не его вахта. Александр! Я правильно излагаю?

Осадчий вздохнул.

— Конечно.— Потом он повернулся к Лубенцу: — Слышал? И давай условимся: с инспектором я сам расправлюсь. Меня он голыми руками не возьмет. А вот, кажись, и он. Легок на помине...

Он опустил окно. От неба и от воды потянуло резким холодом. К буксиру подходил путевский катер «Стрежень». На его носу стоял человек в брезентовом плаще.

Ветер уже обвис, как обвисает парус, и упал на реку. Катер пришвартовался к буксиру, и человек в плаще поднялся на палубу.

Осадчий и Лубенец вышли из каюты. Все-таки будет лучше, если судоходный инспектор не узнает о том, что на борту находится Ольга. А поговорить можно и в кают-компании.

Поздоровались. Судоходного инспектора Стрижак Осадчий знал не первый день. Когда спустились в кают-компанию, Стрижак снял свой плащ и разложил его на стульях.

Стрижак был человеком дотошным и желчным. Уж такая у него профессия. Кто добровольно признается, что виноват? Вот ты и выпытывай, и лови на слове, и сопоставляй, и доканывайся... «Так когда, говорите, все

это случилось? А крепление на баржах проверяли? А ветер был какой?..» Стрижак был уже немолод. Небритый, в застиранной сатиновой косоворотке образца 1930 года, он смотрел на добротный китель Осадчего. Что, допрыгался? Стрижак с видимым удовольствием приготовил блокнот и медленно очинил лезвием безопасной бритвы химический карандаш.

Затем он так же медленно завернул лезвие в бумажку и, спрятав ее в кошелек, сказал:

— Не все сразу. Давайте по порядку...

Осадчий подождал прихода Сотника (все-таки судовой комитет!) и начал рассказывать, как было дело. О том, что Ольга на борту, он умалчал. К делу это не относится.

— Так когда произошел разрыв? — снова спросил инспектор.

— В ноль часов двадцать минут, — вмешался Лубенец. — Я уже говорил...

— А вы откуда знаете?

— Я был на вахте.

— Странно. Вам известно, что с двадцати четырех часов вахту несет капитан? Правилами плавания по внутренним водным путям предусмотрено...

— Известно, — перебил Лубенец.

— Чем же вы объясняете?

Бросив быстрый взгляд на Сашку, Лубенец облизал сухие губы.

— Капитан был болен. Мне пришлось...

— Он вам сам сказал об этом?

— Да.

— И просил вас заступить на вахту вместо него?

— Да.

— А чем он болен?

— Ну, я не доктор, — ответил Лубенец. — Что-то с желудком...

Инспектор повернулся к Осадчему. Подтверждаете?

— Отравился, наверно, — сказал Осадчий. — Вы что, сомневаетесь?

— Уточню, — сказал Стрижак. — Меня интересуют голые факты.

Лубенец напряженно смотрел на пальцы, державшие карандаш. Хоть бы скорее приступал к составлению акта, что ли? Ведь никто не отрекается. А этот инспектор тянет резину...

О последствиях Лубенец сейчас не думал.

## 12

— Значит, так...

Стрижак монотонно прочел свое сочинение. Акт был составлен по всей форме. Пять страничек исписано четким, красивым почерком. Оставалось лишь проставить фамилию виновного. Лубенец или Осадчий? Пожалуй, все-таки Осадчий...

— Давай распишусь, — сказал Осадчий.

— Вот здесь... — Стрижак ткнул пальцем в блокнот.

Осадчий подмахнул акт, не глядя. Все формальности соблюдены. Позднее, на основании этого акта и произведенного расследования, судоходная инспекция вынесет окончательное заключение «по данной аварии». Но это произойдет уже в пароходстве. И тогда... В пароходстве с ним считаются, его ценят. Так что еще посмотрим...

Осадчий ни минуты не сомневался, что отделается легким испугом. Напрасно инспектор его страшит. Во-первых, штормовая погода не была предсказана прогнозом — семь баллов еще не шторм, а ночью, и Стрижак признает это, было свыше девяти... Во-вторых, такие буксиры, как «Магнитогорск», не приспособлены для работы на водохранилищах... Это все

знают. Словом, его даже не понизят в должности. Дадут взыскание — и будь здоров.

Он поднялся из-за стола. Молча наблюдал за инспектором, который спрятал блокнот в необъятный карман пиджака и стал надевать плащ. Осадчему хотелось спросить у него, удалось ли выловить лес, который забросило в аванпорт, но он сдержался.

## 13

Через несколько дней, когда «Магнитогорск» легкачом вернулся в порт, поступило распоряжение поставить его на аварийный ремонт.

Узнав об этом, Осадчий выругался... Теперь и план «накроется». На ремонте, ясное дело, их продержат дней шесть, и потерянного времени не наверстать. До конца месяца останется меньше декады.

Но, по совести, он думал не только об этом. Он испортил Ольге отпуск. Сорвал ее с работы, наобещал с три короба («Пароходная прогулка — лучший отдых для трудящихся», — как пишут на плакатах), а в результате ей придется месяц просидеть дома. И все по его вине.

Он не находил себе места. Надо что-то придумать. Может, сходить в Баскомфлот? У них там часто бывают «горящие» путевки. Хоть в дом отдыха, хоть на две недели...

— Ты как думаешь? — спросил он у Лубенца. — Я могу Сотника подключить. Все-таки председатель судкома, а?

— Попробуй, — сказал Лубенец.

— Верно, надо идти. — Осадчий уже решил. — А ты на пароходе остаешься?

Лубенец кивнул. Здесь у него каюта.

— Смотри, замерзнешь, — сказал Осадчий. — Сейчас выпустят воду.

— А я привычный.

— Мое дело предложить, — сказал Осадчий. — Словом, если передумаешь — приходи. У нас места хватит.

Лубенец обещал. Конечно, если приспичит...

Он решил остаться на пароходе. Как Сотник. Чем он лучше других? Тем более, что за судоремонтниками нужен глаз да глаз. Иначе они так отремонтируют судно, что потом рад не будешь. Он их повадки знает. Стоит им подмахнуть наряд, как они сразу же вытолкнут в рейс.

О Сашке Лубенец почти не тревожился. Был уверен, что Сашка постоит за себя. Спору нет, авария — дело нештучное, но назовите ему капитана, который без греха? Еще не родился такой счастливчик. И потом в пароходстве тоже люди. Они должны принять во внимание, что была штормовая погода. Ну, а в крайнем случае, хотя до этого, разумеется, дело не дойдет, команда его поддержит. Он, Лубенец, до чего угодно дойдет, но докажет...

Правда, он довольно смутно представлял себе, что он станет доказывать, но то, что он никогда не оставит Сашку в беде, он знал твердо. Время сделало свое дело. По мере того как события той памятной ночи отдалялись от него, авария все меньше казалась ему страшной. Ну, было такое. Ну, случилось. Но ведь за это не казнят.

А время действительно летело. Только-только Осадчий и Сотник сошли на берег, а уже погасили топки, разобрали гребные колеса... Потом заявился линейный механик. Потом пришел представитель завода... Лубенцу пришлось с ними уточнить объем ремонта и составить аварийную ведомость. Представитель завода настанвал, чтобы пароход подняли на эллинг (ему бы только завысить объем работ и урвать побольше денег), но Лубенец отбил. У них хозрасчет, они тоже ведут счет рублям. Сейчас надо сделать только самое необходимое. Тем более, что



зима не за горами, а зимой согласно плану парход должны поставить на капитальный ремонт.

На том и порешили. Лубенец спровадил гостей и, наскоро пообедав, спустился в машинное отделение. Он был зол на Сотника. Ушел еще утром и до сих пор его нет. Не иначе, как бегают по радиомагазинам или прохлаждаются с дружками в «Буфсте» у Ефима. А ты за него отдувайся.

Наконец он увидел Сотника. Тот стоял возле бачка с кипяченой водой.

— Ты где пропадал? — хмуро спросил Лубенец. — Тут приходили. Линейный механик. И еще один, очкастый, с завода. Ремонт уточняют...

— А шеф не появлялся? — спросил Сотник.

— Так вы же вместе ушли...

— В том то и дело, что мы скоро расстались. А теперь его ищут.

— Кто?

— Дудников. Велел, чтобы явился к пяти...

— Сашка, наверно, дома.

— Там его нет. Я уже и к Ефиму заходил. Говорит, не появлялся.

Лубенец посмотрел на часы. Совсем мало времени осталось.

— А зачем его вызывают? Не знаешь?..

— По поводу аварии. У Ефима только и разговору, что об этом. Дело плохо. Розенко будто бы сам слышал, как Дудников разговаривал с прокурором по телефону.

Дальше Лубенец не стал слушать. Надо найти Сашку, кровь из носа...

— Никуда не отлучайся, — сказал Лубенец Сотнику.

Он быстро переоделся и спустился по сходне на берег. Было пасмурно. По воде бежали нервные тени. Где-то близко на территории судоремонтного завода тяжело ухал паровой молот. На барже, стоявшей под старым, полученным еще в счет репараций порталным краном Бабкок-Вилькокса, вспыхивало созвездие электросварки.

Лубенец спешил. Эстакада — мимо, пакгаузы — мимо, проходная — мимо, мимо, мимо... Он перевел дух уже на лестничной площадке, когда нажал на кнопку звонка.

Открыла ему Ольга.

— Сашка дома?

— А где ж ему быть? — Она пропустила Лубенца вперед и крикнула в комнату: — Александр, Коля пришел!..

Потом весело сказала:

— Мы только садимся за стол. Снимите фуражку.

И снова:

— А мне Александр путевку достал...

Лубенец вошел в столовую. Сашка сидел за столом без кителя.

— Я за тобой, — сказал Лубенец. — Тебя Дудников вызывает. На пять часов.

— Дудников? — Осадчий откинулся на спинку стула. — Ничего, пождет. Присаживайся...

— Садитесь, Коля, — в свою очередь пригласила Ольга. — Сегодня у нас зеленый борщ...

— Спасибо, я недавно обедал, — сказал Лубенец. — Сашка, можно тебя на минуту?..

Он торопливо пересказал Осадчему все то, что слышал от Сотника. Нет дыма без огня. Конечно, Сашка лучше знает этого Дудникова, но на месте Сашки он, Лубенец, не стал бы ему доверять...

— Ну, это ты брось, — сказал Осадчий. — Дудников меня не раз выручал.

Он хорохорился. Но на душе у него скребли кошки. Обстоятельства могут сложиться так, что Дудников начнет открещиваться: «Ты, старик, меня извини. Но только дружба дружбой, а табачок...» Осадчему показалось, будто он слышит голос Дудникова. Отложить разговор на завтра? Нет, лучше сегодня же все выяснить и принять меры. Надо действовать. Он, Осадчий, не из тех, кто сразу поднимает лапки кверху...

И все же он заставил себя съесть весь обед и только потом уже надел китель. Ольге он сказал, что скоро вернется.

Вышли на улицу. Лубенец молчал. Видел, что Сашка переживает. Они миновали бульвар, свернули за угол, вошли в здание... И только когда они поднялись на второй этаж, Лубенец спросил:

— Может, вместе зайдем?

— Нет,— сказал Осадчий.— Обожди в коридоре.

## 14

Дудников вышел из-за стола.

— Ну, спасибо, старик. Уважил,— сказал Дудников, протягивая Осадчему руку.

— Молчишь? — спросил Дудников.— А знаешь, чем это пахнет?

— Догадываюсь,— ответил Осадчий.

— Боюсь, что нет.

— Ну, наложат взыскание. Или понизят в должности...

— А вот этого не хочешь? — Дудников потряс в воздухе какой-то бумагой.— Будут судить. В показательном порядке. Чтобы другим неповадно было.

— Мне кажется, что я не заслужил...

— С огнем играешь,— сказал Дудников.

— Это как понять?

— А так, что государству нанесен ущерб. В прокуратуре все подсчитают, до копеечки...

Дудников прошелся мелкими шажками по ковровой дорожке. Он был по-своему мудр. Логика? Он знал, что логика зависит от обстоятельств. Можно подойти с одной стороны, а можно и с другой... А сейчас обстоятельства складывались «не лучшим образом» — Дудников был заядлым болельщиком и любил спортивные термины. Слишком много аварий произошло в этом году. Так много, что этот вопрос стал предметом специального обсуждения. И кого-то придется принести в жертву.

Дудников был специалистом по части формулировок. Дудникову казалось, что он точно знает, что хорошо, а что дурно.

Сейчас, к примеру, Дудников был убежден, что если Осадчего выставить главным аварийщиком, то это принесет не столько пользы, сколько вреда. Передовик, растущий капитан, выдвиженец — и вдруг аварийщик. Нелогично. Этак можно скомпрометировать все начинания... Но, с другой стороны, эту аварию уже нельзя замять. Как же быть?..

— И как тебе пришла в голову эта идея? — спросил Дудников, садясь напротив Осадчего за приставной столик.— Настоять, чтобы в акте фигурировала твоя фамилия! До этого надо было додуматься. Ты что, решил в благородство играть?

Осадчий молчал. Это Ольга настояла. Видела, что он колеблется. и приплела правила плавания: «Отвечает капитан...».

— В правилах плавания сказано...

— Знаю,— перебил его Дудников,— не учи. Но вель на вахте в момент аварии был не ты. Мне докладывал начальник судовой инспекции.

— На вахте был Лубенец.

— А почему?

— Так получилось. Я приболел.— Осадчий опустил глаза.

— Разумеется, формально ты несешь ответственность,— сказал Дудников.— Я ее с тебя не снимаю. Но фактически... Аварию совершил твой помощник, так?

— Выходит, что так...

— Какого же черта ты настоял, чтобы в акте была твоя фамилия?

— Теперь уже поздно,— сказал Осадчий.

— Вот как! Тогда я тебе популярно объясню, что тебя ждет. Из партии вылетит — раз. С работы — два... А потом показательный процесс. В клубе...

— Ничего, возьмут на поруки,— хмуро пошутил Осадчий.

— Теперь это уже не в моде,— сказал Дудников.— А ведь все могло быть иначе...

— Не понимаю...

— А тут и понимать нечего. Если бы в акте стояла фамилия Лубенца, еще можно было бы что-то сделать. Неопытный человек, недавно демобилизовался...

Дудников поднял карандаш. Он думал о том, что Лубенец — человек новый, случайный, который к тому же состоит на временном учете, и он, Дудников, за него не отвечает... И, размышляя об этом, он закончил фразу:

— ...с твоего Лубенца был бы другой спрос.

Осадчий никак не мог собраться с мыслями. Никогда еще он не чувствовал себя таким разбитым и усталым.

— Можно, я закурю? — спросил он у Дудникова.

— Ладно уж...— Дудников замахал ручками, отгоняя от себя несущий дым.

Потом, когда Осадчий закурил, он осведомился:

— Так как?

— Не знаю...

— А ты подумай, старик. Выбирай: одно из двух... Полагаю, что еще не поздно внести коррективы... Ты как считаешь, Лубенец откажется? Тогда рулевой подтвердит, что он был на вахте.

— Он и теперь не отказывается...

— Чего же ты молчал? В таком случае вопрос исчерпан,— обрадовался Дудников.— Я тоже не хотел бы приписать Лубенца к стенке. И так, финишируем. Остановка за малым. Необходимо получить от Лубенца письменное объяснение, чтобы черным по белому... Надеюсь, ты понимаешь? И тогда я дам команду, чтобы дело перекантовали...

Осадчий лихорадочно соображал, как быть. Дудников ему не враг. Он дает ему последний шанс, это ясно. И было бы глупо не воспользоваться. Кто мог думать, что дело примет такой оборот? А может, Дудников просто пугает? Нет, не похоже... Исключат из партии, отдадут под суд. Наверно, уже все согласовано...

Он почувствовал, что это конец... Дудников прав. Действительно, получилась накладка. Когда случилась авария, на мостике стоял Лубенец, а он, Осадчий, сдуру взял вину на себя...

Не найдя глазами пепельницы, он погасил папиросу пальцами.

И опять стал думать, теперь уже об Ольге. Она скажет: испугался, пошел на попятный... Но ведь он это делает ради нее, не хочет испортить ей жизнь (не хватало еще, чтобы она носила ему передачи). Для себя самого он бы и пальцем не пошевелил. К тому же она едет в дом отдыха. И ей совсем не обязательно знать подробности...

Оставался еще Лубенец...

Как он посмотрит ему в глаза? Впрочем, Николая ему будет легче

вытащить из всей этой истории. Ведь за другого всегда хлопотать легче, чем за самого себя. И Дудников говорил, что с Николая другой спрос. А Дудников, это все знают, не бросает слов на ветер...

— Так как? — снова спросил Дудников.

— Хорошо... — выдохнул Осадчий.

Ему надо было спросить у Дудникова, как он мыслит себе дальнейший ход событий, но у него не поворачивался язык. Пожалуй, сейчас не время выяснять. Все будет хорошо, все будет хорошо...

— А объяснение я от него сам потребую, — сказал Дудников. — Договорились?

— И от меня тоже, — хрипло, чужим голосом произнес Осадчий.

Дудников улыбнулся.

— Разумеется, — сказал он. — Можешь быть спокоен.

Осадчий поднялся. Окурок незаметно бросил под стол.

В коридоре было темно, и Осадчий не сразу увидел Лубенца. Тот стоял в противоположном конце коридора и просматривал первомайский номер стеновой газеты «На вахте». Газета состояла из передовой, озаглавленной «Итоги соревнования», заметки о работе ДОСААФ и отдела «Что кому снится». Услышав за спиной шаги, Лубенец обернулся.

Пошли рядом.

— В общем, не так страшен черт... — медленно произнес Осадчий, глядя под ноги. — Еще ничего не решено. Дудников сказал, что требует от нас объяснения в письменном виде. Хочет сам разобраться.

Лубенец внимательно слушал.

— Он мне, знаешь, какую баню устроил? — стараясь казаться веселым, сказал Осадчий. — Почему не был на вахте? Почему нарушил правила? Пришлось опять сказать, что болел. Только Ольге не говори, ладно? Не хочу, чтобы она беспокоилась.

— Добре, — сказал Лубенец.

Он вслушивался в скороговорку Осадчего, но думал о другом.

У железной арки с надписью «Речной порт» Лубенец и Осадчий расстались.

## 15

Объяснение Лубенец сочинил на следующий день. Кроме него и Осадчего, объяснения написали второй помощник капитана, рулевой и Сотник. Игорек — в качестве председателя судкома, механика и радиста одновременно.

Правда, с Игорем пришлось повозиться. Тот во что бы то ни стало хотел указать, что ничего не знает о внезапной болезни Осадчего, но что во время аварии на борту парохода находилась его жена. Лубенцу с трудом удалось отговорить Сотника от этого. Нельзя гробить товарища.

На душе у Лубенца было тяжело. Он перестал бриться, снова отратил усы. С тревогой думал он о том, что Сашке хотят припаять «срок», а он, Лубенец, бессилен что-либо сделать. Сейчас у него было одно желание: хоть бы скорее все кончилось.

Но ждать пришлось еще неделю. Лишь когда объявили, что на дебаркадере культбазы состоится собрание плавсостава «по вопросу об аварийности на флоте», Лубенец понял, что близится развязка.

На втором этаже дебаркадера был небольшой зал, увешанный наглядной агитацией от потолка до пола. Народу в него набилась тьма.

С докладом выступил Дудников.

Он говорил о выполнении плана, о дисциплине, об аварийности («аварии — это бич»). Он приводил данные. В разрезе месяца, квартала и

навигации в целом. В сопоставлении с предыдущей навигацией и плановым заданием. И только потом уже перешел к «конкретным фактам».

Лубенец едва дождался того момента, когда Дудников назвал пароход «Магнитогорск».

— Это самый свежий факт,— сказал Дудников.

Затем, мимоходом упомянув фамилии капитана и председателя судового комитета («Слышь, Игорек. Сегодня ты именинник»,— произнес кто-то рядом), Дудников обрушился на Лубенца. Конечно, он в пароходстве человек новый и заслуживает некоторого снисхождения, но если разобраться, а Дудников уже разобрался, то эта тяжелейшая авария, в результате которой затонуло пять несамоходных судов, целиком на совести Лубенца. И об этом надо сказать прямо. И можно лишь пожалеть о том, что работники судоходной инспекции, коим надлежит быть принципиальными, не смогли сразу разобраться в этом деле и пошли на поводу у некоторых сердобольных людей... Пароходству нанесен материальный ущерб, и никто не имеет права уподобляться священникам, отпускающим грехи... Виновных надо привлечь к строжайшей ответственности.

Дудников говорил это или примерно это — Лубенец уловил лишь смысл его выступления. Он чувствовал, что на него указывают пальцем, что на него смотря...

Потом, когда объявили перерыв, Лубенец увидел Осадчего. Сашка протолкался к нему и сказал:

— Ничего, будет порядок... Отхватишь, наверно, выговорок. Так выговора налогами не облагаются. Сегодня дают, завтра снимают...

Лубенец не успел ничего сказать. Дудников, стоявший возле стола президиума, подзывал Осадчего.

Потом Лубенец увидел, как Осадчий наклоняет голову.

— Чего это он? — спросил Лубенец, когда Осадчий вернулся.

— Так... Сказал, что мне, как капитану, необходимо выступить и дать оценку. Понимаешь, иначе нельзя... Но ты не думай, я не по собственной воле...

Лубенец промолчал. Дудников уже стучал карандашом по графину.

— Слово предоставляется капитану парохода «Магнитогорск».

Лубенец не смотрел на Осадчего. Тот мямлил, растягивал слова... И вдруг произнес громко, отчетливо:

— Пароход вести — это тебе не усами трясти...

Вздвогнув, Лубенец поднял голову и встретился с Осадчим глазами. Вокруг смеялись.

— Было баллов девять...— как ни в чем не бывало, продолжал Осадчий.

Всего девять баллов... Но почему он, Лубенец, чувствует себя так, словно лодка лежит на грунте, а над головой слезятся заклепки — двойной ряд заклепок, и в ушах стучит, и нечем дышать, и не верится, что где-то воздух (хоть бы глоток воздуха!..), и небо, и что где-то широко и просторно ходит волна?..

Голос Осадчего тонул в грохоте этой волны. Девять баллов... Но бывает и больше. Бывает, что все двенадцать... Как в море Баренца, когда пурга и ураганный ветер, который с корнями вырывает деревья, ломает мачты и сносит дома... Лубенец видел вокруг себя это гневное море, видел себя на обледенелой палубе. Осадчего рядом с ним не было...

И Лубенец глубоко задумался. Впервые в жизни. Он чувствовал, что надо додумать все до конца...



---

Е. ГЕРАСИМОВ

★

## КУДА РЕЧКА ТЕЧЕТ

(Из подмосковных впечатлений)

### 1. Давнее знакомство

**С** некоторых пор мне кажется, что нет на свете лучших мест, чем у нас в Подмосковье, надо только знать их и не бродить по искоженным туристским маршрутам. Легом, когда хорошо побыть в лесу и на речке, я езжу теперь к Степану Матвеевичу Карякину, своему старому знакомому, который уже давно, выйдя на пенсию, поселился на окраине маленького подмосковного городка, одного из тех, что в древности возникали вокруг монастырей, вместе с ними процветали и вместе хирели.

Когда подъезжаешь к этому городку электричкой, весь он у тебя на виду: одноэтажный, расплзшийся садами и огородами по скатам речной ложбины, с багрово-кирпичным остовом обезглавленной монастырской церкви и с таким же багровым корпусом старой хлопчатобумажной фабрики, с кривыми узловатыми соснами над песчаным обрывом у железнодорожного моста.

После множества промелькнувших в пути дачных платформ с их одиноко стоящими павильончиками для пассажиров, выходишь из поезда на настоящей станции, с водокачкой, пакгаузами, багажным сараем, приземистым деревянным вокзалом, укрытым липами в глубине палисадника и соединенным с перроном открытой галереей — чтобы в случае дождя люди могли добраться с вокзала до поезда, не промокнув, — с монументальным старшиной милиции, выжидательно заставшим на перроне.

В вокзальном буфете здесь царствует пышногрудая Клава, известная по прозвищу Клеопатра Египетская, красивая, средних лет женщина с затуманенными глазами, которые смотрят всегда вниз, на пивные кружки, с розовым распаренным лицом, точно от ее буфетной стойки пышет жаром, как от раскаленной плиты.

По вечерам, закрыв буфет, Клеопатра любит сплясать под гармонь в кругу своих осоловевших от пива клиентов. Клиенты молча и сосредоточенно глядят на ее вздрагивающие в пляске ноги, и она сама, склонив голову, смотрит на них. И старшина милиции, грозным монументом возвышающийся над всеми, тоже не спускает глаз с ее ног. Ах, как они у нее вздрагивают! Пляшет она одними ногами, не сходя с места.

Со станции к Степану Матвеевичу Карякину я хожу через бывший женский монастырь. И тут мне уже все знакомо. По одну сторону арки ворот — каменный лев на постаменте, по другую сторону, в стене, где некогда была сторожка монастырской привратницы, — парикмахерская горкомхоза. В парикмахерской два мастера: высокая Олечка и малень-

кая Зюечка, очень общительные девицы. Клиенты в очереди у них не томятся, но народу тут всегда полно — Олечкиных и Зюечкиных подружек, которые заглядывают к ним по дороге, как в клуб, чтобы поболтать о том о сем, больше о своих общих ухажерах и о том, что нынче в магазины завезли или завтра обещают завезти. Щebet тут стоит неумолчный, как на птичьем базаре, а со стены гремит радио — мастерицы под музыку и работают, и щебечут со своими подружками. Долго можно просидеть здесь в кресле: Олечка с Зюечкой увлекутся разговором и забудут о тебе, а потом кто-нибудь крикнет:

— Капусту привезли!

Тогда мастерицам и вовсе не до клиентов — надо скорее, скинув халат, бежать к магазину занимать очередь, а то на зиму и бочки капусты не заквасишь.

От бывшей монастырской приворотной сторожки улица ведет под высокой аркой на территорию монастыря, где сейчас размещается техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Здесь следовало бы остановиться перед выполненными маслом по жести полотнами противопожарной живописи, развешанными по багрово-кирпичной стене церкви. Где еще увидишь их в таком множестве сосредоточенных на одной стене, чтобы прохожий остановился и подумал: а может быть, и он, уходя из дому, по рассеянности забыл выключить электроприборы, потушил керосинку, швырнул куда попало непотушенный окурок или не спрятал от детей спички, — подумал и, схватившись за голову, опрометью побежал назад. А между тем люди проходят мимо глазом не моргнув, и это каждый раз наводит меня на размышления о тщетности всех наших усилий уберечь человека от огня.

Нижние окна церкви застеклены. Там, внизу, через выведенные наружу коленчатые жестяные трубы — подобие самоварных — дышит дымом и коптит стены какая-то мастерская, наверное, того же техникума, а выше, где окна церковного корпуса и венчающего его обезглавленного барабана зияют своими пустыми проемами с кое-где сохранившимися переплетами рам, всю церковь владеют галки. Они кружатся над нею тучами, рассыпаясь, ныряют в окна или садятся на растущие над ними деревья.

Там наверху, вокруг башни церковного барабана, гнутся под ветром не какие-нибудь сиротливые чахлые березки, липки, топольки — там они уже давно, набрав силу, разрослись и ввысь и вширь, образовав круглую кудрявую рощицу, в которой много высоких розовых цветов — похоже, что иван-чай. Отдельные деревца растут ниже, они тянутся к кровле с жарнизов стены, скоро, видно, дотянутся, и тогда вся полуразрушенная монастырская церковь покроется густым зеленым лесом.

Стоишь, задрал голову, и не наглядишься на эту забравшуюся под небеса растительность, а студенты техникума механизации и электрификации сельского хозяйства проходят мимо и не понимают, чего там человек не видел — галок, что ли?

За монастырем, в бывшей торговой и ремесленной слободке та же старина, но тут она лучше сохранилась, потому что здешние жители, унаследовавшие свои домишки от отцов и дедов, из года в год подновляют их, подкрашивают, кое-что пристраивают или перестраивают.

Речка, обогнув монастырь, извивается по городу, пересекает улицы и омывает сады и огороды горожан. Оба берега ее здесь разделены изгородями на усадебные участки, и на каждом из них у хозяина свои мостки, чтобы пополоскать белье и взять воду для поливки грядок.

Пока я дойду до Степана Матвеевича, мне приходится трижды пересекать речку. Первый раз возле монастыря, по мостик на старой обо-

мшелой плотине, где грязная дочерна речка стоит запруженная в тени старых дуплистых ив. Второй раз я перехожу ее там, где она течет оврачком через незамощенную улицу — тут моста нет, надо разуваться, переходить вброд или прыгать с одного полузатонувшего в воде автомобильного колеса на другое, а с него уже можно сойти на берег, не замочив ног. Третий раз переходишь речку по узкой кладке уже за городом, где она змеится луговой низиной под высоким песчаным обрывом с соснами и елями наверху. Там под самым лесом, на отшибе от города и живет Степан Матвеевич Карякин в своей сказочной избушке.

Идя с этой стороны — напрямик через монастырь — к избушке Карякина, надо подниматься наверх крутой тропинкой. Подъем тяжелый, подымешься — хочется передохнуть. И будто специально для этого переплетенные, повисшие над обрывом корни одной сосны вместе со стволом образуют тут нечто вроде обширного кресла, а однобокая крона простирается над ним, как балдахин. Когда Степан Матвеевич знает, что я приеду к нему, он обычно поджидает меня, сидя на этом вознесенном на гору троне с трубкой в зубах. Если бы не трубка, то его можно было принять за самого бога в образе духа святого, спустившегося с небес: есть в нем что-то от этого иконописного лика, когда он смотрит на тебя сверху невидящими глазами из-под мохнатых бровей, таких же белых, как шапка его волос на голове и борода. Впрочем, это только издали, пока он не видит тебя, а когда увидит или только услышит, как ты пыхтишь, подымаясь к нему в гору, тогда в нем сразу появляется что-то от фавна или сатира.

Лукавым взглядом встречает он меня: да, стареешь, батюшка, стареешь, скоро уже с этой стороны не доберешься ко мне — не полезешь в гору! Он подсмеивается, что я в своем возрасте все еще не хочу считать себя стариком и лезу на крутую гору, вместо того чтобы пойти со станции по шоссе, которое делает загогулину, но зато поднимается к его избушке пологим скатом. Подсмеивается, но только одними глазами и как-то особенно хитро, а сказать ничего не скажет, потому что сам лет на десять старше меня, но тоже лазит к себе на гору по крутой тропинке и никогда не признается, что это ему трудно. Когда мы вместе с ним поднимаемся в гору, он остановится передохнуть не раньше, чем я, и с таким видом, что делает это лишь из-за меня. Впрочем, Степан Матвеевич Карякин для своих семидесяти лет старик еще крепкий, только зрение у него уже давно никуда не годится: в трех шагах от себя не узнает человека, а читать вовсе не может без лупы. Вдаль, если судить об этом по нашим летним прогулкам в окрестностях городка, он видит гораздо лучше, но тут уж, наверное, дело не в глазах, а в хорошей зрительной памяти и в любви к родным местам.

Степан Матвеевич не случайно, выйдя на пенсию, поселился тут — он здесь родился и прожил до восемнадцати лет. С тех пор в окрестностях мало что изменилось: та же речка, только помельчавшая, те же леса, только поредевшие. Правда, мельницы, на которой он работал у своего дядьки, давно нет, как и всех мельниц на этой речке, но ее развалившаяся плотина и сейчас привлекает к себе летом рыболовов — с горы видно, как они толкуются там с удочками.

Сидели мы со Степаном Матвеевичем как-то над обрывом, на корнях сосны, как на троне, он пыхтел трубкой, поглядывал в сторону плотины и, посмеиваясь про себя, вспоминал, с чего это вдруг однажды, собрав свои пожитки в узелок, удрал от дядьки... Скучно парню стало: мельница старая, ветхая, речка маленькая, течет тихо, застаивается в бочагах — то ли дело на море! Недаром все речки, даже самые маленькие и тихие, текут в море. Обуяла его тогда вдруг весной в половодье охота странствовать по морям-океанам.



Степана Матвеевича Карякина я знаю с 1921 года по комсомольской работе. Послали меня тогда, после окончания гражданской войны, в один южный полурусский-полуукраинский город, на укрепление укома комсомола, и я все лето носился на велосипеде по уезду с винтовкой за спиной и с наганом за поясом, зорко поглядывая вокруг — в степи еще гуляли банды, прятались по балкам. В то лето мы, укомовцы, организовывали сельские ячейки и заодно по исполкомовским мандатам проводили в селах митинги, растолковывая мужикам, какие блага сулит им переход от продразверстки к продналогу. Мандаты были с большими правами, мужики глядели на них с почтением, одно их смущало: по дороге мы часто теряли свои деревянные сандалии-колодки на ремешках из какого-нибудь тряпья — и являлись в село босые. Эти деревяшки — единственная в нашем городе обувь — были для нас сущим наказанием: ремешки то и дело обрывались, надо было искать гвоздь, а где его в сельской местности найдешь, и если найдешь, то попробуй-ка так прибить, чтобы колодка при этом не треснула.

Степан Матвеевич Карякин был в этом городе секретарем укома партии. Он тогда ходил с палочкой, прихрамывал после ранения и вид имел простецкий: солдатская гимнастерка, матросские брюки клеш, коротко, под машинку подстриженные волосы. Говорили, что он из матросов торгового флота, в гражданскую войну воевал в этих местах.

Первый раз мы встретились с ним у него в кабинете. За массивным столом, в массивном кресле с высокой резной спинкой он казался очень маленьким, забравшимся не на свое место, и, глядя на нас, улыбался так, будто самому ему смешно было, что он, такой несолидный человек, принимает нас в таком солидном кабинете с железными решетками в окнах — вероятно, раньше в этом доме помещался какой-нибудь банк или казначейство. Нам и в голову не могло прийти, что улыбается он по той простой причине, что наш Миша — завэкономправ, явившись в кабинет секретаря упарткома, не подумал, что лучше бы ему убрать свои ноги с черными ногтями под стул, а не выставлять их напоказ — привыкли уже ходить босиком.

Карякин собрал нас тогда у себя для знакомства. С ног и началось оно: как же это, ребята, все-таки неудобно — укомовцы, ну в городе-то еще полбеда, но вы же по селам разъезжаете — неужели тоже босиком? Нет, это уже никуда не годится. Надо укреплять союз с крестьянством, а какой толк хозяйственному мужику от союза с босяками?

После этого уком комсомола получил две пары солдатских ботинок, и мы стали ездить в них на село по очереди.

Так я познакомился со Степаном Матвеевичем в то далекое время. Знакомство было неблизкое: две-три официальные встречи в кабинете упарткома да еще одна встреча ночью на скверике у вокзала, где поднятые по тревоге коммунисты и комсомольцы города возбужденно толклись, негодуя, что патронов выдали мало и неизвестно — кто и откуда нападает, где занимать оборону, с кем держать связь, кто будет командовать. И вдруг появляется Степан Матвеевич — винтовка за плечом, револьвер в кобуре, две гранаты за поясом, подходит, закуривает, нам предлагает закурить и говорит, что можно уже идти спать — опасность миновала, банда прошла город стороной, и при этом смущенно улыбается, будто просит извинить его, что нас зря потревожили ночью.

Я подумал тогда: ну и интеллигент же, а еще из простых матросов! Нет, не таким людям я поклонялся в те времена! Если уж ты с винтовкой и гранатами, то нечего тебе извиняться и улыбаться, крой всех в бога и в душу за то, что пропустили врага.

Вскоре я уехал в Москву учиться и снова встретился со Степаном Матвеевичем Карякиным уже в середине тридцатых годов, когда он ра-

ботал начальником политотдела в одном степном зерносовхозе. Я был в то время корреспондентом газеты по сельскохозяйственному сектору и сидел, как говорили тогда, на оперативном репортаже. Верхом оперативности считалась у нас поездка по совхозам на специальном самолете агитэскадрильи. В одну такую поездку в посевную кампанию я за несколько дней успел побывать в десятке зерносовхозов, расположенных один от другого в сотнях километров, и из каждого передать на телеграф корреспонденцию о ходе весновспашки и сева. Правда, в какой-то корреспонденции я впопыхах перепутал название совхоза, но эта ошибка прошла незамеченной, потому что по своему содержанию все телеграммы были в основном схожи. Наша газета ставила тогда своей главной задачей бить по тем, кто отстает от плановых сроков сева, а отставали почти все: одни начинали пахать в срок, когда земля была еще сырая, тракторы буксовали и выходили из строя, а другие в ожидании, пока земля подсохнет, пропускали установленный срок и потом пороли горячку, пытаясь наверстать темпы. Но объективных причин, таких, как погода, для нас не существовало, и, следовательно, разбираться в них мне не приходилось. Достаточно было забежать в контору, получить у плановика сводку и сделать один из трех возможных выводов: или совхоз преступно затянул сев, или преступно топчется на месте, или преступно медленно набирает темпы.

И в зерносовхоз, где начальником политотдела был Карякин, я прилетел на самолете. Пилот посадил машину на грейдер возле центральной усадьбы, и машина чуть не задела крылом крайний домик. Из домика вышел маленький плечистый человек, похожий на инженера или агронома, в грубых сапогах и синей робе, под которой была свежeverглаженная сорочка с галстуком, поглядел на самолет, почесал затылок и проговорил:

— Лихо, братцы, лихо!

Это был Степан Матвеевич Карякин. Я не сразу узнал его и он меня тоже. Когда я представился, он сказал:

— А я-то думал, что раз на самолете, то не иначе как сам нарком, товарищ Юркин. Ну, думаю, и выплет же нам горячих за то, что в посевную сидим на центральной усадьбе.

Не случилось еще мне в страдную пору заставить руководителей совхоза на центральной усадьбе. Обычно они в таком же бешеном темпе, в каком я метался из совхоза в совхоз, носились на машинах из отделения в отделение, из бригады в бригаду, грязные, грязные, злые, с красными от бессонных ночей глазами, и поймать их на территории хозяйства в несколько десятков тысяч гектаров было невозможно, если ты не парашютист, который с самолета может прыгнуть человеку на голову. А здесь, едва выбравшись из кабины самолета, я уже разговаривал с начальником политотдела, а через несколько минут сидел с ним в кабинете директора. Оба они были чистенькие, побритые, свежие, угостили меня хлебным квасом из стоящего на письменном столе графина, спросили, хорошо ли, похвастались, что кваса нынче заготовили много, возят бочками по всем бригадам, пей сколько хочешь, и пока мы разговаривали, никто не зашел в кабинет, не помешал, только по телефону позвонили раза два, и, отвечая, директор говорил в трубку тихо: «Хорошо, хорошо» или: «Ничего страшного, ничего...»

«Как это ничего страшного?» — подумал я, знакомясь со сводкой: срок на исходе, а засеяно чуть больше половины площади — возмутительное благодушие!

Мудрят чего-то, по-своему хотят сеять, нарушают дисциплину, сроки, решил я, торопясь на телеграф, но, так как по сводке совхоз шел все же впереди соседей, не стал метать в корреспонденции громов и молний, а

лишь поругал директора и начальника политотдела за самоуспокоенность и благодушие, как это было принято в подобных случаях.

На уборочную я снова приехал в этот совхоз и пробыл здесь подольше. Мне нравилось, что тут не слышно ругани, люди не бегают суматошно, не толкуются, никто никого не погоняет, работают спокойно, без всяких авралов и перебросок, каждый на своем постоянном месте, кто в поле, кто на току, а кому нужно сидеть в конторе, тот и сидит там за столом, нисколько не стыдясь этого. Нравилось и то, что люди живут на усадьбах в уютных белых домиках с палисадниками и огородами, а на полевых станах в страдную пору — в чистеньких зеленых вагончиках, что в столовой на столах стоят цветы и графины с вкуснейшим квасом, что люди хорошо обжились в степи и ни на что не жалуются. Нравилось, что и директор, и начальник политотдела учатся заочниками в сельскохозяйственном институте. Нравилось, но какое это имело значение, если совхоз три дня косил лобогрейками, а комбайны в это время стояли на приколе и, значит, сдача хлеба государству была сознательно задержана на три дня против установленного срока?

Степан Матвеевич повез меня по бригадам посмотреть, какие выросли хлеба и как идет уборка. Ночью на полевом стане одной бригады ему пришлось отдать свою легковушку механику отделения, чтобы съездил по какой-то срочной надобности в ремонтную мастерскую.

Мы сидели на скамеечке у полевого вагончика, в котором все уже спали. Ночь была такой тихой, что казалось, в мире нет ничего, кроме луны и иногда падающих с неба звезд. Поджидая возвращения машины, Степан Матвеевич поглаживал приютившегося у него на коленях зайчишку — этот прижившийся в бригадном стане хромой зверек был совсем ручной, — поглаживал, поглаживал его, да и вспомнил вдруг о «самоуспокоенности и благодушии», за которые я поругал его весной в своей посевной корреспонденции.

— А хлеба-то выросли, видели какие, дай бог всем! — сказал он.

Не то чтобы Степан Матвеевич высказал обиду, нет, не обиду, а скорее досаду, что уж очень скоры мы, газетчики, на выводы: не порят люди горячки, не теряют головы, когда их страшат всеми возможными карами, думают не о сводках, а об урожае — значит, самоуспокоились. Вот и теперь. С уборкой совхоз тоже не укладывается в плановый срок. Почему? Потому что не торопились выводить в поле комбайны, первые дни вели только выборочную косовицу лобогрейками. Ах, лобогрейками! Ну, значит, все ясно — против комбайнов, антимеханизаторы, под суд их, саботажников этаких.

Да, я мысленно так уж и сформулировал: «Зерносовхоз вырастил богатый урожай колосовых, но вместо того, чтобы сразу же начать массовую уборку комбайнами, предпочел им лобогрейки, и вот печальный результат»...

— А вы знаете, — спросил меня Степан Матвеевич, — что у наших соседей, которые сразу начали убирать комбайнами и в первый же день повезли хлеб на элеватор, его там не приняли, вернули назад — сырой?

— Знаю, знаю, — сказал я. — А может быть, все-таки дело не в соседях, а в мокрых настроениях, Степан Матвеевич?

Степан Матвеевич посмотрел — ох, с каким полным пониманием бесполезности всяких оправданий, коли речь идет о мокрых настроениях, посмотрел он на меня. Мне бы только почесать затылок да задуматься, но я тогда не задумывался — некогда было.

— Что ж, может быть, не только настроения, но и сами мокрые будем, зато план хлебосдачи совхоз в этом году перевыполнит, — сказал Степан Матвеевич.

Больше в этом совхозе мне не пришлось бывать: в редакции произо-

шла очередная переброска сил, и я из сельскохозяйственного сектора был переброшен в строительный — в какой раз уже меня перебрасывали на укрепление! Прошло много довоенных, военных и послевоенных лет, прежде чем мы со Степаном Матвеевичем Карякиным снова встретились — на этот раз в вагоне подмосковной электрички.

К тому времени я стал уже заядлым рыболовом, и летом, если небо не предвещало дождя, каждую субботу отправлялся с рюкзаком и удочками на какую-нибудь речку, думая забраться куда-нибудь подальше, куда мало кто забирается из Москвы на выходной день. И вот сидел я как-то в вагоне электрички, глядел в окно на облака — не соберется ли к вечеру дождик? В том году мне отчаянно не везло с рыбалкой: выезжаю из Москвы — солнце, ясное небо, добираюсь до речки — небо уже обложено тучами, прямо какое-то проклятие преследовало меня. Поэтому, сидя в вагоне, я все время самым внимательным образом следил за облаками, чтобы в случае чего сейчас же пересесть на обратный поезд и вернуться домой сухим. Вдруг какой-то седобородый дед, сидевший напротив, тронул меня за плечо:

— Не очень-то заглядывайтесь, а то стекла в вагонах хоть и закаленные, как написано, но случается, мальчишки из рогатки пробивают их, могут и глаз выбить.— А потом сказал: — Кстати, кажется, мы с вами знакомы.

На нем была светло-зеленая рубашка-апаш военного покроя, генеральские брюки с лампасами, а на голове старомодная круглая соломенная шляпа с черной ленточкой.

Напрасно вспоминал я, где, когда мы с ним встречались. Он сказал, что тоже не сразу вспомнил где и когда — уж очень давно и далеко от Москвы это было, но было, было... Несколько раз повторил он «было» с улыбкой, заставлявшей думать, что он помнит обо мне что-то смешное.

Со сдерживаемым смехом, молча смотрел на меня этот дед в генеральских брюках и штатской шляпе, ожидая, что я все-таки узнаю его, но я так и не узнал. Тогда он сказал:

— Карякин,— и спросил: — А это вам что-нибудь говорит?

Нет, и фамилия его мне ничего не говорила. Только после того, как он назвал тот южный город, где я работал в уюме комсомола, и тот зерносовхоз, где мы с ним встречались потом, я все вспомнил и воскликнул:

— Так это вы нам две пары ботинок выдали?!

— Да, да, это я вас, босяков, обувал,— сказал он и тихонько засмеялся, очень довольный, что память у него оказалась лучше моей.

Опять нам с Карякиным пришлось знакомиться заново. Впрочем, по-настоящему мы только тогда, встретившись в электричке, и познакомились-то.

За это мне надо благодарить дождик, который в тот раз собрался раньше, чем обычно,— я еще не успел доехать до станции, где хотел слезть, как стекла вагонных окон заслезились. Проклиная свое невезение, я сказал Степану Матвеевичу, что мне снова придется возвращаться назад несолоно хлебавши — какая уж тут рыбалка! Дождь зарядил, видимо, надолго.

— Ну что ж, сойдем вместе — я уже приехал, выпьем в буфете по кружечке пива,— сказал он.

И мы с ним вышли из вагона прямо под крышу той вокзальной галереи, о которой я уже упоминал, зашли к пышногрудой Клаве, выпили у нее за круглым высоким столиком в уголке буфета по кружечке пива и разговорились.

В вагоне нам это не удалось — не успели еще приглядеться друг к другу. Так, может быть, и не встретились больше никогда, если бы не со-

шли вместе с поезда и не выпили по кружке пива. Мне думается, что людям, не видевшимся многие годы, при встрече надо сразу начинать с воспоминаний, а не расспрашивать, как сейчас поживаете, что поделяете — тогда они скорее разберутся, что с тем или другим стало. Воспоминания же, как известно, начинаются лучше всего за столом.

Уже после первой кружки мы живо вспомнили о мокрых и антимеханизаторских настроениях — какая это была повальная болезнь в совхозах и колхозах, как боролись с ней и как она сама собой исчезла, как только борьба прекратилась, вспомнили и посмеялись: Степан Матвеевич надо мною, а я над собою.

Мы выпили по второй — Клава в виде исключения сама подала кружки нам на стол, — после чего Степан Матвеевич решил, что незачем мне сегодня возвращаться домой, — нынче пропасть грибов, а жена его мастерича жарить их, поужинаем, переночую у него дома, а завтра, даст бог, день будет лучше и мы вместе пойдем на речку — от дома до речки два шага, только с горы спуститься, правда, рыбу ловить он не охотник, но посмотреть, как люди с ума сходят с этой рыбой, любит.

## **2. В избушке на горе**

Кто хоть раз побывал у Степана Матвеевича Карякина дома, тот век свой не забудет его лесной избушки. Когда поднимаешься с речки в гору, сначала видишь одну скворечню на высоченном шесте, потом появляется острый гребень драночной крыши с печной трубой под железным колпаком, потом чердачное окно с цельным стеклом в пустой, без переплета раме, потом драночный карниз фронтона, потом другая, тоже драночная, но односкатная крыша фасадной пристройки и, наконец, большое квадратное окно этой пристройки — единственное, что придает избе современный дачный вид. Пристройка сложена из обычных бревен, а сама изба из таких толстых, что диву даешься, откуда завезли их сюда, в Подмосковье.

Бревна глянцеви́то-восковые — знать, не пожалел хозяин олифы, чтобы изба его долго радовала глаз своей лесной свежестью. На всех четырех углах избы под водосточными цинковыми желобками стоят большие деревянные бочки на железных обручах — видно, что до колодца далеко, а с речки воду хозяину таскать на гору трудно. Большое окно пристройки выходит на открытый простор речной низины, а боковые окна избы — в лес, с двух сторон нависающий над крышей медвежьими лапами старых елей. На задах избы, перед крыльцом лес вырублен — там небольшой, окруженный соснами и елями дворик с сарайчиком для дров, собачьей будкой, уборной и множеством обросших мохом пней, на одном из которых осенью растут крепкоголовые опята на высоких тонких ножках. Нет, конечно, не случайно хозяин этой избы забрался сюда на гору: видно, лес, простор, солнце, речка для него дорожке всех городских удобств.

В избе две комнаты, кухня. Здесь всегда темновато, как во всякой избе, стоящей в лесу, и когда из второй комнаты по крутой лесенке в три ступени с перилами спускаешься в пристройку, то кажется, что из хмурого вечера возвращаешься в ясный день. Здесь светло, как в мастерской живописца, в безоблачную погоду солнце не уходит отсюда с утра до вечера, золотя бревенчатые стены и такие же, под цвет им накрашенные гладкие доски больших, во всю стену, полки и стола, такого же большого, как и окно, возле которого стоит чучело матерого волка.

Увидев это чучело в первый раз, невольно попятиться к лесенке, чтобы скорее выскочить назад и спрятаться за дверь: настоящий живой

зверь свирепо глядит на тебя из угла. А оглядевшись тут, начинаешь думать, что попал в какой-то музей. В одном углу стоит чучело волка, в другом на сучке под потолком сидит лунь, в третьем — ястреб, а все полки и стол заставлены теми странными, ни на что не похожими фигурками—созданиями не столько рук человеческих, сколько самой магушки-природы, — которые, если у тебя есть на это глаз, можно найти в лесу в сплетениях корней и вырезать ножом.

Побыв тут немного, обнаруживаешь вдруг, что среди всяких музейных чучел и чудищ в этой светлой пристройке есть и живые твари: то с самой верхней полки на стол, со стола в окно махнет белка, исчезнет и снова появится на подоконнике, то из-под ног у тебя выползет черепаха, то под полом зашебуршит поселившееся там семейство хорьков.

Когда я пришел к Степану Матвеевичу первый раз, мы сидели с ним здесь: я — на покрытой ковром тахте, он — в плетеном кресле, и, глядя друг на друга, молча посмеивались. Случается же так, что давно, но по существу малознакомые люди встретятся, вспомнят что-нибудь, весело переглянутся и сразу почувствуют себя старыми товарищами. А может быть, дело вовсе не в случае, а только во времени, может быть, только теперь, на старости лет, пришло им время узнать друг друга.

Степан Матвеевич сидел, заложив нога на ногу и откинув одну руку на загривок волка — из другой он не выпускал трубку: пососет, подержит у бороды и снова пососет. Он теперь генерал-майор в отставке, и когда сидит вот так, развалившись в кресле, видно, что он генерал и не чужд некоторых генеральских слабостей.

Я не знал, когда и как он стал генералом, спросил его об этом.

— Отчасти по вашей милости, батюшка. Да, да, по вашей отчасти,— повторил он, энергично ткнув в мою сторону трубкой.

Оказалось, что его возвращение на военную службу, как это ни странно, но в какой-то мере действительно вызвано моими корреспонденциями из того зерносовхоза, в котором он был начальником политотдела. Некий товарищ, как сказал Степан Матвеевич, подшил к делу и «благодарные», и «антимеханизаторские настроения», и даже то, что в совхозе квас развозили по полевым бригадам бочками, хотя в корреспонденции об этом упоминалось вскользь и с одобрением, как пример заботы о живом человеке.

Вспоминая о той поре, Степан Матвеевич все время хитро поглядывал на меня и посмеивался в свою трубку. То, о чем он рассказывал, происходило в хорошо, до мелочей знакомой мне обстановке райкомовских будней тридцатых годов, поэтому в его воспоминания вплетались и мои собственные. И сейчас мне уже трудно отделить услышанное от Степана Матвеевича от того, что я вспомнил сам и что происходило порой на местах довольно-таки однообразно.

Было время, когда бдительное по своей должности око занимало на заседаниях бюро райкома партии самое скромное место, обычно на дальнем от секретарского стола краю дивана или даже на стуле за диваном, возле самых дверей. Око имело военное обличье, но, несмотря на это, отличалось маловыразительностью не только лица, но и фигуры, что особенно бросалось в глаза, если на заседании присутствовал еще какой-нибудь военный, например, райвоенком — вот у кого все было ясно и внушительно под стать мундиру! Редко-редко подавало око голос, а когда подымало руку, то подымало не выше своей головы. Но проходили годы, око росло и по мере того, как росло, передвигалось по дивану все ближе и ближе к секретарскому столу, пока наконец не пересело с дивана к этому столу, положило на него локоть и обернулось лицом к членам бюро, так что все они тотчас увидели, каким значительным стало теперь их должностное око.

По-прежнему оставаясь неподвижным, оно приобрело теперь ту непроницаемую замкнутость, которой раньше никто не чувствовал и которая сейчас заставляла членов бюро, поймав на себе взгляд ока, сбиваться с мысли, повторяться, топтаться на месте или очертя голову трезвонить о достижениях и успехах в общем и целом по району и стране. Око и теперь редко подавало голос, но ему достаточно было одной тихо брошенной реплики, чтобы вызвать на заседании бюро общее замешательство — всем уже достаточно ясно было, что означают его реплики, отводы при голосовании и особые мнения.

Всякая случайность тут исключалась. И когда на бюро после одного выступления Карякина око бросило реплику о подозрительном благодушии людей, из года в год продолжающих нарушать посевные и уборочные директивы и демагогически подкупающих рабочих квасом, — Степан Матвеевич сразу понял, что дела его плохи.

— Ну, думаю, надо собирать бельишко, дошла очередь и до меня, — рассказывал Степан Матвеевич и все посмеивался, покачивая ногой, заложенной на ногу.

Он любит показать, какой у него легкий, благодушный характер, как он спокойно и весело относится ко всему на свете, а в тот день, встретившись со мной в электричке и затащив к себе домой, Карякин особенно хотел показать это, наверное, в пику мне: вот, мол, какой был, такой я и есть и всегда буду, и ничего вы со мной не поделаете, потому что никого и ничего не боюсь, так же как не боялся в свое время вас с вашей дурацкой газетой, ни бельмеса не смыслившей в сельском хозяйстве.

Посчастливилось Карякину в те годы. Военком в области был его старый друг по гражданской войне, комбриг, с которым он как-то, нараввшись на махновскую засаду где-то под Уманью, бежал на одном коне, потому что конь под комбригом был тотчас убит. После того заседания бюро райкома, когда стало ясно, что дела его плохи, Степан Матвеевич сразу же, с первым поездом махнул в область и выложил своему другу, облвоенкому, все начисто: так вот и так, черт тебя дери, если хочешь брать в кадры, то бери скорее, а то будет поздно. Тот не раз уже за стопкой водки грозил ему, что скоро заберет его в армию — тогда многих брали из запаса в кадры, но Степан Матвеевич только отмахивался — не верил, чтобы его, оканчивающего сельскохозяйственный институт, могли взять на военную службу, и не чувствовал в себе никакого призвания к ней. А теперь вот решил, что одно для него спасение — военная служба. И хотя у облвоенкома, вероятно, тоже было свое следящее за ним око — не прошло и месяца, как Степан Матвеевич уже служил на Дальнем Востоке комиссаром полка и вскоре сражался с японцами в районе озера Хасан.

По-разному складывались наши судьбы, и как часто это совсем не зависело от нас самих! Степан Матвеевич Карякин — генерал-майор в отставке — живет у себя на даче, в своем маленьком, тихом подмосковном городке, а директор зерносовхоза, с которым он в самые трудные годы жизни ради спасения государственного хлеба шел на нарушения наркоматовских директив, — где и когда этот человек, тоже участник гражданской войны, красный партизан, кончил свою жизнь? Степан Матвеевич, да, вероятно, и никто до сих пор толком не знает этого: он был взят ночью и увезен из совхоза спустя несколько дней после того, как его более счастливого начальника политотдела призвали из запаса в армейские кадры.

— Вот так-то, батюшка, — сказал Степан Матвеевич и, поднявшись с кресла, спросил: — Водку пьете или коньяк только? Ну и хорошо, если водку, водка лучше, особенно под грибы.

Он повел меня из пристройки в избу, в маленькую, соседнюю с кухней комнату, едва переступив порог ее, вдруг яростно затопал ногами — и тотчас несколько кошек одна за другой, стремглав, с задранными трубой хвостами выскочили в открытое окно.

— Мать божья! — сердито закричал он, и в комнате появилась его жена Мария Францевна — маленькая старушка, с таким моложавым светлым лицом и так стеснительно улыбающаяся, что ее можно было принять за девочку-подростка.

— Ну что же ты, мать, опять напустила полный дом кошек? Не дом, а какой-то кошачий приемник! — заворчал Степан Матвеевич. — Всю жизнь воюю из-за этих подлых тварей. Я их в окно вышвырну, а она сейчас же в дверь пустит и молочком напоит, — пожаловался он мне.

Сев к столу, он недовольно насупился. Ну что тут поделаешь! Конечно, если ему нравится, что в доме живут белки, хорьки, черепахи, то почему жене не напустить в дом пришлых кошек. И он мужественно терпит их, но иногда вдруг не выдержит, да и взорвется, и это ему неприятно, он долго потом сидит хмурый. Пока Мария Францевна не накрыла на стол, Степан Матвеевич все время молча барабанил пальцами по столу, а затем, наполнив стопки водкой, поднял свою и сказал с облегчением:

— Ну, поехали помаленьку! И ты, Мария Францевна, не отставай.

Выпив, он поглядел на жену, которая тоже выпила немножко, и весело подмигнул мне:

— Все фронты со мной прошла, и на гражданской, и на отечественной, а теперь ужас какой кошатницей стала.

Когда ему случается поворчать на жену при людях, которые еще не знают ее, он непременно потом упомянет, что она не просто жена, но и боевой соратник его еще по гражданской войне, а если к слову придется, то и вспомнит, как она прыгнула к нему в броневик и укатила с ним из своего Мариендорфа.

Было это весной 1918 года, когда после сговора с Центральной радой немецкие войска хлынули на Украину и с ними вернулись гайдамаки. Карякин отступал из Одессы на броневике в потоке красногвардейцев и солдат-фронтвиков. Все рвались к переправе через Буг, надо было спешить: немцы подходили уже к Николаеву, а он застрял в пути — как на грех, мотор заглох и, как на грех, случилось это в немецкой колонии — много их тут на Буге было — как раз против дома, где жила со своими родителями Мария Францевна, которой тогда шел восемнадцатый год. Поэтому-то два битых дня провозился он с мотором — как тут наладишь его, когда возле тебя вертится девчонка и ты глаз не можешь свести с нее! Хороша была тогда, наверное, Мария Францевна, да и Степан Матвеевич, конечно, был молодец собой — иначе не прыгнула бы она к нему в броневик, когда он наконец завел мотор, не поехала бы сражаться со своими единоплеменниками.

Карякину было тогда двадцать четыре года, он уже успел поплавать матросом на океанских кораблях, повидал свет, штормы и тайфуны, в войну добыл на фронте унтер-офицерские лычки, носил тельняшку, кожаную куртку, кобуру с наганом, одесскую кепку-джонку, мог к месту и не к месту свернуть в речь схваченное в иностранном порту английское или французское словечко: бонжур мон ами, черт тебя дери; хау ду ю ду, я до девушки пойду. А Мария Францевна выезжала из своего Мариендорфа только с отцом на базар в Николаев, дальше нигде не бывала, ничего на свете не видела. К нему в броневик она запрыгнула в плюшевой жакетке с полушалком в руке, который она схватила дома уже на бегу и которым помахала своим отчим, оторопело глядевшим на нее разинув рты. В Николаев они тогда опоздали, там уже шли уличные бои



с немцами, Карякин на своем броневике ввязался в них с хода, и Марии Францевне велено было набивать патронами пулеметные ленты. Так началась их семейная жизнь в гражданскую войну. Сначала они воевали в красногвардейском отряде, потом отряд волился в полк, из полка выросла бригада, и прошли они с этой бригадой весь ее трехлетний путь в боях с деникинцами, петлюровцами, махновцами, белополяками, он — комиссаром, она — медсестрой.

Они рассказывали мне об этом, сидя в своей лесной избушке за столом, оба попеременно, каждый по-своему. Степан Матвеевич рассказывал, посмеиваясь и пошучивая: все это — и себя с женой в молодости, и ту необыкновенную войну — он видит уже со стороны, с высот нынешнего времени, в как бы снятом от всего пережитого виде, а у Марии Францевны те далекие воспоминания еще свежи, и когда она говорит, как это было, за улыбкой у нее следует вздох, а иногда она даже закрывает глаза и тихонько помотает головой: ей страшно подумать, каких страхов натерпелась она со Степаном Матвеевичем в те годы.

— Ох и шальной же он был тогда! — говорит она и смотрит на него так, будто глазам своим не верит, что такой шальной парень доносил свою голову до седых волос и сейчас вот сидит за столом и все подкладывает и подкладывает себе на тарелку грибы со скородки.

Степан Матвеевич довольно улыбается. Ему, конечно, приятно, что он был когда-то шальным парнем, но он говорит, что Мария Францевна была еще более шальной девицей — это только сейчас ей кажется, что она натерпелась страха, а тогда она с ним ничего не боялась, не то что теперь — теперь она в лес боится пойти, не пойдешь с ней — одних сыроежек или опять наберет возле дома.

Не раз я отдавал должное грибам, приготовленным Марией Францевной. Она их жарит, не нарезаая, цельными шляпками, в масле и сметане и подает на большой глубокой скородке покрытыми желтой пленкой, как топленое молоко в горшке. На вкус они у нее напоминают тушеную телятину, но много мягче и нежней. В общем, ничего подобного нигде больше я не едал, хотя Мария Францевна и утверждает, что весь секрет жарения грибов состоит в том, что не надо жалеть масла и сметаны.

Так или иначе, но недаром летом в грибную пору к Карякиным наезжает по воскресеньям так много гостей из Москвы, что в избе их не усадить за один стол — приходится все столы выносить во двор, составлять вместе, и тогда Мария Францевна жарит грибы уже не на одной скородке, а на трех или четырех сразу.

Первыми, еще в субботу под вечер, приезжают обычно два старых соратника Степана Матвеевича по гражданской войне, политработники бригады, в которой он был комиссаром. Они приезжают всегда вместе, снаряженные на ночную рыбалку — в кирзовых сапогах, брезентовых плащах с капюшонами, рюкзаками, сачками и складными удочками в клеенчатых чехлах. Появляются они не из-под горы, а со стороны шоссе: оба тяжеловесы и не хотят лишний раз подыматься в гору. Добравшись до избушки Карякина, они сваливают свое снаряжение на скамеечку у крыльца, потому что сейчас пришли только передохнуть с дороги, попьют чай и пойдут на речку, вернутся завтра с рыбой — на уху не наловят, а кошек накормят — и тогда уже посидят подольше, пока Мария Францевна нажарит грибов для всех наехавших из Москвы гостей.

Один из них поживее, побойчее другого, он первый прикладывает к ручке Марии Францевны, чмокает, потом долго и энергично трясет руку Степана Матвеевича, спрашивает:

— Ну, как твое драгоценное?

Другой скромно стоит за его спиной и тихо ждет своей очереди поздравиться с хозяевами.

В гражданскую войну они были в своем полку на равной ноге — комиссары батальонов, но потом случилось так, что они встретились в Колыме, будучи там на разных положениях: один прибыл туда под конвоем с собаками, а другой был там высоким начальником, и это неравенство до сих пор сказывается. Когда они вместе входят в дверь, один, тот, что на Колыме начальствовал, всегда пропускает бывшего заключенного вперед.

— Ну вот, мемуаристы уже начинают собираться,— весело говорит Степан Матвеевич, принимая первых гостей.

Все они — его бывшие соратники по войнам, гражданской или отечественной, и мало кто из них не пишет мемуаров или не ищет кого-нибудь, кто бы помог написать их. Степан Матвеевич тоже хочет что-то написать, но не торопится, говорит, что ему еще рано браться за писанину — вот, когда совсем ослепнет, тогда они с Марией Францевной, может быть, и засядут за воспоминания — он будет диктовать, она стучать на машинке, а пока глаза еще видят, ноги ходят — лучше пойти в лес или на речку, если уж делать больше нечего.

Не может Степан Матвеевич без того, чтобы не подразнить своих гостей, когда все они рассядутся в воскресенье во дворе его избушки за составленными в ряд столами, и обычно начинает с колымской пары.

У этих неразлучных приятелей масса спорных вопросов, которые неизменно всплывают у них, как только, вернувшись с рыбалки, они сядут рядом за стол и выпьют по стопке. Они пишут вместе историю боевого пути своей славной бригады в годы гражданской войны — пишут уже много лет, с тех пор как после Колымы встретились в Москве, но до сих пор никак не могут дотолковаться, чей батальон первым ворвался в какой-нибудь Сухой Лог или Мокрую Балку. Это им трудно потому, что в таких случаях речь идет об их собственной роли в истории. Сцепившись по этому вопросу, они осыпают друг друга ласковыми словами: «дорогушечка мой», «душа моя», но каждый твердо стоит на своем первенстве, и кончается это тем, что один кричит:

— Дорогушечка мой, да ты, я вижу, уже в старческий маразм впал! А другой скромно отвечает:

— С тобой, душа моя, впадешь в маразм.

Степан Матвеевич, только и ждавший этого, торжествует:

— Ну вот, и слава богу, что договорились! Теперь, дорогушечки, налегайте на грибы.— И, потихоньку посмеиваясь, начинает рассказывать, как «дорогушечки» лихими ударами, один с фронта, другой с фланга, со своими батальонами выбили в 1919 году из этого Сухого Лога банду самого Ангела, насчитывавшую... семь сабель, или как они дружно ворвались в эту Мокрую Балку после того, как противника и след простыл.

Посмеется, а потом спросит, не пора ли им переключиться с гражданской войны на Колыму — надо бы, сюжет выигрышный для мемуаров, такого еще не было в печати, чтобы два боевых соратника, комиссара, попали в лагерь один к другому на перевоспитание. Он хлопает их обоих по спине:

— Беритесь, беритесь, дорогушечки мои, за Колыму!

Но их не собьешь с позиции — посмеются, потолкают друг друга локтями и опять возвращаются к спору о Сухом Логе — нет, не семь сабель было там у Ангела, а побольше, напрасно Степан Матвеевич шутки шутит.

— Ну, может быть, не семь, а семнадцать,— соглашается Степан Матвеевич и говорит мне: — Грешный, грешный народ мы, старики.

Интересно побывать у Карякина, когда к нему летом наедут гости на грибы. Люди все солидные — генералы или полковники в отставке, персональные пенсионеры республиканского или союзного значения,

тучные, седые, плешивые или вовсе лысые, садятся они за стол церемонно — трудно уже представить себе, какие они были в гражданскую войну, а как начнут вспоминать про нее, вся важность с них слетает — что не вспомнят, все было весело, легко и просто, а если и поспорят о чем-нибудь, раскричатся, то все равно за столом весело. Степан Матвеевич хоть и посмеивается тихонько над сказками стариков, но и он не удержится под конец — вспомнит, каким был со своей Марией Францевной молодым в ту давнюю пору.

Совсем иначе бывает за столом, когда речь заходит о последней войне. Не все, кого можно встретить у Степана Матвеевича, участвовали в ее сражениях, но те, кто участвовал, были уже генералами. Сам Степан Матвеевич эту войну начал комиссаром дивизии, но под Киевом, в окружении, ему пришлось принять командование, а потом он командовал и корпусом, был начальником штаба армии. Не те уже горизонты, и точка зрения совсем другая. Правда, Степан Матвеевич терпеть не может, когда собирающиеся у него отставные генералы и полковники начинают меряться боевой славой своих частей и соединений, а тем более, когда принимаются разбирать решения и действия своих фронтовых соседей с академических высот оперативного искусства. В таких случаях, если это происходит после окончания обеда, он с трубкой во рту начинает клевать носом, руки его сползают под стол, голова покачивается, а потом клонится все ниже и ниже. Кажется, что он уже заснул и трубка сейчас вывалится изо рта. Но мне думается, что это хитрость, на которую Степан Матвеевич пускается, может быть, по классическому примеру Кутузова в Филях. Военных академий он не кончал и был равнодушен к тому, что на фронте академики посматривали на него свысока, называли «гражданским генералом», — академией были для него, как он говорит, бои в окружении, когда он принял командование дивизией после того, как командир ее, имевший высшее военное образование и большие заслуги в строевой службе, застрелился, решив, что все уже пропало.

При случае Степан Матвеевич обязательно похвалится тем, что, будучи «гражданским генералом», окончил войну на посту начальника штаба армии. Поэтому-то он и засыпает по-кутузовски во время тактических и стратегических разговоров за обеденным столом.

Однако бывает, что он не выдерживает своей игры; так произошло при мне, когда среди его гостей был генерал, бывший сосед по фронту — оба они тогда командовали дивизиями в одной армии. Теперь, задумав строить дачу, этот генерал приехал посоветоваться с Карякиным, нельзя ли где-нибудь по соседству с ним облюбовать себе хороший участок, тоже, чтобы на горе, в лесу и у речки. Сначала меня удивило, почему это Степан Матвеевич хулит ему свои места: и грязища, мол, такая, что дождь пройдет — со станции до дому не доберешься, и с водой очень плохо, колодец надо рыть глубиной чуть ли не пятьдесят метров, и комаров тьма-тьмушая, заедают летом, и лес вокруг болотистый, попадешь в трясины и не выберешься, да и снабжения к тому же никакого, все из Москвы надо возить. Потом я понял: не хочется Степану Матвеевичу, чтобы его бывший сосед по фронту строился поблизости от него. Но тот принял все за чистую монету и, посочувствовав Степану Матвеевичу, снисходительно похлопал его по плечу, сказал:

— Значит, влопался! А мне про твою дачу рассказывали-то...

— Это только кажется, а вот поживешь тут, как наплачешься, — сказал Степан Матвеевич и с самым наипростодушнейшим видом почесал затылок: влопался, мол, влопался — чего уж тут скрывать.

За обедом этот гость, подсмеиваясь над Степаном Матвеевичем, рассказывал, как тот чудачил на войне — никакого подхода к начальству не

признавал, командующий приказывает наступать так-то и так-то, а он говорит: а может, лучше так вот, и упорствует, стоит на своем.

Степан Матвеевич сперва не слушал, будто и не о нем шла речь. занялся вдруг разговором с Марией Францевной о картошке — сколько надо будет осенью купить на зиму и у кого, а потом встал и ушел в свою пристройку, ничего не сказав.

Гость разобиделся, уехал, и только после этого Степан Матвеевич вернулся к столу, сел, зло насупившись, и громко забарабанил пальцами. Редко он выходит из себя, но если уж выйдет, то долго не может успокоиться.

— Вы уж извините меня, — сказал он, когда пальцы его перестали стучать. — Видеть не могу, с души воротит от него. О подходе к начальству говорит, только об этом и знает. Один у него подход — руки по швам и как попка: «Будет исполнено! Будет исполнено! Будет исполнено!»

Все за столом заговорили об этом, и кто-то вспомнил, как где-то на Днепре командующий, приехав однажды в штаб дивизии, кричал на Степана Матвеевича и топал ногами.

Степан Матвеевич показал на Марию Францевну.

— Она знает, за перегородкой была, слышала все... Помнишь, мать божья? — спросил он.

Мария Францевна зажмурила глаза и помотала головой, как всегда это делает, вспоминая что-нибудь очень, очень страшное.

Посмеявшись над заново пережитым Марией Францевной страхом, Степан Матвеевич сам стал вспоминать, где и кто кричал на него, топал ногами, грозил судом за то, что он упирался. не хотел нести лишних потерь, когда можно было обойтись малой кровью.

— Ой, лучше не вспоминать! — вздохнула Мария Францевна.

Она всю эту войну работала у него в штабе машинисткой, все происходило у нее на глазах или за дощатой перегородкой. Ей-то Степан Матвеевич испортил, наверное, много крови своими препирательствами с начальством.

Беспокойной была у Марии Францевны жизнь с мужем, но она не жалуется. Привыкла безропотно делить с ним все, во всем приравливаться к нему. И сейчас вот на старости лет ей, конечно, лучше было бы в Москве — там дочь, зять, внук и внучка, хорошая квартира, которую отдали дочери, когда она вышла замуж, но что тут поделаешь, если Степана Матвеевича потянуло в родные места, если ему захотелось жить в лесу. Марии Францевне только бы погостить месяц, другой у дочери, помянуть внучат, но и этого она не может позволить себе — ни разу в жизни еще не оставляла мужа одного больше чем на несколько дней, все равно в мирное или военное время. Вздохнешь тут, когда дочь просит приехать.

— Да поезжай ты, поезжай — кто тебя держит? — говорит Степан Матвеевич.

Он даже сердится, что она не едет, но поехать вместе, пожить зимой в Москве — нет, не согласишься его, разве что на пару дней в праздники, коли уже дочь с мужем и детьми никак не могут выбраться к ним из Москвы.

Степану Матвеевичу, хоть он и в отставке, не приходится думать, как бы убить время. Пойдет к колодцу с ведрами на коромысле или в магазин с авоськой и надолго пропадет: каждый встречный пользуется случаем поздороваться и поговорить с единственным в городке генералом, да и сам он любит порасспросить людей о их житье-бытье. Городок небольшой, и мало кто тут не знает Степана Матвеевича Карякина,

есть еще и старики, которые помнят его мальчишкой, когда он работал на мельнице у своего дядьки.

Уже много лет Степан Матвеевич депутат горсовета, член горкома партии, на плечах его пропасть всяких комиссий, обществ и прочих нагрузок, но они ему не в тягость — это видно по тому, как он озабоченно суетится, собираясь в город по своим депутатским или партийным делам, и как, уходя из дому, постукивает палкой, будто марш играет. Правда, домой он возвращается иногда в сильно испорченном настроении и на другой день выходит из дому лишь к колодцу за водой или в ближайший ларек за хлебом, а потом сидит у себя в пристройке, в плетеном кресле у окна, заложив ногу на ногу, с трубкой во рту, и тогда Мария Францевна, встречая меня на крыльце, говорит:

— Сегодня к Степану Матвеевичу не подступишься. Может быть, вы расшевелите его, а то вчера вернулся из города мрачнее тучи и с утра еще слова не проронил.

Домашним делам Степан Матвеевич уделяет не много времени, но иногда им овладевает хозяйственный зуд, и он с утра крутится вокруг избы с метлой, с топором, с пилой-ножовкой — двор подметет, пень какой-нибудь трухлявый выкорчует, сухое дерево спилит, дров наколет и лучин на растопку, а потом поглядит, что бы еще такое сделать, походит по двору и найдет много других дел — когда живешь за городом, в своей избе, то всегда есть что прибить, распилить, обтесать, постругать или покрасить. Все это он делает неторопливо, с крестьянской обстоятельностью, сначала примерится, чтобы не ошибиться, а потом полюбуется работой — и вблизи и отойдя на шаг-другой, насколько это позволяет его пропадающее зрение.

Иногда, захватив с собой садовый нож, Степан Матвеевич отправляется в лес на поиски тех редких сплетений корешков, из которых он вырезает своих забавных чудищ.

В лес по грибы Степан Матвеевич ходит с женой, она собирает их, а он кладет в корзину и носит ее. Случается, что и сам находит гриб, но все режет и режет. Марию Францевну он оповещает об этом событии радостным криком:

— Мать, гляди-ка, что я нашел!

Первой поспекает его знаменитая в округе белка. Она всегда увязывается с ним по грибы, и когда Степану Матвеевичу посчастливится и он кричит об этом на весь лес, белка скачет по деревьям и, прыгнув с ветки ему на плечо, глядит вниз со страшным любопытством: где, где, что там такое нашел?

Степан Матвеевич с гордостью показывает ей сыроежку или подосиновик и говорит:

— А ты, дурочка, думала, что я уже совсем слепой старик? Нет, еще вижу.

### *3. Дальние прогулки*

Неподалеку от избы Карякина, на обочине шоссе, где к нему близко подходит речка, на двух столбах висит большой плакат наглядной агитации, выполненный в знакомом уже нам жанре противопожарной живописи, с красочным изображением леща, осетра и белуги — слева они плавают в реке, а справа лежат на столе в консервных банках. Надпись на плакате призывает всех проезжающих на машинах и бредущих пешком строго соблюдать правила рыболовства и тем самым создавать изобилие изображенных выше продуктов в живом и консервированном виде. По другую сторону шоссе на столбах висит точно та-

кой же плакат, с той лишь разницей, что на нем в натуре и в банке не лещ, осетр и белуга, а судак, сазан и щука.

К этим многообещающим для приезжих рыболовов плакатам привел меня Степан Матвеевич после того, как я просидел с ним на речке у него под горой полдня со всеми своими многочисленными удочками и убедился, что, кроме огольца, верховодки и пескаря, здесь ничего больше не выудишь, о чем свидетельствовали не только мои усилия, но и усилия всех прочих удильщиков, сидевших подле меня.

— Не соблюдаете всех правил рыболовства, потому и не можете поймать ничего стоящего. А у нас, как изволите видеть, и осетры и белуги водятся, недаром же их вывесили тут, — посмеялся он и сказал, что ничего не поделаешь: раз такого рода живопись, как эти плакаты, распределяется по речкам в централизованном порядке, приходится ему терпеть у своей избы толпами наезжающих сюда рыболовов.

Не знаю, имел ли Степан Матвеевич в виду отвадить меня от рыбной ловли, но так уж случилось, что я потерял всякую охоту сидеть здесь с удочками на бережку. И теперь, приезжая сюда, я чувствую себя свободным, ничем не связанным человеком, который может пойти по речке, куда ему в голову взбредет.

Пусть настоящая рыба тут только на агитплакатах, но речка чудесная, впрочем, как и все речки у нас в Подмосковье, особенно когда глядишь на нее с горы в прозрачный летний день. От багровых стен монастыря до самого дальнего, темнеющего на горизонте леса петляет она низкой луговинной, то вплотную притирается к длинной горе с ее песчаными обрывами, по верхнему краю которых редко стоят высоконогие сосны, разлапистые ели и толстые пни, то уходит от нее, прячется в кусты, снова появляется уже далеко-далеко, блеснет круглым зеркалом на лугу, как озерко, вытянется серебряной нитью, завьется в клубок, как жетса, совсем уже запуталась, заглохла в кустах, но нет, выбралась, опять вышла к горе, свободно течет под крутым обрывом.

Сколько темных, заросших травой бочагов, крутых излучин, светлых плесов и песчаных пляжиков! И все у тебя на виду. А сколько всяческих кладок! Где с берега на берег переброшена одна доска, где бревно с жердью на стойках, а где пара скрепленных бревен или досок и не с одной жердочкой, а с двухсторонними перилами — это уже настоящий мостик.

Летом в воскресный день весь город высыпает на речку, от ярких купальников, косынок и зонтиков ее зеленые и песчаные берега становятся многоцветными, всю ее осыпают сверкающие брызги, вся она бурлит и кипит от барахтающихся в воде тел, высоко взлетают над ней мокрые, блестящие на солнце мячи, прыгают по лугу и по воде.

Постоим мы со Степаном Матвеевичем на горе возле его избышки, поглядит он свою белую бороду и начнет медленно, как бог, опираясь на палку, спускаться вниз — сверху-то ничего не видит, а надо посмотреть, что там сегодня делается на речке. И я за ним спускаюсь, цепляясь за кусты, чтобы не сорваться на крутой тропинке.

Спустившись к речке, тропинка исчезает в сыпучем песке, и тут надо смотреть под ноги, чтобы не наступить на какого-нибудь мальчишку: зароется в горячем песочке по горло, глаза прикроет от солнца лопухом и не видно его. Идем вдоль берега, и вдруг он вырвется из-под ног и — бултых в воду, как лягушка, за ним другой, третий, не сразу иобразишь, откуда они, огольцы, взялись — казалось, никого нет, пусто под горой, а их вон сколько в один миг повыскакивало из песка. Прохлаждаются в воде и снова зарываются в песок.

— По часу лежат, как больные на курорте. Семь лет нет мальцу, а он уже о своем здоровье печется, — ворчит Степан Матвеевич: не одоб-

ряет он эту выдуманную мальчишками моду принимать на речке песчаные ванны.

Переходим по узкой кладочке на другой берег, минуем небольшой лужок, вытоптаный, как футбольное поле,— трава идет в рост только у кустов, под их защитой, и снова — речка. И здесь у темного бочага — мальчишки, но эти не из тех, что любят понежиться в горячем песочке, этим только бы нырнуть куда-нибудь поглубже. Поэтому они и собираются здесь. Опасное тут место: у этого берега бочаг глубокий и чистый, но поближе к тому берегу на дне много корчаг, нырять надо осторожно.

Более благоразумные ныряют с прыжка на месте, ногами вниз, опустившись до дна, тут же выплывают, менее благоразумные присаживаются на корточки, вытягивают руки и ныряют головой вперед, выныривают на середине бочага, а самые неблагоразумные, с разбега запрыгнув на середину головой вниз, не выплывают, прежде чем не стукнутся лбом или носом о корчагу у того берега.

Степан Матвеевич не пройдет мимо этого опасного бочага, чтобы не поругать неблагоразумных, но он ругает их так по-генеральски, что и благоразумным хочется, чтобы их поругали — все начинают один за другим прыгать с разбега головой вниз.

— Дернул меня бес,— говорит тогда Степан Матвеевич и, довольный достигнутым результатом, горопится уйти подальше от греха. При этом он не преминет взглянуть на меня со стариковским задором — вот он какой генерал, не то, что другие, вот как может набедокурить! И вдруг насупится, покосится на меня, будто усомнился, заподозрил, что я понял его неправильно, но это только на одно мгновение, а потом сам же откровенно рассмеется. Ну, конечно, почему человеку не полюбоваться собой немного, ничего в этом плохого нет, если он к тому же сам понимает, что любит, видит себя со стороны и подсмеивается над своим любованием.

Ходим мы со Степаном Матвеевичем по берегу речки, он часто останавливается поговорить с одним, с другим знакомым и иногда сочтет нужным и меня познакомить с кем-нибудь. Я уже знаю, что он делает это не просто так, из вежливости, а чтобы одарить от своих щедрот.

Есть в его дружеском расположении ко мне что-то покровительственное, может быть, как и ко всей литературной братии, с которой он на короткой ноге с последней войны — вся она от мала до велика перебивала у него в гостях на фронте.

Хорошо тут даже возле самого города, все счастливы — и те, кто лежит, зарывшись в песок, с листком лопуха на носу, и те, кто кидается с разбега в темный омут вниз головой, и те, кто в одних трусиках или купальниках очертя голову носится по лугу за мячом. Счастливы даже рыболовы, только не те, что, добравшись сюда из Москвы, сидят с удочками в ряд у размытой и развалившейся мельничной плотины, а те, что бродят голые по речке и шарят руками в воде под берегом. Попадают здесь такие натерелые рыбохваты-ловчачи!

Даже сам старик Аксакъв, рассказывая о своем опыте рыболовства, упоминает о ловле рыбы руками как о диковинных случаях, а ведь это когда было — более ста лет назад, тогда она кишмя кишела в реках, а чтобы в нынешнее время, при всеобщей механизации, из наших обезрыбевших водоемов выхватывали рыбу голыми руками — нет, этому я никогда не поверил бы, если бы не увидел своими глазами, и где — у нас в Подмоскovie!

Степан Матвеевич заговорился с кем-то на берегу, а я загляделся на мальчишку, выплывшего из-за кустов на двух скрепленных доской, вадутых резиновых кругах, тех, что кладут под лежащих больных во избежание пролежней. За этим изобретательным плотогоном пробежа-

ла по колено в воде шумная ватага ребятишек, гнавших по воде мяч, а следом за ними вышел из-за кустов огромный, лохматый мужик в трусиках, пригнувшись и растопырив колесом руки, похожий на медведя, с холщовым мешочком, который, свисая на веревочке с шеи, болтался у его волосатой груди. Сначала я подумал, что мужик гонится за ребятишками, но он медленно зашагал по середине реки, глядя не на них, а по сторонам, остановившись, быстро сунул руки в воду, под берег, и, недолго пошарив тут и там, вытащил какую-то зажатую в кулаке рыбешку, сунул ее в свой мешочек и опять стал шарить в воде, уже под другим берегом.

— На что вы тут загляделись?— спросил Степан Матвеевич, вернувшись ко мне.

— Да вот,— говорю,— первый раз в жизни вижу, как рыбу ловят руками.

— А-а,— протянул Степан Матвеевич.— Так это, наверное, наш изобретатель.

— Какой изобретатель — настоящий медведь!— сказал я и воскликнул:— Смотрите, смотрите, еще одну поймал, да какую большую!

Рыболов, наверное, услышал мой возглас, он обернулся и замахал, как плетью, зажатой в руке длинной черной не то рыбой, не то змеей, увидел Степана Матвеевича и пролаял скороговоркой:

— А, здорово, дружище!

Редко встретишь рыболова, который не боится спугнуть счастья. Даже мальчишка-удильщик и тот, как бы ему ни повезло, снимая рыбу с крючка, не позволит себе откровенно порадоваться добыче, наоборот, он постарается всячески показать пойманной рыбе, что ставит ее в грош. А этот первобытный ловец, шагая к нам по речке с намертво зажатой в своем кулачище добычей, размахивал ею, взбивал ногами воду и радостно кричал:

— Ничего себе налимчика схватил, ей-богу, ничего, пожалуй, на полкило потянет. Думаешь, не потянет? Потянет, ей-богу, говорю тебе, потянет, потянет...

Нет, никогда не видел я столь откровенно, по-детски — и ногами, и руками, и криком — выражавшего свое счастье рыболова. Конечно, схватить руками притаившуюся в подводной норе рыбу — это совсем не то, что вытащить удочкой, тем более такое дьявольское отродье, как этот большеротый, слизистый, похожий на разбухшую от проглоченной добычи змею, налим. Тут не только звериная сноровка, но и хватка нужна звериная. Как не порадоваться в наше время, что у тебя такая хватка!

Степан Матвеевич потрогал палкой мертво висевшего налима, согласился, что на полкило-то потянет, а потом обернулся ко мне довольный, веселый.

— Прошу познакомиться,— сказал он с широким жестом щедрого хозяина этой речки и всех обитающих на ней и в окрестностях: берите — дарю!

Рыболов стоял передо мной в мокрых трусиках и засовывал рыбу в мешочек. Туго затянув его, он потер ладонь о трусики, заулыбался во весь свой большой, как у налима, беззубый рот, потрянул меня за руку, здороваясь, и быстро-быстро, так что слово заскакивало за слово, зашамкал, что есть еще в речке рыба, да только ловить ее надо весной, пока вода мутная, но где уж тут до рыбы весной, когда на себе надо сорок возов навоза перетаскать, без навоза земля ничего не родит, а он такие огурцы выращивает. что люди приезжают смотреть и говорят, что если бы он был в колхозе, ему лошадь дали навоз возить и медаль повесили, но он на своем приусадебном участке...



Тут он махнул рукой, точно понял, что все это пустая трепотня, все равно навоз придется таскать на себе, так как ни лошади, ни медали ему никто не даст, снова заулыбался во весь рот и полез в речку.

Мы со Степаном Матвеевичем долго ходим вслед за ним по берегу, глядя, как он растопыренными руками шарит в воде, а где поглубже, там и с головой ныряет под корягу, и тогда видны только его дрыгающие ноги или одни ступни.

— Не по речке крупный рыболов,— посмеялся Степан Матвеевич и стал рассказывать: — Жил на свете изобретатель, был у него талантишко небольшой, на одно изобретение хватало, а он все изобретал да изобретал, мучился, зависть его поедом ела, а как вышел на пенсию, вдруг счастье на земле обрел — рыбу научился хватать руками, огородничает на своем участке, навоз собирает из-под коров на выгонах, а то с пастухом договорится, и тот за чекушку остановит стадо возле дороги на полчаса — вот тебе и несколько ведер навоза.

Степан Матвеевич рассказывает так, будто он на ходу сказки сочиняет. Выходя из дому, он всегда сует в карман большую, в металлической оправе, с деревянной ручкой лупу на случай, если по дороге найдет что-нибудь такое, что невооруженным глазом не разглядит. Иногда мне кажется, что и на людей он смотрит сквозь увеличительное стекло — спустился бог с заоблачных высот на грешную землю и, чтобы получше рассмотреть свои творения, захватил с собой большую лупу.

Самое многолюдное место на речке возле города — полуостров на крутой излучине, большая, сухая и чистая, без единого кустика, плотно утрамбованная ногами лужайка. Там собирается молодежь поплавать, позагорать в компании, а то и просто постоять на людях в одних плавках или купальнике с мячом под мышкой, как те скульптурные фигуры, что стоят у ворот стадионов.

Придя сюда, Степан Матвеевич настраивается на игривый лад, бывает, что и сам поддаст ногой подкативший к нему мяч. Однажды случилось, что он хотел поддать, да промахнулся, потерял равновесие и шлепнулся на спину, а потом, когда одна игравшая в волейбол молодая женщина, быстро подскочив, помогла ему подняться на ноги — страшно сконфузился.

— Ничего, ничего, Степан Матвеевич, не огорчайтесь, все знают, что вы у нас еще молодец,— сказала она, склонила голову к плечу, кокетливо поглядела на сконфуженного старика, помахала ему пальчиками как-то особенно, только кончиками, и, подняв руки над головой, вся устремившись вверх, побежала ловить мяч.

Смущенно покрутив головой, Степан Матвеевич сказал мне:

— Наша Зиночка, председательница горсовета.

Приятно увидеть главу советской власти хоть и маленького, но все же города играющей в волейбол в модном оранжевом купальнике и в купальной резиновой шапочке, тем более, если она интересная, спортивного склада, умеющая показать в игре всю свою привлекательность, молодая женщина, правда, не очень уже молодая — с морщинками у слегка подведенных глаз, но по легкости, быстроте и ловкости движений — сама молодость во всем ее расцвете.

Эта необычная для председательницы горсовета молодость и красота производили сильное действие на окружающих ее мужчин и парней, как на тех, что играли в волейбол — заглядываясь на нее, они прозевывали мячи, так и на тех, которые пришли сюда покупаться и позагорать — никто не купался, не загорал, все стояли и глазели на свою председательницу, носившуюся по лужайке за мячом и взлетавшую за ним в воздух, как жар-птица.

И здесь мы со Степаном Матвеевичем постояли — пыхтя трубкой и опираясь боком на свою здоровенную, вырезанную из дубового сука палку, он рассказывал мне, как их председательница, будучи шестнадцатилетней девчонкой, оставшейся после войны круглой сиротой, продала на снос старую родительскую избу и с узлом на плече пошла работать в город, начала в горсовете не то уборщицей, не то посыльной, через год-другой была уже техническим секретарем, потом ее выбрали депутатом, стала секретарем исполкома и вот уже двенадцать лет беспрерывно председательствует, вышла замуж за офицера — инвалида войны, которого никто не знает и не видит, потому что он безвылазно сидит дома, занимается хозяйством, нянчит детей — с таким мужем можно и в волейбол поиграть на речке летом, а зимой пойти в лес на лыжах, и ничего плохого не будет, если за ней потянется один, другой, там и длинный хвост вытянется, она впереди, в красном свитере и красной вязаной шапочке с помпоном, а за ней на лыжах весь цвет мужской молодежи города.

По тому, как Степан Матвеевич лукаво рассказывал, видно было, что в таких случаях он и сам не прочь бы увязаться за своей председательницей, да уж куда ему на лыжи вставать.

А председательница Зина и на речке, играя в волейбол, не забывает о своих горсоветовских делах.

Раскрасневшаяся после игры, но все еще с мячом в руках, подкидывая его вверх, ловя и снова подкидывая, она подошла к нам, сильным шлепком отбросила мяч в сторону и спросила:

— Как вы думаете, Степан Матвеевич, имеет человек право на музей при жизни?

Степан Матвеевич посмеялся: то, что памятники ставить живым людям теперь уже не рекомендуется, это он знает, а насчет музеев затрудняется сказать — как будто на этот счет никаких указаний не было.

— Тяжелое дело, придется ставить вопрос на исполкоме, — сказала председательница, и она нисколько не шутила — дело действительно было тяжелое.

Как известно, домовладелец, именуемый застройщиком, кто бы он ни был, не имеет права возводить на своем участке никаких новых построек или пристроек личного пользования без особого на то разрешения, а всякая самовольная пристройка должна быть снесена. Но как быть с застройщиком, который без разрешения возвел на своем приусадебном участке второй жилой дом, если он, будучи членом Союза художников, хочет использовать этот дом под музей собственной живописи, повесил уже вывеску и объявление, что музей открыт не для личного пользования, а для посетителей, — имеет художник право на музей или нет?

— Да, тут почешешь голову, — сказал Степан Матвеевич и почесал затылок, сдвинув шляпу на смеющиеся глаза.

— В том-то и дело, так что вы уж, пожалуйста, подработайте этот вопрос к исполкоме, — попросила его председательница Зина.

Закончив на этом деловой разговор, она кинулась в речку и поплыла наперегонки с кем-то. А мы еще постояли немного, потолковали о тех сложных вопросах, которые Степану Матвеевичу приходится подрабатывать к заседанию исполкома.

— Была у нас в городе товарищеская лошадь, — рассказывает он мне. — Спрашиваю: почему товарищеская? Никто понятия не имеет, а все говорят: товарищеская да товарищеская. Пришлось мне разобраться, что же это за товарищество. Оказывается — по совместной обработке земли, существует с 1929 года, оформлено по всем статьям закона. Никакой земли нет, есть только лошадь, на которой члены това-

рищества — один пожарник и два ночных сторожа — возят на кладбище покойников — похоронное бюро!

Вот какие еще вопросы приходится подрабатывать Степану Матвеевичу!

С лужайки на крутой излучине, где играет в волейбол и купается преимущественно учащаяся молодежь и городская интеллигенция, мы направляемся к фабрике Кошкина, как она до сих пор называется в обиходе — по имени своего бывшего хозяина, памятного в городке тем, что перед самой революцией он проиграл в карты и фабрику, и молодую жену. Это одна из тех маленьких захудалых хлопчатобумажных фабрик, которые, как говорит Степан Матвеевич, не подлежали реконструкции: век их уже отошел, но стены крепкой кладки еще держатся, так пусть работает такой, какая есть, до полного износа.

Багровый корпус ее с большими мутными окнами стоит за дощатым забором на низком берегу речки, до того захламленного, что тут и пройти трудно вдоль забора, поэтому мы идем противоположным берегом, под песчаным обрывом, в котором ребяташки нарыли множество пещер и гнезятся в них, как ласточки. Здесь под горой на травке-муравке в тени кустов отдыхает и веселится, празднуя выходной день, фабричный народ — кто в семейном кругу, кто своей мужской или женской компанией, но все с бутылками и закусками.

Фабричные тоже все знают генерала Карякина. Молодые при его появлении почтительно притихают, а подвыпившим старикам море по колено, и беда Степану Матвеевичу, если кто-нибудь из них начнет куражиться, хлопать его по плечу:

— Эх, товарищ генерал, присядь к нам, выпьем с тобой по стакашке! Уважь рабочий класс, Степка!

В таких случаях Степан Матвеевич испуганно машет руками и поспешно обращается в бегство на виду всего фабричного люда, глядящего на него из-под кустов, и я едва успеваю за ним, а вслед нам несется торжествующий вопль приятеля его мальчишеских лет:

— Ага! Слабо генералу выпить с рабочим классом,— и еще что-нибудь в этом духе.

Неловко чувствует тогда себя Степан Матвеевич, смущенно оправдывается, что не может же он распивать водку под кустом с перепившимися стариками, жалуется на разные подобные этому неудобства, которые ему неизбежно приходится испытывать, живя в городе, где многие знают его с детства.

Надо бы возвращаться — Степана Матвеевича, наверное, уже ждут наехавшие к нему из Москвы гости, но он не торопится, и мы идем дальше вниз по его родной речке, пока не доберемся до бывшей мельницы, от которой осталась лишь развалившаяся плотина да несколько щелястых бревен на берегу — когда сидишь на них, изо всех щелей на землю сыплется наточенная мурашами труха. Тут уж, присев отдохнуть на бревно, Степан Матвеевич снимет свою старомодную соломенную шляпу, чтобы проветрить вспотевшую голову, и обязательно вспомнит что-нибудь — или как он работал на этой давно исчезнувшей мельнице, помогал дядьке обдурять мужиков-помольщиков, или как, удрав от дядьки на море, подрядился в Одессе матросом на пароход, а в Нью-Йорке сбежал с него, вздумал постранствовать по Америке, и пришлось ему тогда поработать на чикагских бойнях, где встретил одного своего соотечественника, просветившего его в политике,— потом они опять встретились, уже в Одессе, на улице, когда вели бой с гайдамаками. Вспомню и я что-нибудь такое из тех давних лет, вспомним и опять же посмеемся, этакие умудренные жизнью, чего только на свете не перевидавшие ветераны.

От бывшей мельницы, перебравшись по кладке через развалившуюся плотину, можно пройти тропинкой в деревню Ершово. Там живет младшая сестра Степана Матвеевича, тетя Нюша, к которой мы часто заходим во время наших прогулок.

Поднявшись с бревен, Степан Матвеевич говорит:

— Дойдем уж, что ли, до Ершова?

— А гости? — напоминаю я.

— Ничего с ними не делается, — отвечает он.

Ершовская тропинка сначала вьется у самой речки под песчаным обрывом горы, поросшей лесом и изрезанной глубокими оврагами, из них в речку впадает несколько чистеньких ручейков, растекающихся в устьях по песку на множество отдельных струек, образуя массу крошечных островков-отмелей. Как великаны, перешагивая с одного островка на другой, мы переходим через эти ручейки, не замочив ног.

Потом гора снижается, и мы незаметно поднимаемся на ее гребень, идем старым сосновым бором с густым орешниковым подлеском, нависающим над оплетенной толстыми корнями тропинкой сплошным зеленым сводом, только кое-где в окна видны вершины сосен, такие же далекие, как небо и облака. Здесь в самый жаркий полдень свежо и полусумеречно, как ранним утром, солнце сюда не достигаает, оседая блестящими на листе орешника, отчего кажется, что на нее наброшена золотая сеть. Речка течет вниз, иногда в просветах зелени видно ее тусклое, затененное и захламленное лесным мусором зеркало, но большей частью только слышен ее журчащий голосок, то совсем рядом, то подале, приглушенно, а то вовсе затихнет — уйдет далеко, и тогда невольно начнешь прислушиваться, и как приятно, когда речка, вернувшись, снова зажурчит близко, будто бежит за тобой вдогонку, как собачка.

Вскоре орешник начинает редеть, исчезает, и мы выходим на светлую опушку бора, где между сосен стоит много пней, растет трава, черника и земляника. Тут мы снова немного отдохнем, посидим на пенечках и, если поспели ягоды, попасемся на них и выйдем из леса на большую поляну с клеверищем.

На той стороне поляны, под лесом — хуторок, кордон лесника Трофима Семеновича, к которому мы иногда заходим по дороге в Ершово, чтобы выпить по кружке холодного молока.

Неподалеку отсюда проходит бетонное шоссе, и от него вдоль молодого саженного сосняка, по краю клеверища идет травянистая проселочная дорога. Шагаем мы как-то, свернув с речки, по этому проселку в сторону кордона, а навстречу знакомая нам молоденькая невестка лесника с сердитым и заплаканным лицом тащит на двухколесной тележке малогабаритный полированный шифоньер.

— Да ты что это, Леночка? — спросил ее Степан Матвеевич. — Неужели опять задумала разводиться с Лешкой?

— Конечно, все, — сказала она сквозь слезы. — Больше не вернусь.

Знаем мы и Лешку, после окончания десятилетки работающего в леспромхозе трактористом, — это он приезжает с сенокосилкой, когда приходит пора косить у кордона клевер, положенный леснику за службу. Видели мы его с Леночкой вдвоем, гуляющими в лесу и на берегу речки. Они всегда ходят обнявшись — только теперь начинаешь встречать в деревне такие нежные супружеские пары, которые обнимаются и целуются на прогулках, как жених и невеста. И все же вот уже второй или даже третий раз за два года супружеской жизни Лена увозит от Лешки свое приданое, грозит, что больше не вернется к мужу.

— Вернется, вот увидите, что вернется. Через неделю опять будут ходить по лесу обнявшись, — говорит Степан Матвеевич.

В благодатном местечке расположен кордон лесника, этот обнесенный высоким плетнем хуторок — пятистенный рубленый дом под железной крышей, с застекленной террасой, дворовыми постройками, огородом и фруктово-ягодным садиком. Впереди — поле, засеянное клевером, за ним — речка, слева, только перейти через проселок, который сворачивает тут в лес, — сажены соснячок, а справа и позади — дикое мелколесье, в котором дубки, березки, осинки перемешались с елочками, сосенками, зарослями ольхи и орешника. Патриархальную старину этого хуторка нарушают только стоящая у плетня под брезентовым чехлом «волга» — собственность дачников, из года в год приезжающих сюда из Москвы, и рослый, вероятно английской крови черный дог, который смотрит на нас с крыльца террасы — тоже старый дачник.

Хозяин кордона и хозяйка встречают нас у калитки: он — маленький, с птичьим носиком, в кепке с задранными вверх, как у озорного мальчишки, козырьком, она — покрупнее, с истово русским деревенским лицом, в белом головном платке, завязанном на узелок с длинными ушками.

Мы присаживаемся на скамейку у садового столика, гостеприимно стоящего в лесу среди елочек в нескольких шагах от калитки. Хозяин садится рядом на чурбан, предназначенный для рубки дров, хозяйка смотрит на нас издали, а когда начинается разговор, подходит поближе.

— Ну как, ласточка все еще навещает вас? — спрашивает Степан Матвеевич.

В то лето повадилась по вечерам, перед заходом солнца прилетать откуда-то на кордон ласточка, сядет на наличник окна, всегда на одно место, под белую чашечку изолятора электропроводки, посидит с полчаса, пока солнце не погаснет, и улетит обратно. Точно на свидание к кому-то прилетает, только все напрасно — подождет, подождет, а потом видит, что уже поздно, скоро стемнеет, нечего больше ждать и — улетит. А завтра опять прилетит в тот же час, сядет и сидит тихонько, печальная.

Любят они, и хозяин и хозяйка, рассказать, как по вечерам поджидают свою ласточку, как глядят на нее издали, чтобы не спугнуть, как им грустно становится каждый раз, когда она улетает одинокая.

Потом хозяйка приносит литровую банку молока, запотевшую, только что с погреба, две большие кружки, ставит на стол, отходит в сторонку, складывает руки на груди и смотрит на нас, расплывшись в улыбке. И хозяин, сидя на чурбане, тоже улыбается в ожидании, что мы похвалим молоко. Мы пьем и похваливаем — молоко действительно на редкость хорошее, густое, сладкое. Выпив свою кружку, Степан Матвеевич закуривает трубку и говорит:

— Хорошо у вас тут на кордоне!

— Дачникам нравится, — говорит хозяин.

— Да и корова не в обиде, что клеверище под боком, — смеется Степан Матвеевич.

— Все хорошо было бы, да Ленка вот Лешку баламутит, — вздыхает хозяйка. — Скучно ей на кордоне, велит ему к себе в деревню перебраться, а чего там в деревне, говорю я ей, дуре, хорошего?

Так вот, оказывается, почему Ленка с мужем то милуются, то бранятся, то сходятся, то расходятся — не хочется Лешке уходить с кордона в деревню.

— Никуда он не уйдет, а Ленка побесится и вернется со своим шифоньером, — уверяет нас хозяин. Он нисколько не сомневается в этом, так как знает, что его Лешка не дурак.

Степан Матвеевич тоже склонен думать так.

— Вот оно как!— многозначительно говорит мне Степан Матвеевич, после чего расплачивается за молоко, и мы с ним идем дальше в Ершово проселком через мелкоколесье.

Проселок этот весь в непросыхающих, забросанных жердями и хворостом рытвинах, выбитых буксующими колесами грузовых машин. Не поймешь, как они тут проезжают, когда и пешком-то по дороге не пройти десяти шагов, чтобы не свернуть на тропку, которая то вьется по краю леса, то углубляется в него, делая загогулину в обход непролазной, разболтанной и взбугренной машинами черной грязи. А то, что машины здесь проезжают, доказывает не только эта перемешанная с хворостом грязь и свежие рубчатые следы автомобильных скатов, но и клочки сена, тут и там повисшие на ветках придорожных деревьев. Странно только, что мы, уже много раз проходившие по этому лесному проселку, до сих пор не встретили еще здесь ни одной машины. Это наводит нас на мысль, что они ездят лишь ночью, когда лесник спит.

Всякий раз заходит у нас здесь разговор о лесной траве — хоть и разворовывают, а много ее остается нескошенной. Однажды, обходя дорожную грязь, мы сбились с боковой тропинки и, заговорившись, шагали редким лесом, пока не попали по колена в густую траву. Степан Матвеевич уже не посасывал трубку, а размахивал ею и все сильнее и сильнее постукивал палкой, возмущаясь, что такая хорошая лесная лужайка пропадает зря.

И вдруг из кустов, ломая их, навстречу нам выскочила беглая корова и остановилась, не зная, куда шарahnуться, но тут прибежал пастушок, закричал, щелкнул бичом и погнал ее назад. Мы пошли за ним, скоро вышли из леса и увидели пасущееся на открытом выгоне возле Ершова стадо. После лесной травы, из которой мы едва выбрались, деревенский выгон показался мне выщипанным коровами догола, и я спросил у пастушка, зорко следившего, чтобы его поднадзорные не заходили в лес, а почему бы ему не пустить туда стадо — там же пастбище куда лучше.

— Нельзя — госфонд, — пробурчал он в ответ и снова погнал за коровой, воровски затрусившей в лес.

— Научил Трофим Семенович колхозников беречь свой госфонд, — усмехнулся Степан Матвеевич и покрутил головой. — Не зря он уже больше тридцати лет на государственном жаловании.

Речка давно осталась позади — мы свернули в сторону от нее, когда выходили из соснового бора на поляну с клеверищем, после этого сколько уже прошли все дальше и дальше в сторону и вот, перейдя ершовский выгон, снова шагаем по берегу речки. Та же речка, но как она изменилась, пока, попетляв где-то по лесам и лугам, добралась до Ершова. Тут, на задах деревни, она течет так медленно, что и не заметишь движения воды, и вообще тут она совсем другая. Сначала узкая и прямая, как канава, заросшая у берегов осокой, с кулигами камыша, где сплошь покрытая круглыми листьями кувшинок с желтыми цветами, где затянута ряской, в которых вода стоит черными окнами, потом речка постепенно становится шире и чище, у середины вытянувшейся длинным порядком деревни разливается в пруд, из него вытекает железобетонными трубами, четырехствольной батареей уложенными в тело насыпной плотины, дальше быстро бежит глубоким овражистым руслом с глинистыми, размытыми полой водой берегами и вскоре круто поворачивает в сторону деревни Митькино, будто сюда, в Ершово, только для того завернула, чтобы передохнуть здесь в пруду у тенистых ив.

И мы постоим немножко у старой, со сломанной вершиной ивы, пустившей пышный, похожий на веник, куст свежих побегов, поудивляемся на радость себе, сколько еще жизни в старых корнях, и так как

Степан Матвеевич не торопится домой, посмотрим, как бабы полощут белье с мостков, как купающиеся толкуются компанией по колено в воде, подойдем к удильщику, одиноко сидящему на корточках со стеклянной банкой у ног, поинтересуемся, плавает ли что-нибудь у него в банке с водой, потопчемся так у пруда, а потом узеньким проулком между огородов выйдем на деревенскую улицу.

Улица в Ершове хотя и немошеная, но вроде как с приподнятой мостовой, где шлаком подсыпана, где щебенкой, а сверху еще и песком, с канавами и мостиками через них у каждого дома, с пешеходными дорожками, на которых только и берегись велосипедистов, прижимайся к палисаднику, а то если не на двухколесном, то на трехколесном собьют тебя с ног.

Каких только транспортных средств не увидишь на этой деревенской улице — от крошечных детских велосипедиков до слоноподобных мебельных автофургонов, добирающихся сюда из Москвы через леса и болота. Убого рядом с таким фургоном выглядит колымага керосинщика, но какое внимание и почет оказывают ей тут люди! Только заиграет керосинщик в свой медный рожок, и по улице уже никому не проехать — ее перегородила длинная очередь покупателей, расставивших возле себя кучками самую разнообразную посуду — канистры, бачки, бидоны, бутылки, ведра и старые ржавые лейки.

Ершово — деревня особая. Дома здесь со всех сторон облеплены стеклянными террасками, с улицы они прикрыты липами, тополями, кустами желтой акации и сирени, а на задах приусадебные участки разделены низенькими штакетными заборчиками на крошечные садики: два-три дерева, две-три цветочные клумбы или столько же маленьких, похожих на могилки грядочек с салатом, редиской, луком, и в каждом таком садике ютится в углу летняя, сколоченная из старых досок клетушка в одно или два окошечка, с умывальником, посаженным на гвоздь, вбитым в стену или рядом в забор, с садовым столиком и скамеечкой у дверей, а иногда и шезлонгом. Редко тут увидишь на приусадебном участке хозяйственную постройку — все сарайчики приспособлены уже под летнее жильё. Словом, деревня типично дачная, но этим обязана она не столько близостью к Москве — не так уж Москва и близка, — и не столько речке и сосновому бору, сколько санаторию, расположенному по соседству, в сосновом бору на горе, в бывшем графском замке.

Санаторий — большой, богатый, с множеством подсобных хозяйственных служб, требующий сотен постоянных и сезонных рабочих рук, при нем есть столовая для рабочих, отпускающая населению обеды на дом. Эта-то столовая и вызвала усиленный приток сюда дачников из числа тех, кто не выносит бремени таких бытовых забот, как готовка пищи, преимущественно пожилых и одиноких художников и музыкантов обоюго пола. В Ершове больше ста дворов, но тут только одно колхозное звено, состоящее из восьми или девяти вдовых старух во главе с тетей Нюшей, сестрой Степана Матвеевича.

Тете Нюше уже под шестьдесят, у нее в деревне три сына, и все они работают в санатории: младший шофером, средний электромонтером, старший плотником. Живут они с матерью под одной крышей, но раздельно: у каждого по комнате с террасой. Сыновья живут на свою заработную плату, мать — на доходы от дачников, ну и, конечно, на колхозные трудодни. Летом все перебираются на задворки, в сарайчики, а свои комнаты и терраски сдают москвичам.

Мы идем к тете Нюше. Степан Матвеевич часто навещает ее вместе со своими московскими гостями — это одна из его слабостей: как не похвалиться ему, генералу, родной сестрой, которая до старости лет рабо-

тает в колхозе! Ее летняя клетушка ютится на самых задах участка, и чтобы добраться туда, надо пройти лабиринтом узких проходов между садиками, двориками и сарайчиками ее сыновей. Если тетя Ньюша не в поле, а дома, то мы обычно застаем ее сидящей на приступке в раскрытых дверях своей клетушки. Или она чистит картошку, или варит что-нибудь на стоящей тут же у дверей керосинке, всегда в одном и том же чугушке, который выглядывает на керосинке какой-то допотопной, смешной и неуклюжей посудиною. Впрочем, бывает, что она сидит и за столом в очках, записывает что-то карандашом в школьную тетрадь — раз она звеньевая, главное колхозное начальство в деревне, должна же у нее быть какая-то канцелярия. В своем личном хозяйстве у тети Ньюши, кроме двух соток картошки на огороде, трех кур и кошки, ничего нет, так что дома у нее только и дел, что сварить себе поесть да записать в тетрадь, кто и где из ее звена работает сегодня.

Утром все звено собирается у нее на задворках, и она уходит с ним в поле с граблями или с тямкой на плече, как все. По вечерам старухи тоже приходят к своей звеньевой, и тетя Ньюша иногда долго заседает с ними в своей клетушке за закрытой дверью. Сам я не слыхал, но Степан Матвеевич говорит, что у них там бывает шумно, как на колхозном собрании. По существу эти восемь или девять старух во главе со своей звеньевой и есть ершовский колхоз. Ершово теперь только одна из многочисленных деревень гигантского хозяйства, правление которого находится далеко от этой деревни. А в те времена, когда здесь был свой колхоз, тетя Ньюша была его председателем, после первого укрупнения стала бригадиром, после третьего — звеньевой.

Прежде чем увидеть тетю Ньюшу, я уже слышал о ней. Степан Матвеевич рассказывал, как его сестра председателем стала еще при муже-председателе. Был он из тех мужиков, которые, вернувшись с гражданской войны, потянулись не к земле, а к власти, к сельсоветским портфелям, и так им понравилось, получив директиву, сунуть ее в портфель, а портфель — под мышку и ходить с ним по деревне, заложив руки в карманы, что к тому времени, когда началась коллективизация, забыли уже, как хлеб сеют. Был человек председателем сельсовета — орел-руководитель, чуб потрепывал, усы подкручивал, справки подписывал с лихим росчерком, а поставили его председателем колхоза — и на второй год пентюх пентюхом стал. Если бы не жена, привыкшая одна и за себя и за мужа в поле управляться, не совладать ему с бабами — потаскали бы они его и за усы и за чуб.

Степан Матвеевич рассказывал, посмеиваясь в трубку, а я вспоминал — и это было мне не ново. Встречал я в свое время такое в московских, рязанских и владимирских деревнях, где издавна пахали и сеяли бабы, — председатель колхоза председательствует на собраниях, ходит с портфелем, едет в район на совещания, а в поле командует всем его жена или какая-нибудь другая баба. Так вот, наверное, и эта тетя Ньюша командовала за спиной своего муженька, пока его не взяли на войну, с которой он уже не вернулся, а когда взяли, кого же было поставить на его место, как не ее.

Когда мы приходим к тете Ньюше, она обычно спрашивает:

-- На бревнышках у меня пришли посидеть?

Улыбка у нее при этом лукавая, такая же, с какой Степан Матвеевич говорит своим гостям, приезжающим из Москвы с удочками: «Рыбку приехали половить?»

Вообще тетя Ньюша похожа на своего старшего брата: при всей бабьей простоте и мягкости, в ней тоже есть что-то небожительское. Ее покровительственная манера держаться с людьми заставляет человека



чувствовать себя грешным. Видно, годы председательства в колхозе не прошли для нее даром — хорошо знает она людей со всеми их слабостями.

Она сидит на приступке и чистит картошку, а мы садимся на грудку сваленных напротив ее клетушки ошкуренных бревен. Бревна уже старые, посеревшие. Их привезли несколько лет назад, до последнего укрупнения колхоза, когда тетя Нюша была еще бригадиршей. Задумала она тогда подновить избу, заменить нижние подгнившие венцы, да вот сыновья все никак не могут договориться, кто будет работать. Младший, шофер, не хочет — зачем ему возиться с избой, когда директор обещал квартиру в строящихся санаторных корпусах, пусть возится тот, кто останется жить тут. Средний, электромонтер, тоже рассчитывает на квартиру, ждет комиссии, которая должна обследовать его жилплощадь, и до прихода этой комиссии ему невыгодно подновлять избу. Старший, плотник, не прочь бы сменить венцы, но обидно работать одному — если бы еще братья отказались от своих прав на избу, а то ведь не отказываются, переедут на новые квартиры с городскими удобствами, а свои комнаты и террасы в избе по-прежнему будут сдавать дачникам, так зачем же ему стараться.

Тетя Нюша все это уже объясняла нам, и насчет крыши тоже — с крышей такая же история: давно заново надо бы покрыть избу, протекать стала, но что делать, раз сыновья не дотолкуются между собой. Нет, тетя Нюша не в претензии на них, все они люди семейные, у каждого свои интересы, пусть живут, как хотят, а она и так доживет свой век — чего ей волноваться по пустякам?

Мы сидим на бревнах. Степан Матвеевич, посасывая трубку, разговаривает с тетей Нюшей, а я слушаю и гляжу, как она коротеньким ножом, похожим на сапожный, но с книжальным острием, чистит картошку. Гляжу и думаю, что для нее это не труд, а одно удовольствие. Она чистит картошку так быстро, что не уловишь движения рук, кажется, что картошка сама вертится у нее в пальцах и кожура сама сползает в миску тонкой, ровной, спирально выходящей ленточкой. И хоть бы раз оборвалась, нет, вьется и вьется, пока не сползет вся и картошка не станет чистенькой, как яичко. А если она подпорчена, с черным глазком, то нож тотчас, и тоже, кажется, что сам, без всяких усилий хозяйки, нацелится на него и выключет одним клевком своего острья. Ну, какая машина управится с картошкой так быстро, ловко и красиво, как тетя Нюша со своим пожом-коротышкой!

Степан Матвеевич ведет с ней речь о колхозных делах, вспоминает, как они обстояли в тридцатом году, когда он работал в этих местах уполномоченным обкома по коллективизации, хвалит только что скошенную тимофеевку — хорошо она тут растет, в нынешнем году как рожь стояла, спрашивает, что колхоз думает сеять на перепаханном поле кукурузы и почему так поторопились перепахать, лучше бы скоту стравить, там хоть кукурузы-то и не видно, но коровам все же нашлось бы чего пощипать, и побольше, чем на голом выгоне.

Тетя Нюша говорит, что скотину, конечно, можно было бы пустить на кукурузу, да в Ершове-то колхозный скот не содержится, он на ферме, ферма же далеко, а чтобы индивидуальных коров пускать на колхозное поле, такого закона нет. Относительно же того, что теперь колхоз думает сеять вместо кукурузы, ничего она сказать не может, так как в правлении не была уже давно — далеко ездить, если на поезде, то с пересадкой надо, а машиной еще дальше, да и машину для нее одной не дадут.

— Ну, а председатель-то вас навещает?

— Когда на кукурузу акт составляли, приезжал, а больше нет. Одни мы, бабы, тут сами по себе живем. Был Саша-тракторист — и тот теперь в Митькино перебрался.

Саша в колхозе человек пришлый. Ему все равно в какой деревне жить, а деревень в колхозе не один десяток. Снимал квартиру в Ершове, хотел тут дом построить, да повздорил с лесником: произошло у него с ним что-то из-за коровы, повадившейся бегать с выгона в лес, на госфондовскую траву. Обиделся на лесника и стал строиться не в Ершове, а в Митькине — там выгон лучше и с сеном легче.

Тетя Ньюша жалеет, что так получилось, но она входит в положение Саши-тракториста.

— Семья у него большая, ребят много, без коровы ему никак не прожить, — говорит она.

Однажды так вот сидели мы у тети Ньюши на бревнах, и пока она чистила картошку и кидала ее в чугунок, разговаривали с ней о колхозных делах. Степан Матвеевич все выпытывал, как она одна со своими бабами управляется, а она только посмеивалась, говорила:

— Бабы у меня старые, ко всему привыкшие, с тридцатого года колхозницы, почти что все когда-нибудь в правлении заседали или в ревизионной комиссии, бывшие мои активистки...

А потом, поставив чугунок на керосинку, вытерла руки, сложила их на коленях — у нее такой вид был, будто она решила теперь всерьез поговорить, — и вдруг спросила:

— А правда это, Степа, что мы уже не колхозницы, а совхозницы?

— Вот тебе и на! — воскликнул Степан Матвеевич. У него даже трубка выпала изо рта, и он не сумел ее подхватить. — А еще председательница была! Ну и ну! Я-то рассказывал товарищу. Думал, он напишет о тебе как о ветеране колхозного строительства, а ты, оказывается, так оторвалась от колхоза, что не знаешь уже, где работаешь, в колхозе или совхозе.

— Правда, правда, Степа, нечего говорить — оторвалась, — охотно, с улыбкой согласилась тетя Ньюша. — Оторвалась, совсем оторвалась. Стара уже стала, до колхоза добраться не могу, боюсь, растрясет.

Потом, когда мы простились с тетей Ньюшей, Степан Матвеевич долго мотал головой.

— Ох, и хитрая же стала старуха!.. Ужас, до чего хитрая. Подумайте только — боится, что растрясет ее по дороге, пока доберется до колхоза, — говорил он.

Это было два или три года тому назад. Тогда действительно предполагалось, что Ершово станет совхозной деревней, но пока она остается еще колхозной. Однако, если спросить на улице у первого попавшегося, что здесь — колхоз или совхоз, один ответит — колхоз, другой — совхоз, а третий начнет раздумывать. Есть слух, что ершовские земли отойдут в подсобное хозяйство санатория. Вероятно, так и будет, потому что хозяйство это быстро расширяется и поля его уже примыкают к самой деревне.

Из Ершова нам уже нет смысла возвращаться той же дорогой — зачем, когда уже недалеко до соседнего городка, откуда можно доехать до дому бетонкой на автобусе, и, кстати, нам по пути будет зайти в Митькино — Степану Матвеевичу хочется навестить еще Сашу-тракториста.

Огибая гору, на которой в сосновом бору стоит санаторий, речка делает тут большую и крутую излучину. Чтобы сократить путь, мы подымаемся сыпучей песчаной тропинкой в гору. Санатория нам не видно — над лесом возвышается только гребень готической крыши бывшего граф-

ского замка с двумя острыми, как горные пики, конусами по краям. К замку не подойдешь — он окружен высоким глухим забором. Забор тянется у речки подножием горы, потом поворачивает под прямым углом, поднимается на вершину и, спустившись к той же успевшей уже обогнуть гору речке, пересекает ее русло.

Скрылась от нас речка за глухим забором с колючей проволокой, протянутой под ним, чтобы никто тут не мог пробраться в санаторий по воде. Пока речка течет, петляя, там, за забором, по некогда графским владениям, мы со Степаном Матвеевичем, присев отдохнуть после тяжелого подъема на пеньки у обрыва, глядим на далеко растянувшееся внизу Ершово и толкуем о том, что же случилось с этой деревней — то ли она оторвалась от своего колхоза, то ли колхоз, все разрастаясь и разрастаясь, оторвался от нее.

Вопрос сложный. Мы рассматриваем его и с одной стороны и с другой, и так и этак, и в конце концов приходим к выводу, что, глядя на деревню с вершины горы, в этом вопросе нам все равно не разобраться — надо идти дальше: хватит уже, посидели, отдохнули. Посмеявшись над собой, подымаемся с пеньков, переходим на другую сторону горы, спускаемся к речке вместе с санаторным забором, разуваемся, заворачиваем штаны повыше и мягким песочком по колено в воде перебираемся на другой берег. Там немного потопчемся на лужку, счищая с ног мокрый песок, обуемся, посмотрим, как речка течет в затянутую колючей проволокой и забитую мусором щель под забором, и шагаем дальше вдоль него лесной тропинкой, пока опять не выйдем на речку.

Вытекая из-под забора, речка продолжает свой путь густо заросшим ольхой оврагом. Тропинка в Митькино идет лесом поверх оврага, кое-где спускается вниз, но до речки не добирается — немного спустится под сырой и сумрачный лиственный навес ольшаника и, будто испугавшись, что затеряется тут, спешит выбраться из сплетения зеленых ветвей наверх, под голоствольные до самых макушек сосны и жидкие, тощие ели.

Вскоре густой хвойный лес переходит в смешанный и редее, расплываясь по холмам.

Чем хорошо наше Подмосковье, как не таким вот холмистым разнолесьем, где деревья растут вольно, старые — вразброс, вперемежку, молодые — кучками, рошицами, где под ногой то высокая цветистая трава, то жесткий покров хвои, то мягкий, податливый мох. Идешь над оврагом, внизу все течет и течет речка, за зарослями ольшаника ее не видно и не слышно — остепенилась, не шумит уже на перекатах, журчащий голосок подают только стекающие в нее родники и ручейки-малютки, — а здесь, наверху, все меняется на каждом повороте. Только что голоствольные сосны тянулись своими кронами-метелками в поднебесье, а теперь они тянутся не столько ввысь, как вширь, стоят раскорячившись, под стать березам, сверху донизу развесившим по сучьям пышные зеленые космы. Нет уже и старых елей с колючими сухими палками вместо нижних ветвей. Теперь они растопырились и опушились понизу, припадают к земле тяжелыми, непроницаемо густыми лапами. Появились дубы: кряжистые старики расселись на полянах под своими царскими шатрами, а молодняк кустится поодаль от них на опушках. Безликий молодой, тесный березнячок или осинник и снова старые, стоящие вразброс на свету сосны, ели, березы, дубы — каждое дерево на свое лицо.

Когда мы идем лесом вдоль речки, я как-то забываю, что у Степана Матвеевича плохо со зрением, потому что, бодро шагая, он все время, так же как и я, посматривает по сторонам. Не знаю уж, что он видит, но смотрит так, будто все вокруг создано им, и он доволен, что ему есть чем похвалиться перед людьми.

Вдруг земля перед нами встает дыбом: буря повалила разом три сосны, выворотив с их оборванными корнями точно машиной срезанный пласт земли, похожий на стену глинобитного дома или сарая. Все вокруг, и большие и малые деревья, устояли, а эти три гиганта, росшие рядом, плечо к плечу, свалились в овраг. Уже много лет они лежат вниз головой, а все живут, не умирают — какие-то корни еще питают их зеленые кроны, перекрывшие речку от берега до берега.

Когда нет мальчишек, шныряющих по этим соснам, как по мосту, мы со Степаном Матвеевичем любим постоять или посидеть в переплете их ветвей, глядя, как под нами течет речка. Сколько уже прожито и чего только не пережито, а вот сидишь тут и невольно стараешься дотянуться ногами до воды, словно ничего в жизни не было, ты еще сам мальчишка, для которого эти поваленные над речкой сосны в один миг могут обернуться сказочным кораблем, плывущим в неведомые страны. Однажды мы тянулись, тянулись так, да и соскользнули невзначай один за другим с дерева в воду, а потом, увидев, что ничего страшного с нами не случилось, только промокли до колен, обрадовались и в чем были, в том и пошли гулять по речке, взбивая воду ногами.

Хорошо после этого поваляться на берегу, как бывало в детстве, поджидая, пока просохнут на солнце развешанные по сухим сучьям промокшие в речке ботинки и штаны. Хорошо, но Степан Матвеевич все же опасно поглядывал по сторонам — не увидел ли кто, как мы с ним бухнулись с дерева в речку? Конечно, ему неудобно было бы предстать перед людьми в таком несолидном виде.

От поваленных бурей сосен недалеко до бывшего Коровьего брода, где еще несколько лет назад речка, только что выбравшаяся из ольховых зарослей, выглядела лужей, застоявшейся среди размешанной копытами, засохшей, скоробившейся грязи. Сейчас здесь возведен мостик с широким бревенчатым настилом, по которому ходят машины, и речка течет под ним чистым и сильным потоком.

Направо отсюда — деревня Митькино, удивительно сохранившая свой первозданный облик. Стоит она на голом косогоре и сама вся голая — издали можно пересчитать все три десятка дворов ее, большей частью не огороженных, с одним колодцем посреди широкой улицы, со сплошными картофельными посадками на задах и с несколькими одиноко торчащими тут и там березами. Все избы здесь старые, не меньше, чем полувековой давности, без каких-либо пристроек, тем более террас, три или четыре избы полуразвалились, окна их крест-накрест забиты досками, но есть и один новый длинный, как барак, дом на бетонном фундаменте под толевой крышей — дом Саши-тракториста.

Мы идем к нему тропинкой по задам деревни мимо еще не старого, но уже заброшенного скотного двора — после укрупнения колхоза, когда весь общественный скот был забран на фермы, эти опустевшие дворы остались в здешних деревнях памятниками тех маленьких, разбросанных по лесным полянам артелей, с которых началась в этих местах коллективизация и хозяева которых могли обозреть со двора все свои общественные земли.

Дом Саши-тракториста стоит на верхнем краю деревни, под самым лесом. Когда Саша не на работе, то он, конечно, не сидит дома, а крутится возле него со всем своим многодетным семейством, в котором все — и маленькие и большие — с утра дотемна заняты чем-нибудь по хозяйству. Дом построен и уже обжит, но недоделок еще много, и в доме еще совсем пусто. Раньше, когда они жили в Ершове квартирантами, тесно было, и все спали на полу. Семеро детей в семье, но только теперь Саша начал обзаводиться хозяйством.

Саша не настоящее его имя. Сашей он сам назвал себя, когда поселился в здешнем колхозе, по паспорту он Ибрагим, родом из прикамского села. Не повезло ему у себя на родине: на войне был командиром противотанкового орудия, домой вернулся с орденом и медалями, женился и на второй же день после свадьбы попал в тюрьму. Его осудили на пять лет за то, что он дал по уху своему колхозному бригадиру, а за что дал, это так и осталось на суде тайной, потому что он не захотел марать имя своей жены. Ее он простил, а на людей, которые отдали его под суд, так обиделся, что не пожелал больше возвращаться на свою родину — отбыв заключение и устроившись на работу, выписал жену к себе. От обиды на своих сородичей он и переименовал себя из Ибрагима в Сашу, жену Мариам стал звать Марусей и детям всем дал русские имена.

Мы со Степаном Матвеевичем узнали обо всем этом в прошлом году, когда ему пришла в голову мысль зайти к Саше-трактористу с бутылочкой, отпраздновать его новоселье. Саша не пьет, но по такому случаю выпил, расчувствовался, пошел проводить нас и по дороге с горечью высказал свою обиду.

С тех пор он всегда встречает нас с немного смущенной улыбкой человека, который опасается, что люди подсмеиваются над ним про себя, и поэтому хочет показать, что сам тоже подсмеивается над собой, понимает, что допустил ребячество, но, извините, такой уж он, ничего с этим поделать не может. Но смущение только вскользь, одним крылом проходит по его широкому, малоподвижному лицу, а улыбка остается и какая-то удивительно мягкая, интеллигентная. В старой, выгоревшей до полной бесцветности фетровой шляпе с опущенными полями, в мешковатом хлопчатобумажном сером пиджаке он больше похож на сельского учителя дореволюционных времен, чем на тракториста. И вместе с тем его легко представить себе стоящим у противотанкового орудия — такому чувству собственного достоинства не позволит дрогнуть ни одним мускулом лица перед надвигающимся на него танком.

— Вы уж извините меня, до табуретов руки еще не дошли, — говорит он, вынося из дому на неогороженный двор два ящика с фабричными наклейками.

Конечно, если в новом доме пока приходится сидеть на ящиках, то лучше принимать гостей на дворе. Для себя он берет первый попавшийся из груды ящиков, сваленных посреди двора. На эти надо садиться осторожно, а то наколешься на гвоздь или на порванную и загнувшуюся острым углом полоску железной скрепки. Саша покупает ящики в магазине санаторного поселка, привозит на ручной тележке и таким образом восполняет недостаток лесоматериала, необходимого ему для достройки дома и всякого хозяйственного обзаведения. А пока они заменяют табуреты, до которых у него еще не дошли руки. Топчаны, столы, полки — все он делает своими руками.

На глинистом, с ямами дворе, замусоренном втопанной в землю щепой, заваленном ящиками, кучами старых досок и строительных отходов, которые еще пойдут в дело, пока стоит только одна хозяйственная постройка — маленький коровничек с окошечком. Мы сидим на ящиках и вместе с хозяином любимемся им — ах, как ладно срублен он из хорошо подобранного, чисто ошкуренного и кое-где подтесанного подтоварника, какими плотными и ровными кружевными строчками лежит в пазах его еще сохранивший лесную прозелень мох!

Саша доволен, что коровник готов к зиме — это главное, и теперь он может заняться доделкой дома: поставить вторые рамы, пристроить тамбур, а то прошлой зимой холодно было, никак не натопишь. Крышу

надо будет шифером покрыть, ну, да это еще успеется, покамест и с толевой можно обойтись.

— На все сразу и государству-то средств не набраться. Помаленьку, помаленьку будем обстраиваться. Года через два как следует обстроимся. Семья большая, но не только рты, и помощники уже есть, так что ничего страшного,— говорит он.

Не хочется Саше, чтобы гости, сидя у него на ящиках из-под мыла и гвоздей, думали, что ему все еще трудно живется. Раньше, конечно, было трудновато, это он признает, но теперь, когда колхоз помог ему построить дом и коровник, чего тужить, тем более что и в семье есть уже помощники. Он будто успокаивает нас — все, все будет хорошо, можете не сомневаться.

— Вон они, мои помощники! Целая бригада. С сенокоса идут,— говорит Саша.

Растянувшись вереницей, помощники выходят из леса один за другим в порядке старшинства — Ваня, Наташа, Коля, Гриша, Катя, все ташат, кто на плече, кто на спине, мешки с травой, а старший шагает впереди и с мешком на плече, и с косой в руке. Ване лет пятнадцать, он не выдался ростом, но все же, идя во главе своих братьев и сестер, согнувшихся под тяжестью ноши, этот мужичок с ноготок шагает так, что сразу видно — дети ходили в лес не одни, а со старшим.

Саша может продолжать разговор с заглянувшими к нему гостями: ему не надо встречать свою дворовую бригаду — старший сам распорядится, где разбросать принесенную из леса траву и кому после этого за что братья.

Для всех в семье находится посильная работа. С одними ящиками сколько возни, пока их превратишь в материал, годный для обшивки дома или для всяких других необходимых в доме и на дворе поделок. Мало того, что их нужно расколотить, не расщепив при этом досок, надо еще вытащить все до единого торчашие из них гвозди, а потом эти скрюченные гвозди выпрямить, чтобы и они могли пойти в дело. На ящики встает сам Ваня-бригадир со своими братьями — девятилетним Колей и восьмилетним Гришей. У них тут на дворе настоящий заготовительный цех: Ваня разбивает ящики и кидает дощечки Коле, тот кусачками извлекает из них гвозди, Гриша стоит у чурбана, на котором лежит плоский камень, кладет на него гвоздь и бьет по нему молотком.

Братья работают молча, они так ушли в свое дело, что им уже не до гостей — поздоровались, вернувшись из леса, и ладно, разве что младший, если ему случится ударить молотком не по гвоздю, а по пальцу, сунет его в рот, пососет и покосится на нас недружелюбно — ну чего пришли, расселись на ящиках и мешаєте людям работать? Понимать надо, что отцу некогда молоть с вами языком.

Наташа и Катя тоже не обращают на нас никакого внимания: сходили к колодцу, приташили вдвоем одно ведро, вылили его в яму, разделись и сами голышом, в одних трусиках, полезли в нее. Положили друг другу руки на плечи и будто пляшут, стоя на одном месте,— глину месят ногами.

А хозяйке вовсе не до нас. Впрочем, мы редко видим ее — большей частью она не выходит из дому, а если выйдет, то не одна — с грудняшкой на руках. Мы поздороваемся, она кивнет и пройдет мимо молча, не улыбнувшись, прямо держа оплетенную черными косичками голову. То, что Саша был Ибрагимом, как-то совсем забывается, а то, что его Маруся была Мариам, век не забудешь, и она сама, конечно, не забывает — истая на вид татарка.

Во всей многочисленной семье Саши-тракториста одна только трехлетняя Олечка удостаивает гостей своим вниманием. Забравшись к отцу на колени и приткнувшись головой к его плечу, она все время глядит на нас с любопытством маленького зверька — то на одного, то на другого.

Поговорив с Сашей о том, как он обстраивается на новом месте, Степан Матвеевич переводит разговор на колхозные дела — не дают они ему покоя, все никак не может решить, почему так случилось, что его Нюша оторвалась от своего колхоза.

Саша не жалуется на то, что теперь от деревни до правления колхоза стало очень далеко. Раньше он работал в МТС, и тогда его с трактором перебрасывали туда-сюда, летом из одного колхоза в другой, зимой на ремонт в мастерскую, приходилось подолгу не бывать дома, сейчас же он знает только свое Митькино да Ершово, все поля, на которых пашет, сеет и косит, под боком у него, поработал и пришел вечером домой.

— Теперь мы в деревне сами себе начальники, тракторист да звеньевая, — говорит Саша.

Ему даже нравится, что до начальства стало далеко, никто не стоит над его душой, поскорее бы только обстроиться, зажечь по-человечески, обзавестись всем, что нужно в семействе, — пора уже, давно пора, даже дети это видят — вон как стараются на дворе!

Простившись с Сашей-трактористом, мы снова спускаемся к речке, идем под гору и рассуждаем о том, как все перемешалось и как все не просто решается у нас в подмосковных деревнях. На воскресных прогулках можно было бы и не задаваться сложными вопросами, но что поделаешь, когда они сами встают — не отгораживаться же нам от них! Степана Матвеевича беспокоит, что после трехкратного укрупнения колхозов здешние деревни словно бы притихли, но, с другой стороны, не возвращаться же назад к мелким артелям... В таких вопросах Карякин не скор на решения, осторожен с выводами, а если вы попытаете быть посмелее его, то он сейчас же начнет сердиться, уличать вас в опасных заскоках, стучать палкой и может даже затопать ногами. Ох и грозный же бог! — думаю я в таких случаях. Но как только я подумаю это, Степан Матвеевич уже косится на меня хитро смеющимися из-под белых пышных бровей глазами: сам видит, что он грозный бог, доволен этим и ему смешно — в отличие от всевышнего и всесущего он всегда может взглянуть на себя со стороны.

Возле Митькина речка течет открытым руслом, и тут только голубые островки цветущих в мочажинах незабудок скрашивают ее унылые заболоченные и поросшие осокой берега — такие же унылые, как эта старая вытянувшаяся по голому косогору деревня, где за долгие годы наконец-то появился один новый дом — дом Саши-тракториста. Но вот Митькино осталось позади, речка снова прячется в густые ивняково-ольшаниковые заросли, и тропинка, выходящая вдоль этих зарослей, выводит нас в совсем иные места.

Еще несколько лет назад тут было густое мелколесье, памятное местным грибникам своими толстоногими подосиновиками, да и не только местным — приезжали сюда за грибами и москвичи. Сейчас это вырубленное мелколесье разгорожено заборчиком на маленькие участки, засаженные плодово-ягодными садами, и на каждом участке среди не окрепших еще, подвязанных к колышкам саженцев с двумя-тремя зелеными веточками стоят затейливо разукрашенные домики. Это уже окрестности соседнего индустриального городка, одного из тех, которых много выросло за последнее время вокруг Москвы.

Вот этим еще хорошо Подмосковье: выйдешь из древнего, как сама Русь, городишка с монастырем на горе, пойдешь по омывающей его речке лесом от деревни до деревни, от кордона до кордона лесника и

вдруг перед тобой на поляне не деревушка, не кордон, а город с заводскими трубами, которого ты никогда не видел и о котором, может быть, даже не слышал. Охотник, рыболов или грибник, конечно, будет жестоко разочарован, когда, добравшись до своего заветного местечка, где он некогда стрелял тетеревов, таскал окуней или собирал подосиновики, увидит вдруг фабричные трубы, многоэтажные дома, витрины магазинов с муляжами ветчинно-колбасных изделий и модно одетыми манекенами. Но мы со Степаном Матвеевичем Карякиным вышли просто погулять, идем по речке туда, куда она течет, и нас заводские трубы, возвышающиеся впереди над лесом, нисколько не огорчают, тем более что мы уже основательно проголодались и ноги наши гудят от ходьбы — скорее бы доплестись до города и сесть на автобус, который за двадцать минут довезет нас до дому.

Пора, пора, Мария Францевна, наверное, давно уже забеспокоилась — приехали гости из Москвы, она нажарила грибов, а Степан Матвеевич спустился с горы на речку и куда-то пропал. Он иногда откалывает такие штучки, чтобы насолить гостям, когда те уж больно надоедают ему своими мемуарами. Но они все равно будут ждать его, и мы еще насидимся с ними за столом, и кончится это, конечно, тем, что Степан Матвеевич или заснет, или притворится, что заснул. Кто его знает, когда он притворяется, а когда действительно по-стариковски вдруг начинает, сидя за столом, клевать носом, не выпуская трубки изо рта, — его никогда не поймешь до конца. Может быть, потому меня и тянет к Степану Матвеевичу, хотя, если к нему не приновишься, с ним бывает иногда нелегко.





---

Е. РЖЕВСКАЯ

★

## ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

*Рассказ*

1

**Д**еревня, в которой мы стоим, отбита у немцев еще зимой, в марте. Уцелело в ней не больше трети изб. Это все, что удалось спасти от пожара. Живет здесь полуколхозный-полугородской люд — до войны почти в каждой семье кто-нибудь работал в Ржеве. Теперь в уцелевших домах и банях настилают солому на пол. Спят вповалку. Тут же возле себя держат мешки с зерном, узлы с барахлишком.

Хозяин дома, где я ночую, старик Петр Тихонович недоволен:

— Набились. Как вши на гашнике.

Его жена, Анна Прохоровна, относится к своим погорельцам куда терпеливее:

— Что ж теперь делать. Надо какой-никакой выход находить.

К ее обычным заботам на огороде и по дому прибавились новые, и в этой теснотище ей надо приноровиться, чтоб еще и людям помочь: то картошки наварить, то одежонку, полусгнившую в ямах, перетряхнуть и обсушить.

— Его сделаешь и его,— объясняет она мне, — и все дела!

Прошлым летом, когда началась война, старика ее забрали на оборонные работы под Смоленск.

— Мы копали окопы, а самолеты его тут безобразничать стали очень,— рассказывал старик.— Наши отступали, дошли до нас. «Как вы безоружные, беззащитные, идите домой». Тут такая погода пошла, самолетам нельзя было распространиться... И нашим полегше стало отступать...

Он уже два раза рассказывал мне это. И оба раза присутствовавшая тут же Анна Прохоровна стояла неподвижно, сложив на животе руки, и взгляд ее, обычно легкий, заволакивало угрюмой тоской.

Старик доходил до этого места и — стоп. Тут и весь рассказ его.

Но о том, как отпустили с оборонных работ людей по домам, он знал с чьих-то слов. Его же самого еще перед тем, как самолеты не смогли больше «распространиться», жажнуло взрывной волной, и он очутился в госпитале. Эвакуироваться с госпиталем он отказался и ушел домой недолеченный, когда немцы уже были в его деревне. Правая рука его повисла плетью.

Обо всем этом он рассказывал немногословно и охотно, но это был другой, самостоятельный рассказ, вроде бы не связанный с первым и напрашивающийся на особый вывод.

Выходило, что он как бы побывал на фронте, хотя ему это и не предназначено по возрасту, и стал в один ряд с теми, кого война калечит в огне.

— Расколосась посуда, не склеишь,— говорит Анна Прохоровна. Относится ли это к его инвалидности или к их жизни— одно и то же.

Он был плотник, нанимался строить избы, доставлял в семью копейку. Она работала в колхозе и дома. То, что было издавна заведено у них, теперь нарушено навсегда. А другого уклада они не знали и заново ничего построить не могли. Вряд ли они так это сами себе объясняли. Но так это было. И жили они сейчас разрозненно, каждый сам по себе, и поругивались.

Надеяться, что после войны все опять пойдет на лад, теперь не приходилось, прежняя жизнь их осталась за той, прошлогодней чертой.

Вчера вдруг она похвалила мне мужа. Умный он был. И жалел ее. — Желанный такой, всем желанный был,— сказала она о нем вроде как не о живом.— Дети у нас не жили, так что мы все одне и одне.

У кого-то там и пьянка и драка, а у них — нет.

— А пьяный он еще лучше. Трезвый иногда разволнуется. А пьяный — ему все хорошо. Скажет: «Нас только три зернышка». Это он, я и его мать.

Она раскраснелась, оживилась. Я сказала, что она, видно, была красивая. Она согласилась.

— У меня душа хорошая.

Но тут как раз он и появился, Петр Тихонович.

— Задымил, бездельяй,— строго сказала ему Анна Прохоровна.

К тому урону, какой наносит ее хозяйству племя погорельцев, Анна Прохоровна не присматривается. Война ведь кругом. А вот за Анциферовой, живущей в соседней деревне, издали поглядывает.

— Я намеднись сено шевелю, а она на крыльчке лежит. Как берегут-то себя. Двое детей, все дела не сделаны. А она — наплевать.

В четырех километрах от передовой, почти что под носом у немцев идет жизнь.

## 2

Анциферову я увидела, возвращаясь от топографов с новыми картами. Она шла, глядя себе под ноги, кутаясь в серый платок. Чуть отставая от нее, плелись женщины — враждебный эскорт. Она поднялась на крыльцо и, не обернувшись, скрылась в сенях — только взвизгнула подскокившая и тут же упавшая щеколда.

Провожающие стали неподалеку от дома, и одна из них, долговязая, в немецких сапогах с короткими голенищами, погрозила на дверь:

— Покаталась на рысках, попила кровушки нашей — и хватит!

Я тоже поднялась на крыльцо и вместе с замешкавшейся в сенях женщиной вошла в дом и слышала, как она спросила с порога, ни к кому не обращаясь:

— Велели прийти сюда?

— Садитесь, Анциферова,— сказал майор Курашов.

Она села и слегка спустила с плеч платок.

— Вы когда перешли линию фронта?

Она сидела очень прямо, очень женственно, придерживая на груди охватывающий ее по спине платок, и смотрела поверх головы майора, не отвечая.

— Пришла чего? — спросил капитан Голышко.

— Детей поглядеть.

— Поглядела?

Новые карты я сложила стопкой на лавке. В этих картах — наша надежда на продвижение: новые названия, новые высоты и болота. Я застучала на машинке. Мне нужно было перевести приказ противника о запрещении местным жителям появляться на улице К. Маркса и при-

легающим к ней кварталам. На основании таких данных капитан Гольшко строит догадки о характере немецкой обороны в этом районе Ржева.

Остановливаясь, я слышу голос Курашова:

— Как же так с ним получилось, Анциферова? С вашим мужем?

Она смотрит в окно и мнет концы платка.

— Его обязали... По его специальности...

— По специальности он — изменник родины, — вмешивается Гольшко. — Он ведь в ржевской управе служит начальником транспортного отдела?

Она молча кивает, по-прежнему глядя в окно.

— Как же он отпустил тебя? — спрашивает Гольшко.

— Не отпускал. Сама.

— Что-то не верится. И смотрите. — цела-целехонька, фрицы ее не прихлопнули.

Она молчит — не подступишься.

— Не побоялась, значит, ни немцев, ни нас.

— Дети ж мои тут, у моей матери в деревне. Еще в марте их у немца отбили... Где мои дети, там и я должна быть...

— До войны он привлекался? — спрашивает ее Гольшко. Он ясен и строг и не верит ей, считает — она прислана немцами.

— Надо будет вам обратно идти, — вдруг говорит молчаливый майор Курашов. — Непонятно разве?

Она, глубоко вздохнув, кутается в платок и встает.

— Хоть бы вы, товарищ командир, арестовали ее хорошенько! — весело говорит Гольшке толстогубая девка из группы поджидавших у крыльца.

Анциферова в сером платке на плечах, в черных полуботинках на венском каблуке уходит домой в деревню Виданы.

— Вам что, легче б с этого стало?

— А то что ж, — утвердительно, быстро произносит толстогубая, косясь куда-то в сторону через плечо себе.

Гольшко разъясняет, хотя и сам он сомневается, так ли это: Анциферова, мол, за мужа не в ответе.

Долговязая женщина в немецких сапогах, слушая его, кивает:

— Правильно! Пра-ильно, — на разные лады подтверждает она недоверчиво.

### 3

Привели немца — молодого, кудлатого, без пилотки, в растерзанном кителе. Разведчики пошли в дом к майору Курашову, а его оставили на попечении часового, тощего, большеногого малого, прозванного Гоголь.

Немец сидел на крыльце, зажмурившись на солнечном припеке. Часовой с автоматом ходил туда-сюда мимо крыльца, остановился возле немца.

— Ты что, спать сюда прибыл? — И ахнул. — Что делается! Вши на нем!

Уже собралось несколько человек, хмуро уставились на немца. Что делается! Срежь бела дня по плечам, по вороту немца ползают вши. Не в диковинку, а все же на немце лестно увидеть ее и жутко: до такого никто себя не доводил.

Вшивый фриц, взъерошенный, грязный, в смешных сапогах с короткими голенищами, какие у нас в хорошее время никто и надеть не согласился бы.

Моя хозяйка Анна Прохоровна тоже тут, она в чистом головном платке, сложив на животе руки, смотрит на немца тихо, без жалости.

— Лоп-лоп-лоп. Залопотал! — передразнивает его.

— Может, что сказать ему надо. Без языка ведь. Веди ж его! — по-нукает меня Петр Тихонович.

Вокруг загудели. Такого пусти в дом — как же. Вшей распустит, только держись.

— Садитесь, — говорю немцу.

Он опять садится. И я сажусь на ступеньки крыльца. Кто такой, откуда родом, давно ли воюет.

Люди, помешкав, деликатно расходятся. Остаются только Анна Прохоровна и Петр Тихонович — на правах моих личных знакомых.

Немец этот на войне с самого начала «кампании». Был в Польше. Потом поход на Запад.

— В Париж мы прибыли восьмого августа сорокового года. С Францией уже было покончено, и мы несли постовую службу у морского министерства, там размещались наши генералы.

— Хороший город Париж? — вдруг глупо так спрашиваю.

— О, прима штатт, вундербар штатт!

Анна Прохоровна и Петр Тихонович терпеливо смотрят на нас.

Разруха, муки, смерть и бессилие — все воплощено сейчас в этом немце. Чудно! И никак не вяжется. Такому ведь дать хорошенько — от него мокрое место останется.

Молчим. Немец дергает вверх рукав кителя, обнажается темная от грязи рука с белой браслеткой — след от часов. Он тычет пальцем в эту браслетку, машет рукой в сторону передовой — сняли с него в русской траншее.

Анна Прохоровна говорит тихо, возмущенно:

— О часах, господин какой, заскучал. Паразит бессовестный.

## 4

— Здравствуйте!

Анциферова. Другая совсем, чем в прошлый раз, какая-то пестрая. В блестящих, черных, резиновых ботах-сапожках до самых колен — предмет фатовства здешних довоенных модниц. В берете. Платье клеш в ярких разводах. Жакетка перекинута через руку.

Майор вскочил, поздоровался, задвигал стулом, предлагая Анциферовой присесть.

— Не стоит беспокоиться. Я постою. — И быстро покосилась в мою сторону.

Майор поискал кисет, а сворачивать папиросу не стал и вдруг резко так спрашивает:

— Надумали?

Она, улыбаясь, смотрит с вызовом в его лицо.

— Так ведь схватят же меня. — И, стараясь не замечать тут третьего человека, выходит на середину избы, улыбаясь майору. В немигающих глазах затаенный вопрос: неужели не нравлюсь?

Майор вспыхивает, как девушка. А я готова провалиться под пол, чтоб не наблюдать тут за ними.

Гулко бьют орудия на передовой, подрагивают оконные стекла. Майор рассеянно тренькает пальцами по пуговицам гимнастерки, зажимает в кулак португую и, наклонив голову, строго, испытующе смотрит мимо Анциферовой в стену.

— Надеюсь, вы ни с кем не делились. Это в ваших же интересах. Тут надо отчет себе крепко отдавать.

Анциферова, слушая, медленно меняется в лице.

— А если не пойду? — тихо, вроде пробно спрашивает, и губы у нее дрожат, сиюсь сложиться в улыбку.

— Нет у вас другого выхода, Анциферова.

От его слов, глухо, доверительно произнесенных, мороз по коже дерет. А она, поняла ли? Ведь ее, как жену изменника родины, перешедшую при неясных обстоятельствах линию фронта, ждет арест. Жила с мужем почти всегда врозь: он в городе, она у матери в деревне, а теперь вот — накрепко одной веревочкой оказались связаны.

Мой хозяин Петр Тихонович говорит об Анциферовой одобрительно:

— Подобута, пододела. Идет всегда, можно сказать, со звоном.

Но остальные дружно осуждают ее. Это ведется еще с прошлых лет. О муже ее хотя в деревне и ходят разные слухи, но дело все же не только в нем. Тем более, что он сам от нее натерпелся. Насолила она своим деревенским тем, что, выйдя замуж в город за инженера, она большей частью жила по-прежнему у матери беззаботно и бездельно — на мужнины деньги, а к ее дому подкатывала время от времени легковая машина, было заметно: какие-то кавалеры пьют, гуляют. Словом, оставаясь в деревне, она была «городской» в худшем смысле этого слова. Ее в глаза корили, ей окна побить хотели. А ей хоть бы что.

Ну, что было, то было, а теперь ей осталось одно — идти через линию фронта.

— Ваш муж еще может искупить свою вину. Это во многом зависит от вас. Я надеюсь, вы советский человек. — убежденно говорит майор.

Как напутствует майор разведчиков — это я видела, а вот жену изменника родины, которая к тому же нравится ему, — такого видеть не приходилось.

— За себя я не боюсь. Наплевать.

— Тогда что же?

Она держится рукой за спинку стула; потухшее, отчужденное у нее лицо.

— Ребят жалко.

Молча, отрешенно, опять как в тот раз, смотрит перед собой Анциферова.

— Ладно, — вдруг просто говорит она. — Раз нельзя по-другому, пусть так.

Майор насупленно роется в кисете.

— Отдыхайте пока. Пришлем за вами. Когда обстановка позволит вам идти. Тогда обо всем и потолкуем. Хлеб дома есть?

Она уходит, пожав ему руку.

Майор упирается лбом в поддрагивающее оконное стекло, смотрит, как удаляется по улице Анциферова в черных резиновых ботах, с жакеткой через руку.

Своей властью майор Курашов не имеет права посылать Анциферову в тыл противника. Надо иметь на это разрешение штаба фронта. Но он азартный, рискованный человек и не станет разводить канитель, испрашивать разрешения, томиться в неизвестности в ожидании ответа — топить дело. Возьмет и пошлет.

В последние дни до того подчистили в штабе — отправили на передовую еще человек сто, — что ни охранять немца, ни конвоировать его в тыл некому. Ожидаются бои, подвалит пленных, тогда и отправят — не снаряжать же конвой для одного. Так что немец пока тут, в деревне.

Его поместили в полуразрушенный амбар, уплотнив семью погорельцев. Возле амбара стоят заржавелые весы. Сидя на них, подставляя

лицо солнцу, проводит свой день в плену немец под присмотром часового. Тот охраняет его по совместительству, основной объект часового — изба разведгруппы.

Иногда немец пытается вступить с ним в переговоры, лопочет что-то, машет вдаль рукой. Безнадежно.

— Отвоевался, сучий сын. Загораешь,— говорит часовой.

На том разговор иссякает.

Если на крыльце появляется кто-либо из командиров, немец вскакивает, щелкает каблуками. На этот счет он аккуратен.

Другого «языка» нет сейчас во всей армии, и немец нарасхват. Его забирают на допрос в отдел связи, к командующему артиллерией и даже к химикам, хотя толк от него невелик — немец явно не сенсационный.

Он торопливо шагает впереди красноармейца, оборванный, кудлатый, чужой; на весах у амбара пусто и чего-то вроде бы не хватает.

В этой двухслойной деревне — войско и жители — появился в его лице третий слой, ни с чем не смешивающийся.

Здесь жители немцев повидали, но в другом качестве. Победленного — впервые. Если немец на месте, а часовой сговорчив и поблизости нет начальства, можно подойти к амбару. Немец пообвык и разглядывание переносит беспечно. Эти бабы в платках, эти бороды уже знакомы ему.

Умен ли немец, глуп ли, зачем явился, много ли ему Гитлер посулил — ни черта не выведает.

Но попросить — и фриц покладисто отворачивает широкое голенище, показывает ногу в шерстяном носке. И это среди лета, чтоб не сбить, значит, ног, по-ихнему! Ну и ну!

Немец без портянок — в шерстяных носках, он сперва свою пайку хлеба сжует, а потом, смотреть тошно, суп хлеба.

Но он не угрюм. И стоило ему одну ночь переночевать в деревне, его простодушие примиряет с ним. Сидит, как кудлатый щенок на цепи. И связной майора Лепехин собирает кой-чего ему.

— Надо Карлу покормить.

Вот только Анна Прохоровна, проходя мимо амбара, приостановится, вздохнет:

— Жизнь бог дает, а такой вот отымает.

## 6

На правом фланге армии, возле деревни Подборовье и у Велюбино строят ложные переправы на Волге. Тюкают топоры, визжат пилы. Артиллеристы перетаскивают орудия. Постреливают. Нужно, чтобы немцы поверили: наступать готовятся на правом фланге.

Под вечер с левого фланга на правый движутся танки, а под покровом ночи возвращаются назад.

Сегодня начальник штаба вызвал капитана Голышко, приказал ему отправиться на бронепоезд. Задача бронепоезда — внезапно ворваться в Ржев, создать видимость прорыва на правом фланге.

Через час Голышке выходить, он спит.

Я сижу на крыльце у Анны Прохоровны, сочиняю обращение: «Немецкие солдаты в Ржеве! Пока не поздно, опомнитесь...»

Пахнет сеном. Анна Прохоровна разостлала его у порога, сушит.

В небе ровный, увесистый гул — торчит «фокке-вульф», предвестник бомбежки.

Анна Прохоровна запрокидывает голову, долго изучает небо.

— Дождь, наверно, спуститься хочет,— заключает она и принимается охаживать перетаскивать сено во двор. Наблюдать за ней сущее удоволь-

ствии: каждое ее движение целесообразно и сама она подобрана, нетороплива, точно хранит внутри себя что-то важное, важнее этой работы, а уж войны и подавно.

Петра Тихоновича нет с самого утра — отправился на переосвидетельствование. Теперь ведь приказ — регистрироваться всем мужчинам до шестидесяти лет.

В такой долгой разлуке им теперь редко случается бывать, и Анну Прохоровну тянет припомнить о нем что-то важное. Петр Тихонович, оказывается, когда лет пять назад она взяла к себе больную мать, ни разу не попрекнул ее.

— А старые люди — они ведь как надоедают, — объясняет она, разогнувшись.

Я иду через улицу под мерзким, нависающим гулом «фокке-вульфа» к дому с синими наличниками, где поместилась разведгруппа.

Гольшко проснулся. Он в майке, сидит, держа на коленях гимнастерку, и пришивает чистый подворотничок. Лепехин тяжело сопит над вешевым мешком — отыскивает в своем запаснике что-то заветное. Подает капитану кусочек мыла. Гольшко проверяет карты в планшете. На минуту садимся. Потом Гольшко порывисто обнимается с майором Курашовым.

— Доброго здоровьица вам, товарищ капитан! — озабоченно говорит Лепехин.

— Ну, не пасуйте тут без меня! — нахально говорит Гольшко.

И все довольны, вроде нахальство — надежный залог его возвращения. Такой парень все выдюжит. В случае чего его бронепоезд если не по рельсам, так целиной назад отойдет.

Накинув на одно плечо плащ-палатку, он идет по улице размашисто, твердо, не оборачиваясь на нас с Лепехиным. Нам видны его сдвинутая косо фуражка и темноволосый затылок под околышем.

Вокруг нас хмуро и тихо — «фокке-вульф» улетел.

Гольшко уже вышел за деревню, идет под зачистившим дождем и наверняка насвистывает. Он привык искушать свою судьбу.

Дождь сечет мелкий и частый. На всю бы ночь так.

Анна Прохоровна стоит на крыльце, ждет Петра Тихоновича.

— Все листики обмывает. Прямо как по заказу, — сообщает она мне.

Петр Тихонович явился поздно, выможенный до нитки и веселый. Где, с кем набрался — дело темное.

Мы уже улеглись, кто где. Я на лавках в красном углу, под закопченной божницей. С появлением Петра Тихоновича все пришло в движение. Хозяин веселый — постояльцам отрада.

— Поскачь, Тихоныч!

Он хлопает ладонью о колено, вроде бы собираясь плясать, но раздумывает.

— Вы мне тут всю танцплощадку завалили. Хвоста протянуть негде.

На топчане в углу смелее захныкал ребенок, и мать шикнула на него. Две бабы-погорелки, давно переругивавшиеся шепотом из-за мешков с зерном, что сгрудились так, что не поймешь, где чей, теперь без стеснения громко продолжали свой спор.

Пьян, пьян, а их-то Петр Тихонович ядовито так поправил:

— Что, покусаются мешки? Межа нарушилась!

Тотчас заколыхалась на печи занавеска, высунулась с лежанки Анна Прохоровна и нараспев:

— Глядите-ка! Завота его не съела.

Бабы подсмеиваются: после войны Петра Тихоновича, мол, должны произвести над ними в начальники — однорукий ведь, для работы не годится. А та, что кормила грудью ребенка, громко зевая, подзадори-

вала: если б он воевал, быть бы ему теперь уже майором или генералом каким-нибудь.

— Он бы воевал,— сказала с печи Анна Прохоровна,— только вот свое воевало потерял.

Петр Тихонович задул коптилку и полез на печь.

Спят люди. Темно и тихо, воздух в избе тяжелый — сырость амбарная и духота скученности и немывтого тряпья.

Кто-то проснется, охнет, помянет бога, а прислушавшись к дождю, опять заснет, успокоенный.

Дождь хлещет. Раньше сказали бы: не ко времени — хлеб в поле не убран. Теперь же у него служба другая. Льет он — значит, людям выдалась спокойная ночь, не наведет «фокке-вульф» бомбардировщиков. Может быть, и бронепоезд в такой дождь сумеет отойти назад.

## 7

За обуглившимися деревьями, за землей, вспаханной снарядами,— Ржев. Вот он — рукой подать.

Только это когда-то такое было — город Ржев, летний сад над Волгой, духовой оркестр, цветные фонарики, памятник революционеру Грацинскому. Были театр, восемь техникумов, институт. Пахло печеным хлебом, антоновкой, человечьим жильем.

Да было ли такое? Десять месяцев город у немцев. Бесменная виселица возле Грацинского. Немцы вламываются в дома, рвут изо рта последний кусок. Голод. Люди едят толченые листья акации, варят суп из старых кожаных ремней.

А спасение — рядом, вот оно, пробилось к окраинам. Идет бой.

До войны жившие здесь в деревнях люди ходили ежедневно на работу в город. Километров четыре-пять всего.

Этот же путь наши войска шли месяцы в крестных муках.

Когда-то был Ржев. Теперь — укрепленный врагом пункт, «неприступная линия фюрера», плацдарм, с которого немцы еще раз намереваются двинуть на Москву.

От нашего переднего края до Ржева остались метры. Немец не сдаст, и мы не отступимся. Будет ли конец бою?

— Пойдете с «Гвоздикой» по деревне,— сказал мне майор Курашов,— чтоб меньше внимания привлекать. У ручья подождете меня.

«Гвоздика» — так звать теперь Анциферову. Она стоит наготове с котомкой в руках. Мы вышли с ней на крыльцо. Смеркалось, тишина, розоватое поле заката.

Кто-то отделился от амбара. Немец Карл.

— Гуте нахт, фройляйн! — тихо, по-домашнему сказал он, когда мы проходили мимо.

Кончилась деревня. Мы шли по кочковатому, невспаханному полю, поросшему травой. Выбрались на тропинку. Рукав моей гимнастерки терся о рукав Анциферовой, а туго набитый карман ее жакета задевал меня по боку. Мы шли степенно, безмолвно, упорно, как на богомолье.

Где-то сбоку от нас на дороге продвигалась, должно быть, артиллерийская часть — лязгали тягачи. Справа над лесом в сизом неподвижном небе тревожно разорвалась немецкая ракета. Слева на светлом, подсвеченном розовыми бликами небосклоне зажглась звезда. В той стороне тоже немцы. Над полем тек туман, похожий на дымок от артиллерийского залпа.

Уже было топко под ногами и заметно свежо, остервенело квакали лягушки — мы спустились к ручью.



Заговорить сама я не решалась, и мне было тягостно, что Анциферова ни о чем не спросит, почему мы остановились, чего ждем. Как она не похожа на тех, кто уходил до нее. Те были наши, кровно связанные с нами люди. Ей много хуже. Она ничья. Я украдкой смотрела на ее белое лицо. Она, казалось, отрешена от прошлого и будущего, от своих детей и от немцев — какая-то бесплотная. Но когда на рассвете она пойдет с котомкой за плечами на немецкие пулеметы, выхватив из кармана жакета белый платок,— ей будет страшно, потому что тело ее из таких же несчастных молекул, как и мое.

«Кто такая? Почему перешла?» Она все выучила, как полагается разведчику, отрепетировала с майором Курашовым все вопросы и свои ответы. Игра, честное слово, захватывающая, оголтелая. И словно бы уговорились с партнерами соблюдать условия игры. И по этому, значит, уговору спасшюся от преследования русских «Гвоздику» доставят к ее мужу. А дальше ей велено склонить своего мужа, Антона Сергеевича Анциферова, ответственного работника ржевской управы, к сотрудничеству с нами.

Подошел майор Курашов, потрогал сапогом переброшенные через ручей слуги.

— Пошли!

Анциферова встрепенулась, подала ему руку, чтоб он помог ей перейти через ручей, так женственно, так покорно, что я вдруг почувствовала: она погибнет.

За лесом у немцев вспыхивали, как зарницы, ракеты. Вода в ручье улавливала их свет. Странно. Эта же вода, попетляв тут у края поля, через сколько-то минут добредет к немцам.

Возле амбара на весах уже никого не было. Сменился часовой у дома разведгруппы. В кухне мелькал свет — это дергался огонек коптилки. Лепехин проснулся и поставил на стол котелок с холодной кашей и кусок хлеба.

— Ужинайте, товарищ техник-интендант! — Вытянул из-за голенища ложку, обтер ее тряпкой и протянул мне.

Пока я ела, он маялся, борясь с дремотой, поправлял фитиль коптилки, чесал спину, примащивал на кулаках большое, пористое лицо и вдруг заговорил сипло:

— Сумела прийти — сумей и назад воротиться!

## 8

Явился Голышко с бронепоезда. Забинтованный лоб, лицо серое. В армейский госпиталь ехать не соглашается, говорит: слегка царапнуло. Вообще от наших расспросов отмахивается, шутит, а глаза совсем переменялись — тусклые, отчужденные. Видно, не пришел еще в себя.

О бронепоезде в штабе известно: он дерзко ворвался на станцию Ржев I, навел панику. Никто почти не уцелел на нем.

Голышко день маялся, а вечером закатился куда-то гулять: Майор немного смущен его своеволием, но старается как бы не замечать этого.

Под утро из поиска разведчики опять вернулись без «языка». Командарм негодует.

Днем — такая тишина по всему фронту, что все ждут: что-то начнется. Отряд дивизионных разведчиков отправлен в задание — при свете дня взять во что бы то ни стало «языка».

— Воздух! — огорченно сказал нам в открытое окно часовой, по-прозвищу Гоголь.

Уже был слышен прерывистый гул подхившего «мессера».

Мне надо было идти. Майор направил меня на НП дивизии, чтобы на месте допросить «языка», как только явятся из поиска разведчики. — Опять воздух! — огорченно сказал появившийся в окне часовой. Я вышла на крыльцо. Было видно, как снизившийся над большаком «мессер» безнаказанно строчил из пулемета.

— Вот гад — у фрица отдельный кабинет, — сказал Гоголь. Это он о Карле.

На днях, когда по приказу начальника штаба рыли щель для часового, кинули лопату Карлу — рой себе, не жалко. И теперь он торчал оттуда, из своей персональной щели, высунув кудлатую голову.

Почти до самого вечера я дожидалась разведчиков. Удачи им не было и на этот раз. В немецкую траншею они ворвались, но были встречены в упор огнем и отошли, захватив документы убитого фельдфебеля.

Среди документов — приказ по войскам: «Солдаты заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Никакие исторические или художественные ценности на востоке не имеют значения».

Когда я возвратилась в нашу деревню, стояли уже сумерки, кошки рыскали на пепелищах у обугленных печей. Немец Карл ел из котелка свой ужин, сидя на весах у амбара.

Я переступила порог избы и сразу почувствовала: что-то произошло.

— Вы где ходите? — резко спросил майор Курашов.

Его непривычный нервный тон, вещмешки и шинели, сваленные посреди избы, свернутые в плащ-палатку постели, груда бумаг на шестке подтверждали первое ощущение.

— Вы же сами меня послали. — Я доложила о разведчиках.

Майор слушал и крутил ручку телефона, но в трубке никто не отзывался. Я спросила:

— Мне что, собраться?

— Пока никуда не ходите. Не надо общаться с гражданскими.

Я села на край лавки, чувствуя себя почти что под арестом.

Донесся стук копыт по деревенской улице, мы напряженно прислушались. Кто-то подъехал к крыльцу, спешился. Вошел Голышко.

— Пожевать бы что-нибудь, — громко с порога объявил он.

Никто не отозвался.

— Танки немецкие в Корюшках, — сказал Курашов.

Голышко оглядел избу, оценил обстановку.

— Лихо воюем! — Он где-то хватил, и его подмывало.

— Проверь, сколько у тебя патронов, — сухо сказал майор.

— Ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой. По патрону на каждого. Хватит? Он лег на топчан, расстегнул ворот гимнастерки и ремень.

— Горю! Как швед под Полтавой!

Выходило с его слов, что именно в Корюшках, где уже немцы, у него назначено сегодня ночное свидание. Но никогда нельзя было понять, где у Голышки правда, а где «охотничьи рассказы», тем более что сейчас было решительно не до них. Молча ждали приказа уходить.

Наконец зазвонил телефон. Голышко сел на топчане. Майор Курашов поспешно снял трубку. Разговор был минутный.

— Ну все! — сказал майор. — Все, что ли? — И спохватился с досадой: — Немец же еще вот...

Он пошел отдавать последние распоряжения. Голышко отсоединил телефон и теперь жег на шестке бумаги.

— Бегом за вещами, — сказал он. — И потактичней там. Не сей панику среди гражданских.

Я выбежала из избы. Горела соседняя деревня километрах в двух отсюда, пылали дома. Лепехин и немец Карл шли куда-то по улице.

Я надеялась, у нас в избе давно все спят, я возьму вешмешок и одеяло, прокрадусь на печку к Анне Прохоровне и попрощаюсь с ней.

Но хозяйева и постояльцы толпились на крыльце, глядели на полыхавший пожар, прислушивались к тому, что делалось у нас тут, в деревне: вот выводили с усадьбы полуторку.

Я прошла в дом, как сквозь строй, все молча чего-то ждали от меня. Анна Прохоровна потянулась следом за мной, зажгла коптилку.

— Намаешься ты теперь, — сурово сказала она.

Я торопилась, затягивала вешмешок. Она завернула лепешки в тряпицу и отдала их мне. При свете коптилки заострившееся, бесстрастное лицо ее было как у святых на старых иконах. Мы обнялись, Анна Прохоровна вздохнула со всхлипом и сильно дунула на коптилку.

Работал мотор полуторки. Я стояла у дрожащего кузова в ожидании распоряжения майора. Уже были погружены несгораемый ящик и мешки. Мы чего-то ждали. И тут я услышала то, что витало в воздухе, но еще не было произнесено. Это прошло по цепочке от майора Курашова к Голышке и замкнулось на мне:

— Не исключено, что мы окружены.

Пост у избы был снят. Гоголь сидел верхом на нашей единственной лошади: ему было приказано спасти ее от немцев.

Дрожал кузов готовой ринуться полуторки. Голышко курил, пряча в кулак сигарку. Под околышем его фуражки белела полоса бинта. Вокруг тишина — ни выстрела. И от этого совсем жутко. Казалось, подкрадываются в этой тишине немцы, окружают деревню.

Пожар разгорался в небе, и отсвет его блуждал по лицам моих хозяев и их постояльцев.

Это были последние минуты. Мы перевалим в кузов, ринемся пробиваться из окружения. А эти бесколесые, безоружные люди, само собой, останутся тут. Тут были погорелки: женщина с ребенком и бабы, не поделившие мешки с зерном, однорукий Петр Тихонович и Анна Прохоровна с привычно сложенными на животе руками. Они смотрели на наши сборы без осуждения. На их сосредоточенных лицах была война.

Ударил винтовочный выстрел. Он раздался где-то совсем рядом, на краю деревни. Звякнули затворы, мы застыли, вперившись в тишину.

— Полезайте! — спокойно сказал майор Курашов и рванул на себя дверцу кабинки.

Лепехин возвращался один. Зарево светило ему в спину, и лицо его было черным. Он шел с той стороны, откуда раздался выстрел, трехлинейка висела у него на плече.

9

Было тряско в кузове и жутко от грохота нашей полуторки, от блуждания впотьмах. Это длилось долго, и мы все еще не могли решить, где свои, где противник. Потом темнота растеклась, отодвинулась в чашу. Все стало белесым — мелькавшие деревья, небо над нами и сидевший напротив меня Лепехин. В лицо его я не смотрела. Он держал в коленях винтовку, короткие, расплюснутые пальцы его стискивали ствол.

Все вокруг было призрачное, ненастоящее, точно мы уже умерли. Только тревога перехватывала горло, как у живых.

Потом грузовик стал. Крутили ручку, раскачивали машину, толкали в задний борт. Но мотор не завелся.

Майор Курашов поколдовал над картой и повел нас; на груди у него висел трофейный автомат.

Стараясь не шуметь и больше всех шумя, шагал Лепехин с винтовкой в руке и телефонным аппаратом под мышкой.

Немецкий маузер в деревянной полированной кобуре, о котором раньше я могла только мечтать, теперь был отдан мне и лупил меня по боку. Я старалась не отставать от Голышки. Он шел с наганом в руке и тащил несгораемый ящик. Никто не знал, как надо поступить с ним в таком положении, как наше. Сжечь его содержимое? Но если мы выберемся — нам не поздоровится. Какова мера опасности, чтобы так поступать, и кто измерит ее, если мы уцелеем?

Мы шли заболоченным лесом, по голенища утопая в мокрой траве.

Вошли в деревню Белевку с того края, где вчера еще работала немецкая прессовальная машина. В колхозном сарае и прямо на земле громоздились плиты соломы, приготовленной к отправке в Германию.

Где-то там за нами, где мы уже прошли, замкнулось кольцо окружения. А пока они нас окружали, левый сосед наш, воспользовавшись заварушкой, потеснил немцев из Белевки и еще из нескольких деревень. Превратности позиционной войны.

Мы шли вдоль уцелевшего ряда изб. Не гавкнет собака. Не вскинется петух. Все вымерло.

Нам открыла женщина. Секунду постояла в полутемных сенях и поспешно вошла в дом.

— Теща! — осыпше сказал Голышко, волоча за ней несгораемый ящик; половицы под его сапогами оседали и чавкали. — Что-то немецким духом воняет у тебя тут.

В избе на полу стояла коптилка, возле нее в углу что-то копошилось. А дрожащая тень от крохотного пламени коптилки вымахала во всю черную бревенчатую стену.

На лавке у стены зашевелился хозяйкин сынишка, спросонья настойчиво спросил:

— Это кто там?

Голышко сорвал с окна тряпье. Серенький свет упал к нам сюда. Молча стягивали мы со спин вещмешки.

— Кончай молиться! — сказал Голышко хозяйке. — Воды нам требуется. Посвежее.

Хозяйка, сидевшая на корточках возле коптилки, обернулась к нам:

— Мне не отойти. Свинья опоросилась.

— С прибылью! — громко сказал майор Курашов, еще не остывший от азарта, от удачливости — ведь это он вывел нас из окружения, — шумно зачерпнул ковшиком в ведре, напился и подошел взглянуть на поросят.

Мы тоже напились, скрутили сигарки.

Я сидела на лавке, скулы у меня свело от напряжения и усталости. Я смотрела, как женщина гладит распластанную на боку свинью, подкладывает ей сосунков, успокаивает и гладит, гладит...

Лепехин тоже присел на корточки возле опоросившейся свиньи, покачивал сосредоточенно головой, сопел, чмокал, подсоблял хозяйке. Коптилка снизу светила в его рыхловатое, добродушное лицо...

Голышко растянулся на лавке, поправил повязку на лбу, наган сунул под шеку:

— Война-матушка... Перекур, что ли?



---

---

АННА АХМАТОВА

★

## ИЗ ТРАГЕДИИ «ПРОЛОГ, ИЛИ СОН ВО СНЕ»

### ОНА ГОВОРИТ

Никого нет в мире бесприютней  
И бездомнее, наверно, нет,  
Для тебя я — словно голос лютни  
Сквозь загробный призрачный рассвет.  
Ты с собой научишься бороться,  
Ты, проникший в мой последний сон.  
Проклинай же снова скрип колодца.  
Шорох сосен, черный грай ворон;  
Землю, по которой я ступала,  
Желтую звезду в моем окне,  
То, чем я была и чем я стала,  
И тот час, когда тебе сказала,  
Что ты, кажется, приснился мне.  
И в дыхании твоих проклятий  
Мне иные чудятся слова:  
Те, что гуже и хмельней объятий,  
А нежны, как первая трава.

### ОН ГОВОРИТ

Будь ты трижды ангелов прелестней,  
Будь родной сестрой заречных ив,  
Я убью тебя моею песней,  
Кровь твою на землю не пролив  
Я рукой своей тебя не трону,  
Не взглянув ни разу, разлюблю  
Но твоим невероятным стоном  
Жажду, наконец, я утолю.  
Ту, что до меня блуждала в мире,  
Льда суровой, огненной огня,  
Ту, что и сейчас стоит в эфире,  
От нее освободишь меня.



## РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

(К 75-летию А. Ахматовой)

Многие годы поэзия Анны Ахматовой представлялась современникам как бы застывшей в замкнутых границах, проложенных ее первыми книгами — «Вечер», «Четки», «Белая стая»... Казалось, погруженная в прошлое, в мир интимных переживаний, в собственную стиховую культуру, она никогда не вырвется из плена своих излюбленных тем, знакомых образов, найденных интонаций. О том, что Анна Ахматова осуждена «перепевать себя», писала критика еще в двадцатые годы, и, к сожалению, такой взгляд на ее творчество до сих пор не изжит в читательском восприятии.

Но если обратиться к нынешней Ахматовой и внимательно перечитать все, что было создано ею за последние три десятилетия, — станут слышны чрезвычайно порой решительные новые ноты, заметны неожиданно смелые движения и повороты в том лирическом характере, который давным-давно сложился и прочно закрепился в нашем сознании.

☞ Меня, как реку,  
Суровая эпоха повернула.  
Мне подменили жизнь.  
В другое русло,  
Мимо другого потекла она,  
И я своих не знаю берегов.

Не переставая быть собою, Ахматова опровергает себя, точнее сказать — расшатывает и расширяет устоявшееся представление о себе как о поэте дореволюционной лишь поры, замкнутом в тесных пределах, в одном неизменном русле. Об этом гласит прежде всего ее гражданская лирика тридцатых годов и военного времени, исполненная трагической силы и мужества. Ахматова спрсит с теми, кто хотел бы видеть в ней «стороннее» явление, чуждое жизни родной страны, равнодушное к судьбам народным. Сошлемся на ее строки о ежовщине, обернувшейся для самой Ахматовой большой личной трагедией:

Нет, и не под чуждым небосводом,  
И не под защитой чуждых крыл,—  
Я была тогда с моим народом,  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

В ее лирике периода Отечественной войны очень явственно прозвучали идея единства поэта и гражданина, высокая патетика борьбы и скорби. Она писала в 1942 году в стихотворении «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.  
Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова,—  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки!

Меняется сам строй, сама тональность ахматовской лирики. Мы привыкли считать ее тихой, утонченной, женственно-хрупкой, следить за игрой нюансов, «микроскопических малостей», чуть слышных, едва уловимых модуляций. Кто поверил бы, что эта «Царскосельская Мюза» сумеет заговорить так громко, так крупно на языке площадного просторечия, да еще — не о чем-нибудь, а о своем трижды воспетом Царском Селе, давно уже ставшем символом изысканной поэзии прошлого? И вдруг:

...Там солдатская шутка  
Льется, желчь не тая...  
Полосатая будна,  
И махорки струя.

Драли песнями глотку  
И клялись попадѣй,  
Пили допоздна водку.  
Заедали кутьей.  
Ворон криком прославил  
Этот призрачный мир,  
И на розвальнях правил  
Великан-кирасир.

В отличие от ряда своих литературных сверстников и современников Ахматова чуралась резких стилевых сдвигов, радикальных преобразований и более тяготела к традиционным формам стиха, к классической точности и ясности языка, к гармоничной речи Пушкина и Баратынского. Она и сейчас склонна к поэтическим реминисценциям, играющим подчас роль параллельных зеркал, которые создают в произведении углубленную перспективу и вместе с тем сближают удаленные друг от друга предметы («Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет...»). Литературные имена, эпитафии, посвящения, встречи и прощания с минувшим («Как будто прошаюсь снова с тем, с чем давно простилась...»), сведение старых счетов с собою и своею памятью — все это не сковывает, а скорее облегчает задачу: вызвать на небольшом участке стихотворного текста ощущение большого пространства и свободно двигаться в нем, аукаться, переключаться с голосами других эпох, других сфер бытия. Благодаря широте охвата целый мир может стать посредником в разговоре автора с его мысленным собеседником, и то, что этот обмен мыслями ведется вполголоса или протекает в молчании, — уже не помеха. Безмолвие, тишина у Ахматовой обыкновенно говорят не об отсутствии, но о присутствии захватывающего, величественного.

Мне с тобою как горе с горою...  
Мне с тобой на свете встречи нет.  
Только б ты полночную порою  
Через звезды мне прислал привет...

Новые качества поздней ахматовской лирики заставляют по-иному взглянуть и на ее литературную биографию, пересмотреть некоторые ставшие традиционными мнения о поэзии ранней Ахматовой. Стоит задаться вопросом по поводу ее возможности — быть может, уже тогда, в начальный камерный период ее развития, тайлось, существовало в потенции то, что послужило опорой позднему, окрепло и обновилось впоследствии?

Ахматова всегда была признанным мастером лирического автопортрета, воссоздающего жесты и мимику живого лица с такой непринужденной наглядностью, что оно начинает высовываться из рамы стихотворения. Малый формат в данном случае оказывался необычайно вместительным. Ахматова обладала способностью в объем четверостишия уложить судьбу человека с его психологическими изгибами и тайнами внутренней жизни.

Я счастлива. Но мне всего милей  
Лесная и пологая дорога,  
Убогий мост, скривившийся немного,  
И то, что ждать осталось мало дней.

Помимо смысловой и предметной наполненности лирика ранней Ахматовой нередко способна удивить размахом интонации, силой, напором голоса, который, как писал некогда Мандельштам в стихотворении, ей посвященном, «души расковывает недра». Лирическая партия в таком случае ведется с такой широтой душевных и соответственно интонационных движений, что камерный жанр становится пристанищем для характера крупного, мощного, почти монументального. В самом интимном она владеет искусством взвышенного, героического, трагедийного слова и жеста. Всем памятна классическая тирада Ахматовой:

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом  
Окаянной души не коснусь,  
Но клянусь тебе ангельским садом,  
Чудотворной иконой клянусь



И ночей наших пламенных чадом —  
Я к тебе никогда не вернусь.

Эта инвектива не только раскрывает, как принято думать, раненое женское сердце, оскорбленное и негодующее, но и демонстрирует нам истинные возможности той личности поэта, которая стоит за всеми этими пронзительными заклятиями.

Диапазон ее лирического дарования достаточно рано давали почувствовать и произведения Ахматовой, проникнутые сознанием гражданского долга, личной и общей ответственности за судьбу родины. Примечательно в этом плане ахматовское стихотворение, написанное в 1917 году и прозвучавшее как огповідь всем, кто намеревался покинуть Россию, охваченную революционным пожаром. В тех условиях (несмотря на то, что современность была тогда представлена ею преимущественно в сумрачном освещении) был важен сам выбор, сделанный Ахматовой и решенный в пользу родной земли. Вот почему (по свидетельству К. И. Чуковского) Александр Блок, любивший это стихотворение и помнивший его наизусть, придавал ему принципиальное значение. «Ахматова права,— говорил он.— Это недостойная речь. Убежать от русской революции — позор».

...Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «Иди сюда,  
Оставь свой край глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда.  
Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну черный стыд,  
Я новым именем покрою  
Воль поражений и обид».  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.

От еле внятного шепота до пламенной ораторской речи, от скромно потупленных глаз до грома и молнии — такова широта ее чувства и голоса. Должно быть, именно здесь следует искать истоки того, что выросло в дальнейшем и дало возможность лирике Ахматовой повернуть в новое русло, вмести в свои берега и патриотический пафос, тишину высоких метафизических созерцаний, и шумные, разноголосые споры умерших и живущих.

А. Синявский.



---

---

# Л У Б А И Щ И С Т И Ж А

С. ИВАНОВ

★

## ТРЕТЬЕ СЛАГАЕМОЕ

I

**С**верхскорость, сверхдавление, сверхтемпература... Что ни день, то известие о новом рекорде техники, которому уже не удивляешься, а значит, и не задумываешься над ним, воспринимая это техническое *crescendo* как самодовлеющий признак времени: нельзя уж, видно, довольствоваться просто скоростью, просто давлением, без этих «сверхдорогих», но эффектных. Разумеется, нельзя, но погоня за критическими режимами вызывается в технике не спортивным духом, а необходимостью. Истина азбучна, но в потоке рекордов иногда расплываются очертания цели, а цель проста: сверхскорость — это высочайшая производительность обработки металла; сверхдавление — инструмент для получения искусственных алмазов; сверхтемпература — путь к управляемому синтезу ядер. Всякое «сверх» — это рубеж, за которым рождается новое вещество, новый источник энергии, в самом скромном случае — крупный экономический выигрыш.

Какими же должны быть материалы, чтобы вынести эти режимы и устоять перед напряжением сверхпараметров! Они должны превосходить себя в большей прогрессии, чем превосходят себя скорость, давление, температура. Первое, с чем столкнулись физики, экспериментирующие с плазмой, была проблема материала, который хоть на миг удержал бы этот сгусток солнца, и физики обратились к магнитному полю — к самому фантастическому материалу из всех, какими располагает не только опыт, но и воображение. Но и обычные энергетические машины доходят до пределов. Конструкторы уже бьют тревогу: пора проектировать генератор на миллион киловатт, а для него еще нет жаропрочного материала. Отказываться же от такого генератора нельзя: чем выше мощность, сосредоточенная в одной машине, тем выше коэффициент полезного действия электростанции и тем быстрее ее можно построить. В любой области техники проблема материалов становится первостепенной, ядро же этой проблемы — прочность.

Но ведь есть у строителей железобетон, а у машиностроителей — сплавы. И разве не идет на смену железному веку век всемогущих полимеров?

Он идет, но не на смену, а на помощь, подобно тому как идут на помощь обычным электростанциям электростанции атомные. Пластмассы во многих случаях прочнее, надежнее, дешевле традиционных материалов. Но во многих — это еще не во всех. Та же прочность рассматривается применительно к растяжению и вибрации, к истиранию и удару, к жаре и морозу, к кислотам и щелочам. Еще требуются тысячи исследований, а инженерам ждать нельзя, им надо строить.

Придет время, и синтетические материалы одержат полную победу в тех областях, где эта победа экономически необходима. И это будет торжество века полимеров. Но железо и другие природные материалы не станут объектами археологов. Ни металл, ни бетон, ни даже глина не исчерпали и сотой доли своих возможностей. Между ними и материалами синтетическими разницу видят в том, что последние не встречаются в природе, но, строго говоря, не встречаются в природе ни сталь, ни бетон, ни даже железо. Если же искать не разницу, а сходство, то обнаружится, что рано хоронить и металл

и бетон, как рано, например, сомневаться в безграничных возможностях неатомной энергетики. Честь и место химикам, синтезирующим новые пластмассы, и конструкторам, которые пользуются деталями из пластмасс. Но разве время металлургам или бетонщикам складывать оружие? А они и не складывают, они ищут. И там, где приговоренный материал вдруг обнаруживает упорное нежелание сойти со сцены, и лежит как раз ключ к решению спора века с веком и к пониманию масштабов химизации, которым и посвящен наш рассказ.

Прочность металла зависит от его чистоты. Вакуумные установки отсасывают из стали нежелательные примеси; готовый слиток превращают в электрод и снова переплавляют, и слиток расстается с последними остатками примесей. Нет больше очагов внутренних напряжений, способных вдребезги разнести турбину. Но существуют примеси и желательные, они делают чугун пластичнее, магниевый сплав устойчивее к высокой температуре, сталь тверже, и металлурги всерьез поговаривают о том, что пройдет лет десять — и прочность легированной стали на разрыв достигнет четырехсот килограммов на квадратный миллиметр. Легированная сталь — это сплав железа с хромом, никелем, вольфрамом, молибденом. Само по себе железо никого не занимает — больше двадцати пяти килограммов оно не выдерживает. Но физикам, например, известно, что межатомные связи в кристаллах рвутся не при четырехстах килограммах, а по крайней мере при четырех тысячах. Правда, речь тут идет об идеальном кристалле, о кристалле гипотетическом, а в обычных кристаллах видимо-невидимо нарушений порядка — дислокаций. Дислокации путешествуют с одной атомной плоскости на другую и ослабляют кристаллическую решетку.

Но, оказываясь, дефекты полезны, если их много. Всем известная прокатка увеличивает количество дислокаций в несколько тысяч раз, их становится так много, что они мешают друг другу перемещаться. В лаборатории прочности Института металлургии Академии наук СССР прокатывают и охлаждают листы, фиксируя строй дислокаций, — прочность стали на разрыв увеличивается в пять раз. Удесятерится жаропрочность труб для энергетических котлов. Но все это, грубо говоря, выжимание добра из худя. Гораздо интереснее не загонять дислокации в кристалл, а избавиться от них совсем. Металлурги выращивают из солей металла короткие усы, толщиной со волос. Усы обнаруживают потрясающую прочность: медь выдерживает шестьсот килограммов на квадратный миллиметр, железо — тысячу четыреста. Усы — кристаллы без дислокаций.

Попытка удлинить ус катастрофически снижает его прочность. Долго никто не догадывается, что делать с диковинкой. Наконец проблеск: усы пригодились на подвесы для чувствительных приборов. Но что подвесы, когда нужен рельс из бездислокационного металла! Это недостижимо, а раз так, приходится раздвигать рамки привычных представлений о конструкциях. Будем пряхть пряжу из усов, сплетем из них сверхпрочные канаты, соткем кольчуги для рабочих органов машин. Но лучше всего — и тут в лаборатории навсегда прекращаются иронические замечания в адрес «этих самоуверенных химиков», — лучше всего впрячь в одну телегу металл и пластмассу — залить усы связующим пластиком. Тогда композиция окажется технологичной, удобной для формования. Из металла будет выжато все, что можно, а пластик поможет найти ему применение да еще обогатит его новыми свойствами.

В финале поисков сверхпрочного металла появляется пластмасса. Финал символичен, но пластмасса могла и не участвовать в нем, ибо не в ней одно дело. Не участвовала она, например, в создании другого конструкционного материала — сверхпрочного бетона, а между тем бетон этот — детище химизации.

Несколько лет назад над бетоном нависла угроза. Угроза исходила от силикатов — издавна материалов непрочных и в строительном деле второстепенных. Таллинский инженер Йоханнес Хинт, размышляя над процессами, происходящими в автоклаве, где горячий пар скрепляет песок с известью, решил сорвать с песчино прочные пленки окислов, мешающих кремнезему вступать в химическую реакцию с известью, сконструировал для этого особую машину — дезинтегратор, молекулы очищенного кремнезема углубились в молекулы извести, и у Хинта получилось новое химическое соединение — силикальцит, — оказавшееся вдвое прочнее бетона.

Вдвое прочнее и вдвое дешевле: мелкого песку не найдется разве что в Антарктиде, да и извести кругом немало. Прежде чем получится бетонный блок, для него надо добыть щебень, песок, глину, известняк и раздробить их в камнедробилках. Известняк и глину смешивают с водой и отправляют в цементную печь — огромную вращающуюся трубу, разделенную на зоны, где сначала испарится вода, потом глина разложится на окислы алюминия и кремния, потом углекислый газ покинет известняк, потом все окислы спекутся в клинкер, а клинкер раздробят в цемент. К цементу добавляют воды, соединят его с песком и щебнем, и только тогда появится бетон. Втрое меньше операций требуется силикальциту, гораздо легче построить силикальцитовый завод (где всего одна машина — дезинтегратор), и неспроста стекаются к Иоханнесу Хинту гости из США, ФРГ, Италии, Англии, Японии.

Но рано торжествуют силикатчики — уже готов рецепт живой воды, которая вернет поверженному бетону могущество. Рецепт этот предлагает физико-химическая механика, которую академик П. А. Ребиндер называет наукой о создании самых выгодных и прочных материалов для всего на свете. Физико-химическая механика ведет свою родословную от коллоидной химии, десятилетиями изучавшей клееподобные эмульсии и суспензии — взвеси твердых тел тонкого помола. Добравшись в этих исследованиях до отдельных молекул, коллоидная химия превращается из науки описательной в науку наступательную. Изучение молекулярных сил ведется на поверхности веществ, где и формируются главные «прочностные характеристики» материалов.

Физико-химическая механика исследует силы поверхностного натяжения, прилипания и отталкивания. Почему слой масла толщиной в одну молекулу сковывает яростную волну? Не потому ли, что масляные молекулы поворачиваются к воде той группой атомов, которая испытывает к ней наибольшее тяготение, и благодаря этому размещаются очень плотно? Оттого и «как с гуся вода», только здесь механизм действует в обратном направлении. Эти свойства поверхностно-активных веществ, к которым принадлежат некоторые жиры, кислоты, эмульсии, могут оказаться чрезвычайно полезными. Токари применяют жидкие смазки-эмульсии и думают, что смазки, охлаждая резец, облегчают резание. А дело вовсе не в этом: когда резец снимает стружку, в детали возникают мириады трещин, куда попадают молекулы смазки. Молекулы оседают на металле, поворачиваются активными группами, слой молекул расталкивает стенки трещин, и резец лишь довершает их работу. Нечто похожее происходит и со смазкой в трущихся частях машин. Сначала она прилипает к поверхности металла, еще шероховатой и покрытой трещинами, и принимается ее разрушать. Поверхности деталей изнашиваются, отполированные площади их контакта возрастают, износ прекращается, смазка вступает в обычную роль разделителя, и не детали уже трутся, а смазка трется со смазкой. Новая наука с головой уходит в практику: рецепты смазок, усовершенствование бурения, сушка угля, древесины, обогащение руд. И наконец бетон.

## II

Чем больше поверхность у твердого тела, тем полнее проявляют себя молекулярные силы. Если раздробить каменный кубик в мельчайшую пыль, общая поверхность его частичек увеличится в сто тысяч раз. Чем ближе тело к молекулярному состоянию, тем больше энергия межмолекулярных взаимодействий, сосредоточенная в поверхностных слоях. В физико-химической механике стало хрестоматийным сравнение твердого тела с цепью, в которой через каждые десять стальных колец встречается одно бумажное. Прочность цепи, естественно, определяется прочностью бумажного кольца. Это кольцо та же дислокация, изъян, который прячется между атомами и молекулами. И чем меньше размеры зернышек тела, тем меньше остается места для дефекта. Чтобы избавиться от дефектов, нужно разорвать цепь в бумажных звеньях и снова ее спаять. Путь к прочности лежит через разрушение! Физико-химическая механика провозглашает один из своих основных законов. ничуть не смущаясь его парадоксальностью.

Приготовить цемент сложно, но это полбеды. Все меньше и меньше остается на земле гравия. Вместо него берут крупнозернистый песок, но и его становится мало. Чтобы перемешать как следует материалы и сделать их удобными для укладки, их раство-

ряют в огромном количестве воды, она остается в бетоне, образует поры, те всасывают влагу, на морозе она расширяется, и сооружению приходит конец. Крупный цемент не успевает раствориться в воде и служит, как песок, твердым наполнителем; он растворяется лет через двадцать, и тогда бетон достигнет проектной прочности. В расчете на это гидростанцию или плотину строят с немислимым запасом прочности. И всего этого можно избежать, воспользовавшись рецептом профессора Н. В. Михайлова: забудем о щебне, гравии и крупном песке, только дешевый и вездесущий мелкий песок и цемент, превращенный из муки в тончайшую пудру. Благодаря «сильно развитой» поверхности мелкие зерна песка схватятся с частичками цемента. Мелкий цемент быстро растворится в воде, и проектная прочность будет достигнута сразу; из того же количества цемента можно получить вдвое больше железобетонных изделий. Они будут прочны, их не разрушат ни вода, ни мороз, ни агрессивные вещества. Бетон становится прочнее силикатного.

Давно, конечно, известно, что мелкие частицы прочнее крупных и химическое соединение прочнее механического. Но между рецептом и выздоровлением лежит еще возможность приготовить лекарство. Чем меньше частицы, тем выше у них силы межмолекулярного сцепления и тем труднее их перемешивать в обычных мешалках. Вместо того чтобы подумать о новых машинах, бетонщики принимаются толковать о том, какая степень измельчения допустима в рамках привычной технологии. Да и как измельчить цемент и песок в пудру? И физико-химическая механика принимается за создание новой технологии. Все машины — мельницы, смесители, транспортеры, уплотнители — будут вибрировать. Вибрация разрушит структуру частичек, в тысячи раз снизит вязкость смесей. А чтобы частички не слипались, в помол вводят поверхностно-активные вещества; они покрывают молекулярным слоем частички цемента, временно блокируют центры кристаллизации; смесь укладывают и уплотняют, а затем бетон начинает быстро твердеть. В Москве входит в строй опытная линия сверхпрочного бетона; новую технологию разрабатывают в Ленинграде, Риге, Тбилиси, Харькове. Гости из-за рубежа вносят поправки в свой маршрут.

Из одного бетона не строят, материалом эпохи сделала бетон стальная арматура. Конечно, цемент и песок не вступают в химическую реакцию со сталью, но прежде бетон невозможно было армировать тонкими стальными струнами, расположенными точно по законам строительной механики, а новый бетон пригоден для этого. Инженеры уже мечтают о железобетонных самолетах, легких и прочных, не боящихся ни вибрации, ни теплового барьера, и цемент представляется им материалом завтрашнего дня. Детали из песчаного бетона объединит виброколлоидный клей — смесь цементной пудры все с тем же поверхностно-активным веществом. Испытайте конструкцию на изгиб или на разрыв — она разрушится где угодно, голько не по шву.

Пройдут годы, и все несущие конструкции зданий будут сделаны из тонкого и прочного армированного бетона. На тех же фундаментах, что закладывают сейчас для обычных домов, вырастут стоятажные здания. Машины будут такими легкими, что их можно будет переносить на руках.

Но воздержимся от прогнозов; перед нами готовый проект, созданный членом-корреспондентом Академии наук СССР Б. К. Александровым. Плотина гидростанции составляется из легких сборных конструкций, изготовленных на автоматических линиях в виде ячеек из напряженно-армированного песчаного бетона, склеенных виброколлоидным клеем. Чтобы плотина удерживала напор воды, ее утяжеляют самыми дешевыми материалами на свете — грунтом и водой. Расход бетона и сроки строительства уменьшаются втрое, и, как знать, не окажутся ли вскоре гидростанции дешевле тепловых станций?

Физико-химическая механика, поставившая себе целью создавать материалы с заранее заданными свойствами, опрокинет еще немало привычных представлений и предложит практикам тысячи ценнейших рецептов. Разве, кроме бетона, мало приложенный для науки, объединяющей в себе три науки сразу? И разве не универсален ее подход к прочности любых материалов вообще? Она берет под опеку все материалы техники — бетоны и металлы, керамику и металлокерамику, пластики и резину, смазки и ткани. Вот ее привлекает кожа — она советует пронизать ее тончайшими порами, и кожа будет

дышать, оставаясь водонепроницаемой. Агрономы в отчаянии: селитра слеживается при хранении и перекристаллизовывается в прочный камень. Как удержать селитру в гранулах? Да, конечно же, с помощью поверхностно-активных веществ, обволакивающих молекулярной пленкой каждый кристаллик.

Необозримое поле деятельности лежит перед новой наукой. Но в центре внимания по-прежнему проблемы прочности: соревнование со сверхпараметрами, борьба с расточительством материала. Физико-химическая механика роет могилу знаменитому «коэффициенту незнания», которым инженеры именуют перестраховочную прочность конструкций. На быстропеременные нагрузки, вибрации, необратимые деформации плетется крепкая узда; все капризы материалов получают объяснение, а за объяснением придет и покорность.

Металлурги и керамисты ищут способы получения твердосплавных деталей: нужны сверхпрочные резцы. Родается порошковая металлургия. Крошечные зерна сплавов склеивают с вязущим веществом, прессуют и спекают. Чтобы зернышки плотно заполнили форму, нужно преодолеть силы сцепления. Давить нельзя — зерна заклиниваются, приобретают упругость и деталь разрушается. Физико-химическая механика предлагает все ту же вибрацию и поверхностно-активные смазки. Молекулы порошка не будут слипаться и великолепно утрамбуются в форме; давления почти не нужно, а значит, не нужно дорогих и громоздких прессов.

Второе рождение переживают не только металл и бетон, но и еще один древний материал — стекло. Оно обладает набором великолепных свойств — твердостью, долговечностью, прозрачностью, кислотоупорностью; его отливают, прокатывают, как металл, прессуют, как пластмассу, шлифуют, сверлят, полируют. Но стекло не пускают в конструкции: оно не сопротивляется удару, изгибу, резкой смене температур. Химики вознамерились упрочнить стекло, и вот перед нами ситалл — белый кубик с гранью в квадратный сантиметр. Нагрузка в пятнадцать тонн, которую он выдерживает, не снилась ни бетону, ни стали. Он не теряет формы при нагреве до полутора тысяч градусов, и если его потом бросить в ледяную воду, на нем не появится ни малейшей трещинки.

Чтобы получить ситалл, стекло определенного химического состава подвергают термической обработке, и в нем зарождаются мельчайшие кристаллы тугоплавких минералов. Микросталлиническая структура, которой можно управлять, и придает ситаллу сверхпрочность. Ситалл обладает таким комплексом свойств, какого нет ни у металлов, ни у пластмасс; только хрупкость получили ситаллы от стекла, но в конструкциях, не испытывающих больших ударных нагрузок, они уже соперничают со сталью. Эти так называемые технические ситаллы получают из стекол с дорогими компонентами. Но есть и дешевые ситаллы. Каждый год металлурги отправляют в отходы десятки миллионов тонн доменных шлаков. Стены, лестницы, подоконники, облицовочные материалы — все это уже выпускают в Донбассе, где завод стекла стал заводом шлакоситаллов. Если же ученым удастся сделать ситалл еще и эластичным, он заменит металл во всем. Создаются комбинированные материалы — ситаллопластики, они эластичнее ситалла и тверже пластмассы. А физико-химическая механика предлагает еще комбинацию — металлоситалл, который можно получить приемами порошковой металлургии.

Ситаллы ситаллами, а металлу еще жить долго. Как же обстоят дела у заводских металлургов?

Уже давно металлургию именуют химией высоких температур. И в самом деле, где граница между химической и металлургической промышленностью? Доменная печь — это огромная химическая реторта, где протекают реакции восстановления железа; конверторная выплавка стали — воплощение мысли химиков об интенсификации кислородом металлургического процесса. Посты химических лабораторий выдвинуты в каждый цех, чтобы сообщать сталеварам о результатах непрерывных экспресс-анализов. С утра до ночи металлурги ведут изощренную борьбу с химическими элементами — серой и фосфором, отдавая их химикам; из серы химики делают серную кислоту, из фосфора — удобрения.

Своим бурным развитием химия во многом обязана виртуозному умению превращать отходы в ценнейшие вещества и материалы. Сбывается предсказание И. П. Бар-

дина о том, что домна превратится в агрегат для производства шлака и, между прочим, будет выплавлять чугун. Доменный газ насыщается водородом, а обладая им, можно приготовить азотные удобрения, мочевины, соду. Отходы коксохимии оказываются сырьем для искусственного волокна. К каким же преобразованиям может привести такая химизация металлургии, не кончится ли дело металлургохимическим комбинатом, где будут производить разнообразные вещества и материалы — от стали до мочевины?

Нет, химики заняты не одними всемогущими полимерами. Неожиданные проекты, смелые и парадоксальные, пронизывают всю науку о традиционных материалах. Химизируется строительство, химизируется металлургический завод, химизируется даже святая святых металлургии — ее академический институт. Химизация вовсе не исчерпывается связующим пластиком, который поможет бездислокационным «усам» выйти в промышленность. Признак химизации — пристальное внимание к мельчайшим частичкам вещества, к такому состоянию, когда вещество свободнее проявляет себя, к молекулам и атомам, изучение которых обнаруживает возможность управлять свойствами любых материалов; переход к чисто химическим методам получения композиций из разнородных веществ, приводящим к сочетанию прежде не сочетавшихся свойств. А раз так, то может ли химик ограничиться сегодня знанием одной лишь химии? Что он будет делать, когда позовет его к себе металлург или бетонщик? А они давно уж зовут к себе химиков. Химическая лаборатория «Запорожстали», где уже работает двести человек, превращается в целый научно-исследовательский институт, обслуживающий доменные и сталеплавильные цехи. Нет, видимо, больше не существует «чистой» химии!

### III

Стремление к атомно-молекулярному уровню, которое мы видели в физико-химической механике, есть характернейшая черта в подходе к любому материалу. Возникло же это стремление тогда, когда началось проникновение физики в химию.

«Еще совсем недавно физика и химия шли своими особыми, отдельными путями. На наших глазах эти пути сближаются,— писал Н. Д. Зелинский.— Может ли быть иначе? Ведь именно благодаря физике мы познали природу тех сил, которые действуют в химических преобразованиях веществ... И не вопросы ли новой химии заставляют физику, достигшую изумительных результатов в изучении свойств отдельного атома, особенно настойчиво стремиться к решению следующей, более трудной задачи: к раскрытию сложных взаимодействий целых комплексов атомов, законов возникновения и жизни огромных молекулярных конструкций, из которых формируются белки, вытягиваются нити шелка, складываются грани кристаллов. Наши взоры в прямом смысле этого слова... прикованы сейчас к молекуле — носительнице химических свойств любого вещества. Мы ее разрушаем, исследуем по частям, синтезируем, видоизменяем всеми доступными нам способами. Мы отмечаем малейшие вариации ее свойств в зависимости от внешних воздействий. И разве не естественно стремление усилить эти воздействия?! Разве не естественно желание получить как можно более резкую картину этих изменений, расширить их диапазон в поисках новых, неизвестных доселе веществ, которые приняты на вооружение техники?!»

Переход на молекулярный уровень заставляет химиков просить о помощи физику, обладающую более тонкими и мощными инструментами; благодаря теоретическим и экспериментальным методам физики химики узнают строение и свойства основных частиц, участвующих в процессах. Сбываются слова Ломоносова: «Когда химия будет действовать через геометрию, механику и оптику, она, вероятно, достигнет желаемых тайностей».

Вещества, помещенные в магнитное поле, поглощают радиоволны; возникают характерные для них спектры резонанса, и химик обнаруживает, например, свободные радикалы — осколки молекул, активно участвующие в химических реакциях. С помощью радикалов химик получает фенол и ацетон. Радикалы играют решающую роль в цепных химических реакциях, открытых лет на тридцать раньше ядерных. Изучая реакцию образования хлористого водорода, химики замечают, что поглощенный квант света

может привести к выработке огромного количества продукта. Чисто физическое объяснение феномена оказывается недостаточным, и химики уже помогают физикам, внося в анализ свои понятия. Рука об руку расшифровывают они цепной механизм окисления метана и получают из него формалин. Проводя цепной процесс окисления жидкого бутана при температурах и давлениях, близких к критическим (вот они — сверхпараметры!), химики получают уксусную кислоту и этилацетат. Все глубже идет познание химических процессов, все легче ими управлять.

Ядерная физика продолжает вооружать химию. Она дает ей ядерный магнитный и квадрупольный резонансы, позволяющие перевести качественные различия химических свойств на количественный язык, дает эффект Мессбауэра, рассказывающий химикам о строении электронных оболочек молекул, о величине внутримолекулярных электрических и магнитных полей. Но и химики уже не остаются в долгу: появляется радиохимия, изучающая химические свойства радиоактивных элементов и использующая их для методической помощи физике. Физики изучают так называемые многоканальные ядерные реакции, когда из возбужденного ядра возникает широкий ассортимент радиоактивных продуктов. Методы ядерной физики — счетчики, камеры, фотоэмульсии — позволяют определить число, природу и энергию частиц, а какие изотопы каких элементов получились, устанавливает химия. Снова физика помогает химии. Складывается радиационная химия, использующая для катализации процессов нейтронное и гамма-излучение. Химики создают удивительную пластмассу — тефлон. Он безучастен к кислотам и щелочам, он не горит, не набухает в воде, не боится жары, не пропускает ток. Он обещает быть отличным материалом для реакторов, изоляторов, подшипников. Но тефлон не технологичен, не поддается сварке. И химики обращаются к радиоактивным излучениям. На поверхность тефлона наносят соединение бора; один из его изотопов поглощает нейтроны и делится на альфа-частицы и ядра лития. За десятиллиардную долю секунды вещество разогревается до тысячи градусов, и молекулы тефлона сшиваются с молекулами других полимеров и даже металлов. Теперь из этой пластмассы можно делать что угодно.

Давно ли строением атомов занимались только физики и давно ли учили мы, что атом водорода легче всех атомов? Получены легчайшие — пионий, мюоний, позитроний. Таблица Менделеева начала расти влево. Атом позитрония живет миллионные доли секунды, но уже создается химия позитрония; думают, что этот легчайший из «новых атомов» поможет разгадать кое-что в механизме химических реакций и в поведении плазмы.

Исследование полупроводников начали не химики, а физики, теперь трудно определить, кто впереди. Полупроводниковые свойства зависят от так называемого ближнего порядка в расположении атомов, а тот в свою очередь от типа химической связи. Фантастической чистоты полупроводников — один атом примеси на миллиарды атомов основного вещества — добиваются комбинацией физических и химических методов.

Во всем мире ученые ищут способы преобразования энергий в электричество без промежуточных превращений. Пока химическая энергия топлива превращается в тепловую, тепловая в механическую, а механическая в электрическую, теряются две трети энергии. «Гальванический элемент, в котором расходуются уголь и к которому каким-либо путем подводится кислород воздуха, — писал еще В. Оствальд, — являлся бы великим открытием, которое превзошло бы открытие паровой машины». Открытие это сделано физиками и химиками, называется оно топливным элементом. Через электроды из пористой угольно-никелевой массы продувают водород, электролит отдает ему кислород; гремучий газ в присутствии пористого никеля окисляется в воду, и в цепи возникает ток. Топливные элементы сулят энергетике восьмидесятипроцентный коэффициент полезного действия, огромную экономию топлива и материалов, избавление от дорогих котлов и гурбин. Энергетики с надеждой смотрят на химиков.

С надеждой смотрят на химиков и инженеры-технологи. Представим себе машиностроительный завод, где еще нет никаких пластмасс, и присмотримся к обычной сварке. Тысячи проблем возникают в технике из-за того, что новый материал плохо поддается соединению с другими материалами. За восемьдесят лет существования сварки создано



не менее восьмидесяти ее способов, и каждый из них так или иначе был вызван новым материалом. И первая революция в сварке связана с химией. В 1940 году родился способ автоматической сварки под флюсом; чтобы сварной шов был чистым и плотным, его требовалось защитить от воздуха; этой цели и послужил флюс — порошок из ферросплавов и силикатов. В некоторых случаях лучше защищать дугу углекислым газом, но при горении углекислый газ разлагается на окись углерода и кислород — бич сварщика. И инженеры прибегают к активным раскислителям — кремнию и марганцу. Чистая химия! Это было лет восемь назад, а сегодня самой перспективной считается диффузионная сварка в вакууме — взаимопроникновение молекул разнородных металлов. Она соединяет металлы и пластмассы, никогда не соединявшиеся друг с другом, и, кажется, обещает соединить сталь с титаном и алюминием, то есть произвести целый переворот в технике.

В других цехах металл обтачивают, фрезеруют, шлифуют, полируют, и горы металла отправляются в стружку. Недаром химик упрекает сегодня металлста за то, что тот никак не может оторваться от резания. Химик предлагает металлсту вещество, которое всегда разрушало, но которое столь же успешно может и созидать. Металлист опасливо берет его: это порох. Он кладет горсть пороха на стальной лист, и лист разрезан пополам в мгновение ока — взрыв заменяет гильотинные ножницы. Резка листов — первый шаг к детали. Готовые детали выходят из-под штампов мощных прессов. По сравнению с резанием штамповка — передовая технология, но и у нее есть изъян: громоздкое и дорогое оборудование. Химик предлагает тот же взрыв. Он кладет на железобетонную плиту с углублением лист, насыпает порох, закрывает все это железобетонной крышкой, и взрыв выгибает лист точно по форме углубления. Получается днище котла. Взрыв режет, штампует, упрочняет детали, вытягивает проволоку, изготавливает трубы, спекает металлокерамические детали.

Не один взрыв предлагает машиностроителю химия. Есть еще гальванотехника — один из методов электрохимии. В ваннах с растворами солей металла осаждаются на изделиях тонкие металлические пленки. Электрохимия научилась наращивать атомы металла на любой электропроводящей поверхности. Может она и снимать атомы — ток уносит электроны с поверхности заготовки, превращает атомы в ионы, и они растворяются в электролите. Химики и инженеры придумывают способ стремительно менять порции раствора, это позволяет поднять силу тока, и электрохимия становится скоростной. Заготовку — анод — помещают между катодами нужной формы, электролит омывает их, ток растворяет металл, катоды сближаются, и заготовка превращается в турбинную лопатку в двадцать раз быстрее, чем на шлифовальном станке. Напрасно металлост иронизировал над пробирками, как бы не пришлось ему сдать в лом свои станки и установить в цехе автоматическую линию пробирок — пластмассовых ванн с электролитом!

Более чем плодотворно это слияние электрификации и химизации в единой технологии. Как химизация дает нам не только новые материалы, так и электрификация служит не для одного освещения и движения моторов. Электрификация и химизация рисуют нам контуры будущего машиностроения без машин. Ионы и электроны работают с молекулами и атомами металла без посредников — резцов и штампов, а значит, без станков и прессов; электрохимический агрегат выполняет все операции, и отпадает проблема транспортировки деталей от позиции к позиции, проблема синхронизации различных операций, над которой бьются конструкторы автоматических линий. На заводе не думают об отходах, растворенный в электролите металл извлекают обратно и вновь пускают в дело. Раз нет тяжелых машин, нет и массивных фундаментов. Легкое многоэтажное здание становится в ряд с жилыми корпусами.

Разница между металлом и пластмассой, бетоном и синтетической тканью — в способе изготовления, а не в природе вещей. Химия в содружестве с физикой разрабатывает способ, приложимый ко всем веществам и материалам; производство материалов традиционных уже напоминает производство новых материалов. Благодаря непрерывности процесса, основанной на взаимодействиях молекул и атомов, химическое производство стоит на первом месте по «автоматизируемости». Все попытки автоматизировать

привычную технологию оканчиваются неудачей, все случаи химизации технологии успешны и эффективны. Будущие материалы — это материалы из порошков, утверждает физико-химическая механика. Тогда машиностроительный завод будущего — непременно химический завод, даже если там имеют дело только с металлом: изделие формируется из молекул и атомов. Это и есть подлинная химизация: не химический материал — все материалы станут химическими! — а химическая технология, химический метод всякого производства.

#### IV

Химия и физика разрабатывают различные варианты молекулярной технологии для производства материалов и изделий из веществ синтетических и природных, а в науке и технике закладываются основы еще одного переворота. Он рождается из того же молекулярного подхода, но приходит не непосредственно из химии, а через биологию.

Часть биологии химизировалась давно, как только начали изучать обмен веществ. Но пока сведения о клетке ограничивались ядром и протоплазмой, исследования двигались неторопливо. Физический прибор — электронный микроскоп — делает клетку в миллион раз ближе. Начинается эпоха биофизики и физической биохимии, скрепляющих между собою все ветви биологии. Складывается комплексный подход к изучению живого. Химики исследуют клетку и обнаруживают, что это гигантский химический комбинат, чистейший объект химического исследования. Меченые атомы пускаются в путешествие, и химик видит, как клетки и ткани обмениваются веществами, как после распада клетки часть ее белковой молекулы перекочевывает в молекулу другой клетки. Физическая биохимия узнает и состав веществ, и их динамику.

Техника вручает биохимии инструменты для ультраточного резания клетки; ученые видят, что зернышки в протоплазме, которые были заметны еще в обычный микроскоп, не что иное, как химические цепи со сложнейшей структурой. Они получают еще один мощный инструмент для исследований — центрифугу. Клетку уже растирали, разбивали ультразвуком, разлагали химическим путем; теперь центрифуга, в которой сила тяжести ее много раз больше, чем в космическом корабле при ускорении, разделяет клетку на ферменты, митохондрии, рибосомы, нуклеиновые кислоты. Биохимия проникает внутрь молекулы. Ее занимает одно из важнейших свойств живого — способность к самовоспроизведению, механизм наследственности. Прежде экспериментатор-биолог оперировал с мышью и кроликом, годами ожидая подтверждения своих догадок о закономерностях наследственности; мышью сменила дрозофила, сократив ожидание до двух-трех недель; теперь биолог исследует вирусы и отдельные части клетки, оперирует с веществами, находящимися на грани существ, и с существами, превращающимися в вещества.

«Как оказалось, что я так похож на моего отца, если все, что я от него получил, занимало объем не больше кончика булавки?» — раздумывает английский физик Френсис Крик. Секрет, очевидно, в химической информации, записанной на атомном уровне. И физик Френсис Крик становится биологом, великая тайна жизни призывает его к себе. Известно, что основная часть генетической информации содержится в нитях хромосом, находящихся в ядре клетки, а важнее всех в хромосоме молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты — ДНК. Химики знают, что это высокомолекулярный линейный полимер, состоящий из нуклеотидов. Физика дает ученым рентгеноструктурный анализ. Ф. Крик и Дж. Уотсон конструируют модель ДНК и получают как бы две переплетенные винтовые лестницы: ступенька — сахар, ступенька — фосфат... К ступенькам присоединяются плоские группы оснований — аденина, тимина, гуанина и цитозина. ДНК находится в ядре, а синтез происходит в рибосомах. Рибосомы построены из белка и рибонуклеиновой кислоты — РНК. В биофизических лабораториях появляются первые данные о РНК. Ее выделяют из вирусов, конструируют ее модель, устанавливают связь между пространственным строением нуклеиновых кислот и биологической активностью организма.

У ДНК четыре азотистых основания. Молекула белка строится из двадцати аминокислот. Порядок расположения кислот отличает один белок от другого, а диктуется он последовательностью оснований в ДНК. Информацию о ней доставляет белку одна из

РНК. Образовавшись в ядре, на молекулах ДНК, первичной матрицы, и отразив их структуру, РНК удаляется и приступает к сборке белка.

Но по какому приказу складывается цепь белка, которая, подобно поверхностно-активным веществам, потом свернется так, что боковые ее группы, притягивающие воду, выступят наружу, а отгаликующие воду уйдут внутрь, и образуется энергичный химический агрегат? В Москве заседает Пятый Международный биохимический конгресс. Американцу М. Ниренбергу удается получить «простой белок». Он вводит в бесклеточную систему, содержащую рибосомы, синтетическую нуклеиновую кислоту, соответствующую тимину в ДНК, и, подчиняясь приказу, рибосомы конструируют белок, но не из двадцати аминокислот, а из одной. Открытие порождает цепь блестящих экспериментов и остроумнейших логико-математических догадок, которые напоминают цепь рассуждений Шерлока Холмса, разгадывавшего язык пляшущих человечков по буквам, чаще всего употреблявшимся в языке. Генетический код разгадан! Английские и американские ученые составляют список аминокислот и соответствующих им комбинаций оснований. Остается выяснить только порядок расположения символов внутри триплетта.

Приоткрывается завеса над тайной жизни, познается важное ее свойство — воспроизведение себе подобного. Неясно еще, вся ли генетическая информация переносится ДНК и вся ли ДНК переносит генетическую информацию. Ф. Крик думает, что во всей природе код один. Нить ДНК тонка, говорит он, но в ней содержится вся информация о человеческом роде, от нее зависит наша жизнь. Есть люди с ненормальным гемоглобином. Его молекула лишь одной из трехсот аминокислот отличается от обычной, но дефект передается по наследству, и если гемоглобин отца и матери одинаково ненормален, ребенок долго не проживет. ДНК и РНК становятся объектами геронтологии: врачи думают, что инсулин, усиливая развитие нуклеиновых кислот, замедляет старение организма. Ученых занимают вирусы, состоящие в основном из нуклеиновых кислот: половина наших болезней вирусной породы. Похоже, что химия приберет когда-нибудь вирус к рукам. Ученые ищут надежную защиту от радиации и эффективное лекарство от лучевой болезни. Излучение создает свободные радикалы в белках и нуклеиновых кислотах, химия предлагает нетоксичные ингибиторы, вещества, парализующие радикалы. Ими удается останавливать старение полимеров, а нуклеиновые кислоты тоже полимеры. Намечается путь к профилактике лучевого рака и рака крови. Причины рака и варианты рака разнообразны, но все эксперименты так или иначе ведут к механизму белкового синтеза.

Ученые создают молекулы биополимеров, искусственно скрещивают их и выращивают гибридные молекулы. Из комбинаций физических и химических методов складывается молекулярная биология — наука, стремящаяся истолковать биологические функции в понятиях молекулярной структуры и молекулярных взаимодействий. И хотя нельзя всю биологию свести к химии и физике, ибо биологические закономерности родились задолго до электронного микроскопа, но в наш век самые крупные успехи в познании сущности жизни достигнуты именно на этом пути. И подобно наукам о неживой природе, занявшимся созданием материалов с заданными свойствами, биология заговорила об организмах с заданными свойствами, о получении направленных мутаций. Реализация этих замыслов покончила бы с наследственной передачей болезней, оздоровила бы человечество; стала бы возможной полная химизация животноводства.

С синтезом белка связывают большие надежды. Ведутся эксперименты с новейшей биохимической технологией получения пищи из растений и живых организмов, ценнейших препаратов для медицины и сельского хозяйства. Советские ученые изучают пространственную структуру природного белка коллагена, из которого состоит треть наших белков, устанавливают, что решающими для его воспроизведения являются три аминокислоты, и синтезируют уже не простой, а сложный кристаллический белковоподобный полимер, соответствующий коллагену.

На ткани и клетку обращены взоры не только врачей и животноводов. Исследуются механизмы мышечного сокращения и мышечные белки миозин и актин. Советские ученые М. А. Любимова и В. А. Энгельгардт наблюдают, как распадается третий участник мышечного сокращения — адезинотрифосфорная кислота, отдавая энергию соеди-

няющимся молекулам белка, и как белок оказывается и материалом и ферментом реакции, — только в живом организме происходят такие чудеса. Биохимики и биофизики выясняют, что электрохимический сигнал передается от нерва к мышце через субмикроскопические каналы — полупроводниковые растворы солей, находят экспериментальные доказательства элементарных квантов действия ацетилхолина — химического вещества, на уровне которого, как они говорят, осуществляется передача двигательных актов с нерва на мышцу. Полупроводники, сигналы — биология наполняется терминами техники, сама же техника с нетерпением ждет от молекулярной биологии разгадки мышечной тайны. Коэффициент полезного действия мышцы подходит к восьмидесяти. Это самый совершенный двигатель, самый компактный механизм. Быть может, нынешние синтетические модели мускулов — предки могучих и миниатюрных подъемных кранов и передаточных механизмов управления. Быть может, мышца — прообраз кибернетической системы, чья способность к саморегулированию и самообучению будет основана на внутренней перегруппировке атомов, а механизм электрохимического сигнала — схема будущих элементов кибернетических машин, действующих без металлических проводов.

Химики помогают биологам расшифровывать реакции обмена, а сами все внимательнее присматриваются к клетке. Слои молекул одного вида чередуются со слоями другого. Что бы сказал химик-технолог, узнав, что фабрики клетки непрерывно меняют форму, вытягиваются, округляются, словно дышат, и умирают через четыре дня, уступая место другим фабрикам, что бы он сказал о столь гибком оборудовании и столь стремительной модернизации? А что он, технолог, думает о субмикроскопической системе трубопроводов, об этих каналах со шлюзами? Нет, это не химический комбинат, это высокоорганизованная и сверхсложная отрасль производства! Через пластинчато-мембранные структуры проходят молекулы разных веществ. Для чего мембранам столько многослойных поверхностей? Все для того же: чем больше поверхностей, тем быстрее реакция. Мембраны связывают изолированные процессы воедино, координируют деятельность ферментов. В многопластинчатости секрет потрясающей организованности химических процессов и их необычайной быстроты.

Специалисты по физической химии размышляют о будущем химической технологии. Дорогие и не всегда удобные катализаторы будут вытеснены ионизирующей радиацией, химический процесс начнется в атомном реакторе. Режим не будет постоянен для всех стадий, каждая стадия получит от вычислительной машины программу оптимального, наиболее выгодного режима. Во время процессов возникают промежуточные вещества — активные участники превращений, не сделать ли их главными действующими лицами реакций? Одна реакция будет порождать их, другая потреблять: происходит же в клетке нечто подобное. Химии поможет не только физика, но и биология. Химики пробуют: кислород, выделяющийся при электролизе солей цинка, помогает электролизу соляной кислоты. Да, энергии тратится гораздо меньше, производство становится ритмичным. Сопряженные процессы, присущие клетке, наверняка станут одним из главных направлений в химическом производстве.

Молекулярная биология, впитав в себя достижения физики и химии, обогащает их «жизненным опытом». Этот тройственный союз, скрепленный математическими узлами, преподнесет технике немало сюрпризов. Человек, не склонный ни к фантазии, ни даже к оптимизму, Норберт Винер, в последнем интервью журналу «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» говорил о молекулярной биологии. Кибернетики уже рассматривали клетку как систему, автоматически настраивающуюся на оптимальный режим в зависимости от перемен во внешней среде; нуклеиновые кислоты — типичный механизм саморегуляции и обратной связи. Изменение среды влияет на определенный участок ДНК — регулирующий цистрон, и тот отдает приказ другим цистронам синтезировать соответствующий белок. Но Винер говорит уже не о схеме, а о самом материале. Прогресс вычислительной техники зависит от ее миниатюризации, а миниатюризация — от введения новых типов памяти. Блоки памяти делают сегодня на основе физики твердого тела, но, быть может, когда-нибудь удастся до конца выяснить, как запоминает мозг и нервная система, создать блоки памяти из веществ, сходных с генами, вводить и выводить информацию, используя молекулярные спектры испускания и поглощения комплексов нуклеиновых кислот.

Интервью Норберта Винера — важнейший документ истории науки, имеющий значение не только для кибернетики. Физико-химические процессы в клетках станут неисчерпаемым источником знаний для науки и техники и прежде всего для самой химии. Химия помогает проникать в клетку, клетка, несущая в себе информацию о механизме биологических процессов, обогащает химию новыми возможностями.

## V

Заглянув в самые крупные традиционно нехимические сферы, мы увидели, что там хозяйничает химия. В сущности, нет больше нехимических сфер, как нет и не может быть сфер неэлектрических. Так раскрываются перед нами безграничные горизонты химизации, так в знаменитую формулу коммунизма входит третье равновеликое слабое. «Если бы был жив Владимир Ильич Ленин, — говорил Н. С. Хрущев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС, — то, видимо, сейчас он сказал бы примерно так: коммунизм — есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства».

Электрификация стала частью нашей жизни, нашего сознания. Мы не только пользуемся ее дарами — как таблицу умножения знаем мы все, что связано с приездом Герберта Уэллса, помним день перекрытия Ангары и героев этого дня, разбираемся и в атомных реакторах, и в трудностях ядерного синтеза, и даже в энергетическом балансе.

Теперь в нашу плоть и кровь так же должна войти химия.

На наших глазах начинает увеличиваться «химический состав» населения. Проблема химизации вырастает в социальную проблему; она вызывает сдвиги во всех звеньях планирования и управления — от предпочтительного финансирования химии до пересмотра методики образования. Возможно, химиков станет неизмеримо больше, чем любых других специалистов. У энергии, например, мало обличий, все ее виды сводят к одному. Веществам же и материалам несть числа, а отсюда и разнообразие химических исследований и производств. От химиков и будет в первую очередь зависеть успех химизации, от их подготовленности и любви к своему делу. Подготовка же бесплодна без увлеченности.

Но не так-то легко увлечь химией тех, кто стоит перед выбором профессии и жизненного пути. Тысячи юных умов заморожены неизбежностью странного мира элементарных частиц, парадоксами времени и пространства, всемогущими кибернетическими машинами, их привлекает невероятное, ослепительное и еще несбывшееся. Они узнают о квантовых генераторах, многократно сравниваемых с гиперболоидом, и бредят волшебным лучом, нимало не задумываясь над тем, что испускает его крошечный кристаллик арсенида галлия — сотворенного химиками соединения малоизвестного элемента, предсказанного великим химиком Менделеевым.

Химия всюду, но подчас она скромна и незаметна. Романтика ее открытий и глубочайшая связь с тайнами бытия и природы, с ослепительными творениями века скрыта за мнимой монотонностью формул, за частоколом пробирок и колб, пропадающих в тени гигантских ускорителей или магнитных ловушек, за приземленной утилитарностью ее приложений — напрасно популяризатор убеждает нас в том, что канаты из капрона или автомобиль из стеклопластика — удивительны: и не такое видали!

Как доказать юным, что волнующие их загадки чаще всего гадуется химия, как убедить их в том, что и сама химия полна величайших тайн, как — и это очень важно — отделить сложное и еще не до конца прочувствованное понятие химизации от фейерверка условных терминов, как отделить путь от конечного результата, показать увлекательность первого и неизбежность второго?

Это — первейшая задача литераторов, пишущих о науке, задача трудная, но первостепенная, ибо речь идет о формировании наклонностей и выработке особого взгляда на мир у целого поколения. И, конечно, это задача школы.

Подготовка школьника определяется подготовкой учителя. Химическая наука и промышленности получают специалистов от тридцати двух университетских химических факультетов, от факультетов биологических и физико-математических. Школа черпает

кадры из химических факультетов, созданных пока в педагогических вузах пяти городов. Остальные учителя оканчивают биофаки, где химия преподносится как дополнение к биологии и в полном отрыве от физики и математики, где органику и неорганику читает один и тот же преподаватель и лаборатории оборудованы примитивно. Все ли студенты проникнутся химией до мозга костей и не «по программе», а по влечению и глубокому интересу? Едва ли половина. Все ли окажутся потом способными доучиться? Еще меньше: одних заест текучка, других лень, третьих процентомания... Лет двадцать назад школы блистали словесниками и учителями литературы, потом — физиками, сегодня нужна в блистательных химиках.

Очень мало еще учителей химии, о которых бы потом вспоминалось так:

«...Многообразие формул, рьящее память, давал в расчленении так, что они, как система, живут до сих пор красотой и изяществом; классификационный план, вдумчиво упраздняющий запоминание, был продуман; держа в голове его, мы научились осмысливать, а не вызубривать; вывести формулу, вот чему он нас учил; забыть: это не важно; забытое вырастет из ствола схем, как листва, облетающая и опять расцветающая, от легчайшего прикосновения к конспекту... Он знакомил с процессом сложения и распада, как с диалектикой... Качественный анализ проходил с нами, как приключение европейца, попавшего в дебри леса, убившего там бизона вполне неожиданно».

Это вспоминает о Н. Д. Зелинском Андрей Белый в книге «На рубеже двух столетий». Там же есть и другой наставник, А. Н. Реформатский, который «казался каким-то химическим синтезом: из «Основ химии» и его дум о ней рождалась неповторимая песня, пропетая всей культурной Москве и зажегшая неугасимую лампаду огромнейшего восхищения перед ландшафтом науки, увиденном в его целом... Он поставил в курсе периодическую систему, как некий космический, песни поющий орган; из нажимов клавишей рокотали мелодии соединений веществ, данные в ритме системы, где качественность, вес и цвет элементов рождались из места таблицы... прямо с лекции этого непередаваемого химического вдохновителя я окунулся в «Основы химии» Менделеева, ставшей и мне химическим евангелием».

В ту пору русской химии вполне хватало университетских апостолов. Сегодня они нужны каждой школе: страна ждет легион специалистов, понимающих химию так, как эти московские корифеи. Наше время требует формирования химических способностей.

Такого понятия не было еще ни в педагогике, ни в обиходе. Были способности музыкальные, литературные, математические. Но могут ли быть способности химические? Этот вопрос еще шесть лет назад задали себе не учителя химии (к сожалению), а психологи, пришедшие за ответом в одну из московских школ.

Психологи представили себе работу оператора и аппаратчика химического завода. Оператор имеет дело с переработкой огромных масс, не видя их непосредственно. Знает, требуется умение рассматривать превращения веществ не столько по внешним проявлениям, сколько по умопостигаемой сущности, сочетать такие осязаемые признаки, как цвет или объем, с неосязаемыми силами молекул, соединять в мышлении конкретное и абстрактное, выражаемое языком символов. Чтобы отношения в мире веществ вошли в плоть и кровь, нужны еще химические руки; химик должен уметь делать все своими руками. Нужна химическая память, вырабатываемая логическим анализом, пониманием закономерностей, общей культурой. Химия не сложнее других наук и не суше их; если понять принцип формирования длиннейших соединений, они станут доступнее любых бытовых обозначений. А романтика веществ каково-нибудь колхицина, который извлекается из цветка с грустным названием безвременник и служит для выведения новых сортов растений, или бензола, чья простейшая формула превратилась в камень преткновения для целого поколения ученых, попытавшихся нарисовать его валентные связи и пришедших к квантовой химии! Да при одном слове «кванты» заблестят глаза у приверженцев «странного мира» и квантово-механического соотношения неопределенностей: и в химии, оказывается, неопределенностей хватает с избытком.

Обо всем этом думают психологи, советуясь с педагогами и учеными-химиками. В школе создаются химические классы. Начинаются интересные опыты, пробуждающие интерес к превращениям веществ. Интерес вызван неодинаковыми причинами: один читал биографию Зелинского, другой вырос в семье химика, третий рано усвоил азбуку

актуального практицизма, четвертой... нравится мыть посуду. Обучение химии не связано пока с производительным трудом. Развитие рук, памяти, химической логики не увлекается ничем. Ребята знакомятся с аналитической химией, с основами химической технологии, с измерительными приборами, обсуждают «дополнительную литературу». Обычно в школах с производственным обучением одна пятая учеников отсеивается; в химических классах состав незыблем. Ученики заявляют директору: «Разве нельзя уроки литературы вести так же интересно, как уроки химии?» Потом они работают на настоящем заводе, они проникаются ответственностью за свое дело. Ответственность — часть химического мышления: на химическом производстве надо смотреть в оба.

Результат превосходит все ожидания: из тридцати двух выпускников двадцать восемь идут в химию — на заводы, в институты, в лаборатории. И все учатся дальше, ими довольны на работе, им сулят химическую будущность. Химические способности можно формировать!

Проходит три года, и в другой школе уже не экспериментируют, а просто объявляют: будем готовить только химиков-лаборантов, каждую зиму — практика в институтских лабораториях, кто хочет стать инженером или музыкантом — переходите в другую школу. Ребята поставлены перед выбором: либо химия, либо все остальное. Но ведь надо же сначала узнать, что такое химия... Узнавать некогда — будь что будет! Что же, большинство не разочаровано: преподаватель увлекает ребят миром чудес, учит их мыслить химическими категориями, каждый выбирает тему по вкусу, и вот уже вырастает первое химическое дарование: один из старшекласников разрабатывает оригинальную таблицу микроэлементов, коготорой интересуется научный журнал. Сорок восемь юношей и девушек сдают выпускной экзамен перед преподавателями химико-технологического института и тоже идут в химию, а новая смена уже изучает влияние магнитного поля на гидролиз и разделение солей, и новые дарования часами сидят в лабораториях «Менделеевки».

Это уже не эксперименты. Ростовский университет проводит химические олимпиады, притягивая способных на химический факультет. В городской школе организуется класс, готовящий лаборантов-аналитиков, в сельской — класс агрохимиков. Заинтересованность у многих перерастает в призвание.

Начинание великолепное.

## VI

Жизнь очень быстро внесет поправки в программы подготовки химиков и в вузах и в школах. Ей нужны люди, чьи способности и знания адекватны универсальности химии, которую мы попытались показать в первой части статьи. Из ученика средней школы должен вырасти не только аппаратчик и оператор — такие специалисты тоже нужны, особенно сейчас, но их подготовка самая простая, и начальная часть задачи, эта часть и решается в химических классах. Но главная нужда ощущается в таких людях, каким был знаменитый создатель синтетического каучука С. В. Лебедев, который, окончив химический факультет и помытарившись в молодости на мыловаренном заводе, попал нечаянно в комиссию по исследованию рельсовой стали и удостоился за эти исследования золотой медали на Международной выставке, в таких ученых, как П. А. Ребиндер, разбирающийся и в технологии бетона, и в резании металлов, и в обогащении руды, и в способах хранения удобрений. Главная нужда в людях, обладающих тем химическим мышлением, о котором говорил Д. И. Менделеев и которым он сам обладал в совершенстве, — в людях, способных подойти химически не только к самой химии (если ты химик, это само собой разумеется), а и ко всем отраслям науки и производства. Люди, призванные вершить химизацию народного хозяйства, не могут не обладать и глубоким знанием химии, и осведомленностью в делах физики и математики, биологии и агрономии, строительства и механики, автоматике и машиностроительной технологии. Прежде химику было достаточно химических способностей, сегодня ему нужно химическое мышление.

Но ведь не сможет же химик быть повсюду с металлургом и строителем, с физиком и биологом, с кибернетиком и конструктором. И мы видим, как становятся химиками сами металлурги, когда наступает время подумать о технологичности бездислокацион-

ных усов, сами строители, конструирующие машину для очищения песчинок, сами биологи, заговорившие на языке химии. Мы видим, как они начинают мыслить химически.

Еще несколько лет назад конструктора или врача нужно было убеждать в целесообразности заменить металлическую шестерню капроновой или поврежденный сосуд виоловым. Сейчас внедрение синтетических материалов — вопрос количества и стоимости: только давай. Но машина с капроновыми деталями может оказаться и надежнее и точнее цельнометаллической, а стоимость ее не изменится, если конструктор не пересматривает весь процесс ее изготовления, не подумает об электрохимических аппаратах или о взрывной штамповке, не вспомнит о том, что непрерывность, присущая химии, первое условие автоматизации. Химическое мышление нехимика — это комплексный подход к явлению, стремление добраться до главнейших носителей химических свойств — молекул и неперемное новаторство.

Но возможен ли подобный универсализм? Дай-то бог тому же конструктору уследить за новинками в своей-то области, где ему взять время и силы, чтобы выйти за рамки специальности?

Нет, тут не надо быть семи пядей во лбу, дело вовсе не в постоянном изучении химических новостей, хотя и это не так уж трудно. Тут все зависит от самого себя, от самодисциплины, от умения распоряжаться своим временем, от сознательного самоограничения, помогающего сделать выбор. Самоограничение в конце концов расширит кругозор, так как поможет глубже понять причины и следствия фактов и, главное, их связь с фактами из других областей, их место среди общей системы знаний. Рациональный подход к информации вырабатывается культурой мышления. Эксперимент в московской школе удался — педагоги подготовили химиков. А как готовить конструкторов, металлургов, строителей, врачей, биологов, агрономов? Создание специализированных классов — отклик на неотложное требование времени. Химии нужны кадры, но сама же химия наталкивает нас на мысль, что потом еще больший эффект даст гармоничное преподавание всех предметов, которое вовсе не рискует вырастить дилетантские наклонности, если предмет будет преподнесен как звено единой цепи. Тогда отпадет нужда в нарочитом формировании склонностей, и будущий конструктор вычислительной машины, пошедший в кибернетику по интуитивному и свободному выбору, сам придет к мысли о нуклеиновых блоках памяти, будущий агроном сам догадается, как лучше хранить селитру, будущий строитель без всякой подсказки потребует себе поверхностно-активные вещества, а технолог додумается до электролита. Дело не в количественной информации, а в методе ее приема и переработки. Химиком может быть каждый. Этого требует химизация, распространяющая не только материалы и продукты химии, но и химическую методику исследования и производства.

Химизация изменит облик многих отраслей промышленности — строительства, металлургии, даже электроники. Мы уже предсказывали появление чисто химических производств бетонных изделий и даже машин и стирание граней между отдельными производствами. Химизация поможет электрификации превратить сельское хозяйство в разновидность индустриального труда, а затем и свяжет его по общности методов с другими отраслями.

Понятие химизации будет расширяться год от года и, наверное, когда-нибудь уступит место другому, более емкому понятию. Как и электрификация, химизация будет осуществлена и станет не задачей, а завершенным и неотъемлемым признаком коммунистической экономики и науки.

Еще недавно, говоря о характере современной науки, прежде всего называли углубляющуюся ее специализацию. «Универсализм скис», — констатировал Л. Д. Ландау. Сегодня начинает скисать специализация. Кибернетика указывает на количественные аналогии в живой и неживой природе; химия и физика, ставшие благодаря квантовой теории двумя сторонами одной науки, дают специалистам общий объект исследования — атом и молекулу. Специалисты по полимерам и структуристы, изучающие металлы, бетоны и силикаты, обнаруживают, что они отлично понимают друг друга, что природа сверхпрочности, о которой они хлопочут, одна и у металла и у пластмассы. Химики объясняют математикам особенности синтеза винилацетата, и математики без труда состав-



ляют модель процесса. Скидает специализация. «Явления природы,— говорит академик Н. Н. Семенов, физик по образованию и химик по призванию,— как правило, комплексны. Они ничего не знают о том, как мы поделили наши знания на науки... Только всестороннее рассмотрение явлений с точки зрения физики, химии, механики, а иногда и биологии позволит распознать их сущность и применить на практике».

Подобно поэту, который, пробравшись через колючки сложностей, приходит в конце концов к мудрой простоте, неприметно вобравшей в себя и усложнения, и специальные познания, нынешний ученый творит синтетическую науку, рассматривающую явления во взаимосвязи. На смену усложненности и раздробленности приходит мудрый и простой синтез. В спирали познания торжествует бессмертная диалектика.

Агонию раздробленности предсказал еще Энгельс, посвятивший одну из первых страниц «Диалектики природы» знаменитому гимну в честь древнегреческих материалистов и диалектиков и подчеркнувший родство их мировоззрения с нынешней эпохой. Во времена Энгельса ученые мало интересовались философией. Сегодня исследователь превращается в философа, ибо он неизбежно начинает думать о связи явлений и безграничности познания. Взгляды физиков конца прошлого века, полагавших, что все уже открыто, вызывают у него улыбку сожаления. «Есть многое на свете, друг Горацио...» — цитирует Шекспира П. Л. Капица, размышляя о неисчерпаемости аналогий в природе. Ученый обращается к философии, к диалектическому материализму. Он ищет в философии объяснения открываемых закономерностей, он ждет от нее импульсов для дальнейших открытий. И философия, вырабатывая общую методологию, в которой так нуждаются бурно развивающиеся и стремящиеся к синтезу науки, помогает им сливаться в единую систему знаний. Как бы закрепляя эти новые тенденции в развитии естествознания, расширенное заседание президиума Академии наук СССР, состоявшееся в октябре 1963 года, провозглашает единство научных знаний столбовой дорогой науки и акцентирует внимание на необходимости дальнейшего проникновения философии в науку и наук в философию, которая идет к новым прозрениям и новой глубине.

Меняются времена для всех наук. Сколько восторгов было высказано по поводу присвоения химии звания второй природы, когда имели в виду только создание новых веществ. Теперь мы понимаем химию в более широком, Марксовом смысле: она участвует в создании всего, что делает человек на земле. Вместе с физикой она возглавляет строительство единой науки, трактующей о том, как из общих элементов мироздания получать энергию, материалы, пищу. Наука и производство вступают в полосу невиданных открытий; дело, провозвестником которого служит сегодня химия, увлекает на новую ступень все отрасли знаний.

Выступая в авангарде средств познания природы, в комплексе с производительными силами, химия побуждает нас к размышлению и обновлению, вырабатывает в нас непредубежденный взгляд на мир и на самих себя. Вместе с другими науками она формирует и новое мышление, вырабатывая у всех, кто прикасается к ней, единую диалектическую точку зрения на природу и на способы ее познания.



И. КИЧАНОВА

*Кандидат философских наук*

★

## В ПОГОНЕ ЗА XX ВЕКОМ

*(Современные проблемы католической церкви)*

**С**колько самых противоречивых предположений и прогнозов можно встретить ныне на страницах мировой прессы относительно путей и судеб католической жизни, но и событием политическим. Очевидцев его — среди них, как спецкору АПН, довелось быть и мне — поражали не столько пышные церемонии и торжественность заседаний Собора, сколько активное отношение рядовых людей — верующих и неверующих — ко всему на нем происходящему, их комментарию и реплики.

...Объявления на улицах гласили, что в воскресенье 14 октября в четыре часа дня папа Иоанн XXIII будет служить мессу и произнесет проповедь в церкви святого Августина.

Пробиться на маленькую, замкнутую домами площадь перед церковью было нелегко: уже с полудня она была запружена людьми. Среди обычной для подобного случая публики — много людей в рабочих спецовках и свитерах. Столь необычный интерес к проповеди папы понятен: ведь, открывая Вселенский собор, он призывал к миру, к разоружению, к переговорам. Именно это и вызвало у людей горячий отклик.

В каждом окне — по несколько голов. Много детей, монахини в ярко-белых рогатых чепцах нацеливают кинокамеры и фотоаппараты на парадный вход церкви. Шумная толпа на площади сразу же умолкла, когда в дверях показался папа Иоанн XXIII в традиционном бело-красном облачении, окруженный пышной свитой. С фотоаппаратом наготове я протолкалась поближе к кордону репортеров и оказалась метрах в трех от папы, стоявшего лицом к толпе.

Мне хотелось запечатлеть момент торжественной сосредоточенности на лицах верующих, но он так и не наступил. Совсем низко, над самой площадью пронесся огромный самолет. Двое мальчишек, только что взгромоздившихся на мраморный карниз, свалились с перепугу вниз на каменные плиты. Раздался истошный крик: «Орландо! Маурицио!» Стоявший рядом со мной довольно элегантно молодой человек щелкнул пальцами и, взглянув на небо, с уверенностью произнес: «Американо!» И добавил, обращаясь к кому-то рядом: «Ma!» Это великолепное итальянское «ма» может выразить что угодно; в данном случае оно прозвучало как наше «черт возьми!» или «ну и ну!». Молодой итальянец довольно громко выразил свое неудовольствие еще несколькими фразами, обращаясь к стоящим вокруг. Ему ответили одобрительными кивками и репликами... Торжественность момента была нарушена. Люди, ожидавшие проповеди о мире, принялись со свойственной итальянцам экспрессией комментировать появление самолета «американо» — реальное напоминание о военных силах, готовых к действию. Возгласов и реплик множество. Люди пришли помолиться — самолет вернул их к реальной действительности. Ведь у берегов Италии — не только авиабазы, но и «поларисы»!..

Недовольные возгласы людей на площади, их выразительные реплики церковные сановники могли и «не заметить», «не услышать» в данном случае. Но можно ли продолжать «не замечать» требований социальной справедливости, свободы от эксплуатации, от остатков колониального гнета, — требований, которые звучат столь явственно и настойчиво. Среди тех, кто эти требования задвигает, очень много приверженцев католицизма.

Католическая церковь долгое время была глуха к этим голосам и в результате настолько утратила влияние среди рабочих масс, что это вызвало, как выразился папа Пий XI, «величайший скандал XIX века». Скандал этот оказался тяжким, он превратился в кризис церкви, из которого она сейчас стремится выйти с помощью реформ. Чтобы выработать программу реформ, и был созван XXI Вселенский собор католической церкви. (Предыдущий, XX Вселенский собор происходил, как известно, в 1870 году, и длился он почти год.) Первая сессия Собора проходила в октябре—декабре 1962 года, вторая — в сентябре—декабре 1963 года, уже после смерти папы Иоанна XXIII. Третья намечена на сентябрь 1964 года.

Было бы нелепо, если бы в современном банке, даже, например, в «Банке святого духа», имелись в обращении монеты XVI века, времен Тридентского собора (1545—1563). Старые, стертые флорины и дукаты изъяты из обращения уже давно. А вот средневековые институты, учреждения и идеи предшествующих эпох до сих пор в обиходе католической церкви! Как быть со всем этим?

Именно на Вселенском соборе и должна решиться судьба устаревших традиционных средств воздействия церкви. Речь идет о реформе гигантского организма, вобравшего в себя элементы самых разных социальных эпох более чем за двадцать веков развития классового общества и осуществляющего контроль над почти пятьюстами миллионами последователей католицизма.

Ватикан — это и мировой католический центр, и своеобразное теократическое государство во главе с монархом — папой. Двенадцать министерств (конгрегаций) Ватикана руководят деятельностью почти четырехсот тысяч католических священников и более миллиона католических монахов и монахинь во всех частях света, направляет и контролирует работу сорока международных католических организаций<sup>1</sup>. До сих пор в Ватикане существует такое средневековое учреждение, как конгрегация индексов запрещенных книг, и рядом с ним действуют вполне современные оффисы, управляющие финансовыми делами Ватикана — крупнейшего капиталистического предприятия (его капитал 12 миллиардов долларов).

XXI Вселенский собор был созван под девизом: «обновление». Высшие сановники церкви — их почти две с половиной тысячи — собрались, чтобы решить, как сделать церковь, ее организации, ее кадры современными, как «догнать XX век». На повестку дня вынесены проблемы внутренней жизни церкви, ее организационной структуры, речь идет о реформе центрального административного аппарата — курии, до сих пор деспотически господствовавшей, речь идет о том, чтобы увеличить права епископов, наместников церкви в различных районах мира, потеснив в правах курию; о том, чтобы сделать богослужение более понятным для масс верующих, чтобы найти пути привлечения масс к церкви. Из шестнадцати вопросов («схемам»), поставленным на обсуждение Собора, добавлена важнейшая: «Церковь и современный мир».

### «ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ»

После многочисленных и многочасовых заседаний Собор принял решения только по двум вопросам: о богослужении и о средствах массового общения.

Церковь решила упростить некоторые церемонии, проводить мессы почти цели-

<sup>1</sup> Наиболее массовая из этих организаций — «Международная рабочая христианская молодежь», 1,2 миллиона человек.

ком не на латыни, а на местных языках, отменить некоторые существенные, но утомительные ритуалы обрядности.

В Италии сейчас демонстрируется фильм «Собачья жизнь». Когда на экране воспроизводится католическое богослужение в каком-то заброшенном уголке Африки, в зале раздаются гневные восклицания, смех, свист, топот. Католиков возмущает «кощунственное» смешение традиционного католического обряда с «языческим» ритуалом. Зритель-католик не узнает сына божьего в этом расprostертом на кресте темнокожем, чья фигура выполнена с характерной для африканцев деформацией тела. По-видимому, католические лидеры не слишком задерживают внимание верующих на том, какой ценой достигается проникновение веры в отдаленные уголки земли... Знакомство с действительной картиной «гибкости» церкви обескураживает верующего, ведь ему известно, что церковь так строга в вопросах ритуала...

— А что, если перенести такого рода богослужение в вашу церковь?— спросила я в Венеции своих собеседников-студентов.— Ведь вероучение одно и то же! Оба возмущенно подняли брови.

— Это невозможно!

В Париже, в Брюсселе, в Вене католик ответил бы, пожалуй, то же самое. Но это же факт: чтобы утвердиться в странах Азии и Африки, католическая церковь уже прибегает к отступлениям от традиционного ритуала. В разных частях света, у разных народов она это делает по-разному. Теперь просто необходимо узаконить этот ее курс.

«Церковь отстает в своих средствах выражения, молитвах, литургиях, одеждах»,— пишет монсеньер Вуаллём в книге «Собор 1962 года для мира». Вывод: надо сделать ритуалы понятными и приемлемыми для простого человека, такого делового, так занятого земными делами и заботами.

Второй вопрос — о так называемых средствах массового общения,— это вопрос о том, как примирить с церковью тех, кого возмущает ее активная и навязчивая роль цензора и соглядатая.

Церковь ныне признает право человека на светское сознание, на свободу информации. Можно было бы умиляться подобным прогрессом, но ведь совершенно очевидно, что в современном мире просто невозможно изолировать человека от информации: радио, газет, реклам и телевидения. Да разве просто любого человека? Вот монахиня в огромном рогатом чепце задумчиво смотрит вверх голов, она погружена в приличествующие ей мысли, тихо шевелит губами и одновременно... слушает транзистор.

Принятая схема кажется многозначительной. Церковь, признавая право на информацию, признает также за искусством возможность и право изображать зло и страдание. Конечно, здесь можно было бы усмотреть противоречие, даже опровержение известного «силлабуса» — «списка опасных заблуждений» (1864), где говорится: «Если предоставить всем широкую возможность высказывать различные мнения и выносить различные суждения, причем даже публично», то это приведет «к быстрому падению нравов и обычаев народов и распространит среди них величайшее бедствие равнодушия».

Итак, декларация о свободе информации провозглашена. Но на практике церковь запретила знаменитый антиклерикальный фильм «Виридиана» и многие произведения искусства за то, что они изображают «зло». И разве отменила церковь те положения канона, которые предусматривают строжайший контроль над мыслями? Разве отменен знаменитый «индекс» запрещенных книг? Более того, по существу в этой схеме церковь стремится утвердить право регулировать свободу информации, если каналы информации используются «во вред», «во зло».

Таковы границы тех ничтожных «уступок» светскому сознанию, уступок рядовому прихожанину, которые сочла для себя возможным сделать церковь на II сессии XXI Вселенского собора.

По остальным же вопросам за семь месяцев деятельности Собора согласия не достигнуто.

Один только перечень проблем, которые пытался решить и не решил Собор, очерчивает масштабы тех трудностей, перед которыми оказывается церковь в ее «диалоге с миром», в ее движении навстречу современности. И грудность решения этих проблем осложняется тем, что отношение к ним самого Собора далеко не единодушно: одни его участники считают достаточным поверхностные перемены, другие требуют более радикальных реформ.

Вопросы, которые поставил, обсуждал и не сумел решить Собор, касаются взаимоотношения церкви и мирян, церкви и массы низовых священников. «Смирненные и покорные овцы в стаде Христовом» — миряне — стали ныне предметом особых забот католической церкви. У протестантской церкви миряне — активные участники внутрицерковной жизни. Это не в малой степени послужило причиной того, что католическим священнослужителям приходится ставить вопрос о расширении прав мирян. Газета «Пополо», сообщая о приеме папой руководителей «Католического действия», дала подзаголовки: «Папа призывает верующих быть живой частью церкви». Особенно выделено то обстоятельство, что мирянам-активистам предоставляются возможности во все большей мере принимать участие не только в пропаганде церковного учения и воспитательной работе, но также и во внутрицерковных делах, что ему отводится «почетное место» в церкви. И здесь тот же мотив: привлечь массы.

Готовность решать проблему мирян была подчеркнута и формальным актом на Соборе: впервые за всю историю Вселенского собора на этом церковном форуме представляли миряне — руководители массовой организации верующих «Католическое действие». Вопрос о месте мирян в церкви обсуждался, но никаких решений пока еще нет.

Не менее остро стоит и проблема о роли и месте верующих женщин. За всю историю Собора женщины не были на нем представлены ни разу, даже руководительницы женских монастырей, даже лидеры международного женского католического движения. На II сессии были высказаны предложения о представительстве женщин на Соборе, но поддержаны они не были. Это означало бы разрушение вековой догмы. В церкви Санта Мария Новелла, во Флоренции, одна из стен расписана фресками на тему «Тайная вечеря». Они принадлежат кисти художницы Лантилы Мелли. Ее фрески есть и в других церквях Флоренции. Но это было чуть ли не отступление от догмы, сделанное еще в XVI веке. И хотя за четыре века произошли большие изменения, однако на правах женщин, как их трактуют католическая мораль и законы, эти изменения не отразились.

Миряне — это не только министры, руководители светских организаций, связанных с церковью, финансисты, писатели, миллионеры. Миряне — это прежде всего рядовые люди. Они — объект главного внимания церкви, будь это члены профсоюза, активисты различных общественных организаций или люди, далекие от политики. Люди улиц и площадей, такие, каких я видела на площади Кампо деи Фьори в Риме.

Кампо деи Фьори — это небольшой «пяточок», где собираются после работы люди из ближних домов или кварталов. Это своеобразный местный клуб.

Я наблюдала здесь такую сценку. В одной из боковых улочек, выходящих на Кампо деи Фьори, висел небольшой плакат, написанный от руки, — призыв принять участие в демонстрации протеста на пьяцца д'Испания против злодеяний франкизма. Двое мужчин, возвращающихся, видимо, с работы, остановились возле плаката, прочли, подумали, деловито кивнули друг другу: «Пойдем». Вечером их не удалось бы найти на пьяцца д'Испания: площадь была заперта такими же, как они, людьми с римских окраинных улиц и площадей. Манифестация была бурной, с вмешательством полиции. Вот таких-то людей церкви и хотелось бы приобщить к активной жизни в лоне католицизма, отвлечь от подобных политических акций.

Не только верующие-миряне, но и священнослужители, которые общаются с

ними изо дня в день, представляют собой сложную проблему для князей церкви. Низшие священнослужители испытывают на себе непосредственное влияние мирян и «мира», все более отдаляющегося от религии. Дело, конечно, не только в том, что на рядовых священников оказывает влияние «светскость», хотя это и немаловажно. Мне запомнилась картинка — она напоминала кинематографический кадр: в окне мужского монастыря (я не знаю его названия, он находится рядом с Мальтийским орденом) появляется фигура монаха. В зубах у него... трубка. (Курить монахам запрещено!) Он медленно выколачивает ее, стряхивает пепел в окно, затем набивает снова и, попыхивая, отправляется в глубь комнаты к распятию, ярко освещенному и хорошо видимому в окне.

«Священники — тоже люди» — так называется книга Систо Пелая, где он рассматривает «человеческие проблемы» священнослужителей... Церковь обсуждает сейчас возможность создания новой «микрогруппы», промежуточной между священниками и мирянами, так называемого диаконата. Диаконы должны быть связаны в большей мере с мирянами, и, что самое существенное, что особенно бурно обсуждается, — им должно быть предоставлено право вступать в брак. Это огромное новшество для католической церкви. И оно тоже вынужденное. Церкви не хватает тысяч священников — молодежь не хочет посвящать себя этой деятельности. Помимо всего прочего, она просто не желает порывать с человеческим укладом жизни.

И еще одна давняя, можно сказать историческая, проблема католической церкви: взаимоотношения с другими христианскими церквями. На Соборе она вызвала более всего споры. Некоторые кардиналы резко осуждали статьи, в которых содержался призыв к контактам с «отделившимися братьями». Они выражали опасения, что такого рода контакты вызовут «эрозию» католицизма, расшатают самые его основы. Но важность проблемы контактов и объединения с «отделившимися братьями» столь велика, что ради ее решения глава католической церкви отправился в Иерусалим, сопровождаемый, правда, не только добрыми пожеланиями одних католических деятелей, но и откровенно недоброжелательными комментариями других. Недоброжелательство связано с тем, что диалог с христианами иных направлений предполагает известные уступки со стороны католиков другим христианским культам. Некоторые из этих уступок — усиление роли мирян в церкви, причастия под двумя видами, хлебом и вином, и другие — как раз те, что на знаменитом Тридентском соборе вызвали энергичное осуждение и даже подвергли анафеме протестантов. Тогда-то был осуществлен полный и окончательный разрыв между католиками и протестантами, без малейших, как тогда казалось, перспектив на восстановление «диалога».

На нынешнем Соборе также прозвучали решительные нотки отрицания контактов, совсем в духе Тридентского собора, того самого, на котором произошел решительный бой с протестантами. Кардинал Арриба-и-Кастро заявил, что «учение Христа было доверено католической церкви, на которую поэтому возложены права и обязанности проповедовать Евангелие во всем мире». На последнем рабочем заседании Собора кардинал Руффини заявил, что дело может идти лишь о возвращении «отделившихся братьев». Это кажется даже странным. Ведь цель подобного объединения должна устраивать всех участников Собора — потому что оно направлено на борьбу против атеизма и материализма. Общая тенденция современного мира к атеизму, к неверию вызывает и общие страхи у представителей всех религиозных течений за самые основы веры в божественное. И тем не менее опасения, что католическая церковь будет «поражена эрозией», оказались столь же сильными, как и стремление противостоять вторжению светскости в сферу религии.

Видимо, по причине тех же страхов перед «эрозией» католицизма Вселенский собор вообще отказался от рассмотрения на II сессии схемы об источниках божественного откровения, где речь должна идти о модернизации теологической основы католицизма, об осовременивании понимания библейских мифов. Не здесь ли таится одна из самых больших опасностей для церкви? Вот она и пытается выве-

сти из-под огня критики науки и разума свои «теоретические» положения. Становится все более самоочевидным, что эти теологические положения противоречат разуму и науке. Церковь не хочет касаться этих проблем, опасается столкновения с современной наукой.

Несколько вопросов связано с внутренним устройством церкви — ее управлением, механизмом, взаимоотношениями курии и епископов — да и вообще всех трех элементов иерархии: папа — курия — епископат.

С давних пор высший административный аппарат церкви — курия — стремится стать единовластной силой. Курия управляет делами церкви во всех странах, где живут католики, и в тех странах, где церковь стремится свое влияние распространить. Она руководит центральным аппаратом церкви, ее министерствами — конгрегациями. С их помощью курия руководит массовыми организациями, деятельностью монашеских орденов, многочисленными католическими обществами, стремится осуществлять абсолютный контроль над епископатом. Та часть католических деятелей, которая понимает необходимость «нового курса» церкви, связывает надежду на ее большую гибкость и эффективность именно с реформой курии.

Децентрализация и интернационализация курии, провозглашенная Иоанном XXIII в качестве одной из очередных задач и подтвержденная его преемником Павлом VI, оказалась, однако, задачей трудно решимой. «Не убьет ли курия III сессию Вселенского собора?» — подчеркивая всеиллие этой организации, писал обозреватель американского журнала «Ньюс уик».

Итак, вопрос о реформе курии тоже пока не решен.

Практически не решен и другой чрезвычайно важный вопрос — предоставление автономии епископам. Такая автономия способствовала осуществлению «нового курса» церкви, если этот курс был бы принят. Епископы требуют не только расширения своих прав на местах, но и создания представительного органа при папе (нечто вроде парламента). Такой орган ограничил бы диктатуру курии и позволил бы оперативнее решать вопросы внутрицерковной жизни и политики. 30 октября 1963 года папа Павел VI издал специальное письмо о правах епископов. В нем содержится сорок пунктов — все это перечисление тех новых прав, которыми наделяются епископы. Правда, права эти мизерны, десятистепенны по своему значению. Потому-то это письмо вызвало общее недовольство епископов. По существу и этот вопрос отложен.

Итак, из вынесенных на рассмотрение Собора семнадцати вопросов («схем»), которые обсуждались на более чем восьмидесяти заседаниях, решение принято лишь по двум.

Это свидетельствует не просто о традиционной косности и неповоротливости архаического социального организма, но и о многом другом.

Созывая Собор, Иоанн XXIII исходил из неотвратимости тех перемен, которые произошли в современной жизни, в социальной жизни прежде всего. Да и Павел VI понимает всю важность происходящего — он назвал это «необратимыми изменениями».

Разве не в результате этих изменений стратеги буржуазного мира сегодня готовы откеститься от капитализма, облачить его в одежды «демократического», «народного» капитализма, изобразить его изменившимся, переродившимся из волка в овцу... Разве не в результате этих необратимых изменений колонизаторы ныне рядятся в одежды освободителей колониальных народов, их «благодетелей»?

Появление «неокапитализма», «неоколониализма» и современная эволюция католической церкви — это взаимосвязанные процессы, следствия одной и той же причины. Говоря о причинах, побуждающих церковь идти на серьезную ломку освященных веками канонов и традиций, удачно выразилась «Франс обсерватэр»: «Ныне движущая сила эволюции находится за пределами католической церкви». Добавим: за пределами того общественного строя, с которым исторически связана церковь.

Церковь, как и другие буржуазные институты, оказывается ныне перед тем фактом, что массы все более осознанно отдают предпочтение новому — социали-

стическому — общественному строю и его идеям. Потому-то диалог с миром, в который вступает сейчас церковь, оказывается для нее столь мучительным. Ведь от организаций, которые претендуют на то, чтобы их представлять, массы требуют поддержки их требований, чаяний, интересов. Обнаруживая же, что церковь стоит на позициях защиты капиталистических правопорядков, верующие отказывают ей в доверии.

В этом смысле каждая из поставленных на обсуждение Собора проблем представляет попытку обрести, завоевать это доверие. Будут или не будут приняты и какие именно решения по этим вопросам — все это означает либо частичное разрешение, либо углубление кризиса церкви.

### ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ РЕШЕНЫ «ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ»?

«Я вовсе не вижу, что мы чего-то достигли, хотя это утверждают. Та работа, которую я успеваю сделать до завтрака, более эффективна, чем та, которую мы проделали за всю сессию. Мне надоело прогуливаться каждое утро после одиннадцати часов, закончив заседание», — так оценивает с точки зрения делового человека американский епископ, участник Вселенского собора, работу верховного органа церкви.

В самом деле. Полгода работы подготовительных комиссий, плюс деятельность комиссий в перерывах между сессиями, более четырех месяцев регулярные заседания Вселенского собора, а решено только два вопроса из семнадцати, вынесенных на обсуждение.

Что же привело к такой непродуктивности? Бюрократический характер деятельности рабочих органов Собора, как полагает американский прелат? Борьба групп на самом Соборе, тормозящая решение вопросов, как считают многие? Позиция папы? А может быть, дело в характере проблем, вынесенных на обсуждение? И если каждая из этих причин сыграла свою роль, то какая из них все же главная?

Конечно, процедура ведения Собора сложна и громоздка. После длительной подготовительной работы были составлены проекты решений по семидесяти проблемам. Эти документы составили том в 2300 страниц. Затем, еще в процессе подготовки, количество вопросов было сокращено до двадцати, а впоследствии до семнадцати. Уже на I сессии Собора состоялось 1180 выступлений. Пятьсот выступлений подано было в письменной форме. После обсуждения на I сессии вопросы были перенесены на доработку в комиссии. По всем схемам было сделано две тысячи замечаний (только к схеме «о церкви» — 327). Затем новые проекты, доработанные в комиссиях, были предложены на утверждение папе. Затем их передали вновь на обсуждение Собора и голосование (в том случае, если их не отсылают вновь на доработку в комиссии, как оказалось с большинством схем на II сессии Собора). И лишь после утверждения папой тех схем, по которым состоялось голосование, они могут считаться окончательно вступившими в силу. Стоит ли удивляться тому, что такая организация работы сказалась на темпах.

Но что много важнее — рассмотрение вопросов серьезно тормозили споры и разногласия. На Соборе столкнулись сторонники радикальных перемен и их противники. «Прогрессисты» и «реакционеры», «новаторы» и «консерваторы», «правые» и «левые», «либералы» и «твердолобые» — такие броские, заимствованные из политического арсенала характеристики двух главных соперничающих группировок можно встретить ныне во многих статьях, репортажах и книгах. Разумеется, все эти определения более чем условны.

Прогрессивны ли «прогрессисты»? Если взять, например, проблему взаимоотношения курии и епископата — одной из самых острых ныне, — то тогда историческим лидером «прогрессистов» нужно было бы считать инквизитора и изувера средневековья Торквемаду. Именно он — признанный «апостол» движения за усиление роли епископов и ослабление курии.



«Новаторы»? Но признанный лидер «новаторов» западногерманский кардинал Фрингс от имени шестидесяти пяти епископов выступил вполне солидарно с «твердолобыми» в защиту папской власти в ее традиционной форме.

«Либералы»? Их видным представителем считается кардинал Леркаро — один из немногих сторонников решительных перемен среди итальянских иерархов. Но, когда один из сторонников Леркаро, голландский епископ Гюффенс, призвал «принять во внимание опыт истории и социальной эволюции», констатировав, что «кончилось время, когда, как считали раньше, рабочие не в состоянии управлять своими собственными делами», — его прервал не кто иной, как кардинал Леркаро. Радикальный тон епископа показался ему неуместным.

А лидеры другого лагеря: «правые», «твердолобые»? Казалось бы, здесь-то все совершенно ясно. И тем не менее для упомянутого «правого» американского епископа характерна позиция недовольства темпами работы Собора. Но в итоге не смыкается ли его негативная оценка работы Собора с той агрессивно отрицательной оценкой, которую представляет противоположный лагерь, подтверждая старое правило: «крайности сходятся»?

К тому же существующие в Соборе группировки подчас «текучи», они нередко формируются на основе общей позиции по одному лишь вопросу повестки дня. При голосовании схемы о средствах массового общения «против» было 146 соборных отцов. Но при первоначальном обсуждении «против» было 500. Значит, 354 епископа переменили свои позиции в этом вопросе. Кто они? В одних вопросах — «новаторы», в других — «консерваторы». А в общем, нередко бывает и так, что «новаторы» отстаивают самые традиционные принципы клерикализма, а «консерваторы» пытаются завоевать умы молодежи; при всем различии — внешнем — их подхода и тактики, и те и другие стоят на страже вековых устоев католицизма.

Вот только два примера.

Я присутствовала на лекции «Дух и свобода» в папском Григорианском университете, которым руководят иезуиты. Это была учебная лекция, как сказать, для вечернего курса, то есть для работающих — для священников, семинаристов, активистов «Католического действия». В аудитории сидела в основном молодежь. На трибуне — профессор-иезуит Децца. Лекция перенесла слушателей в... XIII век. Проблема «духа и свободы» излагалась в категориях, почерпнутых в «Сумме теологии» Фомы Аквинского. Об этом философе и теологе средневековья я писала дипломную работу. Но услышать своими ушами преподносимые как «сегодняшнюю мудрость» его дефиниции и схоластические положения!

В тот же вечер, едва выйдя за порог Григорианского университета и распрощившись таким образом с XIII веком, я на той же пьедестале Пилота, 4, увидела объявление: «Дискуссия: Битники. Откуда они берутся». Дискуссию проводила местная организация «Католическое действие». Там можно услышать вполне современный язык, если хотите — даже жаргонный; там выступали монахи вполне современного склада — люди деловые, энергичные, не обремененные лексиконом XIII века. Это были пропагандисты, вполне умеющие находить общий язык с молодежью. Конечно, позиции отца-иезуита Децца и организаторов дискуссии о битниках в основе своей однородны. Но эти католические деятели отличаются друг от друга еще и тем, что принято именовать «психологическим складом».

Примерно такое же различие в «психологическом складе» можно заметить и у соборных отцов. Различия бывают и иного, более серьезного характера. На одном из заседаний Собора архиепископ Конакри Раймондо Мария Чидимбо заявил в полемике с католическими миссионерами из Европы и Америки, что они «охвачены духовным империализмом и неокOLONИализмом». «Поскольку политический империализм закатился, не следует открывать путь духовному империализму, не следует также совершать попытки, пусть даже абсолютно добросовестной, заменить колониальное господство своего рода опекой и патернализмом в религиозной области».

«Современники» и те, что «вне времени» — так предложил определить линию раздела участников Вселенского собора один левокатолический еженедельник. «Современники» понимают, что перемены неизбежны, и готовы добиваться их, но с наименьшими потерями для церкви. Те, кто «вне времени», либо закрывают глаза на эту неизбежность, либо не желают приносить ей даже небольшие жертвы.

Само по себе наличие группировок и различия — отражение определенного явления: церковь представляет собой сегодня конгломерат хотя и внутренне единых, но в то же время и различных элементов, не всегда согласовывающихся друг с другом. Борьба различных группировок на Соборе — это борьба внутрицерковная, она ведется на идейной платформе католицизма.

Разнохарактерная деятельность церкви, применяющейся к различным слоям общества, к различным национальным особенностям, к противоречивым зачастую политическим ситуациям, весьма затрудняет, естественно, выработку некоей средней, приемлемой для всех линий, а ведь именно об этой «средней» идет речь. Ее пытается выработать нынешний глава церкви.

### ОПТИМИЗМ ИЛИ ПЕССИМИЗМ?

Многие пишут и говорят о различии устремлений Иоанна XXIII и Павла VI: Иоанн XXIII пытался осуществить рывок навстречу современности, открыть диалог церкви с миром, выдвинуть церковь вперед... Павел VI не только не отрицает необходимость изменений — наоборот, эту необходимость он провозгласил при своем вступлении на престол. Правда, о характере, направлении, темпах этих перемен и реформ — а именно по этому поводу и ведется спор — новый папа пока предпочитает не высказываться определенно.

Западные комментаторы подчеркивают осторожность, сдержанность главы церкви, связывая это с тем, что он поставлен перед необходимостью так или иначе согласовывать, примирять сталкивающиеся на Соборе мнения, позиции, взгляды, вынужден балансировать между различными тенденциями. А это привело, как отмечала «Уинита», к тому, что усилилась личная позиция папы, его роль как руководителя церкви стала более значительной. «Результат, которого, конечно, никто не желал ни справа, ни слева».

Много толков в прессе и в околоцерковных кругах идет вокруг, так сказать, психологического различия обоих руководителей церкви. «Гамлет» — так определил Иоанн XXIII характер кардинала Монтини, ставшего его преемником. Монтини — представитель аристократического рода и дипломат, широкообразованный полиглот и крупнейший богослов, аскет, суровый, сухой и подозрительный — так пишут о новом папе. И вот человек такого склада вступил на престол, где недолгое время правил сын крестьянина — «папа мира», о котором говорили, что он услышал голоса со всех концов земли, требующие дружбы, мира, переговоров, прекращения гонки вооружений. Он олицетворял, по мнению многих, оптимистический взгляд на человека, тогда как нынешний папа выражает противоположный взгляд. Журнал «Ринашита» писал об Иоанне XXIII, что он «различными путями, запутанными и тернистыми, ловкими маневрами, если угодно, может внести вклад в признание церковью человека таким, каким он сам пытается вписаться в рамки своего противоречивого существования».

Для Павла VI же характерен традиционно-требовательный, пастырски-назидательный подход к человеку. Внутренний мир современного человека Павел VI раскрывает в терминах, которые можно встретить у современных экзистенциалистов: «В то время, как прогресс ведет к замечательному усовершенствованию орудий всякого рода, которыми располагает человек, сердца людей склоняются к пустоте, грусти и отчаянию». Разумеется, такая констатация предшествует традиционным заявлениям о способности церкви спасти современного человека от тяготящего его чувства одиночества и отчаяния.

В откликах на речь Павла VI при открытии II сессии Собора печать довольно дружно подчеркивала это различие во взглядах, пессимизм одного и оптимизм другого. «Речь идет о пессимизме, с которым новый папа взирает на некоторые проявления современного мира» («Ресто дель Карлино»). «Если правление Иоанна XXIII можно охарактеризовать как скачок вперед, то теперь... этот скачок уступил место переоценке ценностей, духовному отступлению, стадии размышлений, недоверий и горечи» («Воце республикано»). «Иоанн XXIII был склонен к терпимости, к оптимизму в оценке современного мира. Для Павла VI характерна суровая и резкая позиция, он указывает на ошибки, падения...» («Авенире д'Италиа»).

Пессимизм Павла VI некоторые комментаторы объясняют фактами политического характера: большей сдержанностью нового главы церкви в вопросах, связанных с контактами католической и некатолической церкви; и усилением католических экстремистов, требующих вернуть в лоно католицизма «отделившихся братьев»; призывом группы епископов о том, чтоб на следующей сессии вынести осуждение коммунизму.

Противники линии Иоанна XXIII пытаются взять ныне реванш как за его позицию по вопросу о контактах с некатолическими элементами, так и в вопросе о польско-германской границе. Многозначительны и такие факты, как награждение высшим ватиканским орденом Конрада Аденауэра; прием, оказанный Павлом VI Аденауэру и Глоббе; сердечный прием, оказанный им же Эрхарду, и высказанные Павлом VI на этом приеме слова о его приверженности заветам Пия XII; торжественная церемония открытия памятника Пию XII.

Особый интерес вызывает отношение папы к главной проблеме, стоящей перед всем человечеством, — к проблеме мира, к необходимости мирного разрешения всех спорных вопросов. На приеме руководителей движения «Пакс Кристи» («Христианский мир») папа говорил о необходимости «распространения за пределы церкви светоча христианской концепции мира». Он подчеркнул, что эта концепция мира отличается от концепции мира «суетного, мирского».

Когда говорят о том, что отличает деятельность нынешнего главы католической церкви, имеют в виду факт, который приобрел характер сенсации: обращение его к раннему христианству. Что именно в раннем христианстве привлекает Павла VI?

Судя по тому, что ныне так подчеркивают в раннем христианстве католические пропагандисты, это не столько такие привычные «добродетели», как слепая вера, дух жертвенности, мученичество, сколько факторы чисто социального характера: равенство, взаимопомощь, осуждение богатства. И тут Павел VI и вся церковная иерархия неминуемо натолкнется на неразрешимое противоречие: основанная на таких принципах, церковь не сможет служить капиталистическим порядкам. Ведь она должна быть церковью бедных, а значит, и бедной церковью. Но «бедная церковь» и католическая церковь — понятия несовместимые! Чтобы стать бедной церковью, католическая церковь должна была бы отказаться от огромных материальных ценностей, которыми она владеет в настоящее время: от орудинок, шахт, доходных домов, банков...

Почему же ватиканские пропагандисты заговорили о «церкви бедных»? Это становится ясно из выступлений самих священнослужителей на Соборе. Вот выступление французского аббата Боуайона: «Бедные отошли от церкви, и необходимо провозгласить о достоинстве бедняков. Нужно открыто признать, что бедняки имеют полное божественное право на такую церковь, где они занимают подобающее им место. Мы не должны никогда забывать о том, что марксизм завоевал сердца бедняков, именно утверждая их достоинства». Что ж, вполне трезвый вывод!

Но как сочетать рывок к современности и движение назад, на двадцать веков назад? Еще одно противоречие? Нет. Это средство, с помощью которого церковь

пытается освободиться от обоснованных обвинений в том, что она погрязла в мирских делах, в мирской скверне. За двадцать веков достаточно ясно обнаружилось светское содержание деятельности церкви. Да и светское содержание религии выступило в XX веке с наибольшей очевидностью. Поэтому сейчас и предпринимаются новые и новые попытки спасти положение с помощью «возвращения» религии человеческих ценностей.

Попытки эти — лишнее свидетельство того, насколько глубоки, сложны, болезненны проблемы, стоящие ныне перед католической церковью. В то же время является, что в центре этих проблем дела отнюдь не специфически церковные, а общечеловеческие и социальные; в центре «диалог с миром» — не только «католическим», не только «христианским», а с миром в целом. С миром, в котором движущая сила развития принадлежит отнюдь не католической церкви и не капитализму.

### КТО СЛЫШИТ ГЛАС НАРОДА

О самой возможности диалога между католиками и левыми «Оссерваторе Романо» — орган Ватикана — пишет как о чем-то непозволительном, опасном, предосудительном. Однако такой диалог уже ведется — это факт реальной жизни.

...Народный дом в одном из кварталов Флоренции. Это двухэтажное здание со зрительным залом, большим холлом, с комнатой, где смотрят телепередачи, и другими поменьше, где играют в шахматы, в спортивные игры, читают газеты. В конце коридора на втором этаже несколько дверей, на каждой из них табличка: «Социалисты», «Социал-демократы», «Коммунисты». Клуб организован на ассоциативных началах. Силами социалистов, коммунистов, социал-демократов в здании, которое арендуется у муниципалитета. Взносы от участников поступают соответственно представительству. Сразу после войны, на гребне подъема, вызванного движением Сопротивления, участники Сопротивления — социалисты, коммунисты, социал-демократы, левые демохристиане — создали такие клубы — «народные дома». Здесь они проводят досуг и обсуждают интересующие их проблемы. Мы оказались в народном доме — это было в августе позапрошлого года — в обычный субботний вечер. В большом зале шла дискуссия. Видимо, здесь это дело обычное. Сбравшиеся горячо и заинтересованно спорили о том, что такое свобода для рядового человека, о слутнике, о религии, о Московском университете, о заработной плате рабочего в Неаполе и во Флоренции, о событиях в Алжире. До чего ж это был живой, человеческий разговор — разговор людей, которые занимают разные позиции в политических вопросах и голосуют за различные партии. В нем принимали участие и коммунисты, и социалисты, и социал-демократы, и левые демохристиане. Это и был тот самый «диалог». Он идет в Италии, во Франции, по всей Европе; он идет везде в так называемом католическом мире. Мешали ли ходу этого диалога анафемы церкви в адрес коммунистов или запрет церкви верующим католикам вступать в какие-либо контакты с коммунистами? Может быть, и мешали, но не помешали. Во всех забастовках, во всех манифестациях, во всех стачках и в решении всех важнейших проблем, волнующих трудящихся, различные их группы стремятся к единству и часто достигают его вопреки попыткам расколоть их ряды. Реакция прибегает к сильнодействующим средствам, когда не помогают увещания. Как не раз уже сообщала печать, то один, то другой «неизвестный злоумышленник» бросает бомбу в народный дом то в Риме, то в другом городе.

Может ли церковь, пытаясь вести диалог со светским миром, не учитывать могучего фактора влияния силы и авторитета мира социализма, игнорировать миллионные массы, строящие новый мир?

В послании к населению Миланской епархии в августе прошлого года папа Павел VI писал: «Христианская вера и апостолические усилия подрываются сей-

час не столько в силу естественного течения времени, сколько в силу радикального и неодолимого изменения, затрагивающего сейчас жизненную концепцию наших людей и превращающего ее в иную, трудно определяемую концепцию, которую характеризуют двусмысленным термином прогрессивная, а не христианская и не католическая». Церковь вынуждена считаться с тем, что одним из важнейших элементов современного мира являются те силы, которые строят земное человеческое счастье.

Иоанн XXIII, противник коммунизма и материализма, признавал, что современный прогресс осуществляется не только силами, связанными с церковью. Он признавал и ценность вклада в современное развитие со стороны тех элементов, которые строят здание социальной жизни на иных, чем у церкви, принципах. Иоанн XXIII получил поддержку со стороны многих авторитетных деятелей церкви. Голландская епископская конференция направила послание соборным отцам, в котором говорится: «Церковь сопоставляется с философиями, которые именуют себя безбожными или агностическими: марксизмом, гуманизмом, экзистенциализмом. И даже если для нас, верующих, невозможно принятие этих философий, мы должны увидеть, какое зерно истины заключается в этих движениях мысли или служит, возможно, наиболее весомой причиной их динамизма». Как это для всех очевидно, они призывают увидеть причины привлекательности светских концепций жизни, чтобы бороться с ними.

Реалистический взгляд Иоанна XXIII и его последователей вызвали развернутое наступление «твердолобых». Заявление на Соборе двухсот епископов, которые предлагали рассмотреть специальную схему «О безбожном коммунизме», послание итальянских епископов «О безбожном коммунизме», выступления католических пропагандистов после окончания Собора, направленные против «диалога с миром», и другие наступательные акции следуют одна за другой.

В послании итальянских епископов (1 ноября 1963 года) говорится о том, что верующих на каждом шагу подстерегает светскость, многообразная по форме и проявлениям. Самая опасная из них, опасность № 1 — коммунизм. «Многие поддерживают безбожный коммунизм, — говорится в послании, — часто из-за надежды на экономические преимущества». Поэтому, мол, противоборствовать коммунизму необходимо деятельностью, направленной на «конкретное решение насущных проблем нашего времени». Из запутанных и осторожных формулировок все же выясняется смысл опасений: люди могут понять, что не христианская цивилизация борется за конкретное решение насущных проблем нашего мира (и это отталкивает многих от нее), а коммунизм (который привлекает к себе массы).

В книге «Христианская демократия Италии и Франции» Марио Эйнаути (один из авторов этой книги) пишет: «Многие из тех людей, кто провозглашает себя антикоммунистами, предлагают, не отдавая себе в этом отчета, осуществлять те самые элементы практики и ту программу, которую выдвигают коммунисты.

Эти «элементы практики» — как раз те требования, та программа ликвидации капиталистических порядков, которую демагогически провозглашают клерикальные деятели и чего никогда не выполняют на деле.

Выражением тревоги — в связи с тем, что массы грудящихся (даже те из них, сознание которых отравлено антикоммунизмом) осознают, что именно коммунистические партии выражают их интересы и борются за осуществление этих интересов, — было проникнуто выступление папы Иоанна XXIII по поводу 1 мая 1960 года. Он говорил об опасностях «того несостоятельного положения, согласно которому, чтобы установить справедливость, необходимо присоединиться к безбожникам и, может быть, подпасть под их влияние». С другой стороны, ту же самую картину обрисовал американский католический прелат Рэмей: «Мы, христиане США и западного мира, далеко отстаем от марксистов в осуществлении христианских принципов, таких, как справедливость, равенство людей вне зависимости от цвета кожи...»

Подобные высказывания католических деятелей можно было бы не приводить и вовсе. Не к последнему высказыванию мы обратились потому, что преподобный

Рэмей на основании своего анализа призывает: «Все христиане должны объединиться в войне против коммунизма». Вывод же, сделанный Марио Эйнауди, симптоматичен. Нужно сказать, что Эйнауди — один из самых серьезных исследователей среди европейских ученых — историков и социологов. (Сын бывшего президента Италии, он ныне руководит одним из крупнейших издательств.) И так, он утверждает, что те из последователей католицизма, кто не находит удовлетворения своих чаяний в лоне церкви, обращаются к «иным светским учениям и теориям», а также к тем конкретным программам, которые на деле осуществляют интересы масс. Значит, они отходят от религии, от собственно религиозной жизни? Видимо, так. Чисто богословские добродетели — смирение, слепая вера, полное повиновение воле божьей — действительно не привлекают обыкновенного, земного светского человека.

Но церковь сетует ведь не только на то, что эти добродетели стали чуждыми современному человеку. Ее представители вынуждены признать, что рецепты социального поведения, этики в широком смысле, морали в общественном плане, которые предлагает церковь, проигрывают по сравнению с моралью светской, этикой земного гуманизма, с концепциями враждебного церкви мировоззрения. Речь идет прежде всего о том, что «католицизм проигрывает от сравнения с марксизмом», — это выражение М. Фогарти, одного из виднейших демохристианских историков. Обнаруживается и то, что эта идеология в современном виде все более утрачивает свою «конкурентноспособность». Не потому ли сейчас религия и вынуждена обращаться к общечеловеческим ценностям, все менее рьяно в теологические одежды.

В радиодискуссии о религиозности в Италии эта сторона дела получила неожиданно яркое освещение. Профессор Грассо — иезуит, доцент Грегорианского университета, на примере видных церковных деятелей доказывал, что невежество в области теологии и догматики не мешает человеку придерживаться самых высоких норм морали и вести добродетельную жизнь. Конечно, сказано это было для того, чтобы подчеркнуть ценность слепой веры. Но рассуждения отца-иезуита справедливы и в самом буквальном смысле: для того, чтобы быть добрым, честным, вести нравственную жизнь, не требуется ни знания догм, ни веры в потустороннее, ни религии, ни церкви. И это обстоятельство все больше и больше делается очевидным: если оно и не всегда вполне осознается, то можно проследить тенденцию осознания его в массах. Именно из страха перед осознанием в массах преимуществ светской морали отцы-иезуиты пишут книгу за книгой, в которых ведут бой против марксистского гуманизма. Именно поэтому в центре внимания католической теоретической литературы — проблемы марксистской этики, морали, положения личности в условиях социализма и коммунизма. И, что знаменательно, в книге «Марксистский гуманизм» иезуит Биго, как и многие его коллеги, уже не отрицает гуманизм марксизма, хотя всячески стремится фальсифицировать и исказить его, извратить характер марксистского учения о личности.

Иоанн XXIII, считавший борьбу с материализмом и атеизмом одной из своих главных задач, предлагал вести ее как борьбу концепций, рассчитывая при этом на победу той, которую он представлял.

Ныне все более отчетливо проявляется тактика грубого вмешательства политики в идейный спор. Видимо, в споре на чисто идейных позициях церковь не слишком рассчитывает на победу.

Побывав на следующий день после закрытия сессии Собора на лекции «Религия и марксизм» в Грегорианском университете, я самолично услышала барабанный треск политического антикоммунизма. Профессор-монах Лаяконо — в рясе, с тонзурой — осыпал аудиторию дождем цитат из Маркса, Энгельса, Ленина, Фейербаха, Штрауса. Цитаты приводились на память, очень точно и нужны были для того, чтобы убедить слушателей... не доверять коммунистам и не вступать в контакты с ними. В этой связи монах-лектор с чувством и жестиком зачитывал письмо итальянских епископов «против безбожного коммунизма». Он вы-

нужден был пропагандировать этот документ, в частности, потому, что его не слишком охотно пропагандировала католическая итальянская печать (чем навлекла на себя гнев кардинала Сири и других деятелей церкви). В выступлениях католических пропагандистов, посвященных Собору, которых после окончания его II сессии было множество, антикоммунистические мотивы пробивались очень явственно.

В заявлении двухсот епископов содержался призыв против проявления «терпимости» в отношении социалистических государств, где не допускается право частной собственности. Они выступают отнюдь не только против марксистской теории, но и против экономической и социальной структуры коммунистического строя. «Унита» писала, что цель этого послания — указать новому правительству «основную задачу — антикоммунистическую борьбу». Епископов не смущает, видимо, что такого рода документ сводит насмарку все старания представить нынешний курс церкви как отход от вмешательства в политику, как отмежевание от грязных методов политической игры.

Нынешней осенью Вселенский собор соберется вновь, чтобы попытаться на III сессии разрешить пятнадцать нерешенных вопросов и убедить массы, будто церковь внимлет «гласу народа». Быть может, формулы, способные удовлетворить отцов церкви, и будут в конце концов приняты. Однако никакая формула не сможет примирить человечество на нынешнем этапе его исторического развития с таким курсом, который ориентируется на уже пройденные этапы. Ныне есть силы, земные, реальные, которые прочно связаны с социальным прогрессом, которые действительно слышат глас народа, — силы, создающие социальный прогресс, строящие земное человеческое счастье.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

## ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРКИ ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА

*(К 60-летию со дня рождения писателя)*

### 1. С ИНТЕРЕСОМ И НЕ БЕЗ ПОЛЬЗЫ

#### 1

Лет восемь — десять назад очерки о деревне печатались всюду, в небывалом доколе количестве, почти ежедневно. В журналах и газетах. В сборниках и альманахах. Настолько часто и настолько всюду, что деревенский очерк занял, можно сказать, в литературном процессе особое, едва ли не ведущее положение.

Впрочем, новую, явственную полосу своего расцвета переживал тогда, как помним, и очерковый жанр в целом. Об очерке писались статьи, исследования, монографии. О нем спорили на многолюдных дискуссиях и обсуждениях. Лестное внимание читателей, горячее сочувствие и поддержка широкой общественности — все шло ему навстречу, все подтверждало, что пробил именно его час — час очерка.

Нечто подобное не раз бывало в истории литературы и раньше. В семидесятых годах прошлого века, например, вниманием русского общества тоже завладел очерк — на первый план в литературном процессе выдвинулась так называемая народническая беллетристика, посвятившая себя изучению жизни народа, его мирозерцания, его потребностей. Понять, почему это так, почему иные времена оказываются особенно благоприятными для очерка, не составляет особого труда. Нетрудно назвать и причины, вызвавшие к жизни стремительный поток нашей очерковой литературы пятидесятих годов. Бурное развитие общественного сознания, начавшееся после 1953 года, всем

нам памятный 1956 год — время острых споров, потрясений, открытий. ломки привычных взглядов, жажды нового осмысления жизни, — вся эта недавняя эпоха напряженной работы общественной мысли поставила перед каждым из нас — если использовать известное выражение Плеханова из статьи о Глебе Успенском, — «целый ряд вопросов, которых нельзя было решить, не отлавши себе предварительно отчета в том, как живет, что думает и куда стремится наш народ». Общество наше оказалось перед насущной необходимостью внимательно разобраться в том, с чем же очутилось оно на руках в результате пройденного пути — пути, о котором каждый день оно узнавало теперь столько нового и неожиданного. К этому побуждали его и первые опыты критического переосмысления недавней истории, и первые явные признаки начинающегося поворота к новым формам общественного бытия. Нужного знания обществу нашему, в силу тех же исторических обстоятельств, явно не хватало, знало оно о себе не так уж много, хотя и не по своей вине, — и на повестку дня встало прежде всего изучение реального положения дел, исследование реальных фактов. Читатель помнит, с каким вниманием следило теперь наше общество за прессой, с каким жадным интересом вглядывалось оно в каждое сообщение, могущее пролить свет на состояние дел в нашей экономике, в промышленности, в сельском хозяйстве, с каким усердием вчитывалось в статьи, исследования, очерки, рассказы, вбирая из них факты и сведения о нашей жизни, как чутко ловило каждое слово правды — правды, в которой оно ощутило



теперь такую очевидную и всеобщую потребность...

Что же удивительного, что литература откликнулась на эту общественную потребность прежде всего очерком? Самый «оперативный» жанр, жанр, естественно включающий в себя публицистику и исследование, обращенный к реальным потребностям и фактам бегущего дня, — он встал и не мог не встать во главе литературного движения. Пробыл действительно час очерка. И прежде всего очерка деревенского.

Почему именно деревенского?

Это было уже, конечно, обусловлено обстоятельствами, не имеющими аналогий в прошлом.

Во-первых, потому, что именно жизнь нашей деревни, наше сельское хозяйство были признаны тогда, как говорится, «самым отстающим участком нашего строительства». Во всяком случае трудности на этом «участке» чувствовались всеми, явное неблагополучие с положением дел здесь было всем достаточно очевидно, и удивляться в связи с этим повышенному интересу общества и литературы к деревенской теме не приходится.

Во-вторых же, нельзя не признать, что исследование колхозной действительности давало очеркисту возможность затронуть проблемы такой широты и значения, к каким едва ли мог он выйти на другом материале. Колхоз — эта небольшая ячейка нашей общественной системы — это своего рода маленькое советское «общество», как бы производящее в микромасштабе многие характерные особенности жизни «большого» общества, всей страны, — колхоз представляет собой с этой точки зрения действительно чрезвычайно интересный объект изучения. В нем, как в капле воды, можно охватить сразу единым взглядом и в единой связи многое из того, что не сразу, может быть, и охватишь во всей целостности, оглянувшись на огромные пространства реального мира.

Так или иначе, но именно деревенский очерк стал в пятидесятых годах главным героем дня. Имя В. Овечкина, положившего, по общему признанию, своими «Районными буднями» (1952) начало всему этому движению, имена В. Тендрякова, Е. Дороша, Г. Гроповского, С. Залыгина, М. Жестева, К. Букковского, В. Канторовича и других очеркистов упоминались в каждой почти критической статье, очерки их читались

с живейшим интересом и вниманием. Можно смело сказать, что созданная этими писателями очерковая литература стала одним из самых заметных общественных явлений того времени и полнее всего насыщала ту жажду познания, которой было исполнено общество.

Да и по своим внутренним стимулам наш деревенский очерк пятидесятых годов был, несомненно, именно таким, общественным прежде всего, явлением. Явственное «преобладание общественных интересов над чисто литературными», отмеченное Плехановым у Г. Успенского и его последователей, не менее характерно и для наших деревенских очеркистов — их тоже заставляло братья за перо прежде всего «желание выяснить себе и другим те или другие стороны наших общественных отношений», «схватить и верно передать общественный смысл изображаемых явлений».

В самом деле, возьмите, например, очерки одного из самых ярких и значительных представителей этой школы — Валентина Овечкина. Он пишет в жанре так называемого очерка-рассказа: с персонажами, действием, даже сюжетом — и притом в манере «объективного» повествования, когда автор только изображает, рассказывает, но никогда не выступает от своего имени. Тем не менее «преобладание социологии над литературой», страстная увлеченность этой социологией чувствуется здесь во всем. Очерк строится у него часто на одних почти разговорах, беседах, спорах и т. п., в коих главным образом и проявляют себя его персонажи; во время этих разговоров герои произносят нередко длиннейшие, на целые страницы, монологи, забывая порой и о требованиях индивидуализации речи и о необходимости соблюдать психологическую достоверность интонаций. «маскировать» свою вымышленность уместностью произнесения данных слов в данном положении. Напротив, они «проговариваются», они заботятся по большей части лишь о том, чтобы с наибольшей ясностью и полнотой изложить ту или иную проблему, которая трактуется в их разговорах и беспокоит их и автора.

Зато к этой стороне дела В. Овечкин чрезвычайно внимателен: он стремится к публицистической обнаженности проблемы, он формулирует ее всегда предельно отчетливо и вместе с тем обобщенно, выявляя ее место, ее масштаб в ряду прочих забот сельской жизни, рассматривает ее

всегда в достаточно широкой перспективе, дающей представление о ее важности с точки зрения общих задач развития сельского хозяйства в стране, развития общественных отношений. Он не боится логизировать, напротив, его именно и ведет в любом его очерке как раз это прежде всего стремление ясно и последовательно высказать то, к чему он пришел, наблюдая жизнь, поделиться не только своими наблюдениями, но и аргументацией, выводами, практическими своими соображениями. Наткнувшись на какую-то проблему, он поворачивает ее и так и сяк, стремясь обнажить все ее грани, он жаждет как можно детальнее «обсудить» ее со всех сторон, просмотреть и проверить все «за» и «против», взвесить аргументы, уяснить расстановку сил, способствующую или мешающую этим решениям. Именно поэтому очерки его и насыщены в такой мере всякого рода разговорами, спорами, обсуждениями — в них кристаллизуется мысль, которой хочет поделиться с нами писатель, в них приобретает она окончательные свои очертания.

Мы привыкли говорить об «интеллектуальном» романе, об «интеллектуальной» драматургии, поэзии, кинематографе. Эпитет этот как качественную характеристику, указывающую на структуру и направленность повествования, тем более можно применить к очерковой прозе нашего известного писателя. Очерки его обращены прежде всего к интеллекту читателя: они будоражат его мысль, заставляют «обсуждать» и «взвешивать», разбирать доказательства, следить за логикой и точностью выводов, участвовать в поисках решений.

Это не значит, что В. Овечкина не интересует пластическое, художническое воспроизведение действительности — очерки его отнюдь не просто беллетризованные социально-экономические трактаты — в них есть и правда характеров, и живая непосредственность деталей. Мы находим у В. Овечкина немало страниц, где сцены впечатляют точностью и глубокой психологических наблюдений, где диалог ведет не столько тема, но и внутреннее состояние героев, где забываешь, что перед тобой литературные персонажи, где героев и видишь и слышишь.

Но все-таки публицистический пафос, устремленность к непосредственному «интеллектуальному» общению с читателем всегда у В. Овечкина на первом месте.

Да и могло ли быть иначе?

Разве лишь в том случае, если бы

В. Овечкин не был сыном своего времени. Если бы время не потребовало от него властно именно этого «преобладания общественных интересов над чисто литературными». И если бы сам В. Овечкин не обладал столь страстным и живым сердцем публициста, жаждущего высказать свое слово сейчас, сегодня, как можно скорее — ведь именно сейчас оно может принести наибольшую пользу, именно сегодня оно нужно!..

## 2

Время, вызвавшее к жизни столь бурное развитие литературы деревенской темы, сейчас кажется уже своего рода «историей» — это недавнее, такое близкое, в сущности, время. Где-то к концу пятидесятых — началу шестидесятых годов деревенский очерк уступает уже свою ведущую роль литературе иных тем и сюжетов, а вниманием читателя все полнее и глубже начинают завладевать вопросы более широкого и общего нравственного содержания.

И все-таки живая связь деревенского очерка пятидесятых годов с нашим сегодняшним днем отнюдь не иссякла. Напротив, она обнаруживает себя, пожалуй, все очевиднее.

Я имею в виду не только литературу, не только тот факт, что даже такое явление нашей литературной современности, как творчество А. Солженицына, вряд ли можно понять до конца в его истоках, не отдав себе отчета в том, что сделали в свое время для литературы и общества В. Овечкин или Е. Дорosh.

Не менее важно и другое.

Да, к концу пятидесятых — началу шестидесятых годов наш деревенский очерк утратил свое ведущее положение в литературном процессе. Но не потому ли прежде всего, что к этому времени он уже, в общем, выполнил то познавательное задание, которое поставила перед ним эпоха?

Недаром деревенская литература последующих лет мало что добавила существенно нового к тому, что сказал он в свое время в отношении социально-экономических проблем сельской жизни. И не заметить, что за время своего «фаворитства» деревенский очерк прошел большой и плодотворный путь познания, сумел выйти к глубоким и важным обобщениям коренных проблем и забот нашей сельской жизни, — значит и вообще мало что понять в его содержании.

Путь познания, пройденный очерком, существо итогов, к которым он пришел,— и есть то, чем прежде всего, несомненно, сохраняет он живое, злободневное значение для нашего времени.

Плеханов сказал когда-то о народниках-беллетристах, что хотя времена изменились и никто уже не будет увлекаться этими произведениями так, как увлекались ими лет двадцать тому назад, все же и теперь, на рубеже двадцатого века, их прочтет с интересом и не без пользы для себя всякий, кто небеззаботен насчет насущных вопросов времени.

Право же, с не меньшим основанием можно сказать так и о нашем деревенском очерке пятидесятих годов. Наследие его не менее для нас поучительно и важно, и ясное, верное понимание существа проблем, выявленных им в процессе изучения сельской жизни, есть и сегодня неперемное условие ясности и верности общественного самосознания каждого из нас, необходимая предпосылка дальнейшего движения вперед общественной мысли нашего времени. А значит, и обращение в наши дни с этой точки зрения к наследию деревенского очерка пятидесятих годов тоже отнюдь не бесполезно и не безынтересно.

Настоящие заметки имеют в виду показать это на примере творчества одного из самых видных представителей деревенского очерка, зачинателя всего этого движения — Валентина Овечкина. Вернее сказать — на примере его очерков пятидесятих годов. Нас будут интересовать именно они и притом именно с той лишь точки зрения, о которой я говорил: «путь познания», пройденный В. Овечкиным в его очерковом творчестве, итоги, к которым он пришел, живое их значение для нашего времени.

## II. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ»

### 1

Даже при самом беглом, общем знакомстве с очерками В. Овечкина трудно, кажется, не заметить совершенно очевидную и чрезвычайно упорную — особенно на первых порах — склонность автора к составлению всякого рода «программ» практической деятельности.

В. Овечкин очень хорошо знает, выражаясь словами его главного и любимейшего

героя Мартынова, «сколько бед причинила нам трусливая, угодливая, лживая информация». И все свои «программы» он стремится строить именно на основе объективного и внимательного изучения реальных фактов.

Но все же изучение это предпринимает он по большей части именно «ради программ», и очерки его никоим образом не напоминают спокойное, беспристрастно-объективное исследование. Многие из них, напротив, как раз будто сплошная «программа»: на каждом шагу мы наталкиваемся в них то на деловой хозяйственный совет, то на критику несовершенств какого-нибудь установления, то на целую систему предложений по организации и оплате труда, по финансированию или планированию, по подбору кадров или порядку землепользования. Дневник Мартынова из «Трудной весны» — классический тому пример.

Более того, эта «программность» проникает иной раз даже и в образную структуру, определяет характер повествования, сюжет, отбор изображаемого материала. Возьмите, скажем, очерки цикла, напечатанные в 1953—1954 годов, — «На переднем крае», «В том же районе», «Своими руками», где мы застаем Мартынова после крушения прежнего «хозяйина» — Виктора Семеныча Борзова, уже первым секретарем райкома и где В. Овечкин рассказывает нам о первых опытах его деятельности на этом посту. Внешне здесь все как будто бы вполне объективно и беспристрастно: разворачивается какое-то действие, автор неторопливо и спокойно описывает будни своего героя, рисует сцены деловых встреч, поездок, разговоров его с людьми, передает его размышления и высказывания по поводу тех или иных беспокоящих его проблем — словом, строит некий сюжетный рассказ, обычный для очерков такого типа. По сути же дела вся эта изобразительность — самая настоящая «программа»: В. Овечкин явно демонстрирует нам своего Мартынова как образец настоящего партийного руководителя, любителю им, почти в открытую «агитирует» за его стиль работы.

Вот, скажем, Мартынов после объезда полей заезжает на усадьбу МТС, в общезжитие трактористов, и, оставшись у них ночевать, затевает с ними долгий, на всю ночь, разговор «по душам». Следует подробный пересказ этой беседы, и мы явственно ощущаем, что затеян он не только ради

того, чтобы «навести» Мартынова на новую проблему, которая любопытна автору, но, несомненно, в немалой степени и для того, чтобы наглядно показать так нравящееся автору умение Мартынова разговаривать с людьми, находить с ними сразу же общий язык, вызывать доверие к себе.

И еще целый ряд сцен такого же рода: Мартынов в колхозе «Борьба» разоблачает пробравшуюся к руководству шайку жуликов и взяточников; Мартынов принимает посетителей в райкоме — подробный рассказ о том, как беседует он с народом, решает текущие дела; Мартынов проводит перевыборы председателя, умело направляя ход собрания, однако ни в чем не ущемляя и демократию; Мартынов на партактиве, где в нарушение всех обычаев требует сокращения раз в десять длиннющего, накапанного по шаблону решения и всячески поддерживает выступления председателей колхозов, возмущающихся бесконечной заседательской суетней, и т. д. и т. п.

Словом, В. Овечкин не то что с сочувствием и удовольствием следит за смелыми и энергичными поступками своего героя — он просто любит его, не скрывая и не желая скрывать этого своего увлечения, этого откровенного своего любования человеком, в котором видит реальное воплощение своих представлений о настоящем, достойном уважения партийном руководителе.

Иногда это любование приобретает даже несколько навязчивый характер: В. Овечкин теряет чувство меры и, преисполненный желанием высказать о Мартынове все, что думает о нем, заставляет других героев хвалить Мартынова чуть ли не в глаза, чем ставит, конечно, его в несколько неловкое положение. Особенно эта авторская неумеренность чувствуется и вызывает улыбку в той идиллической сцене, где Мартынов, его жена и Марья Сергеевна Борзова гуляют по городу и Мартыновы наперебой рассказывают Борзовой о своей жизни — рассказывают, конечно, со смешком, подшучивая друг над другом, но подшучивая все по поводу таких качеств и поступков друг друга, которыми сами же внутренне гордятся. Словом, как ни шутят, а все вроде бы и «выхваляются» немного перед Марьей Сергеевной. А автору так приятно их любовное отношение друг к другу, что и он тоже не замечает некоторой неловкости этой сцены, и он тоже захвачен

только одним — так же, как и они друг другом, любитесь каждым из них по отдельности и обним вместе...

Да и как ими не любоваться, особенно Мартыновым? Счастливо уверенный в своих силах, в будущем, в правоте своей, в успехе замыслов своих, он весь сейчас — порыв и вдохновенно, он переживает золотые свои дни, все у него ладится, все удается, все с руки ему, все в его силах... Правда, В. Овечкину можно поставить в вину, что мера увлеченности его Мартыновым, этот романтический его пафос пока еще не вполне соответствуют реальным результатам деятельности героя и автор отдает свои чувства ему несколько «авансом». Но, с другой стороны, и понять В. Овечкина не так уж трудно: прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было увидеть результаты и показать их, а между тем он уверен, что они обязательно будут, и ему так хочется верить в это!.. Проверка «зачинов» Мартынова реальной практикой, а вместе с этим и более глубокое осмысление ситуации — все это еще и для героя, и для автора впереди.

Да. «программность» «демонстрации» мартыновского стиля руководства несомненна. Автор понимает, конечно, что герой его — не совсем обыкновенный секретарь райкома. Но что — разве каждому, кто искренне предан тем же идеалам, что и Мартынов, нельзя последовать его примеру? Разве мало у нас людей, которые столь же честны, принципиальны, столь же демократичны, так же болеют за судьбы простых людей, как и Мартынов, и точно так же могли бы заступить места всех и всяческих Борзовых — вполне и повсеместно? Посмотрите, убедитесь на примере, как это хорошо, когда Борзовых заменяют Мартыновы. Посмотрите, убедитесь и поймите — вот какие нам кадры нужны, вот каких людей надо искать, поддерживать и выдвигать, чтобы дело пошло вперед...

Словом, именно это или что-то близкое к этому хочет сказать нам своим Мартыновым В. Овечкин, и «программность» его в этих сценах столь же для нас очевидна, как и в других случаях, где «программы» свои он формулирует уже и прямо, в открытой публицистической форме.

Эмоциональные истоки этой «программности» — характерной, кстати сказать, совсем не для одного только В. Овечкина, но и для всего нашего деревенского очерка

в целом — достойны и благородны. Героиня «Районных будней» Варвара Федоровна Руденко сказала как-то под горячую руку и прямо в глаза своему районному начальству: «Сколько у вас таких колхозов, где и в этом году дадут на трудодень граммы? Я смотрела сводку. Да когда ж это кончится? Разве ж можно с этим мириться, пусть даже в одном только колхозе останется такое безобразие? И там ведь — живые люди!»...

Любой из деревенских очеркистов пятидесятых годов мог бы подтвердить, что именно эти чувства, переполнявшие Варвару Федоровну, заставляли его браться за перо, писать очерки о деревне, искать и предлагать к обсуждению те или иные меры, способные, на его взгляд, покончить «с таким безобразием».

Живые люди, работающие на колхозных полях, страстное желание помочь им, найти пути коренного улучшения их жизни — «святая святых» нашего деревенского очерка, и именно во имя этой святой цели он и брался за составление любых программ, любых экономических и прочих расчетов.

Увы, эту важную особенность деревенского очерка специально приходится подчеркивать, потому что гораздо чаще мы привыкли встречать на страницах деревенских повестей, романов, очерков, рассказов, фильмов, пьес явное «несогласование» этих общих и как будто бы для всех нас несомненных исходных принципов — с объективным смыслом тех «приговоров», той, так сказать, «морали», которая вытекает из характера освещения жизненного материала...

Задачи развития колхозного производства никогда не сводились в произведениях наших очеркистов-деревенщиков пятидесятых годов к простому увеличению количества продукции, даваемой колхозами, но были действительно неотделимы от заботы о самих колхозниках и ни в каком случае деревенский наш очерк не желал забывать об этом. Не заметить всего этого — значит мало что понять в его значении, в его общественном лице.

Однако сами по себе чувства, служившие главным побудительным стимулом к творчеству и у В. Овечкина, и у других наших очеркистов, не объясняют еще, конечно, до конца настойчивую «программность» деревенского очерка, его постоянную устремленность к практически деловой постановке вопросов. Чувства толкают нас к тем или

инным поступкам, но, совершая поступок, мы ведь не сбрасываем со счета и меру его целесообразности, практической оправданности.

«Программность» деревенского очерка тоже рождена была не просто стихией чувства. Она прямо связана с теми исходными представлениями о характере изучаемой действительности, с которых начинал свой «путь познания» и В. Овечкин, и любой другой наш деревенский очеркист. Если прибегнуть к помощи главного героя очерков В. Овечкина Мартынова — суть этих исходных представлений можно было бы выразить так:

«Колхозы для нас не только — производители хлеба, мяса, молока, овощей и пр. Колхоз — это люди, тысяча, полторы, две тысячи людей, которые должны жить хорошо. Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни. Мы, партия и советская власть, взяли на себя ответственность за судьбы нашего крестьянства, обещали им в колхозах справедливую, материально обеспеченную, культурную жизнь, и мы должны добиться этого всюду... Для чего же мы и существуем, коммунисты, как не для того, чтобы сделать жизнь во всех колхозах богатой, радостной!..»

Под этим подписался бы каждый деревенский очеркист пятидесятых годов. Убежденность в том, что колхозы созданы «не для упрощения лишь хлебозаготовок», а для «самих крестьян, для улучшения их жизни» и что «партия и советская власть» для того именно и существуют, чтобы «добиться всюду» «богатой, радостной» жизни колхозников — эта убежденность была столь же горячей и единой, как и преданность интересам простых людей, работающих на колхозных полях. И именно из этого взгляда на место и назначение колхозов в системе существующего в стране общественного строя, из этого понимания характера государственной политики по отношению к колхозам и вытекал радостный пафос уверенности в том, что лучшая помощь, которую может ждать от очеркиста партия и советская власть, — доскональное изучение всего, что мешает колхозам подняться к богатой и радостной жизни, всего, что надо сделать для этого. Именно отсюда и деловые хозяйственные советы, и предложения по реорганизации оплаты труда или по

рядка планирования, и прочие «программы», которыми так обильно насыщен наш деревенский очерк.

На этот момент следует обратить особое внимание, потому что он не только объясняет нам некоторые особенности творческой эволюции В. Овечкина, отразившие общую для всего деревенского очерка тенденцию к постепенному уменьшению в нем удельного веса «программности» (у В. Овечкина это выразилось в самом факте завершения его цикла очерков, к которому он впоследствии больше уже не возвращался), но позволяет по достоинству оценить и масштаб познавательных завоеваний, к которым он пришел в конечном итоге, отправившись в путь от названного исходного рубежа.

Что же это был за путь и к чему он привел Валентина Овечкина?

2

Перед нами — «Районные будни» (1952). Первый из получившего позднее то же название цикла очерков, составившего самую прочную и широкую славу В. Овечкина.

В кабинете Мартынова (он пока еще второй секретарь райкома) сидят хозяин кабинета и председатель самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин.

«— Я тебе объясню, Илларионыч,— говорит Опёнкин,— почему в нашем колхозе работа спорится, люди дружно за все берутся. Потому что колхоз богатый, есть чего получать по трудовням и хлебом и деньгами. У нас самое тяжкое наказание для человека, когда отстраняем его решением правления от работы дня на три.

Мартынов засмеялся.

— Объяснил! А колхоз богатый, потому что люди дружно работают.

— Да,— улыбнулся Опёнкин,— так уж оно, как пойдет колесом...»

«...Долго еще думал Мартынов после ухода Опёнкина об этом человеке,— заключает автор вводную эту сцену очерка.— Если бы все были такие председатели колхозов в районе! Вот у него пошло колесом — колхоз богатый, потому и люди хорошо работают. А в некоторых колхозах тоже идет «колесом», только наоборот: на трудовень — крохи, потому что был плохой урожай. плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году

получили мало хлеба по трудовням. Тут уж получается не колесо, а заколдованный круг. Но этот круг надо разорвать во что бы то ни стало! Кто может его разорвать? Вот такие люди, которым народное дорого, как свое кровное...»

Как видим, первый наш «деревенский очерк» сразу же и весьма решительно заявляет о своем характере: на первых же страницах — не только четкая формулировка некоей проблемы, но даже уже и первая «программа». Как разорвать «заколдованный круг»? Для этого нужны такие вот, как Опёнкин.

К этой мысли Мартынов на протяжении очерка возвращается не раз. И в спорах с Борзовым. И в заключительной сцене — в разговоре с Марьей Сергеевной Борзовой, где, как бы суммируя важнейшие проблемы, поставленные в очерке, снова выделяет то главное, в чем видится ему разрешение самой трудной и самой важной проблемы — проблемы «заколдованного круга». «Ведь все дело в председателях!» — еще раз подчеркивает Мартынов. Найти хороших председателей для отстающих колхозов — и дело пойдет. А мы? А мы из колхозов «торопимся выдвигать стоящих работников. Будто наши учреждения существуют ради себя. Не ради себя — ради колхозов! Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук — положение не улучшится, если в колхозах где-то останутся шляпы, пьяницы!.. Так с этого нужно начинать! Искать людей! Без этого — провалимся с греском!..»

Итак, «все дело в председателях». Нужно найти людей, и с их помощью, их усилиями проклятый заколдованный круг будет разрушен.

Убеждение это было первой «программой» не одного только В. Овечкина. С этого вывода, наиболее как будто бы очевидного и бесспорного, начинал свой путь изучения сельской жизни почти каждый наш деревенский очеркист пятидесятих годов.

Но именно начинал. В дальнейшем же пути разделились — у каждого была своя преимущественная сфера внимания, свой круг наблюдений и интересов. М. Жестева, например, больше привлекает конкретное изучение работы председателя колхоза. Е. Доронин внимательно наблюдает не только за председателем, но и за простым колхоз

ником — знакомит нас с его стремлениями, интересами, психологией, внутренними стимулами, заставляющими колхозника так или иначе относиться к разного рода порядкам и установлениям артельной жизни.

Преимущественное внимание В. Овечкина приковано к иной сфере, к иному кругу проблем и забот, связанных с задачей обеспечения «богатой и радостной жизни в колхозах». Они, эти проблемы, встали перед ним сразу же, как только он задался естественным вопросом, вытекающим из тезиса «все дело в председателях»: что же нужно сделать для того, чтобы поставить во главе всех колхозов настоящих председателей? Какие препятствия нужно преодолеть на пути осуществления этой всем очевидной как будто бы в своей необходимости, однако же все еще почему-то не осуществленной меры?

## 3

Та же вводная сцена «Районных будней». Опёнкин и Мартынов мирно беседуют о «колесе», о «заколдованном круге», об отстающих колхозах. Но по всему видно, что Опёнкина беспокоит больше другая забота, связанная уже непосредственно и с его собственными интересами, с интересами его колхоза.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении она тоже оказывается весьма тесно связанной с проблемой «заколдованного круга».

Опёнкина беспокоит, не придется ли ему опять выполнять государственные хлебопоставки за отстающие колхозы. Практика эта хорошо ему знакома по прошлым годам, а положение со сдачей хлеба в районе не блестящее, так что опасаться есть все основания. «А не получится опять по-прошлогоднему? — спрашивает он у Мартынова. — ...Соседи наши на семидесяти процентах пошатаются, а нам опять дадите дополнительный?» — «По хлебопоставкам? Нет, насчет этого сейчас строго», — успокаивает Мартынов. Однако добавляет все же, на всякий, видимо, случай: «Может быть, только заимообразно попросим. У тебя много хлеба осталось, а у других нет сейчас намолоченного. Вывезешь за них, потом отдадут».

И тут Опёнкин не выдерживает. «Вот, вот! — бросает он с отчаянием. — Я ж говорю, что-нибудь да придумаю. Не в лоб, так по лбу!.. Какие займы! Говорите пря-

мо — пожертвования. Никто и в этом году не отдаст нам из старых долгов ни грамма. Придут к вам, расплачутся, и вы же сами нам скажете: «Повремените, не взыскивайте. У них мало хлеба осталось. Надо же и там чего-нибудь выдать по трудодням, засыпать семена»...

Ты не подумай, Петр Илларионыч, что я жадничаю... Не о своем колхозе беспокоюсь. Мы не обедняем. Еще тысячу центнеров раздадим — не обедняем. Но это же не выход из положения! Вы же никогда так не поправите дело в отстающих колхозах — подачками да поблажками!..»

Мартынов соглашается — да, действительно так мы порядка в колхозах не наведем и район не поднимем. «Я тоже не сторонник таких методов подтягивания отстающих», — говорит он Опёнкину. И — на этот раз уже твердо, без оговорок — заключает: «Дополнительного плана тебе не будет. Ни под каким соусом».

Но Опёнкин лишь недоверчиво качает головой: «Это пока ты правишь тут за первого. А придет Виктор Семенович? Скажет: «Ну-ка, потряси еще Демьяна Богатого!...» Вот, с дороги отдохнет, может, часика два и начнет шуровать!»..

Опёнкин оказывается пророком. Вечером, как снег на голову, является «сам». Не высидал на курорте положенного срока, душа изболелась, да еще жена прислала областную газету со сводками, окончательно испортившими Виктору Семеновичу настроение. Так прямо с поезда, заехав по дороге на эlevator и не побывав даже дома, и явился в райком. И сразу же, так и предсказывал Опёнкин, — «шуровать».

Сцена, которая происходит между ним и Мартыновым, заслуживает того, чтобы освежить ее в памяти читателя.

«— Проверил на элеваторе, как хлеб возят... Плохо возят, Петр Илларионыч! — с хода приступает Борзов к делу.

— Да, можно бы лучше, — отвечает Мартынов. — До этих дождей выдерживали график.

— Как же вы могли выдерживать график, если три колхоза у вас уже с неделю как не участвуют в хлебопоставках: «Власть Советов», «Красный Октябрь» и «Заря»?

— Другие колхозы вывозили большие дневного задания. А «Власть Советов», «Октябрь» и «Заря» рассчитались.

— Как — рассчитались?

— Так, полностью. И по натуроплате — за все работы.

Борзов с сожалением посмотрел на Мартынова.

— Так и председателям говоришь: «Вы рассчитались»? Эх, Петр Илларионыч! Учить тебя да учить! Где сводка в разрезе колхозов?.. Да, вижу, правильно я сделал, что приехал.— Взял чистый лист бумаги, карандаш...— «Власть Советов». Сколько у них было? Так... Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..

— Самую высшую?

— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем... По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?..

Словом, наилучшие опасения Опёнкина сбываются. Не «заимообразно» даже, а вот так, еще проще — без всякого возврата, путем перечисления натуроплаты по высшей группе.

Мартынов — мы уже знаем его позиции — начинает, естественно, спорить. И по тому, как разворачивается спор, мы угадываем, что спор этот, должно быть, давний и касается не одного только частного этого вопроса.

«— Я не мальчик...— говорит Мартынов.— Эти штуки мне знакомы. Но пора бы с этим кончать, право! На каком основании ты предлагаешь пересчитать им натуроплату по высшей группе?»

— На том основании,— отрезает Борзов,— что стране нужен хлеб!..

— Во «Власти Советов» урожай, конечно, выше, чем в других колхозах. Но все же на девятую группу они далеко не вытянули,— продолжает Мартынов свое.—...Почему же теперь им — девятую группу, да еще задним числом? Что Опёнкин колхозникам скажет?»

И опять Борзов отвечает без всяких околичностей: «Пусть что хочет говорит. Нам нужен хлеб. Чего ты болеешь за него? Старый зубр! Вывернется!»

Мартынов все еще пытается прижать Борзова по моральной, так сказать, линии. Нет, говорит он, «я тоже знаю... что стране нужен хлеб... И план районный мы обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно так выполнить, что хоть и туго

будет потом кое-где с хлебом, но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справедливость. У наших агитаторов будет почва под ногами, когда они станут с народом говорить: «Что заработали, то и получайте». И пусть рядом, во «Власти Советов», люди втрое больше хлеба получат! И нужно строить на этом политику!.. А если без политики выполнять поставки, так и секретари райкомов не нужны. Каким-нибудь агентам можно поручить...»

В скобках заметим, что кое в чем с Мартыновым следовало бы здесь, конечно, и поспорить. Особенно насчет странных способов приобщения к советской справедливости. Но, как увидим в дальнейшем, он и сам себя еще оспорит, а пока что нам любопытна линия размежевания его с Борзовым.

Борзова же всем этим не проймешь. Что ему заботы об агитаторах, о том, чтобы работать им сподручнее было? Ничего, вывернутся. Да и насчет секретарей райкомов и агентов — все это тоже для него ничемные разговорчики, сентименты. Он-то очень хорошо знает, где на волка зима. И аргументы его резковаты, но реальны. Ну хорошо, говорит он, посмотрим, что мы можем вывезти из других колхозов, не считая богатых. Есть там такой хлеб, чтоб сейчас, в эту минуту, можно было бы грузить на машины и везти на элеватор? Нет? Так какого же черта вы толкуете мне тут про справедливость, политику? «Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке? Политики!..»

#### 4

Итак, возможность выполнять районный план хлебозаготовок за счет тех хозяйств, что покрепче стоят на ногах, вряд ли может служить стимулом горячей заинтересованности районного руководства в действенной, кардинальной помощи отстающим колхозам, коль скоро это руководство не принимает близко к сердцу никаких иных забот, кроме той, чтобы любой ценой и предпочтительно в числе первых выполнить спущенный сверху план хлебопоставок. Пример Борзова доказывает это, кажется, достаточно убедительно, а ведь Борзов — лицо, несомненно, типическое, этого нельзя не почувствовать. Одна фразеология чего стоит — за каждым



словом так, кажется, и слышишь голоса реальных Борзовых, настолько они знакомы и достоверны, эти слова, настолько они «на слуху»...

Конечно, смысл приведенной сцены достаточно широк. Но то, что В. Овечкин ставит ее в прямую связь с проблемой «заколдованного круга» и несколько уточняет ею свой главный тезис «все дело в председателях», тоже несомненно.

Чтобы не допустить на этот счет никаких неясностей, автор заставляет своего героя в заключительной сцене очерка — разговоре Мартынова с Марьей Сергеевной Борзовой — еще раз вернуться к этой теме и поставить все точки над «i». Да, надо искать людей, искать хороших председателей. Без этого «провалимся с треском». Но разве Борзов будет искать? Зачем ему это? Ему проще Демьяна Богатого потрясти, план районный он и так сумеет из колхозов выжать.

Или, скажем, такой вопрос: почему и со стороны самого партактива не видно особого энтузиазма и готовности поехать в колхозы председателями выправлять положение? Ведь вот посылаем же мы, размышляет Мартынов, во все колхозы уполномоченных. И живут они там месяцами, все лето. И жизнь без них в райцентре идет своим чередом, все конторы пишут. Однако же насовсем ехать в колхозы не хотят.

Между тем, «если даже практически рассудить: чем быть мне вечно уполномоченным в селе, разрываться между своим учреждением и командировками, так пошлите уж меня председателем! И зарплату высокую установили для таких, взятых с другой работы. Секретарь райкома столько не получает, сколько в крупном колхозе при хорошем урожае может председатель зарабатывать. И — нет охотников».

Отчего? А оттого все, бьет опять в ту же точку Мартынов, что «Борзова боятся. Есть и здесь такие, что с удовольствием променяли бы свою канцелярию на живую работу в колхозе, но — его боятся. Боятся: что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку. Он тебя и группой урожайности подрежет, и выговор ни за что влепит — за то, что в проливной дождь комбайны не работали. Нет хуже для председателя колхоза, когда он не уверен, что ругать его будут лишь за дело, а помогать по-настоящему, что в своей трудной работе, где не раз, конечно, и ошибешься, он не станет жертвой произвола,

самодурства... В общем, можно сделать вывод: если где-то жалуются, что лишь в порядке партийной дисциплины удается послать человека в колхоз на должность председателя, — ищи причину в самом райкоме».

Таковы выводы Мартынова, выводы автора. Формальное, бюрократическое руководство — «борзовщина», как скажут позднее герои В. Овечкина, — вот главное зло, вот главное препятствие, которое мешает развернуть работу по вытягиванию из прорыва слабых колхозов, потому что видит свою функцию лишь в том, чтобы быть, выражаясь по Мартынову, «агентом по хлебозаготовкам». «Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы», — скажет позднее Мартынов. Объективный же смысл борзовского стиля руководства как раз в обратном — в подходе к колхозам только с этой точки зрения, только как к форме «упрощения хлебозаготовок».

Из этого не следует, что Мартынов и вообще против той объективной организационной функции, которую Борзов — плохо ли, хорошо ли — но пыгается осуществить. Понимать дело таким образом — значит увидеть в рассуждениях Мартынова то, чего в них на самом деле нет. Контроль за выполнением плана хлебозаготовок, должный порядок в этом деле — и для Мартынова задача столь же несомненная и обязательная, как и для Борзова. В этом отношении он не противостоит своему противнику, и если тот озабочен тем, чтобы, как он выражается, «взять хлеб», обеспечить выполнение плана хлебозаготовок, то и для Мартынова заботы эти не менее важны и насущны.

«Борзовщина» неприемлема для него только потому, что она отделяет эти заботы от забот, связанных с подъемом отстающих хозяйств, в то время как они, и те и другие эти заботы, по мнению Мартынова, могут и должны быть совмещены.

Но так или иначе, а первоначальный тезис «все дело в председателях» уже не вполне устраивает В. Овечкина. Ему приходится признать, что в качестве предварительного условия решения этой главной для него задачи нужно еще позаботиться и о том, чтобы ликвидировать бюрократическое администрирование в руководстве колхозами. Первая «программа» дополняется, стало быть, второй — на очередь дня становится борьба с «борзовщиной», поиски путей ее изживания.

### III. ВНИМАНИЕ — «БОРЗОВЩИНА»

#### 1

Итак, уже и первый очерк цикла дает нам достаточно ясное представление о том круге проблем, который начинает привлекать к себе преимущественное внимание В. Овечкина. Он занят не только и даже не столько заботами председателя колхоза или рядового колхозника. Он берет «выше» — наблюдает события не «изнутри» председательского кабинета и не со двора колхозника, а глазами секретаря райкома.

Конечно, в «Районных буднях» перед нами — еще только первоначальная попытка нащупать действительную взаимосвязь фактов. Внимание писателя в анализе «борзовщины» обращено еще на чисто субъективную сторону дела — на стиль руководства, понимаемый как нечто зависящее прежде всего именно от личных качеств руководителя, от его способа отношения к своему делу. Поэтому и критика В. Овечкина носит здесь почти исключительно моральный характер: «борзовщина» рассматривается ил, в сущности, вне всякой связи с характером той объективной функции, которую она претендует выполнять. Напротив, он именно и понимает дело таким образом, что никакой тут связи нет, что истоки администрирования, бюрократизма всецело в сфере субъективной, в «злой воле» самих Борзовых и тех, кто такой стиль руководства насаждает и поддерживает. Он видит в этом стиле явление достаточно характерное и показательное для определенной исторической ситуации, отражающее, так сказать, «дух эпохи», это верно. Но явление это отражает для него именно «субъективный» ее «дух», противоречащий действительному, объективному существу того дела, которое она делает. Поэтому и задача сводится, в конечном итоге, лишь к замене «плохого» секретаря «хорошим», не больше. Вместе со своим героем он искренне пока что убежден, что дело может быть решительно подвинуто вперед на той же объективной основе, без каких-либо существенных преобразований экономической, например, сферы сельскохозяйственного производства — одной лишь заменой Борзовых на Мартыновых и обеспечением колхозов кадрами таких председателей, как Опенкин.

Но, во-первых, не забудем, что «Районные будни» появились еще при жизни Ста-

лина, до известных решений сентябрьского Пленума КПСС («Новый мир», № 9, 1952). Может быть, тогда станет яснее, что в подобном подходе к анализу «борзовщины» нет ничего удивительного. Ибо, если уж говорить по справедливости, удивляться приходится не тому, что В. Овечкин сразу же не поставил вопрос более основательно, не задал себе задачу проверить, а нет ли у столь ненавистного ему стиля руководства и каких-то объективных истоков, но тому приходится удивляться, что все же именно сфера руководства сельским хозяйством была взята В. Овечкиным для «обсуждения» и исследования — и при том обсуждения и исследования критического. По тем временам это было актом большой гражданской и писательской смелости, особенно если учесть, что подвергнутая критике «борзовщина» — явление действительно типичное и, стало быть, отнюдь не бессильное и безответное. Недаром появление «Районных будней» стало своего рода событием нашей общественной жизни. Предшественников тут у В. Овечкина, пожалуй что, и не было.

А во-вторых, — и это главное — шаг был сделан в правильном и перспективном направлении. Опыт дальнейшего творчества В. Овечкина подтвердил это с полной очевидностью.

#### 2

Следующие три очерка цикла («На переднем крае», «В том же районе», «Своими руками», 1953—1954) показывают как будто бы некоторый спад интереса В. Овечкина к исследованию «борзовщины». На первом плане здесь другое: В. Овечкин ставит перед собой задачу проверить свою положительную «программу» на практике. Поэтому он просто устраняет Борзова, заставив его допустить грубый «тактический» просчет (Борзов попытался возбудить уголовное преследование коммуниста, который его критиковал, дело получило огласку, и Виктору Семенову пришлось уйти), сажает в его кресло Мартынова, и тот, получив, так сказать, все карты в руки, начинает действовать, а В. Овечкин — с удовольствием и сочувствием следить за ним. Очерки эти и посвящены в основном той «демонстрации» мартыновского стиля руководства, о которой и говорил. Особенно в этом отношении показателен очерк «Своими руками», где рассказывается о главной удаче Мартынова — том главном деле, которое он

сумел «провернуть» в районе в соответствии со своим планом подъема отстающих колхозов. Здесь уже Мартынов является перед нами поистине в полном блеске своего организаторского таланта, ума, находчивости, умения «зажигать» людей своей верой, убежденностью, энергией: ему удается убедить свой районный «номенклатурный» парт-актив в том, что именно он, этот парт-актив, и должен поехать в колхозы на постоянную работу, выправить положение, вытянуть отстающие хозяйства «своими руками». Доводы его точны и метки, логика неопровержима, нравственная позиция обращения к чувству долга, к партийной совести — неотразима и победительна: «Ведь в первую голову ответственны за тяжелое положение в отстающих колхозах мы, местный партийный актив, члены райкома. Да и не только потому ехать нам в колхозы, что мы допускали ошибки. Не в наказание. Ведь в райком на конференции избирали лучших коммунистов. Из райкома и надо брать кадры... Да, именно нам надо начинать»...

Что на это возразишь, что скажешь? Ничего. И Мартынова не упрекнешь — дескать, других посылает, а сам не едет, в райкоме остается. Все знают и видят, что не такой он человек, что и сам поедет, если опустят, что говорит он все это от чистого сердца, верит в то, что говорит...

И вот уже медлительный, уравновешенный Руденко, председатель райисполкома, заразившись мартиновским энтузиазмом, «записывается добровольцем» и сам начинает агитировать других не хуже Мартынова. И секретарь райкома комсомола, молодой коммунист Рыжков, взволнованно и горячо просит доверить ему если не колхоз, то бригаду. И даже районный прокурор Нечипуренко, на которого предложение Мартынова действует поначалу как ушат холодной воды, послушав других, подымается и, обтирая скомканным мокрым носовым платком шею, признает: «Ты знаешь, товарищ Мартынов... я немножко тугодум. До меня не сразу доходит. Мне нужно время — обмозговать... Прошу считать и меня добровольцем»...

И все же и в названных очерках цикла «спад» интереса В. Овечкина к проблемам «борзовщины» весьма относителен. По ходу своей секретарской деятельности Мартынову не раз приходится сталкиваться с теми или иными проявлениями бюрократизма и администрирования, и знаком-

ство наше с «борзовщиной» продолжается, факты накапливаются, особенно факты, демонстрирующие тот конкретный вред, который приносит делу это бюрократическое руководство, знающее только один лозунг: «Давай, давай!» Формула обвинения «борзовщины» редактируется, дополняется, становится все более строгой. Это — во-первых.

Во-вторых же, тем показательнее и характернее вновь возрастающее внимание В. Овечкина к проблемам руководства в следующем, последнем очерке «Районных будней» — «Трудная весна», — очерке, который один равен своим объемом всем предыдущим, вместе взятым. Здесь уже «борзовщина», можно сказать, не обижена — места ей предоставлено достаточно, разгуляться и показать себя есть где. Она и показывает — вмешивается в каждое дело и влезает в качестве неперемного участника в каждую почти сцену, заставляя все время вспоминать о ее присутствии, завладевает мыслями героев, и каждое ее появление — словно ехидная усмешка: «Вы думали, дорогой автор, что избавились от меня, прогнав с секретарского места Виктора Семеныча Борзова? Ан нет — я еще помозолю вам глаза, так просто вы от меня не отделяетесь!..»

Что ж, В. Овечкину приходится согласиться с этим. Но с тем большей злостью и страстью он принимается за ее изучение, с тем большим вниманием вглядывается в ее повадки, тем дошнее исследует ее родословную. Теперь ей от него не уйти! Он готов даже и на такую жертву, в которую трудно даже поверить — он устраивает автомобильную катастрофу, и любимый его герой, Петр Илларионыч Мартынов, на долгие месяцы застревает в больнице, выходит из игры и уступает свое место в очерке всякого рода бюрократической нечисти — все для того только, чтобы было ей где развернуться!..

Нет, с уходом Мартынова «мартиновская» тема из очерка отнюдь не уходит. На смену ему является новый положительный герой — директор Надеждинской МТС Христофор Данилыч Долгушин, старый партиец, в прошлом крупный работник промышленности, сам, по собственному желанию отпросившийся из министерстве на работу в МТС. Рассказу о том, как принял-ся он за работу, какие порядки установил в МТС, как постепенно стал неофициальным

руководителем района, завоевав настоящее уважение и доверие людей,— рассказу об этом В. Овечкин отводит немало страниц и следит за Долгушиным с таким же сочувствием, как следил раньше за Мартыновым,— даже с большим, пожалуй, сочувствием и любовью. И неудивительно — недаром и сам Мартынов уступает ему пальму первенства: выйдя из больницы и поехав по району, он убеждается, что Долгушин во многом лучше его сумел сработать с людьми, изучить район, понять его нужды. И — показывая тем еще раз образец настоящего, коммунистического отношения к делу — сам же предлагает в обкоме рекомендовать Долгушина первым секретарем, а ему, Мартынову, либо дать другой район, либо даже поручить какое-нибудь дело под началом Долгушина.

Словом, место Мартынова не пустует в очерке, и Долгушин вполне справляется с той нагрузкой, которую раньше нес у В. Овечкина Мартынов.

Но ведь Долгушин — все же не секретарь райкома, а лишь директор МТС. И это весьма существенно. Ему ближе, пожалуй, приходится соприкасаться с разного рода администрированием, чаще слышать пресловутое «Давай! Давай!», ошутимее чувствовать — на своей собственной спине — плоды бюрократического руководства. По отношению к нему какой-нибудь очередной Борзов может проявиться полнее и откровеннее, хотя, конечно, и секретарь райкома не избавлен от этого удовольствия.

В общем, фигура директора МТС гораздо лучше «приспособлена» к тому, чтобы установить через нее более тесный контакт с «борзовщиной» и пронаблюдать ее в наиболее характерных для нее ситуациях. И В. Овечкин, для того именно и заменивший Мартынова Долгушиным, полностью использует эту возможность.

Вместо выбывшего из строя Мартынова у кормила власти в районе становится второй секретарь райкома Василий Михайлович Медведев. Незаметный и тихонький при Мартынове, он показывает теперь себя во всей красе...

И вот мы наблюдаем одну за другой сцены, где этот «младший брат Борзова», как называют его в районе, показывает свою власть Долгушину. «Вам не удастся лишить нас, райком партии, права руководить!.. Не вы руководите районом, а мы!.. И колхозы

мы вам на откуп не отдадим! Райком партии руководил и будет руководить колхозами! Мы свои обязанности знаем! А вы, товарищ директор МТС, знайте свое место!..»

В район приезжает один из секретарей обкома — некий Масленников, такой же «погоняло и толкач», по выражению Мартынова, как и всякий типичный «борзовец».

И вот мы опять на протяжении долгих страниц наблюдаем сцену разговора между ним и Долгушиным. «Выговорю, видите ли, много ему записали! Областные организации администрируют! Обижают, унижают человека! Лучше надо работать — вот и меньше будет выговорю!.. Райкома вы, как видно, совершенно не боитесь. Вероятно, здесь сказываются ваши прошлые московские масштабы работы. Но вам и на обком наплевать!.. Да откуда вы, собственно, взялись у нас, такой самостийник? Кто вас выдвигал, рекомендовал на ответственный пост в деревню?»...

И других, Борзовых поменьше рангом, довелось Долгушину повидать немало. Одних только ответственных работников из областного управления десятка два за зиму в МТС наведальсь. И все за тем только, чтобы потребовать очередную какую-нибудь сводку или дать руководящий нагоний. Да и выговорю, по поводу которых так мило иронизирует Масленников, пять штук уже за полгода в личном деле Долгушина появилось.

Словом, парад «борзовщины» в полном ее блеске. И — в качестве заключительного аккорда — разговор Мартынова с Борзовым, который стал теперь председателем колхоза в другом районе. «Эх, Петр Илларионыч,— махнул рукою Борзов,— как повидал я других секретарей райкомов, да сам под их начальством походил, да вот теперь в колхозе поработал — ей-богу, я не самым плохим был секретарем! На меня стучали кулаками, и я стучал; на меня давили, и я давил. А насчет планов мы все тогда были так воспитаны: выполняй и не рассуждай, что из этого получится!..» ..

Не изменяет В. Овечкин в «Трудной весне» и своего понимания той, так сказать, психологической почвы, на которой произрастает «борзовщина» — ее «души», ее внутреннего «я». Еще в «Районных буднях» мы слышали на этот счет достаточно определенное суждение Мартынова. «Вот он волнуется, хлопочет, нажимает, чтоб зябь пахали.

## IV. ЕЩЕ ОДИН КРУГ

## 1

хлеб везли, всякие планы выполняли,— говорил Мартынов о Борзове,— а близко ли к сердцу принимает он все это? Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб понадобится нам и в будущем году, не одним днем живем? Что, если в каком-то колхозе не поднимут зябь, трудно придется там людям весной? Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может быть, он только о себе думает? Не выполним то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь. Пятно ляжет на его служебную репутацию»...

Тема эта многократно повторяется и варьируется и в «Трудной весне» — она звучит разве лишь еще резче и определенной, становится одним из лейтмотивов разоблачения «борзовщины», обнажения ее внутренней сути.

Но вот что касается проблемы ликвидации «борзовщины» — здесь уже «Трудная весна» дает нам нечто действительно новое. Более того, наблюдения В. Овечкина, связанные с этой проблемой, вплотную подводят нас к тем общим итогам, которые вытекают из нарисованной им картины жизни и в которых и состоит важное значение проделанной им работы для всех, кто небеззаботен в отношении насущных вопросов своего времени.

Что же это за наблюдения?

Полнее всего выражены они, пожалуй, в одной из последних сцен «Трудной весны» — в беседе Мартынова с первым секретарем обкома партии Крыловым. Послушаем же, что говорит Мартынову Крылов в ответ на его нападки по адресу больших и малых Борзовых, среди которых не последнее место занимает для Мартынова и секретарь обкома Маслеников. Во всяком случае именно после стычки с ним, после того, что высказал ему в присутствии Крылова Мартынов («разговор, какого, вероятно, еще никогда не слышали стены кабинета первого секретаря обкома»), и состоялся тот урок «просвещения», который счел необходимым дать нашему герою Крылов, имея в виду немного приблизить к земле молодого своего коллегу,— Мартынов хотя и нравится ему своей энергией, убежденностью, отношением своим к делу, но все же раздражает несколько своим «идеализмом» и «донкихотством».

А говорит Крылов Мартынову следующее: «Вот ты назвал Масленикова толкачом и погонялой. Я сам знаю ему цену, не преувеличиваю его талантов. Но представь себе, что такие люди все же нужны в обкоме. Ты дальше своего района не знаешь области и думаешь, может быть, что всюду так, как у вас в районе. На свой аршин меряешь. По себе судишь о других местных работниках. Но видишь ли, дорогой товарищ Мартынов, к сожалению, у нас в области есть еще не мало таких секретарей райкомов, которые действительно нуждаются в толкачах. Ты думаешь, можно уже не напоминать вашему брату о таких общеизвестных истинах, что свеклу надо вовремя прорывать, иначе потеряем половину урожая, что упущенный день на уборке стоит нам многих тысяч тонн зерна, что пары надо поднимать в мае, а не в июле? Ошибаешься! Приходится напоминать и напоминать! Вот сейчас нам нужно за лето нарыть много траншей на то количество силосной массы, что мы получим... И что ж ты думаешь, если пустить это дело на самотек, не нажимать, не приказывать, не угрожать наказаниями, будем мы иметь траншеи? Заверения и обещания — вот что мы будем иметь, а не траншеи!.. Плохо ты знаешь наши кадры! Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получают предупреждение или выговор... Нет, брат, нужны нам еще и толкачи, и погонялы! Не будь идеалистом!.. И вот тут-то и необходимы нам такие люди, как Маслеников. Тоже своего рода талант, если уж на то пошло! Если его послать в район с каким-то конкретным заданием, он в лепешку расшибется, поднимет гам все живое и мертвое, но задание выполнит! Он способен трое суток не спать, пока не проверит лично сам в каждом колхозе все сеялки или комбайны. Маслеников у нас из шести рабочих дней в неделю, может быть, только дня два сидит здесь в своем кабинете, а то все — в разъездах. Мы уже подшучиваем над ним, что у него машина, как старая ученая лошадь, сама в селах заворачивает к правлению колхоза. Никто не может так, как он, расшевелить бездельников, создать в районе мобилизационную обстановку вокруг

какой-то кампании. Это тоже надо оценить!..»

Вот так вот, товарищ Мартынов. Хорош, конечно, ты, ничего не скажешь. Но и Маслениковы нам нужны, без них не обойдешься.

И что же, Мартынов мало что может возразить секретарю обкома. Он, конечно, спорит — и горячо спорит, потому что все это слишком вразрез идет с его любимой идеей: «надо искать людей». Если есть у нас такие секретари райкомов, которые нуждаются в погонялах и толкачах, говорит он Крылову, так надо гнать их в шею, освобождать от занимаемых должностей. «Странная у вас какая-то логика. Выходит, что Маслеников нужен в обкоме потому, что есть и в районах такие Маслениковы... Мне кажется, простите за откровенность, что вы немного устали. Вам надоела возня с кадрами, вам хочется уже какой-то стабильности. Что? Опять пересматривать состав секретарей райкомов? Еще брать кого-то из областных аппаратов? Опять — уговоры, споры, семейные трагедии, справки о болезнях? Да, ничего не поделаешь, это самое трудное — укрепить кадрами низы, но отбой давать еще рано, надо продолжать это дело...»

И здесь Мартынов во многом, конечно, прав. В любом случае приличный секретарь вместо какого-нибудь борзовца, конечно, благо.

Но ведь есть в рассуждениях Крылова и другая сторона дела, о которой никак, кажется, нельзя не задуматься. Ведь речь-то идет, в сущности, совсем не только о взаимоотношениях обкома с секретарями райкомов.

2

Если не нажимать, не приказывать, не угрожать наказаниями, — не траншеи мы будем иметь, а заверения. И свекла останется не прорытой, и пары не подняты вовремя.

Что ж, можно Крылову, видимо, поверить — опыт у него есть, не просто так бросает он эти слова. Да и к чему бы ему было в противном случае беспокоиться и волноваться, лишние заботы себе выдумывать. Маслениковых при себе держать, дорожить талантами толкачей и погонял?

На разе секретари райкомов роют траншеи и поднимают зябь, сеют и убирают хлеб? Это дело председателей колхозов, а

еще точнее — колхозников. Их это прямое занятие — зябь поднимать и траншеи рыть, как и вообще делать любое из тех дел, которые положено делать земледельцу. И. значит, это именно по их милости получают нагоняи секретари райкомов, по их милости за исполнением любой сельскохозяйственной работы с такой тревогой и напряжением следят люди в райкомах и обкомах, и секретари ночей не спят, и в аппаратах держат погонял и толкачей. Значит, это именно их, в конечном итоге, приходится «подталкивать», чтобы они вовремя и добросовестно делали все, что положено делать земледельцу, ибо если, как говорит Крылов, без приказов, нагоняев, накачки секретарей райкомов нельзя надеяться, что сев не будет просрочен и траншеи вырыты, то это значит, что и секретарям райкомов нужно в свою очередь накачивать председателей колхозов, а тем — не очень, видно, горячих до работы колхозников, — последнее и главное звено, которым заканчивается вся эта «передаточная система» и ради исправного функционирования которого она именно и приводится в действие.

Ведь если бы они горели, как говорится, желанием добросовестно и в срок сделать все, что нужно, они, надо думать, это делали бы. Что — не известно им, когда и как надо сеять, не знают они, как растет хлеб и почему зябь нужно поднимать в мае, а не в июле? Знают — во всяком уж случае не хуже Мартынова или Крылова знают. И можно смело утверждать, что, будь у них такое желание, они сами бы «подтолкнули» председателя, когда надо, а окажись у них такой, что не умеет, не знает и хозяйствовать не желает, — прогнали бы его быстренько в три шеи. И, следовательно, не было бы в таком случае необходимости и секретарей райкомов подгонять и накачивать, раз все у них в районах и без накачки в срок и добротой делается.

Вот, стало быть, в чем состоит главная суть той ситуации, которую обрисовывает Крылов Мартынову. Именно в этом прежде всего, а не в чем-либо другом. И когда Крылов утверждает, что без «погонял» и «толкачей» нам не обойтись, ибо нужно «шевелить» иных секретарей райкомов, — он именно и утверждает, что это людей в колхозах надо «шевелить», если хочешь, чтобы они свеклу прорывали и вовремя хлеб убирали. Когда он признает, что до тепер, пока нужно «шевелить» секретарей

будут нужны и Маслениковы, и всякий прочий «нажим», — он именно и признает, что нужны они именно благодаря этой ситуации. Иными словами, что наличие системы накачек, подталкиваний, нажимов отнюдь не беспочвенно, что она не с неба свалилась и не личными качествами и пристрастиями того или иного секретаря обкома объясняется, а непосредственно связана с тем простым обстоятельством, что иначе, без «подталкиваний», люди в колхозах не сделают свое дело.

Ну, а раз так, раз уж «профессия» погонылы признается профессией нужной и полезной, раз она и в самом деле имеет определенные реальные корни, что же удивляться, что не обходится дело и без «излишеств»? Люди не ангелы, и когда само существо их работы состоит в «накачке» и «шевелении» тех, кого требуется накачать и расшевелить, наивно думать, что все сумеют держать себя «в рамках», не соблазнятся наиболее простыми и доступными формами «накачки» — криком, угрозами, наказаниями, администрированием и т. п. Лес рубят — щепки летят. Вот где, дорогой товарищ Мартынов, — мог бы сказать своему коллеге Крылов, — реальные истоки той самой «борзовщины», которую ты так ненавидишь. Ты правильно ее, конечно, ненавидишь; правильно связываешь ее и с субъективными предпосылками — с внутренним равнодушием к делу, к людям. Но и другую сторону проблемы нужно видеть, не сбрасывать ее со счета. Иначе действительно получится «идеализм».

Более того, — мог бы сказать Мартынову Крылов, — более того, вот ты горячишься, мечешь громы и молнии против Борзовых, а спроси-ка себя честно: разве и сам ты избавлен от необходимости быть тоже своего рода «погонялой» и «толкачом»? Ведь ты же сам признаешь — да, «план районный надо выполнить». И выполняешь. Так что ж, не приходится тебе при этом иной раз и нажимать, и требовать, и наказывать иных председателей, колхозы которых срывают тебе это выполнение?

Конечно, даже когда и нажимать тебе приходится, ты делаешь это по-другому, чем тот же, скажем, Борзов, — хвала тебе за это. Ты делаешь это по искреннему убеждению, сознавая, что подобные меры не могут быть панацеей от всех бед, ты не забываешь о людях, о главной перспективе твоей работы. Ты не утерял этого драгоценного каче-

ства, другой, может, на твоем месте оказался бы и не так стоек. Но так ли, иначе ли, с «душой» или без «души», а ведь «погонять» приходится?

Скажу и больше: не льсти себе иллюзиями, и ты тоже нужен нам как «толкач», и тебя от этой работы мы не избавляем, а если бы ты ее не исполнял, когда мы этого требуем, нажимаем на тебя, грозим, может, иной раз и выговором, — пришлось бы нам с тобой расстаться.

Да и сам я — разве не приходится и мне быть «погонялой»? Вот ты сказал, что мне надоела возня с кадрами, хочется какой-то стабильности, что устал я, видно, от беспокойной этой работы. Что ж, верно заметил. Устал. Тоже ведь человек, иной раз и подумаешь: а не проще ли работать по-маслениковски? Слабость, конечно. И ты мечешь громы и молнии против Борзовых, надо искать людей, ставить на места хороших работников.

Но и то пойми — пока суд да дело, план выполнять надо. Да и вот еще вопрос: гарантия ли это действительного и прочного подъема колхозов — хороший секретарь райкома? Хотя бы и тебя даже взять — четыре года уже проработал в Троицке, а можешь ли похвастаться? Сам же признаешь — «много сделано, да мало сделано». Сдвиги есть, но настолько ли уж велики эти сдвиги? Такие ли они, чтобы можно было надеяться — не пойдут они насмарку, если на твое место сядет какой-нибудь Медведев? За год спустит все, что ты за четыре накопил, будь уверен. Хорошо, я помещаю, ну а если на моем месте тоже окажется какой-нибудь Маслеников? Не исключено ведь, верно? Примеров тебе приводить не надо. Пока разберутся, прогонят — а время, глядишь, и ушло, опять начинай все сначала... Нет, если уж думать серьезно, так надо не только на хороших секретарей уповать, но и другие какие-то средства изыскивать. Какие? Ну вот и подумай, ты у нас мастер «программы» составлять...

Так или почти так мог бы развить свою мысль Крылов, отвечая Мартынову. Если бы, конечно, захотел. Во всяком случае именно к этому сводится, повторяю, существо той ситуации, которую обрисовывает он перед Мартыновым, доказывая нужность Маслениковых.

Но ведь, осознав эту ситуацию, мы снова возвращаемся к той же все проблеме «за-

колдованного круга», с которой и начинал как раз В. Овечкин свой «путь познания»! Что же, выходит, и он тоже оказался в каком-то замкнутом круге — пришел в конечном итоге, после долгого и трудного пути, опять туда же, откуда отправлялся в этот путь?

Да, припомнив этапы этого пути, мы убеждаемся, что и в самом деле это как будто бы так. Сначала, в разговоре Мартынова с Опёнкиным, обрисовка проблемы «заколдованного круга» и как «программа» ее разрешения — тезис: «Все дело в председателях». Затем, через сцены с Борзовым, — уточнение и дополнение этой первой «программы» предварительным условием — сначала надо устранить «борзовщину», именно она мешает по-настоящему решить проблему укрепления колхозов кадрами хороших председателей, да и хорошим председателям подрезает крылья. Потом, как следствие этого вывода, — изучение «борзовщины», наблюдение за ее природой, повадками, поиски кардинальных средств ее ликвидации. И вот теперь, в результате этого изучения, мы опять упираемся в первоначальную проблему — оказывается, что «борзовщина» и сама в немалой степени обязана своим существованием так называемым отстающим колхозам и пути ее изживания упираются прежде всего в необходимость наладить то, налаживанию чего она сама же, в частности, и мешает. Круг замкнулся, и снова мы перед той же задачей: устранить «борзовщину» — значит добиться, чтобы люди в колхозах работали хорошо, без «подталкиваний», а добиться этого — значит найти выход из положения: «на трудодень — крохи, потому что... плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудодням».

Что же, снова вернуться к тезису «все дело в председателях» и — опять все сначала?

Нет, вот это уже не так. Круг замкнулся, В. Овечкин вернулся к исходной точке, но путь, проделанный им, не был бесплоден, не пропал даром. Он вернулся, обогащенный немалым опытом и запасом наблюдений, и точка соединения конца и начала оказалась не вехой, открывающей дорогу лишь для повторного и бесконечного движения все по тому же кругу, но точкой пересечения: перед В. Овечкиным открылись иные дали, иная перспектива движения.

## У. КОНЦЫ И НАЧАЛА

### 1

Собственно, уже и в тех очерках цикла, где упор сделан на «демонстрацию» Мартынова, мы явственно ощущаем некоторые симптомы начинающегося более глубокого и строгого осмысления проблемы «заколдованного круга». Это особенно хорошо видно в той сцене очерка «На переднем крае», где Мартынов, оставшись заночевать в общежитии трактористов и затеяв с ними разговор «по душам», пытается как-то опровергнуть суждения старого горючевоза одной из эмтэзовских бригад, семидесятилетнего колхозного ветерана Тихона Андронича Ступакова.

Тема спора — вопрос о превращении колхозов в совхозы. Оказывается, — поясняют Мартынову трактористы, — дед Ступаков на политзанятии по книге Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» заявил: «А чего... с этими двумя собственностями канителиться? Переводи сразу все на совхозы!»

Мартынов удивлен. Чего же это тебе, Андронич, говорит он, захотелось в совхоз?

«Так там лучше, товарищ Мартынов, — отвечает дед, — твердая зарплата. А в колхозе не знаешь наперед, что на трудодень получишь... В совхозе от плохого директора вреда народу все же меньше, чем в колхозе от плохого председателя. Там, что бы ни было, рабочий свою зарплату получит... А в колхозе — что посеешь, то и пожнешь. Попадется в председатели какой-нибудь обалдуй, растяпа — он и хозяйство в разор введет и людей без хлеба оставит, да не на один год...»

Конечно, замечает под конец Ступаков, я бы и в колхозе работал. «Кабы знал, что мой труд — хозяйству в прибыль. И что мое заработанное не пропадет!..» А раз не так — лучше в совхоз...

Таковы аргументы деда Ступакова. Ну, а Мартынов?

А Мартынов, разумеется, спорит, возражает, старается переубедить деда. Но странное дело: мы явственно чувствуем в возражениях нашего героя какую-то несвойственную ему прежде «книжность», «заученность», и выглядит он явно бледнее своего собеседника.

«Мартынову пришлось, — сообщает В. Овечкин, — долго и обстоятельно разъяснять Тихону Андроничу Ступакову, что не



только свету, что в окне, нельзя за неудачами отстающих колхозов не видеть огромных успехов передовых; что и в совхозах не все делается само собою... что колхозный строй — общественное владение артельным имуществом — по душе и сейчас большинству крестьян, вчерашних мелких собственников, и с их желаниями нужно считаться» и т. д. и т. п.

Вот ведь как — вопреки своему обыкновению В. Овечкин не дает Мартынову даже и высказаться, лишает своего любимца права на прямую речь. Никаких монологов, никаких речей — достаточно и такого вот, беглого и суховатого пересказа. Не потому ли, что как долго и обстоятельно ни объяснял Мартынов, а все ничего больше, кроме перечисленных В. Овечкиным общих истин, сказать он деду не мог? И правда, как абстрактны и «теоретичны», как неубедительны эти рассуждения рядом с практическими, «житейскими» доводами деда, за каждым словом которого — собственный, пережитой опыт, сила реальных фактов, а не общих умозаключений! Как мало могут противостоять мартыновские заверения неукротимому этому желанию «расстаться с колхозной собственностью», отдать ее всю государству — лишь бы в совхоз только перейти...

Понять, почему это так, нетрудно. Особенно сейчас — с дистанции времени. Контраргументы Мартынова — вроде того, что «нельзя за неудачами отстающих колхозов не видеть огромных успехов передовых» — неубедительны и бледны? Но они и не могут быть иными: в них нет достоверности непосредственного опыта, живых наблюдений, ибо реальное положение дел существенно иное, чем следует из этих явно «напрокат» взятых Мартыновым привычных формул. В правильность их он верит, конечно, — но именно верит, а не убежден в этом собственным опытом.

Да и откуда могла взяться у него эта убежденность? «В то время, — говорил в докладе на совещании работников партийных, советских и сельскохозяйственных органов от 28 февраля 1964 года Н. С. Хрущев, — заготовительные цены были настолько низкие, что колхозы не могли за счет продажи продукции возмещать даже производственные затраты. Труд большинства колхозников практически не оплачивался. Так, например, на один трудовой в 1952 году выдавалось: в Калужской и Тульской

областях — 1 копейка, в Рязанской и Липецкой — 2 копейки, в Брянской и Псковской — 3 копейки, в Костромской и Курской — 4 копейки. Многие колхозы годами не выдавали на грудодень ни одной копейки».

А ведь Мартынов работал где-то неподалеку от Курска, не так ли?

«Конечно, — говорил Н. С. Хрущев, — и в те времена имелись передовые колхозы». Но, замечает он, «их было мало». И «председатели колхозов, специалисты, колхозники, которые в тех экономических условиях прибыльно вели хозяйство, — это настоящие герои».

Словом, причина, почему возражения Мартынова столь слабы, очевидна. В доводах деда Ступакова, как бы ни относились мы к практическим его предложениям, жизненной правды куда больше. И именно это, вероятно, и начинает чувствовать В. Овечкин, если уж ему ясно, что дать Мартынову слово для прямой речи — значит сделать шаткость его позиций в споре с дедом еще более наглядной.

Да и отношение автора к своему герою в этом эпизоде тоже весьма любопытно. С одной стороны, ему нравится, судя по тону изложения, что вот как, обстоятельно и терпеливо, объясняет секретарь райкома, «беседует с народом». Ему даже и защитить его хочется, оправдать как-то в глазах читателя, который — В. Овечкин не может, не чувствовать этого — с симпатией и сочувствием следит за рассуждениями деда Ступакова. И как бы между прочим автор замечает: «Дед спорил горячо, но подкреплял свои философско-экономические изыскания лишь собственным житейским опытом».

Мол, собственный житейский опыт — это, конечно, хорошо, но Мартынов смотрит шире, ему видно больше.

Однако и деда Ступакова слушает В. Овечкин внимательно, очень внимательно. Он дает ему, не в пример Мартынову, высказаться до конца и добросовестно приводит все его аргументы. Он словно бы догадывается, что есть в словах деда некая правда, которую не понял еще его герой и которая именно и ставит под сомнение любимую формулу Мартынова: «Все дело в председателях».

Действительно, ведь что говорит дед Ступаков? Да, он не отрицает, что многое зависит от председателя. Но не слишком ли многое, если «в совхозе от плохого

директора вреда народу все же меньше, чем в колхозе от плохого председателя?» И хорошо ли это, когда так все зависит от председателя?

Сейчас, в 1953 году, В. Овечкин только начинает еще, конечно, задумываться об этом, и формула Мартынова остается для него пока что в силе. Но и неслучайность приведенной сцены доказывается последующими очерками вполне и несомненно Мы наблюдаем, как с каждым годом, параллельно возрастающему вниманию к проблемам руководства сельским хозяйством, возрастает внимание В. Овечкина и к тому, что услышал он от деда Ступакова. Чем дальше, тем больше он заставляет своих героев обсуждать конкретные вопросы колхозной экономики, задумываться о принципах организации труда и распределения в колхозах. И «Трудная весна» дает нам уже в этом отношении нечто существенно новое по сравнению с тем, что мы находим в первых очерках.

Вот записи в дневнике Мартынова, показывающие, в каком направлении шли эти поиски и насколько изменились здесь позиции главного героя В. Овечкина.

Нужны, записывает в дневнике Мартынов, «поиски такой организационной системы, при которой и незадачливый начальник не мог бы уж так много напакостить. Чтобы его глупости по крайней мере не били по карману трудящегося человека».

И дальше: «Думается, что в этих целях надо бы продолжать поиски такой системы хлебопоставок, которая бы надежно гарантировала колхозников, что при любых умственных способностях их председателя колхоза, директора МТС и секретаря райкома трудодень у них будет не пустой. Надо, чтобы колхозники твердо знали наперед, что же останется у них из валового сбора зерна на внутрихозяйственные нужды — если не в центнерах, то хотя бы в процентах от фактического урожая... Главный выигрыш здесь — твердая уверенность колхозников в завтрашнем дне. Люди будут точно знать, что такая-то доля урожая останется в их распоряжении для хозяйственных нужд и раздачи по трудодням. Эта гарантия поднимет дух колхозников, они будут гораздо лучше работать. Хорошая работа обеспечит высокий урожай. А из высокого урожая, в свою очередь, и государство получит больше хлеба — в процентных отчислениях».

Как видим, это уже иная, существенно иная формула, чем та, которой придерживался Мартынов поначалу. И дед Ступаков согласился бы теперь с Мартыновым гораздо, конечно, охотнее, чем прежде. Да и мы тоже.

Почему?

А именно потому, что здесь уже В. Овечкин выходит на дорогу, ведущую к действительной разгадке проблемы «заколдованного круга».

2

На первый взгляд может показаться, впрочем, что это и не так. О чем говорит Мартынов? Несомненно, о материальной заинтересованности колхозника. И он сам это подтверждает неоднократно в том же своем дневнике. Для настоящего, резкого и крутого подъема колхозов, говорит он, «надо привести в движение всю массу колхозников». А для этого нужно в свою очередь «осуществить в деревне по-настоящему ленинское указание о том, что коммунизм надо строить не на энтузиазме непосредственно, а при помощи революционного энтузиазма, сочетая его с личной материальной заинтересованностью каждого работника в росте продукции, в повышении производительности труда!»

Но что же в этом существенно нового? Кто об этом не писал, кто этого не знает?

Тут важен, однако, именно сам подход В. Овечкина к проблеме материальной заинтересованности. Ведь в общем виде это понятие слишком еще широко и неопределенно, не так ли? Может быть заинтересованность и заинтересованность. Например, будет ли колхозник материально заинтересован в работе на колхозном сенокосе, если сделать так, что никаким иным способом он не сможет получить сена для своей коровы? Конечно, будет. Даже если он сможет рассчитывать всего лишь на самый что ни на есть минимум, необходимый для ее прокормления. Жить нужно, и корову кормить чем-то тоже нужно. Но вот вопрос. может ли таким способом заинтересованный колхозник надеяться на существенное улучшение своего материального положения?

Словом, можно смотреть на материальную заинтересованность как на экономический рычаг «подталкивания» колхозника к работе на колхозных полях, действующий по принципу: если хочешь иметь нужный минимум средств к существованию — работай,

не будешь работать, не получишь и этого; да и других возможностей добывать эти средства лишишься — с присудаемым участком придется распрощаться.

Это будет, несомненно, материальная заинтересованность — но заинтересованность довольно грустная, заинтересованность безвыходности. И, конечно, при такого рода перспективах рассчитывать на сколько-нибудь добросовестную работу колхозника в артельном хозяйстве нечего.

В. Овечкину нужно другое. Ему нужен «настоящий, резкий и крутой» подъем колхозов, «богатая, радостная» жизнь колхозников. В этом В. Овечкин верен себе, как верен и тому общему духу нашего деревенского очерка, о котором я говорил выше и который так выгодно выделяет его на фоне иных повестей и рассказов о сельской жизни. А поэтому и проблема материальной заинтересованности — это для него проблема такой материальной заинтересованности, которая действительно способна обеспечить «богатую, радостную» жизнь в колхозах, способна гарантировать ее. А тем самым — и резкий рост продуктивности колхозного производства, как прямое следствие заинтересованности каждого колхозника в дальнейшем, все большем и безусловно гарантированном — при этом условии — росте его благосостояния.

Но при таком понимании дела внимание В. Овечкина к проблеме материальной заинтересованности действительно крайне знаменательно и перспективно. Оно показывает, что писатель вплотную подходит здесь к признанию того решающего факта, что проблема «заколдованного круга» — это прежде всего проблема объективных экономических условий. Проблема создания таких объективных экономических условий существования колхоза в системе его взаимоотношений с государством, при которых возникновение у колхозника настоящей заинтересованности в добросовестном, умелом и рачительном хозяйствовании на колхозных полях именно и перестает быть проблемой.

Встав на эти позиции, В. Овечкин оказался, естественно, перед целым кругом конкретных экономических вопросов, которые уточняют и переводят на язык строгих экономических расчетов и показателей задачу создания искомых условий. Как измерить масштаб той материальной заинтересованности, которая способна обеспечить резкий

рост колхозного производства и благосостояния колхозника? От чего здесь «считать», какими экономическими факторами определяется это мерило?

Это вопросы не частные, а, можно сказать, решающие. Тут свой круг проблем, свои закономерности, своя логика, которую нужно понять.

Внешне В. Овечкин не обнаруживает в своих очерках сколько-нибудь заметного пристрастия к этим темам. Правда, некоторые ориентировочные расчеты — в развитии своих предложений — Мартынов приводит. Но они именно «грубо-примерны», как он и сам говорит. Во всяком случае они не опираются на какое-либо серьезное исследование той стороны дела, о которой идет речь, и конкретно-экономически не обоснованы. Мартынов просто берет априори факт появления нужной ему материальной заинтересованности при таком-то проценте отчислений от урожая и потом, исходя из этого предположения, начинает доказывать, как это сразу же подвинет дело, какая от этого выгода государству и т. д.

Да и те дневниковые записи Мартынова, что процитированы выше, — они тоже с этой, конкретно-экономической стороны дела весьма неотчетливы. В них важен нам именно общий их «дух», та направленность внимания автора, о которой они свидетельствуют. Вопрос же о том, какого рода должна быть эта гарантия «кармана трудящегося человека», при каком масштабе она не останется просто гарантией минимума, неспособного вызвать подлинную заинтересованность колхозника в колхозном деле, но будет гарантией «настоящего, резкого и крутого» подъема этого дела, — вопрос этот остается открытым.

И тем не менее общий, принципиальный ответ на все эти важнейшие вопросы В. Овечкин дает. Он дает его именно как литератор-социолог, литератор-исследователь социальной психологии. Но разве те или иные тенденции социальной психологии не обладают и определенным экономическим содержанием, не указывают нам на него?

«Никогда ничего плохого не случится с колхозом, — говорит В. Овечкин устами Долгушина, — если у колхозников будет высоко развито чувство коллективного беспокойства за свое добро, чувство хозяев своей жизни. Это самая верная страховка от всех бед!»

Вот и решение. К этому действительно уже трудно что-нибудь — по существу — до- бавить.

Чувство хозяина... Конечно, именно так! Человек только тогда по-настоящему делает свое дело, когда он хозяин своей судьбы, хозяин своего дела. Много раз мы читали и в очерках, и особенно в фельетонах о том, как какой-нибудь старик, да и больной при- том, что давно уже законно числится со- гласно колхозной документации нетрудоспо- собным, творит на своем приусадебном ого- роде настоящие чудеса. И доходы у него приличные — живет, помощи не просит, об- страивается помаленьку. И все за счет уча- стка, за счет торговлишки. Частник типич- ный, конечно, говорим мы, разгул собствен- нической стихии и тому подобное. Но ведь посмотреть любо-дорого, что делается на маленьком клочке приусадебной земли у этого частника! И никакой косности — все продумано, во всем чувствуется не только точный экономический расчет, но и умение применять все нужные приемы агротехники, подлинная культура земледелия.

Да, начертоломил старик, мог бы ска- зать герой В. Овечкина, посмотрев на хо- зяйство такого огородника. А мы... Сколько уже лет мы поднимаем отстающие кол- хозы?..

Вот и нужно, стало быть, чтобы колхоз- ник чувствовал себя в своем колхозе таким же хозяином, как и на приусадебном уча- стке. И это, повторяю, не какая-то психоло- гическая абстракция, а вполне конкретная экономическая проблема. Чувство не возни- кает на пустом месте, — чтобы ощущать себя хозяином своего колхоза, коллективного колхозного добра, нужно им быть. И то- гда — будьте уверены — уж он «начертоло- мит», этот колхозник, — посмотреть будет любо-дорого. Вот она — разгадка «заколдо- ванного круга», разгадка немощи отстаю- щих колхозов...

Именно об этом и говорит В. Овечкин устами Долгушина. Чувство хозяина... Ка- кой же еще иной смысл может иметь эта формула, если речь идет о чувстве, непре- менно требующем для своего возникнове- ния адекватных экономических предпосы- лок? И разве точная и глубокая эта форму- ла не указывает достаточно ясно на то, ка- кая именно требуется материальная заинте- ресованность колхозника, чтобы не нужно было Маслениковым ездить в районы для создания «мобилизационной обстановки»,

нажимать на секретарей и председателей, лично проверять каждый комбайн в каж- дом колхозе? Да именно та, при которой у колхозника появляется «чувство коллектив- ного беспокойства за свое добро». Матери- альная заинтересованность хозяина, дейст- вительного коллективного хозяина всего то- го добра, которое он производит. Ибо со- циализм по самой природе своей — высшая форма демократии, и именно в этом его самая главная суть, в том числе и эконо- мическая. В любой из форм социалистиче- ской собственности — и кооперативной и общенародной. В этом смысле вполне мож- но сказать, что колхозник-хозяин и социа- лизм — вещи такие же неотделимые друг от друга, как социализм и рабочий-хозяин. Одно без другого не существует.

Но, значит, и смущающая Марты- нова проблема «нужности» «погонял» и «толкачей» Маслениковых тоже получает при такой постановке вопроса свое объяс- нение и разрешение. Взаимосвязь и взаимо- определяемость этих двух звеньев одной цепи очевидна: «профессия» толкача-погоня- лы нужна только там и до тех пор, где и пока нет колхозника-хозяина. И наоборот — она лишается всякого смысла, на ней мож- но поставить точку, как только появляется колхоз-хозяин. Середины тут нет — либо од- но, либо другое, ибо все здесь определяется, в конечном счете, лишь той или иной системой функций колхоза в экономике об- щества. Против этого ничего бы не мог воз- разить и не такой уж бездумный антипод Мартынова — Виктор Семенович Борзов.

Но на этом, пожалуй, можем уже поста- вить точку и мы. Можем закончить наше знакомство с теми итогами, к которым при- шел В. Овечкин, размышляя о тревогах и заботах, надеждах и стремлениях, радостях и горестях людей некоего района, распо- ложенного на южных границах центральной России.

Проблема, волновавшая В. Овечкина, эти- ми итогами в основном исчерпана. Исследо- вание можно было, конечно, еще и продол- жить — в том направлении, о котором я го- ворил. Но, видно, В. Овечкина это уже не увлекало, раз общее решение ее стало ему ясно. Это сделали другие, а он, как мы знаем, ограничился сказанным, и очерки его продолжения не получили. Да и что, повто- ряю, мог он добавить принципиально важ- ного и нового к тому, что сказал? Со вре- мени появления последнего очерка В. Овеч-

кина — «Трудной весны» («Новый мир», 1956) — прошло уже восемь лет. Но разве все последующее развитие событий, весь опыт нашего хозяйствования в деревне за прошедшие годы, опыт тех преобразований в сельском хозяйстве, что были предприняты партией и правительством, не подтверждает со всей очевидностью, что В. Овечкин правильно сумел уловить суть проблемы и пришел к итогам действительно важным и значительным?

На недавнем, февральском Пленуме ЦК КПСС 1964 года были определены, как известно, главные задачи развития сельскохозяйственного производства на ближайшие годы. Пленум подчеркнул, что «интенсификация — генеральное направление в подъеме сельского хозяйства, столбовая дорога развития его производительных сил», и, наметив программу этой интенсификации, определил три основных пути ее осуществления: путь широкой «химизации земледелия и животноводства», путь «всемерного развития орошаемого земледелия» и путь «внедрения комплексной механизации».

В решениях Пленума есть вместе с тем пункт, непосредственно касающийся и той проблемы, которая так беспокоила в свое время В. Овечкина и изучению которой он отдал столько сил и времени. «Пленум ЦК считает,— записано в постановлении Пленума,— что одной из самых неотложных задач партийных, советских и сельскохозяйственных органов является подъем экономики отстающих колхозов и совхозов. У нас нет объективных причин для того, чтобы рядом с экономически крепкими хозяйствами находились отстающие колхозы и совхозы. Все дело в уровне руководства, в подборе, обучении и воспитании кадров, прежде всего председателей колхозов, директоров совхозов, агрономов, зоотехников, управляющих отделениями, бригадиров, заведующих фермами, механизаторов».

Слова эти, показывающие, как оценивает Пленум нынешний уровень развития нашего сельского хозяйства, сегодняшней день нашей деревни и как определяет он характер стоящих перед нею задач, являются вместе с тем, несомненно, и очень сжатой, точной формулой, характеризующей смысл, направление вообще всей той работы, которая проводилась партией в деревне за последние десять лет. Мне нет, видимо, нужды подтверждать это соответствующими

примерами — постановления партии и правительства за прошедшие годы, речи Н. С. Хрущева, экономические и организационные меры, последовательно и настойчиво переводившие наше сельское хозяйство на путь развития, предусмотренный партийными решениями, у всех в памяти, и то, в каком именно направлении шла эта работа, какие именно изменения произошли за это время в нашем сельском хозяйстве, в наших колхозах и совхозах, — хорошо знает всякий, для кого небезразличны жизнь народа, жизнь нашей страны.

Но, значит, всякий, кто живет этой жизнью, признает и то, что деревенские очерки Валентина Овечкина читаются действительно «с интересом и не без пользы» и сегодня. Они помогают полнее и глубже понять и оценить существо сельскохозяйственной политики нашей партии за прошедшие годы, смысл и характер тех усилий, которые предпринимались партией и правительством в области сельского хозяйства и неуклонная и последовательная направленность которых нашла свое новое подтверждение в решениях февральского Пленума ЦК КПСС.

Замечу лишь в заключение, что итоги, к которым пришел В. Овечкин, вполне можно назвать даже и своеобразным открытием, сделанным писателем одновременно и как бы в «соавторстве» с другими нашими деревенскими очеркистами пятидесятых годов.

Да, формула Долгушина, в которой итоги эти выражены наиболее концентрированно, — именно формула, именно некое утверждение, выраженное в типичном для нашего деревенского очерка «производном» стиле, — последняя и окончательная «программа» В. Овечкина.

Да, сама по себе как положение, как мысль, она не только не нова, но просто-таки азбучна и общеизвестна. Более того, автор, в сущности, лишь повторил в ней как будто то, что с самого начала было убеждением всех наших деревенских очеркистов и выражало их исходную концепцию изучаемой действительности: «Колхозы для нас не только — производители хлеба, мяса, молока, овощей и пр... Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни».

Но одно дело — формула, выражающая исходное представление о характере пред-

мета, который начинаешь изучать, другое дело — программное обобщение, формула насущных задач, выведенная в результате этого изучения. Тот факт, что они совпадают между собой текстуально слово в слово, знак в знак, как раз и показывает, какой огромный путь познания лежит между концами и началами, насколько иначе сумел увидеть Валентин Овечкин свой предмет, если формула представлений о сущем стала формулой должного. А раз мы признали эту последнюю формулу верной — значит, верна и та формула наличного, которая вытекает из нее, внутренне содержится в ней. Да и как же иначе? Любое программное утверждение, если оно верно, всегда есть своеобразное, как бы «перевернутое», «обратное» зеркало реальной действительности, о характере которой именно и говорит характер и масштаб выдвинутых задач.

Идеи и выводы Валентина Овечкина — такое же зеркало действительности, как и его герои. И то, что сказал он о ней своими «программами» и «формулами», не говорил

нашему читателю никто, кроме него и его товарищей по литературной работе — деревенских очеркистов пятидесятых годов. Во всяком случае никто до них. Можно смело утверждать, что без уяснения познавательного содержания выводов Валентина Овечкина нельзя составить себе верное представление о характере и природе той действительности, которую он изобразил. В этом их достоинство, их важное значение для общества, которое видит через них жизнь, и открывает ее для себя, и познает ее все глубже и полнее.

С тем большими надеждами ожидаем все мы новых произведений В. Овечкина, в которых он — кто знает, — может быть, и вернется к интересовавшим его в «Районных буднях» проблемам, обратится к сегодняшнему дню нашей деревни. Какой жанр изберет писатель — очерк, рассказ или повесть, — гадать не будем. Но — мы уверены в этом — новая и интересная встреча с Валентином Овечкиным — исследователем деревенской жизни нам еще предстоит.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Манедонов.** Поэзии пристальный опыт.— **И. Борисова.** День за днем.—  
**А. Лебедев.** На грани или за гранью? — **С. Розанова.** Художественный мир  
Толстого.— **М. Ландор.** Книга идей и характеров.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Крюков.** Воспитание нового человека.— **И. Ермашев.** На передовом дипло-  
матическом посту.— **М. Галлай.** Нет, не исчерпана военная тема...—  
**Мих. Цунц.** Поэзия научной мысли.

## *Литература и искусство*

### ПОЭЗИИ ПРИСТАЛЬНЫЙ ОПЫТ

**Вадим Шефнер.** Знаки земли. Стихи. Л. «Советский писатель». 1961. 123 стр.

**Вадим Шефнер.** Рядом с небом. Л. Детгиз. 1962. 191 стр.

**Вадим Шефнер.** Стихотворения. «День поэзии», «Советский писатель». М.—Л. 1963.

**В**адим Шефнер печатается уже давно, с 1936 года. Первая книга его стихотворений вышла в 1940 году — и к этому времени он написал ряд стихотворений по-настоящему хороших: напомним хотя бы стихотворение «Картина» (1939), «Вдали под солнцем золотились ели» (1938), «Трактат о бессмертии» (1940).

Последний сборник В. Шефнера «Рядом с небом» вышел в серии «Школьная библиотека» Детгиза тиражом в сто тысяч экземпляров, и через несколько дней после выхода книги мы, взрослые, уже не могли достать ее в ленинградских магазинах.

Растущая, хотя и нешумная популярность стихов Шефнера тем более примечательна, что в этих стихах нет ничего внешне эффектного или тем более сенсационного и что критика отнюдь не грешила избытком разговоров о Шефнере.

Просто в последние шесть-семь лет поэт как бы выпрямился во весь рост, показал объем своих возможностей.

Что же является главным и больше всего привлекающим в стихах Шефнера? Прежде всего то, что можно назвать поэтической мыслью — мыслью о самом важном, современном, даже когда речь идет об «отпечатках на угле» древних растений. То, что можно назвать душевной культурой современного советского человека.

Шефнер ясно сознает, о чем он думает и к чему стремится. Это сразу же резко отделяет его стихи от того псевдомногозначительного бормотанья, которое частенько выдается за «мыслительную стихию» в поэзии. В то же время ясность, точность стихов Шефнера не имеет ничего общего и с холодной четкостью поэтического робота. Нет —

Пока вычислительный робот  
Свершает свой верный расчет,  
Поэзии пристальный опыт  
По тысячам русел течет.

И где-то в работе бессрочной,  
Что к легким успехам глуха.  
С наукой смыкается точной  
Точеная точность стиха.

Поэтическое творчество Вадима Шефнера отражает новые возможности и требования к жизни именно современного советского человека — человека эпохи космических кораблей и новой Программы партии. Этот человек решительно не желает мириться со всяким произволом, субъективизмом, он опирается на очень «пристальный» исторический опыт, он познал многообразие и единство «тысячи русел», он живет в мире «высоком, подножном, земном».

Жизнь в этом мире — это жизнь «рядом с небом», как говорится в одноименном стихотворении В. Шефнера. Жить рядом с небом — и в прямом и переносном смысле — вовсе нелегко: тут и «дождь», и «снег», и порой даже «заметает след», но тем не менее небо действительно близко, и сквозь «облачное оперенье» и «привычные явления» «проглядывают чудеса».

Это чувство нового, чудесного поэт и стремится передать со всей «достоверностью», «точной точностью». Отсюда тема и пафос глубокого стихотворения «Отпечатки на угле» — одного из лучших образцов философской лирики Шефнера:

Тянулись ввысь из джунглей разогретых  
Таинственных растений веера.  
Далекое младенчество планеты,  
Беспечное ее позавчера.

Не донесли к нам черные скрижали  
Великолепья зарослей густых —  
Лишь отпечатки тайно удержали,  
Лишь знаки отрицательные их.

Чтоб углем стать, за тысячи столетий  
Распались их объемы и цвета;  
Всей их красы единственный свидетель —  
От них оставшаяся пустота.

Как детские ошибки и мечтанья,  
Их оттиск смутен и неповторим,—  
Но о былом своем существовании  
Они твердят отсутствием своим.

Не только приобретения, но и потери, не только свершения, но и неудачи, ошибки не проходят бесплодно, подобно тому как и в каменном угле, и в «знаках отрицательных» древних растений, их «отпечатках на угле» запечатлелся путь развития природы.

А идеал, будущее — это не мертвая, неподвижная цель, это и результат, и весь путь со всеми его реальными поворотами. Поэтому герой Шефнера «на выбор» требует «сотню дорог»:

Путиами побед и лишений  
Шагает он, спора с тобой,—

И тысяча тысяч решений  
Таится в детали любой...

(«Над прозой»)

Шефнер стремится «всею глубио глубины» «цветущий мир отобразить». А для этого нужно «лак содрать с волны, поверхность зеркала разбить» («Отражение в реке»). И в лучших своих стихах Шефнер действительно достигает прозрачной глубины отражения «цветущего мира».

В маленьких по объему книжках стихов Шефнера, в составляющих эти книжки коротких стихотворениях, афористических, многозначных описаниях-метафорах, событиях-метафорах и рассуждениях-метафорах — широкий круг явлений природы, истории, человеческих отношений.

Он хочет, чтобы «в мире, от горя отмытом начисто», счастье стало «рабочим качеством и естественным состоянием». Подлинная человечность добра, и поэт напоминает: «Как нужна ты нам в веке атомном, терпеливая доброта!» Но эта гуманность не забывает реальную обстановку «века атомного», не забывает того, что «жизнь новая с боем добыта» и что «последыши дней невеселых, обломки эпохи иной стремятся в дома новоселов пробиться любой ценой».

У Шефнера много превосходных лирических пейзажей, и мы вместе с поэтом знаем, как весенней ночью «вздрагивает чуть заметно трава, растущая во сне», как «непритворно свободна» осенняя природа. «счастливая в своей печали». Но, быть может, более остро, чем кто-либо другой из наших поэтов, Шефнер стремится передать поэзию городов — «продолженья природы».

Города у Шефнера — «каменные житницы труда», и «песок стал витриной зеркальной». А мост, построенный над рекой, «прекрасней, чем все триумфальные ярки», и «огромен и светел, как праздник, нарушивший будни природы!»

Люблю вагонов и кают  
Геометрический уют,  
Здесь украшений лишних нет,  
Здесь дерево, металл и свет.

Давно пора, давно пора  
И жить и строить без прикрас,—  
И мудрые конструктора  
С природою сближают нас.

Многие стихотворения Шефнера являются удачным опытом нового типа лирического «городского» или «индустриального» пейзажа.



зажа — просветленного, одухотворенного, высокочеловечного. Таковы, например, «Городской сад», «Лирика», «Новосибирск», «Первый самолет», «Забытые машины», «Движение». Некоторые из них очень хороши, исполнены глубокого чувства, сжатой и динамической выразительности.

Мы видим перед собою подлинный Ленинград — Ленинград «васильеостровских линий» и городских окраин, новостроек и осеннего городского сада, свалок и взморья с его кораблями, желтыми дюнами, косматыми соснами, маяками, серыми водами залива и другими «родными, уютными местами»: «душой не уйти, не уплыть никуда от своей ленинградской земли».

В поэтическом стиле Шефнера есть особая красота — красота динамической конструкции, чуждая «у х и ш р е н и й л и ш н и х», основанная на целесообразности и лаконизме. Шефнер ищет «экономичные», прочные и точные лирические связи; с помощью неожиданных метафор он создает как бы мосты, связывающие отдаленные и разнообразные события. Он ощущает время предметно и создает образы, непосредственно объединяющие будущее и настоящее, настоящее и прошлое. Кирпичная стена — это «глина, вставшая вертикально». Море у Шефнера пахнет еще «не пойманной рыбой». Гроза везет «косматые тюки невоплощенного дождя». А когда мы идем за Шефнером по загородной свалке «среди ящиков с битым стеклом», «среди одуванчиков лысых», где «коррозии — рыжая крыса — грызет металлический лом» и «торчат из древесной трухи» «внимательные лопухи, — не уши ль слонов погребенных?» — тогда, оказывается, над этой свалкой «птица летила тяжело с клочком перепревшей соломы сквозь будущих окон стекло, сквозь будущих зданий объемы».

Их нет еще на чертеже,  
Все здесь еще хмуро-понуру,  
Но просится в небо уже  
Грядущая их кубатура.

(«Свалка»)

Стихи Шефнера обычно конкретны, размышления и описания содержат элементы рассказа и действия. Интонация Шефнера чуть-чуть «литературна», но свободна от отпечатков чужих интонаций, но главное в ней — это свое, сосредоточенное и вместе с тем непринужденное. С нами говорит скром-

ный, нешумливый, сдержанный и по-настоящему умеющий думать товарищ и собеседник. Он многое видит и понимает, и он думает вслух вместе с нами о важных вопросах нашей жизни, и говорит без выкрутас. Поэтическая логичность Шефнера представляется даже несколько жесткой, суховатой, но по сути она всегда смягчена и воодушевлена наблюдательностью, широтой мысли.

Шефнер ищет — и находит — емкие, сжатые поэтические формулы, в которых заострено и закреплено противоречивое единство времени, человека. Он поэтому очень любит «контрастные» сочетания: грядущее «вспоминается»; мир — одновременно «высокий» и «подножный»; «осенняя природа» — «молода» и счастлива в своей печали; вода гидромонитора «от скорости могучей» кажется «недвижной» и так далее. Такие сопоставления всегда подчинены единой цели.

Ассоциативные метафоры работают у Шефнера в отличие от некоторых наших поэтов (забывающих про опыт Заболоцкого и Мандельштама и возвращающихся к раннему Пастернаку или Хлебникову) в том же строго дисциплинированном строю, иногда даже слишком, так сказать, точном, заданном. «Геометрическому уюту», быть может, не хватает той щедрости и полноты, которая дается силой чувства и темперамента. И все же, несмотря на этот недостаток, на некий «геометрический» холодок, — какую неожиданную душевную глубину открывает нам поэт! Разве мы увидели бы без него, как в городском саду «осенний дождь», «заклученный в правильный квадрат», «мечется и рвется за ограду»? «Над ворохами жухлого листа все целомудренней и откровенней деревьев проступает нагота». И вот — внезапный вывод:

Как молода осенняя природа!  
Средь мокрых тротуаров и камней  
Какая непритворная свобода,  
Какая грусть, какая щедрость в ней!

Это очень неожиданно, но очень точно, ибо ведь в самом деле —

Ей все впервой, все у нее — вначале,  
Она не вспомнит про ушедший час, —  
И счастлива она в своей печали,  
И ничего не надо ей от нас.

Шефнер не принадлежит к числу поэтов большого непосредственного публицистического темперамента. Но тем не менее в его

лирике есть своя смелость, есть свой гражданский дух. Он выражается в предельном чувстве ответственности. Тот человек, который говорит с нами и о нас стихами Вадима Шефнера, называйте его каким угодно литературоведческим термином — лирическое «я», «лирический герой», «автор», «поэт», — это прежде всего один из положительных героев нашей современности, и создание таких героев является главной функцией и назначением социалистической лирической поэзии.

Главное, чтобы этот положительный герой был действительно положительным, передовым и чтобы он был подлинным, а не подделкой, не позой и маской «положительности». Этот герой нашего времени — умелец и конструктор, шагающий по жизни «рядом с небом», подводник и пилот, строитель, умудренный «пристальным опытом» послед-

них лет, воодушевленный дыханием великой Программы партии, новых возможностей и требований к личности советского человека.

Наш народ решительно откинул антисоциалистический принцип, высмеянный еще Маяковским, — «нам, мол, с вами думать неча, если думают вожди». Народ ведет борьбу с тем, что Ленин называл «казенно-бюрократическим автоматизмом», который, по Ленину, чужд социализму. С этой борьбой связана потребность в широкой и свободной лирике больших и глубоких мыслей, способной подлинно, «без украшений» отразить и выразить «цветущий мир» в его стремительном и целеустремленном движении.

Лирика Шефнера — одно из удачных отражений и выражений этих запросов и требований времени.

А. МАКЕДОНОВ.

★

## ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В. Белов. Знойное лето. Вологодское книжное издательство. 1963. 184 стр.

В. Белов. Деревня Бердяйка. Повесть. «Наш современник», № 3. 1961.

«Плясали около сельповской лавки» — так молодой вологодский писатель Василий Белов начинает свое повествование о деревне Бердяйке.

Парней в деревне было двое, и оба пришли сюда — без малого шестнадцатилетний Венька играл на гармонии, а Саша Пётряев плясал. Коротко рассказав о Веньке и о том, как Саша после давней неудачной женитьбы получил прозвище Приемьш, В. Белов подведет нас к женщинам и познакомит с ними. Потом Саша проводит до дому подруг Валю и Анютку. Валя останется с Сашей на скамеечке, а Анютка в одиноких слезах заснет на Валиной кровати: с весны она ночует у Вали — отсюда ближе к скотному двору.

Потом наступит скорое северное утро, и в другом доме председатель Сергей Иванович проснется от неистового петушиного крика. «Сергей Иванович с усилием открыл глаза. У самого изголовья сторожко вздрагивала розовая петушиная борода. Петух, изредка мигая круглым глазом, по-дурацки глядел на председателя. Сергей Иванович улыбнулся. Вдруг петух откинул назад свою плоскую голову с обмороженным гребнем и, косо изгибая шею, издал мощный картавый звук, после чего в горле у него еще секунды две что-то клокотало и журчало».

Зайдем в третью избу, в четвертую. Пойдем на сенокос, вместе с Валею захлебнемся грозовым дождем, который разобьет зной, маревом висящий над деревней. Будут петь, плакать, топить печи, плотничать, шуметь на собрании. Будут рождаться, умирать.

Извечное? Всегдашнее? Нет. Только на первый взгляд может показаться, что повествование В. Белова не движется ничем иным, кроме как естественным календарным течением дней и лет. Это ощущение готово возникнуть еще и оттого, что в его первой повести и в рассказах, собранных в книге «Знойное лето», обычно нет резких конфликтов, которые обозначают время быстро и определенно. Просто вчерашний день цепляется за сегодняшний, сегодняшний — за завтрашний, и где-то в этих днях происходит одно событие, потом другое, проходит одна жизнь, вторая, третья.

Чем связаны друг с другом жители деревни, которую рисует писатель? Трудями, заботами, праздниками, бедами. И вот эту плоть жизни, которая связывает людей, В. Белов чувствует великолепно — говорит ли он о достоинствах топора плотника Никаши или слушает размышления маленького Павлуни (рассказ «Скворцы»), который из-за больных ног лежит один дома («Наверно, — думает Павлуня, — наверно, сейчас в

шкафу светло от самовара, только ведь как узнаешь? Если откроешь дверку, то свет из избы сразу в шкаф напускается, а ежели не откроешь, то не видно, темно в шкафу или светло. Наверно, светло, потому что уж очень самовар блестит после того, как его мама начистила); или вспоминает холодную вьюжную зиму. «Даже после нового года за деревней мягко перешептывались метели, навевая около бань и амбаров полукружия сугробов. По ночам ветер заляпывал окошки домов крупными ошметками мокрого снега. А если случался морозец, то ветер тихо звенел в слегка обледенелых ветках черемух и берез, сухо пошвыстывал в обшивках домов».

А язык? У В. Белова есть несколько рассказов, в которых он просто слушает речь своих земляков. Все, чего эта речь ни коснется — человека или вещи, — она награждает именами, которые сначала могут позабыть остроумием и меткостью, а потом за ними вдруг откроется серьезная суть, порой весьма горькая. Это язык не только точный, но очень честный, не блудливый, идущий по глубине.

«А и тут, батюшко, велик ли смак, ежели сама дочка второй месяц в больнице, ревматизмы пошли по ногам, — рассказывает Колоколена, кормя внуков, — ведь век свой хорошей обутики не нашивала, а и он, Аркадейто, какой тоже добывальщик, смирёной уж больно, никому насупротив слова не скажет, вот его и пехают в кажинную дыру. Здоровышко-то у него тоже подзапнулось, ездил в лес, каждый год лес рубят на Украину, вот уж истинно еловые шишки кормят, ездил, это, в лес, да суком так его и хвостануло, вот с того разу и сник, ест худо и с лица спал» (рассказ «Колоколена»).

Попробуйте рассказать эту историю другим языком, и она высохнет.

Кстати, рассказам В. Белова легко было бы превратиться в очень колоритные нраво-описания — благо быт северной деревни автор знает прекрасно, а здесь есть чем красоваться. С его слухом и зрением на это ушло бы не много времени и сил. Но его заботы посерьезней.

Вернемся в Бердяйку. Войдем в ее жизнь — дом за домом, день за днем — и тут обнаружится, что мы попали в совершенно современную деревню. И дело не в каких-то приметах — вот поехал председатель в район, вот приехали девчата-шефы из техникума, а в том, что судьба любого оби-

тателя любого дома определяется современным положением вещей. Из каждой судьбы, из каждого происшествия ясно выглядывает лицо современной деревенской жизни. Герцен сказал, что человеческое лицо — это паспорт, на котором визы остаются. В. Белов отлично разбирается в таких визах.

Представитель из района требует от колхозного собрания, чтобы оно переизбрало председателя Сергея Ивановича (Сергей Иванович самовольно отправил в отбраковку нестельных коров, от которых был колхозу один убыток, — в районе же Сергею Ивановичу приписали уничтожение маточного поголовья). Колхозники отказываются переизбирать — председателя уважают. Голос колхозного собрания самостоятелен, неуступчив — и в этом виза нового времени. А вот событие совсем другое, частное. У незамужней Татьяны Брагиной родился ребенок. Казалось бы, стыда не оберешься, но В. Белов рассказывает об этом празднично.

«Было воскресенье. Вся деревня уже знала, что Татьяна Брагина родила сына. Событие это взволновало и обрадовало всех поголовно. Много-много лет в деревне не слышал никто ребячьего крика. Только Маша — дочка Полины Григорьевны — и радовала жителей Бердяйки да из Горушек изредка навевывался какой-нибудь белоголовый мальчонка из многочисленной оравы Акиндина Марфушина. Но ребятишки из другой деревни — дело не то, да и Полина Григорьевна считалась приезжей. А тут родился свой, деревенский...»

И как не понять эту радость — тем более, что сам автор так искренно, так полно ею захвачен! В. Белов очень легко и просто умеет погружаться в настроение героев, как бы заражаться им. Порой даже кажется, что повествование ведет один из этих людей, в свободную минуту рассказывающий о своих односельчанах. Короткая биографическая справка, открывающая первую книгу прозы В. Белова (до этого у него вышел сборник стихов), свидетельствует о том, что ощущение это не обманчиво.

В справке говорится: «Василий Белов родился в 1933 году в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области. После окончания школы ФЗО был столяром, мотористом, сотрудником грязовецкой районной газеты, секретарем Грязовецкого райкома ВЛКСМ».

Надо встретить не одну дерсвенскую за-

рю и проводить не один закат, надо собственной судьбой пережить и трудные военные годы, и послевоенные, и нынешние, надо, чтобы через твою короткую жизнь прошло много других деревенских жизней, чтобы так ясно слышать беду и радость — мужичью, солдатскую, ребячью, женскую, стариковскую. Не стороннее «знание жизни», а печать личной судьбы лежит на рассказах В. Белова. Собственная биография сильно помогла автору, но она вовсе не обязательная и главная основа его пристрастий и таланта. Главное в том, что все пережитое его земляками стало достоянием личности автора, а не только достоянием его весьма обширной житейской эрудиции.

Рассказчик настолько проникнут духом той жизни, о которой пишет, что и его интонация порождена ритмами этой жизни, ее мерой вещей. Она ровна и покойна. Ей почти не свойственны ни пафос, ни иступление, ни отчаяние, ни восторг — хотя часто речь идет о событиях и страстях, которые могли бы вызвать эти взрывы. Но «крайние» чувства как бы подчиняются и поглощаются силой ежедневной жизни с ее трудом и заботами о семье, доме, колхозе, урожае. Порой даже кажется, что автор что-то «недовыписал». Погиб на пожаре Саша Петряев из деревни Бердяйка, всего ничего прожила с ним молодая жена Анютка. Ждешь, вот сейчас будет рассказано о ее горе (ведь как терпеливо ждала она своего счастья). Но повествование не задерживается надолго ни возле гибели Саши, ни возле отчаяния Анютки. Оно мерно перекатывается через эту беду — только сказано, что под сердцем у Анютки стучится Сашин ребенок, и это как бы «стирает» прежнее горе.

Подчинившись ровному авторскому голосу, вы простодушно разделите общую радость по поводу рождения сына у Татьяны Брагиной или вместе с автором искренно начнете недоумевать, почему в голодные военные годы в их деревне (рассказ «Калорийная булочка») предпочитали толочь на муку солому, а не головки вымолоченного льна, как делали это везде: лен и толочся быстрее, а лепешки из соломы обдирали горло до крови.

Но в какую-то минуту вы вдруг остановитесь и, стяхнув с себя эту обстоятельность и ровность, вдруг очетесь: да что же я делаю? О чем это я? Между чем и чем выбираю? Что чуть было не принял за норму?

И тут обнаружится, что, убаюканные тем мерным ритмом деревенской повседневности, который так хорошо чувствует В. Белов, вы едва не сжились, едва не согласились с тем, что деревня, изображенная автором, бездетна, а иная улица похожа «на беззубый рот — тут дом, да там дом, да двор в середине».

Спокойствие авторского голоса идет не от равнодушия, и тем более не является оно каверзным литературным приемом. Оно возникает из другого — из ощущения, что жизнедеятельная сила тех людей и той действительности, о которой пишет рассказчик, — огромна, хотя и не беспредельна. Силе этой В. Белов привержен кровно, и оттого он так чуток ко всему, что противостоит естественному, здоровому порядку вещей с его бесчисленными заботами — семейными и общественными. Отсюда рождается внутренний драматизм беловских рассказов. Одиноко живет красавица Клавдия (рассказ «Клавдия»), ее не отпустили из деревни к любимому; чтобы получить паспорт и уехать к нему на Камчатку, она вышла замуж за другого, а тот, первый, после этого ее не принял. И неизвестно, что будет с любовью Любы-Любушки, — ведь любимый уезжает в армию: «...зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года».

Если бы только на три!»

Если бы... Потому что один за другим уходят из деревни ребята и мужики, оставляя хозяйничать баб, бросая на стариковские руки детей.

И так же драматичен конфликт между трезво хозяйничающим председателем Сергеем Ивановичем и демагогом Капитоновым, хотя сама по себе история эта занимает в «Деревне Бердяйке» сравнительно небольшое место; она прочно стоит в ряду других, столь же насыщенных драматическим смыслом, который един; иногда он прорывается на поверхность, иногда нет, но существует постоянно.

Есть у В. Белова рассказы, действие которых изредка покидает деревню и автор смотрит на родные места как бы со стороны — глазами заезжего человека, или же, наоборот, смотрит на город глазами деревенского. Свободное, емкое повествование сменяется тогда углой схемой. Причем оба

этих пласта могут сосуществовать в пределах одного рассказа.

Страшны картины голодного военного детства («Калорийная булочка»), но они, эти картины,— только воспоминания, «нестройной и горькой чередой» пронесшиеся в голове рассказчика, когда он в одном из московских кафе наблюдает за полной дамой, которая, поев сметаны, остатками калорийной булочки вытирает пальцы с накрашенными ногтями.

Трудно, однако, поверить, чтобы воспоминания подобной силы могли возникнуть по поводу столь пошлomu. Да и сама эта подробность (накрашенные ногти и корочка булки) слишком уж предвзято-дидактична. Скорее всего в такой ситуации рассказчик мог испытать минутное отвращение — не более. В этом мгновенном чувстве отозвалось бы и детство, и многое другое. Но столь явственные и страстные воспоминания могли подняться в душе рассказчика лишь в том случае, если б ему в этой даме виделось едва ли не главное зло, повинное в той жуткой нищете, которая ему вспомнилась. А подобные чувства могли быть рождены лишь наивным представлением о паразитической городской жизни, безнадежно чужой для деревенского человека.

Не часто появляются в рассказах В. Белова городские люди. О некоторых из них

говорится даже с симпатией, но всегда они остаются чужаками и отчужденно относятся к ним сам автор. Ни один из них даже отдаленно не изображен с той силой, что люди деревенские. Здесь талант В. Белова как бы умалкает. И это молчание, как кажется, говорит не только о том, что писатель хуже изображает то, что хуже знает, но о том, что внутренне он еще не преодолел некой устоявшейся ограниченности, а без этого преодоления трудно будет двигаться дальше.

При всем том, что сейчас В. Белов пишет фрагментарно, как бы произвольно зарисовывая отдельные судьбы, характеры, разговоры, он явно стремится к целостному охвату жизни. На первых порах фрагментарность даже естественна, потому что дает ему первоначальную свободу взглянуть на жизнь то с одной стороны, то с другой — куда погянет, и это рождает свое ощущение полноты.

Но чтобы целостно постичь современную жизнь, которая так беспощадна к изолированности, надо знать жителей других мест и других душевных состояний. Без этого знания и в собственной деревне многое останется закрытым. А В. Белов хочет знать о ней все.

И. БОРИСОВА.

★

## НА ГРАНИ ИЛИ ЗА ГРАНЬЮ?

Иван Ефремов. Лезвие бритвы. Роман приключений. «Нева», №№ 6, 7, 8, 9, 1963.

В кратком предисловии от редакции к опубликованному в журнале «Нева» новому произведению Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» сказано о «всемирной известности автора романа «Туманность Андромеды». Действительно, вслед за книгами С. Лема книги Ефремова в последнее десятилетие оказались в числе весьма популярных. Они выделялись среди потока «научно-фантастических» и «научно-приключенческих» произведений разного рода интеллектуализмом содержания, современностью нравственной и философской проблематики, короче говоря, уровнем авторской мироощущения. Своими прошлыми работами Ефремов сам создавал ту мерку качества, которую наша критика теперь уже по необходимости прилагает к произ-

ведениям подобного жанра, в том числе и к произведениям самого Ефремова.

В «Лезвии бритвы» легко прослеживается тот самый «культурный пласт» — та идейная традиция, которая уже завоевала ранее столь широкое признание автору.

Читатель найдет у новых героев Ефремова отклик едва ли не на все наиболее острые вопросы развития современной мировой цивилизации: непримиримая борьба социалистической и буржуазной идеологий, борьба материалистического и идеалистического миропониманий, проблема свободы науки и творчества вообще, проблема выработки новой нравственности, загадки психофизиологии, гайны прекрасного, проблема исторического прогресса, место и роль личности в жизни современного общества и т. д.

И взгляды, которые утверждает писатель в этом произведении устами своих героев, в общем, несомненно, заслуживают поддержки. Правда, подчас споры между героями идут тут по каким-то уже приевшимся вопросам, в свое время достаточно «отработанным» нашими газетными фельетонистами (прикрывать или не прикрывать, к примеру, «неприличные места» на скульптурах лифчиков и трусиками). Тогда у читателя вдруг возникает ощущение банальности, неинтересности излагаемого автором. (Впрочем, точно такое же ощущение возникает и тогда, когда герои Ефремова с серьезнейшим видом ввязываются в безнадежные и уже во многом отгремевшие споры наших ученых-эстетиков о сущности и природе красоты.)

Однако и сам автор, как говорит он о том в «Предисловии» к своему новому произведению, опасался превращения романа «в сборник научных проповедей. Поэтому,— говорит он,— пришлось значительно расширить его, введя три плана, много действующих лиц и придав ему приключенческий характер. И все же научная «нагрузка», по мнению Ефремова, находится, пожалуй, на пределе допустимого. Мне, замечает писатель, не удалось избежать «лекционной» формы изложения важнейших вопросов. «Растворение» всех научных данных в общем повествовании потребовало бы еще большего увеличения объема произведения. Несмотря на эти научные отступления, которые я не могу устранить без ущерба для проблемной основы, я решаюсь предложить роман «Лезвие бритвы» читателям «Невы».

И вот на страницах нового романа Ефремова закрутился стремительный поток авантюрного сюжета — замелькали «великосветские красавицы» и «несчастные танцовщицы», понеслись, уходя от погони, сверхскоростные лимузины, поплыли на своих таинственных яхтах отчаянные искатели алмазов, добрые и мудрые капитаны закурили свои литературные трубки, «Берег скелетов» встал перед замороженным читателем, маня и пугая своей беллетристической тайной, и даже простые советские девушки Сима и Рита превратились вдруг для занимательности в пропылившихся библиотечной пылью и вновь недавно оживленных кинобеллетристикой — Гаруналь-Рашида и его верного визиря... Суперидеальные герои устремились в погоню за таинственными и мрачными злодеями «в

безупречных костюмах», смешались в кучу гипнотизеры и шпионы, бывшие проститутки — ныне жертвы звериных нравов буржуазии — и йоги в белых тюрбанах, продюсеры и древние храмы, свирепые кинольвы и затонувшие корабли — вечные хранители общезвестных секретов литературной занимательности. И среди этакого богатства как-то вдруг затерялись островки авторских «научных отступлений».

Новый роман Ефремова задуман как произведение «экспериментальное». Только, думается, эксперимент тут не то чтобы «пошел» не в том направлении, в каком был задуман, а просто не тот это оказался эксперимент, который задумывался, а совсем, совсем другой. Думал автор попытаться соединить «научные отступления» с общей беллетристической формой повествования. Но нет никакого смысла пересказывать сюжетные «ходы» нового романа — они, даже по мнению автора, совершенно безотносительны к «проблемной основе» произведения. Для этой основы совершенно неважно, разоблачат в конце концов какого-то там шпиона или нет, спасется от преследований злодея героиня или не спасется, выздоровеет герой или умрет. Дело в том, что в новом своем романе Ефремов попытался объединить несоединимое, попытался слить воедино два взаимоисключающих начала — культуру современного интеллекта, современной мысли и антикультуру беллетристических трафаретов пинкертоновщины. Никакого синтеза тут заведомо не могло произойти. И два эти пласта живут в произведении отдельно друг от друга: композиционно, стилистически, идейно. Читаешь новый роман Ефремова — и кажется, что кто-то перед тобой «ловит» по шкале радиоприемника нужную волну, да найти никак не может: «то флейта слышится, то будто фортепьяно», то голос лектора, то джаз...

«Нетрудно увидеть, что красота — это наиболее правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и назвали аристон — наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее — чувство меры. Я представляю эту меру чем-то крайне острым — лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти невидимому

из-за чрезвычайной остроты. Но это уже другой вопрос. Главное, что я хотел сказать,— существует объективная реальность, воспринимаемая нами как безусловная красота. Воспринимаемая каждым, без различия пола, возраста и профессии, образовательного ценза...» и т. д.

«Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Иво отправился совещаться с метрдотелем — как у каждой «кинозвезды», у него везде были друзья.

— Так вы — Леа, — небрежно сказала дама, — а я — Сандра. Я много слышала о вас хвалебного от Иво.

— Но он же видел меня вчера впервые!

— Значит, ему говорил ваш... Цезаре.

— Что вы, его тайная и беспредельная любовь — Зизи Жанмер!

— Откуда ты взяла? — воскликнул Цезаре.

— Конечно, сейчас мода на девушек с порчинкой...» и т. д.

Можно было бы найти в романе и примеры прямого смыслового разноречия: теоретические размышления героев о красоте, к примеру, подчас непосредственно контрастируют с шаблонными описаниями «красивых» пейзажей и «ослепительных красавиц» («Ее «вайтлс» 38—22—38... очень «секси», куда там какая-то Гей!» — говорит один из положительных героев Ефремова, оценивая таким образом — соотношением объема бюста, талии и бедер — внешние данные положительной героини). Но дело тут даже не в этом. Сам тон болтливой несерьезности, банальной «беллетристики» как бы «снимает» глубокомыслие авторских теоретизирований. Роман оказывается эстетическим кентавром — ученый «дополняется» шансонеткой.

«Конформизм — по существу задержка или остановка развития. Внутренняя диалектическая борьба — это основа всякого устройства в жизни, всякого процесса и всякой сложной структуры. Без нее получается просто количественный прирост, наподобие раковой опухоли из однородных невзаимодействующих клеток, вместо организованного общества — толпа. Толпой управлять гораздо легче, но ведь развитие идет, а она стоит на месте как застойная общественная формация, все больше растет разрыв между ней и передо-

выми членами общества, требованиями прогресса.

Надо всячески избегать непрерывного давления на психику, необходимо «отпускать» человека, как отпускают сталь, чтобы не сделать ее слишком хрупкой.

...Доброе, гуманистическое в человеке непобедимо и неизбежно, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о потомстве. Только крепчайшими потребностями в доброте, жалости, помощи можно было изменить психику темного зверя, чтобы заставить его охранять и воспитывать своего детеныша в течение многих лет, полных трудов и опасностей. Эти основы выработаны миллионами лет, так же как миллионы лет вырабатывались наследственные механизмы человека, общий фонд которых...» и т. д.

И опять:

«Прежде чем кто-либо понял происходящее, один из них вытащил из-под рубашки длинноствольный пистолет с ребристой металлической муфтой на конце дула. Что-то хлопнуло о борт машины... Хлопнул второй выстрел. Пуля, пробив руку Сандры, попала в Тиллоттаму. Обе женщины упали как подкошенные. За секунду до этого Даярам, издав звериный вопль, прыгнул навстречу стрелявшему. Один из спутников убийцы подставил ногу художнику. Даярам грохнулся об асфальт у самых ног человека с пистолетом. Все же он успел ухватиться за ноги убийцы, рванул на себя и подмял негодя, стараясь вырвать оружие. Цезаре, пытавшийся поднять раненых женщин и весь залитый их кровью, яростным ударом сбил второго бандита и наклонился над Даярамом, не замечая, что третий, пожилой и ранее не замеченный в своей темной одежде, занес над ним длинное, адской остроты шило. Мгновение, и шило вошло бы под лопатку итальянца, пронзив сердце, но на подмогу уже бежала Леа со своим тяжелым автоматическим пистолетом, который она всегда носила с собой... Не колеблясь, она выстрелила прямо в черноусое лицо, торжествующая энергия которого смялась ударом тяжелой пули, оставившей черное отверстие точно в середине полоски усов. Заливаясь кровью, бандит рухнул, тупо ударившись о камень фонарного цоколя... Ахмед выступил вперед, указывая на Гирина и на Леа, закричал, как в кошмаре, скаля зубы и закатывая глаза. Поднятая рука его сжала кривой кинжал. Еще не-

сколько ножей появились в темных кулаках собравшихся... Гирин, сообразив, что слуга американца должен знать английский язык, громко и властно скомандовал:

— Поди сюда, убийца!

Ахмед покорно шагнул вперед...

— На колени!

Ахмед рухнул на колени так, что об асфальт громко стукнули коленные чашки».

Ефремов, очевидно, намеревался воспользоваться пинкертоновщиной так, как иногда прибегают к помощи не очень уважаемого человека — ничем всерьез не связывая себя с ним. Несомненно, в подобном отношении к делу проскользнуло нечто от опасного предрассудка: можно «нанять» художественность. Суть вопроса, мол, лишь в том, для какой цели это делается. Вот и Ефремов попытался это сделать с весьма, впрочем, благородными намерениями. И дело, конечно, отнюдь не меняется от того, что в данном случае писатель «нанял» сам себя. Искусство, как всегда, не нанялось. «Нанятым» оказалось какое-то «субискусство», некий заместитель художественности. Но нельзя творить добро дурными средствами — нельзя «внедрять» культуру в формах культурных суррогатов. Невозможно утверждать «высокие идеалы» средствами наемного «искусства». Поддельвающийся под искусство «беллетристический» трафарет непригоден для утверждения гуманистических принципов: у него нет человеческого содержания; он непригоден для распространения истины, ибо по самой сущности своей способен лишь мистифицировать.

Автор заведомо несерьезно отнесся к «литературной форме» своего нового романа. Но у несерьезного «полусискусства» свои вполне серьезные цели. Будучи призванным, оно начинает добросовестно выполнять ту самую роль, во имя которой оно и существует: «развлекая», оно обычно отвлекает читателя от сколько-нибудь серьезных размышлений над делами мира сего, над проблемами общественного бытия.

Чужая форма в «Лезвии бритвы» «освоила» содержание — мертвое спокойствие трафаретного изложения убило живую душу современной мысли, выдав, кстати

сказать, вместе с тем и известную риторичность авторского культурного мира.

Ефремова почти нет в его новом романе: отчуждая свое «я» ученого в трафаретных приемах наемного «художества», он явно творчески не свободен и в чуждой ему стихии детектива. Куда, в самом деле, Ефремову до какой-нибудь там Агаты Кристи! Если верно, что всякое искусство вообще само «производит», само готовит для себя «своего» читателя, то новым своим романом Ефремов готовит читателя не для себя, а для какого-то совершенно другого писателя. У этого другого писателя все другое — другой вкус, другие приемы работы, другие цели.

Можно, конечно, до такой степени «рафинировать» изложение своих идей, что они останутся достоянием лишь самого незначительного круга — некоей элиты. Но можно и так «рассиропить» эту же мысль, так ее «популяризовать», что от нее вообще ничего не останется: старая форма «победит» новое содержание.

Неоднократно и по разным поводам обращается Ефремов в своем новом романе к мысли о том, что всякий прогресс проходит по узкой грани — тончайшему острому немирным противоположностей. По ту и по другую сторону этой грани — обрыв, пропасть, катастрофа. «...Узка и трудна, — говорит писатель, — та единственно верная дорога, которую можно уподобить лезвию бритвы». Но ведь и в сфере культуры, искусства есть тоже некая грань, некое «лезвие бритвы». Только грань эта проходит все-таки не там, где, как видно, старался найти ее Ефремов.

И эта грань, казалось бы порой столь зыбкая, беспрестанно колеблемая разного рода обстоятельствами нашего бытия, все же непереходимой границей отделяет всегда искусство от беллетризованной риторики, мир современной культуры от мира антикультуры шаблонизированных представлений, расхожих норм рутинной «художественности» — всякого сорта наемного «субискусства». Так стоит ли экспериментировать, пытаться ходить по этой грани?

А. ЛЕБЕДЕВ.



## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ТОЛСТОГО

С. Бочаров Роман Л. Толстого «Война и мир». Гослитиздат. М. 1963. 142 стр.

Два года тому назад издательство «Художественная литература» начало выпускать небольшие по формату книжечки с грифом «Массовая историко-литературная библиотека».

Попытки приблизить литературоведение к непрофессиональной аудитории, заинтересовать проблемами историко-литературной науки широкие круги читателей предпринимались и ранее. Особенность этой новой серии в том, что каждая ее книжечка — это серьезный и углубленный разговор об одном, и только одном, произведении, но обязательно выдающемся, составившем веху в художественном развитии человечества. Уже вышли книги о поэмах Гомера и «Слове о полку Игореве», «Фаусте» Гёте и «Гамлете» Шекспира, «Евгении Онегине» Пушкина и «Анне Карениной» Толстого, «Матери» Горького и «Двенадцати» Блока. Этот список можно продолжить, но не стоит этого делать, так как он приведен здесь исключительно для того, чтобы стал ясным характер этой «Библиотеки».

Разумеется, каждый из писавших для этой серии искал и находил свое решение стоявшей перед ним задачи, и по своей методологии книжечки все разные. Возможно, что через три года, когда завершится все издание, будут подведены итоги успехов и неудач серии в целом. Моя задача скромнее. Я хочу остановиться на одной из них, а именно — на работе о «Войне и мире», представляющей интерес и по тому решению, которое предложил ее автор С. Бочаров, и по своей концепции.

Естественно, что на такой маленькой площадке, какая была ему отведена, С. Бочаров не мог дать всеобъемлющего и полного анализа всей четырехтомной эпопеи Толстого. Тем не менее он считал необходимым представить роман «целиком», в «главном его содержании». В какой-то мере путь к осуществлению этой задачи был подсказан самим Толстым, который в одном из своих писем писал: «...для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».

Действительно, С. Бочаров отверг тот вульгарный способ «отыскивания мыслей», при котором игнорируется специфика художественного познания. Весь пафос его работы в руководстве читателем, перед которым он раскрывает «основание сцепления», связывающее воедино все многочисленные разнородные сюжетные линии романа, мир с войной, философию истории с драмой Болконского или событиями в жизни Пьера.

Поэтому С. Бочаров не стал, как это часто делают, искать ключ к бессмертному роману Толстого во внешнем «подсобном» материале — то есть в прямых высказываниях автора, дневниковых записях, письмах, публицистических отступлениях. Поэтому нет в его книге и того чисто внешнего исторического анализа, когда литературное произведение превращается в иллюстрацию, комментарий. С. Бочаров умеет из самого художественного текста Толстого, из логики его образного мышления извлечь специфику его «художественной идеологии» и через нее увидеть и самое время, и тот социальный мир, который стал почвой толстовского искусства. В итоге — свежее и глубокое прочтение романа «целиком», хотя в поле зрения автора книги преимущественно сфера «мира», сцены и эпизоды частной домашней жизни, той, что сам Толстой считал «настоящей жизнью людей». Это те сцены, когда его герои влюбляются или разлучаются, переживают наслаждения любви и мысли, поэзии и музыки и когда кажется, что они живут вне политических интересов, вне связи с полной волнений и тревог эпохой 1812 года.

Собственно главная тема книги — это доказательство того, что ситуация 1812 года и есть «основание» романа, цементирующее, связывающее воедино сцены монументального и поэтического творения Толстого. Оказывается, между состоянием Николая Ростова, вернувшегося после карточного проигрыша домой, воскликнувшего под влиянием музыки: «Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь — все это вздор... а вот оно — настоящее», и состоянием Пьера на пути к Бородинскому полю — есть общее, есть «сцепление». И в том и другом случае через разлад, через кризис, подобно тому, как это произошло с народом в це-

лом в годину бедствия 1812 года, открывается настоящее, свободное от сословной ограниченности и эгоизма начало человеческой жизни. Анализируя сцену охоты, С. Бочаров вслед за М. Лифшицем доказывает, что только на первый взгляд эта сцена может восприниматься как «мастерски сделанная живописная картинка, невинная зарисовка помещичьего быта». В действительности и она также сопряжена с центральной темой «Войны и мира», ибо во время охоты также установился совершенно иной строй человеческих взаимоотношений, более справедливый и свободный от той неправды, которой он отмечен в обычное, «нормальное» время. И прав С. Бочаров, когда он замечает, что «близок всему Данилиному облику образ «дубины народной войны».

Так же исследует Бочаров другие главные линии романа: подтекст сложной биографии Пьера с его исканиями и блужданиями, и смысл сближения и разрыва князя Андрея и Наташи, и неизбежность соединения Николая Ростова с княжной Марьей. Совсем в другом свете предстал перед нами, например, образ Наташи после того, как мы прочли: «Постоянно Наташа своим влиянием на людей начинает в их жизни то, что довершит двенадцатый год». Вообще анализ характера Наташи Ростовской и особенно того эпизода, который сам Толстой считал «узлом» романа, а именно странной и несколько загадочной истории ее внезапной любви к красавцу Анатолю Курагину, — лучшие страницы в книге.

С. Бочаров все время помнил о главной ситуации романа, ее отражение обнаруживал в большом и малом, в самых, казалось бы, далеких эпизодах, отношениях, мотивах, и потому он подошел к разгадке связи романа с эпохой первого демократического подъема — эпохой шестидесятых годов.

Как известно, современники Толстого, в том числе и принадлежавшие к демократическому лагерю, встретили его роман враждебно, увидели в нем демонстративное отстранение писателя от злободневных вопросов, возмущались его интересом к «старому барству», его «философией застоя». Да и в последующие годы связь писателя с временем усматривалась исключительно в трактовке им роли народа в истории да в обличительном отношении к петербургскому свету. С. Бочаров же увидел иногда пря-

мую, иногда косвенную связь тревог и волнений, исканий и блужданий героев толстовской эпопеи, обрисованных им положений, характеров, наконец самого жанра — с кризисной, катастрофической эпохой шестидесятых годов, эпохой, определившей интерес автора к 1812 году.

Свою задачу показать роман «целиком», в главном его поэтическом содержании критик выполнил, несмотря на то, что далеко не все эпизоды и их сцепления им «просмотрены». Читатель получил «путеводную нить», с помощью которой он уже самостоятельно сумеет лучше прочесть и понять великое творение Толстого.

Значит ли это, что книга С. Бочарова во всем бесспорна? Нет, конечно. Думается, что в этой книге, особенно учитывая ее адрес, следовало бы более основательно рассмотреть вопрос о противоречивости философско-исторической части «Войны и мира». Мимолетное замечание о «неудовлетворительности решений, взаимно исключаящих выводов, в которые выпрямляется в конце концов отвлеченная мысль Толстого», мало что проясняет читателю.

Не очень убедительна попытка сопоставить, «сцепить» два эпизода, в которых главным действующим лицом является Анатолий Курагин, — приезд в Лысье Горы ради сватовства к княжне Марье и роман с Наташей. В первом случае Анатолий играл роль жениха, и все волнение, которое произвел в Лысых Горах его приезд, никак не связано с его личностью, индивидуальностью, в то время как Наташа стала жертвой именно «курагинской агрессии».

Не слишком ли упрощается концепция Толстого утверждением, что «к простой жизни народа близок в эпилоге «Войны и мира» именно Николай»? Ведь с точки зрения писателя подлинная близость к народу немислима без признания народных идеалов, народного сознания. А разве находим мы это у Ростова?

Вероятно, можно предъявить Бочарову еще и другие претензии. Но гораздо важнее и бесспорнее то, что он нашел ключ к постижению художественной индивидуальности писателя, показал нам, на чем держится «внутренняя связь романа», и тем самым приблизил его к нам, к сознанию и мировосприятию нашего современника.

С. РОЗАНОВА.



## КНИГА ИДЕЙ И ХАРАКТЕРОВ

**В. Л. Паррингтон. Основные течения американской мысли. Том I. Система взглядов колониального периода (1620—1800). 525 стр. Том II. Революция романтизма в Америке (1800—1860). 591 стр. Том III. Возникновение критического реализма в Америке (1860—1920). 603 стр. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1962—1963.**

У Паррингтона был поразительно широкий круг интересов. Он изучал стародавние трактаты богословов и правоведов; разбирался в спорах, которые вели в XIX веке экономисты; извлекал из архивной пыли романы и поэмы, которые писались накануне гражданской войны. Его книга появилась в конце двадцатых годов, но и сейчас она не знает равных по основательности и широте замысла. При этом она вовсе не тяжеловесна: все три тома состоят из эссе о деятелях американской культуры. Можно сказать, что это книга характеров.

Паррингтон предупреждал, что не пишет историю беллетристики. Его интересует скорее история духовной жизни. Одним из первых в Америке он перестал верить тому, что говорит о себе каждая эпоха, и показал за литературными распрями борьбу социальных сил. Полемика была его стихией. Что же дал такой подход для изучения художественной литературы?

Паррингтон щедро вводит в свою историю забытые имена; о многих романах, которые он разбирает, до него еще никто не писал. По-новому оценивает он и известных художников, рассматривая их как участников идейных баталий. Во втором томе, например, мы находим большие очерки о романтиках — Купере, Эмерсоне и других.

Правда, эти очерки вызвали немало нареканий. Было замечено довольно колко, что о характере президента Гранта ученый написал блестяще, а о романтике Готорне — неубедительно. Паррингтон как будто бы сам шел навстречу таким упрекам. Он спокойно провозгласил По первым в Америке писателем-художником. Но заниматься им отказался, поскольку автор «Ворона», на его взгляд, не воплотил никаких общих тенденций.

Не то чтобы у Паррингтона не было вкуса к романтическому искусству. Он с упоением пишет о безудержной фантазии Симмса. Этому романисту из Южной Каролины посвящено отличное эссе. Его крах представлен весьма картинно: «И вот человек, некогда отведавший крепкого вина культуры елизаветинской эпохи, в конечном итоге

очутился под столом, упившись ямайским ромом чарлстонского происхождения. Мечта о греческой цивилизации, основанной на рабстве негров, обнаружилась на дне чаши южного романтизма, и Симмс осушил свой бокал вместе с другими».

Но как представляет себе Паррингтон «романтическую революцию»? Мы узнаем, что в XIX веке заселялись новые просторы, бурно развивалось хозяйство. И получается, что движение романтиков соответствовало экономическому прогрессу. При таком подходе в тени должен был остаться не один Эдгар По. Критик едва касается творчества Мелвилла и Торо, хотя и воздает должное бунтарству и прозрениям обоих.

Конечно, романтизм в США имел совсем иные истоки. И в частности — романтизм Мелвилла и Торо. Круг жизни современников, ослепленных материальным прогрессом, казался им поразительно узким. Обеспеченное существование — скудным, бездуховным. Романтики отстаивали грандиозное представление о человеческой жизни: на этом основывается и культ природы у Торо, и трагическая поэзия у Мелвилла. Не удивительно, что оба оказались так близки критически настроенным писателям XX века. С «Уолде-ном» не расставался Синклер Льюис; «Моби Диком» вдохновлялись Хемингуэй и Фолкнер.

Но о литературе XX века Паррингтон высказал немало свежих истин. Он первый в американской критике ввел термин «критический реализм»; в третьем томе тонко анализируется проза Норриса и Стивена Крейна, Драйзера и Шервуда Андерсона. Они открыли новую индустриальную реальность: наступление капитализма лишало людей привычных свобод, суживало горизонт их жизни. Передовые писатели отразили недовольство, которое копилось в сердцах их соотечественников.

Но, пожалуй, самый оригинальный в этой трилогии — первый том. Именно здесь полно раскрываются симпатии и антипатии Паррингтона, замысел всей его работы.

Ученый рисует образ мыслей пуритан, основавших поселение в Массачусетсе. «Для

догматиков, которые нуждались в точной, законченной системе, и для людей, не имевших смелости мыслить свободно, логическая последовательность кальвинизма явилась настоящим откровением». Теологи типа Джона Коттона до небес превозносили сети, которыми были опутаны. Сумрачный кальвинизм сочетался с непомерной подозрительностью. «Просто диву даешься,— замечает автор,— какое множество жителей маленького городка Бостона можно было причислить к категории людей, «противоестественно и неистово одержимых дьяволом». Паррингтон живописует «охоту на ведьм», о которой вспомнили прогрессивные американцы в пору маккартизма.

Он так пишет о пуританском прошлом, что мы без труда понимаем, что злит его в настоящем. Косность, предревждения, провинциальное самодовольство — все это мишени Паррингтона, по которым бил как раз в те годы автор «Бэббита» и «Главной улицы».

Героем Паррингтона в колониальную эпоху выступает вольнодумец Роджер Уильямс. Среди пуританских священников он был белой вороной. Темпераментный публицист, Уильямс выступил в «Кровавом догмате» против нетерпимости. Страннику равенства нечего было делать в Массачусетсе, и он основал на демократических началах колонию в Род-Айленде. Уильямс смотрел далеко вперед. Народ, утверждал он, имеет право менять конституцию.

Независимость, смелость мысли — эти черты всегда приводят Паррингтона в восторг. Идет ли речь об аболиционистах, которые твердо стоят на своем, даже если чернь громит их типографии, или о Торо, который в глаза называет своих современников рабами и провозглашает героем «смутьяна» Джона Брауна. Паррингтон поэтизирует самостоятельность американского народного характера. Она дала себя знать рано: еще в начале XVIII века фермеры Массачусетса не ломали шапку перед губернатором.

В конце этого века, в эпоху Джефферсона, сложились представления о демократии, унаследованные ученым. Автору «Декларации независимости» посвящен в первом томе самый восторженный очерк.

После победы над королевскими войсками, рассказывает Паррингтон, в стране развернулась настоящая идейная битва. Крупные собственники пугали общество призраком анархии. Хартфордские остроумцы рас-

писывали «разнузданность черни» в хлесткой поэме над названием «Анархиада». Эти вопли не произвели впечатления на Томаса Джефферсона. «Он хорошо знал, как действует пропаганда, и никогда не судил об американском народе по тому, что говорили о нем его враги. По его мнению, лекарством от зла, приносимого демократией, являлась лишь еще большая демократизация».

В книге излагается образ мыслей Джефферсона, нашедший столько откликов в американской литературе. Костяк любого великого народа — это фермер, его потребностям соответствует местное самоуправление и простое, не забравшее слишком много власти государство.

Паррингтон изучает историческую судьбу этих идей. Она была полна превратностей.

Свои права на наследство мыслителя заявили южане (хотя автор «Декларации независимости» не только не считал рабство благом, но был уверен, что оно должно отмереть). Юг защищал местное самоуправление, нападая на государство-левиафан. Разумеется, эти демократические фразы стоили немного, ибо за ними стоял, как пишет Паррингтон, «самый примитивный из всех видов эксплуатации».

После гражданской войны наследниками Джефферсона выступили популисты. Они стремились отстаивать интересы фермерства, с которыми не считался торжествующий капитал. Паррингтон в молодости был популистом, даже баллотировался по списку этой партии. Без сомнения, это определило многое в его работе.

Кажется, ни о ком Паррингтон не писал с таким сарказмом, как об экс-либералах, чье вольнодумство проходило с годами. Молодой Джеймс Лоуэлл мог понять французских рабочих 48 года: это был бунтарь, сатирик, певец Прометей. А потом — неусыпный страж традиций утонченности. Наступил, говорит критик, «серенький период профессорства».

В этих словах не чувствуется пиетета перед академической наукой. А ведь и сам Паррингтон преподавал долгие годы: он был профессором Вашингтонского университета в Сиэттле. Но его годы преподавания были наполнены бодрой работой мысли. Он исследует трехсотлетнюю борьбу идей, продолжая дело популистов. И — критически пересматривая их заблуждения.

Демократы, сражавшиеся с банками, думали опереться на конституцию. Но передо-

вые ученые (первым среди них был друг Паррингтона, Дж. Аллен Смит) показали, что она не может считаться демократической. «Отцы-основатели» меньше всего пеклись о воле большинства. И Паррингтон руководствуется этим, освещая полемику в конце XVIII века. В очерке об Александре Гамильтоне, прославленном официальной историографией, сказано вызывающе прямо: «Он выступал за экономику бизнеса».

Популисты сражались вслепую: буржуазный строй остался для них загадкой. Паррингтон всерьез занялся политэкономией. Позднейшим литературоведам было порой непонятно, почему он с таким увлечением разбирает доводы критиков и защитников капитализма, словно забыв об эстетике. Но объяснялось это просто: Паррингтона волновала судьба демократии; он отлично понимал, что развитие капитализма сделало старый идеал Джефферсона утопическим. Но он верил вместе с Уитменом, что демократия — впереди.

Исследователь читал Маркса и принял некоторые его важные выводы. Он неизменно отзывался о марксизме как о великом учении — правда, иной раз ставил его создателя то рядом с Бакуниным, то рядом с Прудоном. В третьем томе, оставшемся, к сожалению, незаконченным, Паррингтон пишет о рабочем движении и его влиянии на литературу. Здесь же он дает характеристику себе и своим единомышленникам. Она не лишена иронии и делает честь его интеллектуальной честности.

Теория Маркса «получила широкое распространение и открыла мыслящим американцам истинное значение промышленного переворота». Но эти американцы продолжали «цепляться за свою прежнюю демократическую телеологию, пребывая в убеждении, что экономический детерминизм так или иначе сыграет роль доброй волшебницы для пролетариата и что победоносное шествие промышленного развития в конце концов приведет к социальной справедливости». Конечно, тут оставалось место для либерального прекрасодушия; и Паррингтон, кажется, так и не расстался со своими иллюзиями о Вудро Вильсоне.

У этой книги была интересная судьба. В тридцатые годы на ней воспиталось поколение радикальной интеллигенции. В ту пору на арене были писатели и критики левее Паррингтона; Дос Пассос, например, зло посмеялся над Вудро Вильсоном в романе

«1919». Но трехтомник привлекал боевым демократическим духом и поэзией независимой мысли; в нем находили серьезный и талантливый рассказ об идейных битвах, которые захватывали все области литературы. Поэтому не удивительно, что стояло демократическому движению пойти на убыль — и либеральные критики взялись за пересмотр концепции Паррингтона.

Его справедливо упрекали за главы о романтиках. Но критика была вовсе не эстетической по преимуществу. В ход шли такие аргументы: Паррингтону во всем чудилась борьба; у него была слабость к архитектуре, и он ради симметрии выстраивал писателей друг против друга рядами; он открыл слишком много бунтарей — столько их в Америке не было, и т. п. Точка зрения Паррингтона оказалась для этих критиков чересчур радикальной.

Но их предсказание, что эту книгу заслонят новые исследования, не сбылось. В 1958 году трехтомник был в Америке переиздан. Он остается живой историей, а не музейным экспонатом.

На русском языке книга появилась в тщательном переводе. В. Воронин и В. Тархов стремились передать точность и изящество стиля американского литературоведа. Конечно, в такой обширной работе можно найти и шероховатости. Но бросается в глаза, что перевод выполнен с увлечением и настоящим знанием дела.

В заключение стоит сказать о предисловии Р. Самарина, которым открывается это издание. Он невысокого мнения о литературоведческой методологии Паррингтона — в одном месте она без обиняков названа порочной. Правда, другие американские работы, по словам Р. Самарина, еще хуже.

Я несколько не думаю, что к книге Паррингтона шло бы умильное предисловие. Она писалась давно, и, без сомнения, многое в ней мы можем оценить критически. Но все же странное впечатление производит этот набор снисходительных похвал и запоздалых инвектив. Тем более что инвективы эти слишком часто не по адресу.

Паррингтону не понять американское рабочее движение, пишет критик, даже на ранних этапах. Вот пример: «Хеймаркетская трагедия изображена не столько как трагедия рабочих, загубленных провокацией американской охранки, сколько как драма «честного либерала» Альтегльда». Достаточ-

но заглянуть в именной указатель к книге — увы, там нет имени Альтгелда. Хеймаркетскую трагедию Паррингтон не изобразил никак: просто не успел. Р. Самарин в данном случае порицает его за то, что он мог согрешить.

«Конечно,— читаем мы в предисловии,— Паррингтон не может быть сторонником рабства...» Это звучит загадочно: кто же подозревал его в симпатиях к плантаторам? Но Р. Самарин повторяет на той же странице, что наш автор не стоял на позиции «безоговорочного защитника южных штатов». Как видно, мысль не дает критику покоя, если он опять возвращается к ней: «...Не защищая рабства, Паррингтон постоянно указывал на то, что негры, освободившись от плантаторского ига, попали под иго капиталистической эксплуатации, оказались в условиях, которые, по мнению Паррингтона, были более тяжелыми, чем до победы Севера над Югом».

Что такое? Неужели же американский литературовед исповедует чисто южный взгляд, будто капиталисты-янки принесли неграм больше беды, чем рабство? Если обратиться к самой книге, выяснится, что Паррингтон «постоянно указывал» совсем не на то. Речь у него идет не о черных, а о «белых невольниках» — рабочих Севера. Ученый сочувствует радикалам, которые иронизировали над своими земляками: те проливают слезы над «Хижинкой дяди Тома» и не замечают потогонной системы у себя под боком. Только об этом идет речь в книге.

И наконец последнее обличение. Паррингтон, узнаем мы, «убежденный сторон-

ник буржуазного строя»; при всей критичности некоторых своих замечаний он «идеализирует американское буржуазное общество и в прошлом, и в настоящем». Остаётся поставить рядом с этим слова из очерка Паррингтона об Уитмене: «От его ясного, пронизательного взгляда не могло укрыться, что Америка не достигла еще демократии, более того, что она еще очень далека от демократии и представляет собой довольно дрянное буржуазное капиталистическое общество, насквозь пропитанное ханжеством, двуличием и всяческой подлостью». Хороша идеализация!

Вообще предисловие Р. Самарина основывается на методе дедукции. Паррингтон — либерал, его мировоззрение нам чуждо: из этого вытекает все остальное. По крайней мере должно вытекать. Трудно сказать, что это предисловие сколько-нибудь соответствует принципу историзма.

Это важно отметить и вот почему. Американская литература нашего века богата не только художественными, но и критическими талантами. Передовые писатели с благодарностью говорили о самобытных критиках, общение с которыми много им давало: Драйзер — о Менкене, Шервуд Андерсон — о Ван Вик Бруксе, Хемингуэй — о ныне здравствующем Эдмунде Уилсоне. Все они поддерживали в литературе дух протеста, и советским читателям, без сомнения, будет интересно познакомиться с их лучшими работами. Не лишними будут тут и предисловия, написанные без робости, но и без предвзятости, принципиально и дельно.

М. ЛАНДОР.

★

### Политика и наука

## ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Н. С. Хрущев. О коммунистическом воспитании. Политиздат. М. 1964. 349 стр.

В этот сборник вошли далеко не все высказывания Никиты Сергеевича Хрущева о коммунистическом воспитании, часть выступлений дана в извлечениях, последние по времени речи вообще не успели попасть в сборник. И тем не менее книга дает широкое всестороннее представление о такой значительной сфере деятельности нашей партии, как воспитание советских людей в духе великих идей коммунизма.

Известно, что на нынешнем этапе исторического развития нашей страны — этапе развернутого строительства коммунистического общества — воспитание нового человека является первоочередной задачей. Можно сказать, что это проблема проблем всей нашей идеологической работы. Прямая, непосредственная зависимость успехов в создании материально-технической базы коммунизма от степени сознательности, идейной,

культурной, общеобразовательной подготовки масс подтверждается всей практикой социалистического строительства. А это значит, что идеологическая работа становится все более и более мощным фактором в борьбе за победу коммунизма.

Основа основ коммунистического воспитания людей — марксистско-ленинское учение. Притягательная сила этого учения в том, что, революционное по своему духу, оно является в руках народа, руководимого Коммунистической партией, могучим орудием преобразования мира, учением строго научным, опирающимся на громадный исторический опыт и глубокий анализ действительности. Это и привлекает к нему миллионы людей. В одной из своих речей Н. С. Хрущев приводит волнующие слова из письма американского рабочего Коро Лаки: «Я читал «Коммунистический манифест». И я поверил в идеи коммунизма. Карл Маркс, Энгельс, Ленин предсказали рождение общества справедливости, коммунистического общества. Теперь вы, наши советские братья и сестры, приступаете к строительству этого общества. Я читал вашу Программу, и я всем сердцем с вами. Я знаю, что настанет день, когда солнце коммунизма засияет над всем миром. Это неизбежно, потому что это справедливо».

Все наши успехи в коммунистическом строительстве — свидетельство необоримости воплощенных в жизнь идей марксизма-ленинизма. Реализация, так сказать, овеществление идей — первейший признак их жизненности, но для практики очень важно, чтобы и идеи не окостеневали. Революционная теория — не собрание застывших догм и формул. «Жизнь, — говорит Н. С. Хрущев, — неизмеримо богаче любых формул. Теоретические положения должны уточняться и изменяться с учетом изменений в жизни общества». Наша партия дала замечательные образцы такого подлинно марксистско-ленинского отношения к революционной теории.

Общеизвестна личная инициатива, личное политическое и гражданское мужество Н. С. Хрущева в той борьбе, которую партия и ее Центральный Комитет вели и ведут против культа личности и его последствий. Одним из таких последствий являлось слепое, начетническое отношение к букве теории и пренебрежение к ее духу, смыслу. Во времена Сталина, когда теорию мог развивать только один человек, сам Сталин, каж-

дое его высказывание моментально объявлялось высшей «истиной в последней инстанции», независимо от того, соответствует ли она практике социалистического строительства, реальной жизни. При этом как бы само собой предполагалось, что истина эта вечна и неизменна. Партия решительно отвергла такое в корне чуждое марксизму-ленинизму представление о революционной теории, и немалая заслуга в этом принадлежит Н. С. Хрущеву. В его докладах XX и XXII съездам партии были выдвинуты теоретические положения, определяющие современный уровень марксистско-ленинской науки, программу боевых действий рабочего класса в наше время.

Не показательно ли, что именно эти положения — все без исключения — подвергаются яростным нападкам со стороны догматиков. И не примечательно ли, что, атакуя КПСС, они в первую очередь сосредотачивают огонь против Н. С. Хрущева.

Внимание к процессам, совершающимся в самой действительности, изучение этих процессов — неприменное качество марксиста-ленинца. «Лучшей школой воспитания, самым строгим учителем, — говорит Н. С. Хрущев, — является жизнь, наша советская действительность». И прямо, без обиняков заявляет: «Книжное, оторванное от практики знание коммунистических положений ничего не стоит».

Догматизму в теории сопутствует и полностью соответствует беспредметная политическая трескотня, подменяющая порой конкретную и целеустремленную работу в массах. Ленин был решительным противником такой болтовни, уводящей людей от жизни, от реальных забот и дел. В наши дни открытых приверженцев «красивой», трескучей фразы, пожалуй, не найдешь. Но зато находятся люди, рассуждающие о «чистой» идеологической работе, а еще чаще — просто плохие работники, не умеющие связать слово с делом. «Советские люди, — говорит Н. С. Хрущев, — требуют от наших работников, чтобы у них за словом всегда следовало дело. Если коммунист умеет произносить громкие речи о значении марксизма-ленинизма, но не помогает людям практически претворять это великое учение в жизнь, то грош ему цена, он не завоеует в массах авторитета и доверия». И еще в другом месте: «Если коммунист, секретарь райкома партии только пропагандирует марксизм-ленинизм, повторяет общие призывы о

строительстве коммунизма, а не организует людей на то, чтобы использовать все возможности для увеличения производства мяса, то какая польза от такой работы?»

С этими мыслями о пропаганде дельной, конкретной, не начетнической, а самостоятельной, опирающейся на факты и явления текущей жизни, с этой заботой о действительности, эффективности идеологической работы, которую можно и должно измерять на тех же самых весах, на которых мы взвешиваем хлеб наш насущный, хлопок, мясо, уголь, чугун — словом, все материальные ценности, создаваемые трудом народа, — со всем этим в выступлениях Н. С. Хрущева тесно связаны многочисленные рассуждения о труде, о трудовом воспитании.

«Подготовка человека к трудовой деятельности, — говорил он на XXII съезде партии, — трудовая закалка людей, воспитание любви и уважения к труду как к первой жизненной потребности и составляет суть, сердцевину всей работы по коммунистическому воспитанию».

Вот где ключ к пониманию смысла и цели коммунистического воспитания. Коммунизм — это не царство безделья, а общество, основанное на творческом труде людей, общество тружеников, испытывающих удовольствие от взаимной слаженной работы, общество тружеников-искателей, новаторов. Ростки такого нового отношения к труду Ленин разглядел еще в первом коммунистическом субботнике, который он назвал великим почином. Ныне это коммунистическое отношение к труду свойственно сотням тысяч и миллионам людей. Но в нашем обществе есть и лодыри, тунеядцы, есть люди равнодушные к общему делу, отбывающие службу в пределах положенного. А разве бюрократ или консерватор, формалист или перестраховщик — не представители того же самого старого, «казенного» отношения к работе?

Борьба за нового человека, воспитание в людях новых, коммунистических качеств — процесс сложный и длительный. Невозможно механически переселить людей из капитализма в коммунизм. Ненаучность такого «большого скачка» была бы, пожалуй, очевиднее даже, чем в экономике. Кстати, и провал «народных коммун» в Китае объясняется не одними лишь экономическими причинами, но и тем, что нельзя, минуя исторические этапы развития, не учитывая психологию людей, еще не освободившихся

от многих навыков и привычек прошлого, переселять их даже в примитивно понятый, в сущности своей «уравнительный» коммунизм.

«Воспитание нового человека, — говорит Н. С. Хрущев, — требует больших усилий, разумного подхода. Ведь мы имеем дело с живыми людьми. В человеке все умно, взаимно связано. Но это не такая взаимосвязь, которая существует между частями в машине. Тут дело куда сложнее. Однажды во время строительства Днепрогэса М. Горький видел, как взрывали пороги. Рабочие подложили под скалы взрывчатку, раздался глухой удар, вода забурилась, глыбы порогов осели, и Днепр потек плавно и широко. И Горький заметил: если бы и в человеческом обществе можно было одним таким взрывом снять все пороги, все прошлое, темное, варварское, как это было бы замечательно! Но в переустройстве общества все сложнее и труднее. Без пота, без душевных мук не очистишь человеческое общество от всего того, что мешает счастливой и радостной жизни».

Изменяя условия своей жизни, свое общественное бытие, люди изменяют и самих себя, свое сознание. Это одно из марксистско-ленинских положений, подтвержденных всем ходом истории. И, однако, ошибочно было бы думать, что воспитание может проходить самотеком. Оно немислимо без упорной и повседневной целеустремленной работы партии, всей советской общественности и в первую очередь школы. Наивно было бы думать, например, что простое привлечение человека к труду уже облагородит его, приобщит к сознательным труженикам. Нужно, чтобы человек действительно стал сознательным, а для этого важно, чтобы он развивал не одни профессиональные навыки, но и рос духовно, совершенствовался в нравственном отношении. больше знал. «Труд, — сказал однажды Макаренко, — без идущего рядом образования, политического и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом... Труд, как воспитательное средство, возможен только как часть общественной системы воспитания».

Перечитывая выступления Н. С. Хрущева, видишь, что он постоянно акцентирует внимание на необходимость разностороннего воспитания человека. В докладе о Программе КПСС на XXII съезде партии он опреде-



лил четкий комплекс задач по воспитанию, где утверждение коммунистического воспитания неотделимо от упрочения принципов коммунистической морали, где физическое воспитание соседствует с общекультурным развитием и т. д. Весь арсенал средств идеологической работы должен быть включен в дело. Не случайно поэтому в сборник вошли и выступления Н. С. Хрущева перед писателями, деятелями искусства. Литература и искусство — тонкие и в то же время мощные средства воздействия на душу человека, средства познания и преобразования жизни. И в этих случаях, обращаясь к деятелям искусства и литературы, Н. С. Хрущев вновь и вновь подчеркивает и призывает: ближе к жизни народа, к общенародной борьбе за победу коммунизма! Он напоминает, что свою роль помощников партии писатели, художники, деятели кино и театра смогут выполнить лишь при условии тесной связи с жизнью народа, на путях

правды, изображения народной жизни во всей ее полноте. «Мы решительно и непримиримо выступали и будем выступать против одностороннего, недобросовестного, неправдивого освещения нашей действительности в литературе и искусстве,— говорит он.— Мы против тех, кто выискивает в жизни только отрицательные факты и злорадствует по этому поводу, пытается охаять, очернить наши советские порядки. Мы также и против тех, кто создает сусальные, подслащенные картины, оскорбляющие чувства нашего народа, который не приемлет и не терпит никакой фальши».

Сборник «О коммунистическом воспитании» представляет собой как бы свод основных взглядов партии в вопросах коммунистического воспитания. Он безусловно станет спутником агитаторов и пропагандистов, работников идеологического фронта.

**А. КРЮКОВ.**

★

## НА ПЕРЕДОВОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПОСТУ

**И. М. Майский.** Воспоминания советского посла. В двух книгах. Книга первая — Путешествие в прошлое. 462 стр. Книга вторая — Мир или война? 539 стр. «Наука». М. 1964.

Мемуарная литература — живые страницы далекого или близкого прошлого — переживает в последние годы заметный подъем. Значительным вкладом в нее следует считать воспоминания выдающегося советского дипломата, академика Ивана Михайловича Майского, восьмидесятилетие которого недавно отметила советская научная общественность.

Нашим мемуаристам есть что вспомнить, есть о чем рассказать подрастающим поколениям. Жизнь, проведенная в борьбе, в решении труднейших задач, не только служит украшением самих мемуаристов, но в высшей степени поучительна для всех. Наконец мемуары — история в движении, в лицах, образах и событиях, свидетелем и участником которых был сам автор. Без них не может обойтись ни один историк, ни один исследователь.

«Воспоминания советского посла» (особенно это относится к первой книге) своеобразная «повесть о прожитой жизни», написанная ярким, «объемным» языком.

Жизнь интеллигентной семьи в сибирском захолустье, в далеком Канске Томской гу-

бернии, среди мелочей провинциального быта, обрисована с большим чувством и с присущим автору юмором. Самое интересное тут — показ среды, в которой зарождались бунтарские характеры — молодые сибиряки, вышедшие на дорогу революционной борьбы. Мы пока еще не встречаемся ни с дипломатией, ни с дипломатом. Ничего нет об этом и во второй части этой книги («Эмиграция»), посвященной жизни автора в Германии, Франции и особенно в Англии, где ему пришлось пробыть пять лет в положении политического эмигранта. В этой второй части первой книги читатель найдет массу интереснейших сведений и наблюдений о русской революционной эмиграции в Лондоне. Перед ним пройдет галерея запоминающихся образов, набросанных опытной рукой публициста. М. М. Литвинов, Г. В. Чичерин, Ф. А. Ротштейн, А. М. Коллонтай, Петро Заречный (очень колоритная фигура рядового революционера), Ян Янсон и Ян Берзин, Ф. М. Степняк (жена С. М. Степняка-Кравчинского), П. А. Кропоткин, А. И. Зунделевич, П. В. Карпович и многие другие предстают перед нами, как живые. Немало

ценного рассказано здесь и об английском рабочем движении, о социалистических организациях в Англии и на континенте. Все это свежо, насыщено юмором, острыми наблюдениями и очень помогает понимать многое из того, что происходит и сегодня на британских островах.

Вся вторая книга посвящена работе автора в качестве посла СССР в Англии с октября 1932 года по август 1939 года (И. М. Майский оставался на том же посту до конца 1943 года, но эти четыре года составят отдельную часть его мемуаров, над которыми автор работает).

И. М. Майский попал в Лондон в такое время, когда правящая крайне реакционная верхушка консерваторов поворачивала курс английского государственного корабля в сторону войны, но с тем, однако, чтобы самим остаться (до поры до времени!) вне военного пожара. Назревал новый приступ антисоветской истерии в английской внешней политике. Внешне еще соблюдались некоторые приличия. Но холодную и трудно скрываемую враждебность можно было ощущать в кругах правительства на каждом шагу.

Опытный дипломат, хорошо знавший правящие круги Англии и всю историю их долголетней (и безуспешной!) борьбы против Советского государства, наш новый посол в Лондоне посвятил все усилия благородной цели: стремиться к улучшению советско-английских отношений, использовать все возможности для расширения связей между СССР и Англией, в особенности — торговых.

Это была трудная задача, предстояло ломать «санитарные кордоны» ненависти, развенчать предрассудки и вместе с тем с твердостью показывать верхушке правящего лагеря, что времена интервенции, налетов, ультиматумов прошли безвозвратно и что уже пора приучить себя прислушиваться к тому, что говорит, борясь за мир и нормальные международные отношения, могучая советская социалистическая держава. К этому в правящих кругах Лондона привывали с трудом, да так и не привыкли...

Историческая инерция давила с огромной силой. В Лондоне все еще не могли отречься от представлений о России полувековой давности, как о стране слабой, отсталой, которой можно пренебрегать, с которой можно даже и вовсе не считаться на мировой арене. Надменность, высокомерие было

написано на лицах многих «джентльменов с моноклями», которые в своей заносчивости не заметили, что мир идет вперед и совсем не туда, куда смотрели наследники пальмерстонов и питтов, гладстонов и Дизраэли. Трудно было советскому послу дышать этим воздухом и вести свою линию. Но трудности его не пугали. Обстановка повелевала напрягать силы. Вопрос стоял так: «мир или война».

Посол не может прямо апеллировать к трудящимся страны, где он аккредитован. Но он может апеллировать к здравому смыслу, он может и обязан вести борьбу за стол переговоров, уметь парировать опасные ходы и замыслы против всеобщего мира и его страны. Он должен знать, как оставлены силы в правящем лагере, уметь вовремя заметить перестановку фигур в этом лагере и дать ей правильное истолкование.

Уже первые шаги И. М. Майского на дипломатическом поприще в Лондоне показали, что предстоят трудные сношения с консервативным правительством, «встретившим» нового советского посла таким «приветом», как расторжение торгового соглашения между Англией и СССР. В качестве повода для этого правительство консерваторов использовало дело сотрудников английской фирмы «Метро—Виккерс», которые занимались в СССР диверсионной деятельностью и были отданы под суд. Запахло провокацией, опаснейшими осложнениями. Все это произошло вскоре после прихода Гитлера к власти в Германии и начала разнужданного фашистского террора в третьем рейхе. Своими действиями консерваторы сигнализировали гитлеровской шайке, что та может наверняка рассчитывать на симпатии и содействие Лондона. Здесь и начинается та полоса в политике Англии, которая, развиваясь зигзагообразно, через подъемы и спады, вольно или невольно поощряла фашистский заговор против мира.

Автор дает массу ценных сведений о тех, кто «делал» эту политику, имевшую катастрофические последствия, и о тех, кто был с ней не согласен, боролся против нее. Английский «свет» того времени обрисован в книге великолепно. Тут и «клевденская клика» покровителей гитлеровского режима и ревнителей курса на сговор с ним против СССР, и либералы, и лейбористы, и такие фигуры, стоявшие вне групп, как Черчилль. Но ярче всего автор представил нам лидера

британской реакции, главаря реакционных консерваторов, будущего премьер-министра, ханжу и мракобеса Невилля Чемберлена, которому народы Европы обязаны потоками крови, миллионами могил жертв фашистских изуверов. Эту зловещую фигуру автор мемуаров заклеил с мастерством публициста и гневом борца!

В конечном счете Невиль Чемберлен («провинциальный фабрикант железных кроватей», по саркастическому замечанию Ллойд-Джорджа) потерпел поражение на том раунде борьбы, когда пытался организовать экономическое нападение на СССР. Но от своего курса на изоляцию нашей страны и подготовку «крестового похода» против нее не только не отказался, но искал возможности осуществить его как можно скорее. Чемберлен был упорным, даже тупым человеком, опасным в своей слепой ненависти к Советскому Союзу. Вскоре ему представилась возможность перейти к гораздо более угрожающим авантюрам, чем раньше. Как влиятельнейший член правительства Болдуина, как фактический лидер консерваторов и будущий глава кабинета (на Чемберлена делали ставку самые махровые, стремившиеся форсировать сговор с Гитлером группировки правящего лагеря), он всеми силами содействовал удушению Испанской республики, чтобы на ее развалинах воздвигнуть фундамент «взаимопонимания» с фашистским блоком Берлин—Рим.

В главе «Испанская тетрадь» И. М. Майский рассказал об этой трагедии, постигшей мужественный испанский народ, который «западные демократии» во главе с английскими консерваторами отдали на растерзание фашистским изуверам.

Еще не было доведено до конца удушение испанской свободы, как начался следующий тур агрессии фашистских диктаторов и пособничества им Лондона и Парижа. И снова Невиль Чемберлен на избранном пути. Гитлер захватывает Австрию. Лондон поощрительно молчит. Потом пришел позор Мюнхена и выдача на растерзание еще одной страны — Чехословакии. На ее костях скрепляется «германо-британская и итало-британская дружба». Чемберлен позирует в роли «миротворца», в палате общин ему устраивают овации: он «спас мир»... А через год, ровно через год, Англия уже находилась в состоянии войны с той же «друже-

ственной» гитлеровской Германией, которая была так близка и дорога сердцу британской реакции, мечтавшей о том, что фашистская военная машина, раздавив панскую Польшу, двинется на СССР. За «уничтожение коммунизма» они были готовы простить Гитлеру все.

Перед судом истории Невиль Чемберлен предстает именно как преступник, навлекший несчастье не на отдельное лицо или группу лиц, а на народы Европы и всего мира. Английское правительство Невилля Чемберлена и послушное ему французское правительство Даладье прошли через все ступени предательства интересов народов мира. Мадрид—Вена—Прага—Варшава — таковы черные вехи на пути этого предательства.

Они остались до конца верны своей классово ограниченной, своему узколобому мышлению, остались жалкими пигмеями от политики, глупцами. Они полагали, что в силах направлять ход мировой истории, двигать главными силами ее, повелевать... Трусливые политиканы, они дрожали от каждого рыка фашистского зверя и тешили себя воображаемым зрелищем гибели Советов. Они были маленькими, ничтожными личностями, трусливыми, но злобными — такими, как весь «свет» британской реакции, ибо тот, кто в трагические дни не умеет читать книгу истории, тот ничтожен и жалок.

В те тяжелые годы я некоторое время находился в Лондоне и отчетливо помню свистопляску друзей Гитлера в британской столице. Они считали себя в безопасности. Еще была жива Британская империя, еще были раскинута по всем морям и океанам британские базы и эскадры, еще притекали в Лондон доходы со всего света. Лондонская биржа еще диктовала курсы, лондонские банки устанавливали для большинства мировых рынков учетные ставки. Еще звучала надменность в медлительных речах сановников короны и самоуверенность в консервативной прессе. В Лондоне были уверены, что Англии уж во всяком случае нечего опасаться, что она настолько богата, что сумеет избежать беды и купить себе друзей в случае нужды, как это много раз случалось в прошлом. В Лондоне тогда многие жили иллюзиями прошлого, а это мешало видеть настоящее и понимать будущее.

Запомнились многие детали тогдашней трудной борьбы нашего посольства в Лондоне, постоянная активность и инициативность И. М. Майского. Нас, советских корреспондентов, Иван Михайлович не выпускал из поля своего зрения. Случалось (и не раз), он рассылал нас с заданиями по разным учреждениям и лицам — порасспросить, разузнать, проверить полученную информацию. А потом мы, как птицы, привыкшие к своему «дому», слетались в посольство, чтобы поделиться с послом добытыми сведениями. Иногда это были лишь намеки, отдельные штрихи — несколько слов, но посол все выслушивал внимательно и тут же пояснял, в чем важность и значение той или иной даже мелкой нашей «добычи». В свою очередь он информировал нас о развитии ситуации, о настроениях в правящих сферах Лондона, о возможных последствиях гибельной политики этих сфер.

В весенние месяцы 1939 года еще теплилась надежда на то, что в Лондоне одумаются. Начинались англо-франко-советские переговоры о пакте взаимопомощи и затем — о военной конвенции. Но скоро выяснилось, что эти переговоры — лишь ширма для маскировки саботажа предложенной Советским Союзом линии на объединение усилий миролюбивых народов с целью пре-

сечения агрессии фашистского блока — если нужно, то и силой! «Кливленцы» не хотели ни пакта, ни конвенции, они лихорадочно ждали «дня икс» — когда Гитлер ринется на Восток.

«Когда я вспоминаю то душное, томительное, предгрозовое лето 1939 г., — пишет И. М. Майский, — все те споры, беседы, встречи, обсуждения, конфликты, компромиссы, в атмосфере которых мне пришлось провести это лето, могу, положа руку на сердце, сказать, что в моей жизни не было более тяжелого периода. Я чувствовал, что мир быстро несется к катастрофе, что нужны усилия гигантов для предупреждения новой мировой войны, а здесь, перед моими глазами, на берегах Темзы и Сены, копошились какие-то карлики, которые не хотели понять и не понимали, что творится на земле, и жили, целиком погрязнув в мелких ходах и контрходах графаретно-дипломатической рутинности».

Картина тех грозных дней памятна многим. Со страниц «Воспоминаний советского посла» она предстает крупным планом, с запоминающимися деталями, характеристиками, портретными зарисовками печально известных «героев», меткими обобщениями.

**И. ЕРМАШЕВ.**

**От редакции.** Эта рецензия закончена автором 28 апреля 1964 года. На другой день И. И. Ермашев скоропостижно скончался. В его лице советская печать потеряла талантливого публициста-международника, находившегося в расцвете творческих сил. «Новый мир», в котором И. И. Ермашев плодотворно сотрудничал на протяжении многих лет, глубоко скорбит об утрате и выражает сердечное соболезнование семье покойного.

★

## НЕТ, НЕ ИСЧЕРПАНА ВОЕННАЯ ТЕМА...

**А. Федоров.** Плата за счастье (Записки летчика-командира). «Молодая гвардия». М. 1963. 284 стр.

«Что ни говорите, а военно-авиационная, да и вообще военная тема в наши дни практически исчерпана. Все, что можно было рассказать о войне, уже рассказано...»

Эти слова я услышал несколько месяцев назад из уст знакомого летчика — человека, кстати сказать, серьезного, вдумчивого. Просто так отмахнуться от высказанной им точки зрения было невозможно.

Да и в самом деле: казалось бы, столько прочитано рассказов, повестей, романов о

военных летчиках. С интересными записками выступили такие замечательные люди нашей авиации, как трижды Герои Советского Союза А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб, маршал авиации С. А. Красовский, боевые летчики и авиационные командиры А. В. Ворожейкин, В. А. Тимофеев, Д. В. Зюзин, А. Л. Кожевников... Что можно добавить к сказанному ими?

Но вот перед нами еще одна книга на ту же самую военно-авиационную тему — записки летчика командира А. Г. Федорова —

и, оказывается, читать ее очень интересно. Она волнует читателя. Волнует и в то же время рассказывает о многом, еще никем не рассказанном, многому учит, на многое, казалось бы, давно известное заставляет взглянуть по-новому.

Автор книги командовал авиационными полками, был заместителем командира, а затем командиром дивизии. Регулярно летал на боевые задания сам. Выполнял не только обычную для пикировщика работу — бомбометание и разведку, но и лидировал группы перегоняемых на фронт самолетов, действовал на бомбардировщике в роли истребителя (бывало в начале войны, по бедности, и такое!), выступал против вражеских бомбардировщиков в качестве «летающего прожектора», даже управлял со своего самолета по радио «летающей торпедой» — начиненным взрывчаткой тяжелым бомбардировщиком ТБ-3... Словом, всего не перечесть.

Сам по себе рассказ о такой разнообразной боевой деятельности был бы уже чрезвычайно интересен.

Но Федоров не просто рассказывает.

Он точно чувствует, как опасно для военного мемуариста сбиться в сторону бесконечных боевых эпизодов, о каждом из которых, конечно, грешно подумать без должного уважения — это ведь кровь и пот наших товарищей по оружию! — но которых мы действительно уже перечитали великое множество.

Автор «Платы за счастье» выбирает из числа запомнившихся ему эпизодов только такие, которые наводят читателя на раздумья — потому что отражают все многообразие и всю сложность работы человека на войне.

Так, невозможно не запомнить описанный Федоровым налет ведомого им 39-го бомбардировочного авиаполка на станцию Чунишино. На этой станции выгружались эшелоны с боевой техникой и живой силой противника, спешно подброшенные вражеским командованием для удара по нашей оказавшейся в окружении танковой группе. Единственная возможность спасти советских танкистов — это немедленно, не теряя ни часа, «на корню» разгромить резервы врага на станции выгрузки. Завтра они рассредоточатся и станут практически неуязвимыми.

Полет большой группы — двадцати семи самолетов — на предельную дальность, поч-

ти до полного израсходования горючего, глубоко в тыл противника, — дело само по себе не простое. А тут еще, по всем штурманским расчетам, для выполнения этого задания, как ни крути, явно «не хватало света» — запаса времени, остававшегося до захода солнца.

И все же полк получает приказ: «Любой ценой...» В переводе на общепонятный язык это означает: нанесите удар, разгромите станцию Чунишино, а там хватит ли у вас горючего, чтобы добраться до дому, сумеете ли вы без специальной тренировки приземлиться в темноте, это уж — как получится...

Перед самым стартом, уже сидя в кабине флагманского самолета, автор записок ловит себя на том, что подсознательно ждет появления из землянки дежурного, который, показав руками «крест», дал бы знать об отмене вылета.

Эта деталь очень точна психологически.

Люди на войне остаются людьми, а не превращаются, как это, увы, следует из некоторых литературных произведений, в металлических роботов. И в случае, о котором идет речь, эмоции командира полка нетрудно понять. Он испытывал такую сильную тревогу не за себя или, во всяком случае, прежде всего не за себя. Умом он понимал: бывают на войне положения, когда ее прозорливую глотку надо заткнуть, поставив на карту жизни многих людей и даже существование целых частей. Но одно дело — частей вообще, и совсем другое — своего, родного, с таким трудом и ценой такой крови выведенного из отстающих в лучшие полка...

И вылет состоялся!

Тридцать девятый полк в плотном строю прошел бредущим — у самой земли — полетом над ровной, заснеженной, безориентирной степью далеко за линию фронта. Прорвался сквозь плотный зенитный огонь к станции Чунишино, разгромил эшелоны врага — и этим спас наших танкистов. Отбил от атак истребителей противника. А затем дотянул, буквально на последних каплях горючего, до своей территории и благополучно приземлился темной ночью на крохотном, совершенно не приспособленном для посадки самолетов такого типа, передовом аэродроме. Недаром в авиации говорят, что когда очень нужно — хороший летчик и на пятках сядет. Оказалось, что 39-й полк целиком состоит из хороших летчиков.

А их командир, так точно и умно проведенный группу через все нагромождение трудностей этого исключительного вылета, вылез после посадки из машины, сел на снег и долго сидел неподвижно — его силы были исчерпаны до конца. И эта откровенно рассказанная читателю подробность говорит больше любых пространных деклараций о том, какой ценой дался полет его участникам...

Умный человек, выступая с литературным произведением, всегда предполагает, что читатель его умен. Наверно, поэтому так точны и далеки от упрощенчества наблюдения автора книги. Наблюдения эти, как правило, порождены событиями войны, но вызванные ими авторские — а значит, и читательские — раздумья выходят далеко за рамки одной лишь военной тематики. Вот Федоров обращается к общеизвестному факту — на вопрос о том, что страшнее всего на войне, большинство военных летчиков единодушно отвечает: «Оказаться под бомбежкой или штурмовкой на земле!» Хотя, казалось бы, риск при этом меньше, чем в воздушном бою или при пробивании зенитного огня.

Федоров дает психологически очень убедительное объяснение столь единодушному, хотя и не подкрепленному статистикой мнению летчиков. Все дело, говорит он, в «огчаанном сознании невооруженности», в «личной беспомощности», которая, оказывается, хуже самой лютой опасности, активно встреченной в воздухе, со штурвалом в руках.

Люди на войне — как настойчиво показывает автор — много и глубоко думают.

Думают о тактических приемах боевой работы и об освоении новой техники, о воспитании подчиненных и о неясных до поры до времени планах начальства, о жизни оставленных в тылу родных и о подробностях собственного, по-военному не устроенного быта. Думают и о многом, казалось бы, никакого отношения к войне не имеющем.

Да, люди — не роботы. И те, кто воевал и командовал особенно удачно, добивались успеха не одним лишь «напором» (хотя, конечно, без него в бою обойтись тоже невозможно), но и всей силой своего живого творческого интеллекта.

Автор записок — ныне кандидат исторических наук — пишет о виденном и пережитом на войне, нигде не «корректируя» истину. Он прекрасно понимает, что правда — даже горькая правда — во всех отношениях (в

том числе и как средство воспитательное) сильнее «нас возвышающего обмана». И, как почти всегда в жизни, правда эта складывается из сложного переплетения многих, далеко не одноцветных обстоятельств.

С нескрываемой горечью говорит Федоров о потерях — неизбежных в боях и в то же время каждый раз по-новому тяжких: «Счастье на войне... ходит в обнимку с печалью и горем». В каждом погибшем он видит не только вырванного из строя бойца, но прежде всего ушедшего из жизни человека. Когда погибает талантливый юноша Г. Хуторов (тот самый Хуторов, который так точно сказал, что «шаблон плох везде. В полете он смертельно опасен»), Федоров с грустью замечает: «Теперь уж никогда не услышишь его мудрых советов, его новых стихов...» Стихи и боевые советы автор книги с глубокой человечностью ставит рядом. В другом месте Федоров характеризует боевого отличного летчика П. Дерюжкина как скромного и ироничного человека. Именно эти свойства он считает «ведущими», в том числе и в бою.

Но совсем иначе, отнюдь не с грустью, а с гневом, возмущением, злостью говорится в книге о потерях, вызванных не жестокими законами войны, а неспособностью или нежеланием людей, коим сие по штату положено, крепко подумать прежде, чем отдавать боевой приказ.

Так рассказывает автор записок о разгроме дивизии самолетов ТБ-3, легкомысленно и без всякой к тому необходимости перебарщиванной на полевые прифронтовые площадки, где их и прикрыть-то с воздуха оказалось невозможно. «То был печальный итог просчета, допущенного командованием», — прямо говорит Федоров.

Иное дело — промах или неудача, вызванные недостатком опыта. Умение воевать приобретает только в бою. Из книжек его не почерпнешь. Все дело только в том, что одни опускают от неудач руки, а другие учатся на них. Федоров приводит блестящий тому пример: знаменитая полбинская «вертушка», ставшая основным приемом боевого применения нашей пикирующей бомбардировочной авиации, родилась из... неудачи. Соединение, которым командовал И. С. Полбин, гретьи сутки безрезультатно бомбило важную цель — железнодорожный мост в тылу противника. А мост стоял себе как ни в чем не бывало! Боевое задание оставалось невыполненным. И только когда

разобрались в причинах неудачи (вот она — мысль на войне!), удалось найти способ, гарантирующий успех. И этот способ был не только найден, но и оказался настолько удачным, что получил повсеместное распространение.

Приведенный пример интересен, мне кажется, прежде всего тем, что в нем отразился общий процесс, происходивший в нашей армии по мере того, как она от тяжелых неудач начала войны шла к Победе: учился воевать каждый воин, училась и вся армия.

Федоров искренне любит и уважает своих товарищей по оружию всех специальностей и рангов. Он находит теплые и, что особенно важно, очень конкретные, хорошо аргументированные слова восхищения блестящей боевой работой каждого из них. И читатель будто собственными глазами видит, как восемнадцать наших истребителей во главе с В. А. Зайцевым выиграли бой с шестьюдесятью пятью самолетами врага, как лихо и

в то же время глубоко продуманно провели трудную разведку пикировщики А. Парфенов и Ф. Ключев, как сбил двух бомбардировщиков противника рядовой пулеметчик аэродромной охраны С. Лидерман, как блестяще летал и бомбил на требующем очень точного пилотирования пикировщике Пе-2 лишившийся ноги летчик Илья Маликов — достойный собрат ставших народными героями Алексея Маресьева и Захара Сорокина.

«Плату за счастье» с интересом и удовольствием прочтет любой читатель: молодой и умудренный годами, военный и гражданский, авиационный и вполне «земной». В подобных книгах каждый находит свое.

Нет, не исчерпана и, наверно, еще долго не будет исчерпана военная тема. Надо только глубоко, правдиво и умно писать о войне — так, как это сделал Алексей Григорьевич Федоров.

М. ГАЛЛАЙ.

★

## ПОЭЗИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Путешествие в группу «А». Сборник. «Знание». М. 1963. 475 стр.

Какие только мысленные путешествия не приходилось совершать читателю: в Центральную Африку и на Северный полюс, в недра земли и в океанские глубины, в космос и в микромир, в царство будущего и в доисторические эпохи. На этот раз читатель рецензируемого сборника отправляется в группу «А», что на языке экономистов означает: в мир тяжелой индустрии.

Только на первый взгляд это путешествие может показаться «скучным». Достаточно любознательному и пытливому человеку начать странствие, как он ощутит всю его увлекательность. Он побывает на переднем крае современной науки и техники, увидит, как много интересного и значительного происходит на площадках нашей индустрии.

Одна за другой перед мысленным взором читателя проходят пять стран тяжелой промышленности — Энергетика, Металлургия. Химия, Топливо, Машиностроение. Нашим гидам — академикам, инженерам, писателям — есть что рассказать и что показать! Десять лет назад мы едва давали треть промышленной продукции США, а сегодня даем две трети. В 1953 году мы ни в одной отрасли экономики не занимали первого места в мире, а сейчас мы первые по углю

и железной руде, по тепловозам и электровазам, по коксу и сборному железобетону. Металлургическая промышленность СССР выплавляла за десятилетие больше чугуна и стали, чем за предыдущее столетие. Добыча нефти за эти годы также превзошла добычу за период с середины прошлого века.

Перед нами — страна Энергетика... Человечество командует исполинскими мощностями, рядом с которыми небесные молнии кажутся игрушечными. Советский Союз — родина самых крупных на земном шаре гидроэлектростанций. Он строит сейчас и тепловые гиганты, равных которым нет в мире. Когда-то В. И. Ленин гордился разработкой плана сооружения в течение пятнадцати лет электростанций мощностью в полтора миллиона киловатт. А теперь только в 1963 году в СССР введены в строй электростанции мощностью более десяти миллионов киловатт. Страна неустанно наращивает энергетические силы. Три триллиона киловатт-часов будет производиться в Советской стране в 1980 году. Три триллиона — океан энергии! Это больше, чем производится сейчас на всем земном шаре.

Профессор Т. Золотарев, видный конструктор Л. Шубенко-Шубин и другие ав-

торы рассказывают об энергетике сегодняшнего и завтрашнего дня, «демонстрируют» турбины-великаны, новые плотины, высоковольтные артерии невиданного напряжения, показывают пульты управления энергетическими комплексами, рисуют пути создания Единой энергетической системы всей страны.

Затем перед нами возникает древняя и вечно молодая страна Металлургия, ее заводы и лаборатории. Как нельзя дважды ступить в одну и ту же реку, так невозможно дважды побывать на одной и той же «Запорожстали»: бесконечная вереница усовершенствований и изобретений непрерывно меняет и течение и облик стальной реки. На примере этого и других заводов мы видим, что развитие советской металлургии, если пользоваться термином инженера Е. Салимова — автора очерка «Знакомые гиганты в новых доспехах», — «идет как бы по раскручивающейся спирали». Ее расширяющиеся витки захватывают и присоединяют к себе все новые области. Здесь и использование совершенно необычных способов добычи металла из самых разнообразных руд, и превращение металлургических гигантов в комплексные комбинаты, применение взрывной и вакуумной техники, радиоактивных изотопов, новых видов сварки и охлаждения...

Мы в стране Большой химии. Авторы-гиды руководствуются словами Н. С. Хрущева: «Показать самым широким кругам советских людей огромные возможности, которые открывает перед нами химия, — долг художников слова, работников кино, газет и журналов». И они развертывают перед нами яркую и многообразную палитру химических чудес. Прочитав очерк В. Мезенцева, мы узнаем, на какие свершения способна химия в сельском хозяйстве, как умножает она плодородие земли. Фосфорные удобрения, например, не только повышают урожайность, но и дают растениям больше жизненных сил, ускоряют их развитие, увеличивают морозоустойчивость. Марганцевые удобрения, широко применяемые на Украине, заметно повышают сахаристость свеклы. При добавке в корм цыплятам кобальта, марганца, меди птицы быстрее увеличивают свой вес. Наука дала в руки человека поистине удивительные средства — ростовые вещества (стимуляторы), с помощью которых можно ускорить рост растений. Разве не чудо, что виноградные ло-

зы, опрысканные гиббереллином, дают двойной урожай и созревают на пятнадцать — двадцать дней раньше? Вполне закономерным выглядит вывод автора о возможности появления через несколько лет на полях новых, огромных форм кукурузы и других культур, выращенных с помощью гиббереллина (производство его в нашей стране уже начато).

А вот еще одно чудодейственное ростовое вещество — НРВ, которое было применено в прошлом году в Молдавии на сотнях тысяч гектаров. Это не только эффективное, но и очень дешевое вещество. Обработка им гектара земли обходится в... доли копейки. Оно применимо и в животноводстве, птицеводстве. На Бакинской птицеферме получение дополнительной тысячи яиц с помощью нового стимулятора обходится в две копейки.

А разве не волшебством выглядит «химическая прополка» — уничтожение сорняков с помощью гербицидов. Безвредные для культурных растений, гербициды беспощадны к сорнякам. За один день с самолета или вертолета можно прополоть триста гектаров посевов.

В сборнике подробно показано, какие блага несет химия сельскому хозяйству, промышленности, быту миллионов людей. При этом авторы не только перечисляют чудеса, на которые способна современная химия, но и вводят нас в «святая святых» сложных химических реакций, посвящают в тайны многоступенчатых формул.

Мы убеждаемся, что некоторые творения ума и рук человеческих превзошли то, что создано природой. Уже имеются десятки искусственных и синтетических волокон с невиданными свойствами. Вережка, свитая из волокна, полученного из дерева, удерживает железнодорожный вагон. Химическая шерсть по качеству превосходит природную, натуральный мех каракульской овцы пасует перед мехом, созданным химиками. При этом одна машина по производству искусственного каракуля может дать в год столько же меха, сколько его получают от пятисот тысяч ягнят.

Много интересного, обогащающего знания встретит читатель и в других «странах» группы «А». При этом авторы показывают не только конечный результат исследования, но и путь к нему, неудачи, ошибки, поиски. Именно так и советовал М. Горький писать о научных свершениях. Науку



и технику, подчеркивал он, надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы. И мы действительно видим не «склад открытий», а неустанные искания, падения и взлеты, нередко — столкновения технических идей. В сборнике рядышком напечатаны два очерка: «Соперник железобетона» (о силикатците) и «Бетон не сдаётся», которые заставляют читателя постигнуть сущность одного из интересных научных споров. Сложные и еще не во всем решенные вопросы, выдвигаемые жизнью, можно понять также из очерка инженера К. Золотарева, рассказывающего о борьбе ученых со старением полимеров. Очерк так и называется — «Борьба продолжается».

Мысленно путешествуя по «странам» группы «А», читатель воочию видит, что наша наука и техника находятся в вечном поиске, непрерывной разведке. На белых полях ватмана кипят упорные бои, терпят поражение и гибнут сотни вариантов, прежде чем рождается вариант-победитель.

Путь открытия и изобретения нередко извилист и разнообразен, «заветный ключик» от научных тайн совсем не стандартен. Как, например, шли советские ученые к крупнейшему успеху — получению синтетических алмазов? Люди веками мечтали о рукотворных алмазах. И вот они совсем недавно были созданы в Советской стране. Об этом с трибуны XXII съезда партии сообщил президент Академии наук СССР М. В. Келдыш. Ключ к решению сложнейшей проблемы ученые нашли, идя, так сказать, от опыта самой природы. В науке было известно, что натуральные алмазы образовались глубоко под землей на расстоянии двухсот — трехсот километров, где давление достигает двухсот тысяч атмосфер, а температура — около трех тысяч градусов. А что, если попытаться на земле создать такие же условия? Создали и получили из графита алмазы, которые по «работоспособности» не уступают знаменитым африканским алмазам — «королям твердости».

Рассказывая о реальных событиях и фактах, авторы органически связывают их с завтрашним днем техники. Повествование ведется как бы на грани достигнутого и перспективного. Даже страницы, кажущиеся на первый взгляд фрагментом из фантастического рассказа, имеют вполне реальную основу. Так, например, инженер В. Жуковский рисует в своем очерке шахту без...

шахтеров. Довольно подробно описано, как человек с помощью разнообразных машин добывает уголь, оставаясь на поверхности. Очерк «Шахтеры покидают забой» пронизан гуманистической идеей: человек рожден, чтобы трудиться при солнечном свете, а не под землей. Вывести человека наверх должны ученые Советского Союза — самой человеческой страны в мире. «Правдоподобна ли такая чудо-шахта?» — спросит читатель. «Очень правдоподобна», — отвечает автор. — Почти все машины, о которых рассказано, находятся в стадии разработки или экспериментальных исследований».

Академик В. Каргин и кандидат технических наук М. Рохлин также рассказывают не только о сегодняшнем использовании полимеров, но и делают бросок в будущее.

Соседство практики сегодняшнего дня с полетом инженерной мысли, содружество крылатой научной мечты со строгой логарифмической линейкой, отсутствие пропасти между фантазией и реальностью — может быть, это и есть самая характерная черта передового края нашей науки. «Полмиллиона киловатт на одном валу, — пишет в своем небольшом, но запоминающемся очерке Герой Социалистического Труда Л. Шубенко-Шубин, — недавно такое казалось фантастикой. Эта фантастика сейчас в рабочих чертежах...»

Переброска электроэнергии на дальние расстояния по волноводам и даже просто по воздуху, перепланировка человеком полноводных рек, скачозные скорости резания металла, САУТ — система автоматического регулирования, — обо всем этом читатель узнает во время путешествия. Он побывает на тропах-главах, которые заманчиво называются «Магия прочности», «Телесцентры под землей», «Вместо паровоза — магнитное поле», «Котлы и небоскребы», «Поток новинок», «Железобетонная арифметика»...

И все эти главы, сливающиеся в единое повествование о нашей тяжелой индустрии, рассказывают о конкретных предприятиях, лабораториях, научных учреждениях. Чудеса, о которых рассказывается в сборнике, происходят не в безмянных пунктах, а в Москве, Киеве, Ленинграде, Калинин, Баку, Сумгаите. Читатель побывает и в цехе нового химического предприятия, и в лаборатории металлургического гиганта, и в диспетчерском пункте Единой энергосистемы, и в знаменитом институте имени Патона — «Мекке сварщиков всего мира».

Все это дает возможность ознакомиться с научными исканиями и достижениями глубоко, конкретно, зримо.

Для книги, раскрывающей сложные процессы современной науки и техники, очень важно не только что в ней описано, но и как. Многие очерки сборника написаны в живой манере, хорошим языком. Когда вы читаете очерк Е. Муслина о металлургии, Р. Бахтамова о нефти или Л. Владимирова об энергетике, вы непринужденно беседуете со знающими, умными, образно мыслящими людьми. Вот, например, в очерке Л. Владимирова речь заходит о такой, казалось бы, скучной материи, как гарантийный срок паровых турбин. Но рассказывается об этом так, что проблема начинает увлекать.

Путешествие читателя по пяти странам тяжелой индустрии составитель сборника Л. В. Жигарев и его редактор С. М. Иванов постарались обставить разнообразными справочными удобствами. Перед началом странствий они устраивают пресс-конференцию и отвечают на вопросы читателя, в пути то и дело дают ему разъясняющие и дополняющие справочные ориентиры, наиболее трудные участки пути сопровождают словариками, а отдельные разделы — вступительными пояснениями. Все это очень уместно в книге о науке и технике, обращенной к массовому читателю.

Мы, однако, не склонны выдавать эту книгу за некий эталон. Читатель легко обнаружит такие недостатки книги, как тематическая пестрота раздела машиностроения, беглость обзора, посвященного гидроэнергетике, жанровый разнобой — рядом с живым повествованием встречается чисто ста-

тейный материал, да и внутри отдельных очерков иногда образная речь перебивается сухими, стандартными фразами... Все это так. Но книга в целом, несомненно, заинтересует вдумчивого читателя, ибо с ним ведут серьезный и вместе с тем приятный разговор о научно-техническом творчестве, ибо путешествие расширяет его представления, открывает завесу над многими техническими проблемами, показывает сущность явлений, о которых он знает «вообще». Книга не опускается до примитивного и даже среднего уровня, а стремится поднять читателя на новую ступень в познании современной техники. Сборник еще раз подтверждает ту истину, что авторами научно-популярных книг должны быть и инженеры, имеющие литературный дар, и литераторы, глубоко знающие ту или иную научную проблему. Коллектив авторов «Путешествия» представляет собой именно такой добротный «сплав».

Подобные путешествия следовало бы совершать почаще и маршруты разрабатывать самые разнообразные. В наши дни, когда наука находится на передовых позициях коммунистического строительства, читатель вправе ждать книг о науке и ее творцах не только от издательства «Наука» и «Знание», но также от издательства «Советский писатель». Как никогда своевременно звучат сегодня слова великого русского критика Виссариона Белинского: «Наука, живая, современная наука, сделалась теперь пестуном искусства, и без нее — немощно вдохновение, бессилён талант!»

Мих. ЦУНЦ.



---

---

# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ИЗ АРХИВОВ МЮНХЕНСКОГО ГЕСТАПО

*Публикация кандидата исторических наук Е. Бродского*

**В** самом начале 1943 года в глубоком гитлеровском тылу советскими людьми была создана большая подпольная патриотическая организация. Она называлась Братское сотрудничество военнопленных (БСВ). «Новый мир» в августовской книжке за 1957 год опубликовал мою статью о первых результатах изучения истории БСВ.

К концу 1943 года, как отмечал впоследствии Вальтер Ульбрихт, деятельность БСВ достигла высшей точки. «Советские офицеры,— писал он,— имели организацию Сопротивления, распространившуюся на всю Южную Германию от Карлсруэ до Вены, к которой примыкало несколько тысяч по-военному организованных и частично вооруженных приверженцев».

Однако мужественные замыслы потерпели неудачу, так как гестаповцам удалось обнаружить БСВ. Следствие по делу Братского сотрудничества военнопленных вел специально созданный отдел тайной полиции, которым руководил начальник мюнхенского гестапо штандартенфюрер СС Освальд Шефер. По его представлению Главное управление имперской безопасности приказало казнить всех основных организаторов и деятелей БСВ. В соответствии с особым указанием из Берлина в феврале и сентябре 1944 года на полигоне концлагеря Дахау были расстреляны две большие группы советских подпольщиков; одновременно в концлагере Аушвиц (Освенцим) были казнены руководительницы женской группы Братского сотрудничества военнопленных. Всех остальных арестованных участников БСВ передали в концлагери Дахау, Освенцим и Маутхаузен, где включили в категорию узников, подлежащих «особому обращению», то есть обреченных на медленную смерть.

Публикуемое ниже секретное донесение Шефера начальнику Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннеру излагает результаты гестаповского следствия по делу БСВ. Как можно судить по содержанию, это донесение было направлено в Берлин не ранее июня 1944 года. Оно в полной мере характеризует методы гестаповского следствия, систему использования провокаторов, подсаженных в лагеря для советских людей, применение «крайних методов допроса» и грубую фальсификацию показаний арестованных подпольщиков. Донесение свидетельствует и о том, что высшие чиновники фашистского рейха, находясь в плену собственной пропаганды, совершенно не понимали природы и духовного мира советского человека: они, например, никак не могли уразуметь, почему красноармеец Петрушель не захотел пассивно ожидать в лагере военнопленных окончания войны, почему, пройдя сквозь огонь киевской обороны, он и в плену добровольно стал в строй активных борцов против фашизма.

Секретное донесение вопреки желанию штандартенфюрера говорит о стойкости благородных советских патриотов и их немецких, чешских и французских друзей, до конца продолжавших героическую борьбу с жестоким врагом

Мне удалось разыскать родных многих из тех, о ком говорится в донесении Освальда Шефера, а также выяснить их довоенные и военные жизненные пути. Но в этом документе фигурирует и немало таких подпольщиков, близкие которых все еще не разысканы.

Многолетняя работа по изучению истории самоотверженной борьбы БСВ позволяет теперь сказать, что многих, очень многих тайн подпольщиков гестаповцам так и не удалось раскрыть. Больше того, им даже не удалось выяснить настоящих имен некоторых деятелей нелегального братства, которые так и погибли, оставаясь неопознанными полицией.

История героической борьбы и трагической гибели отважных советских подпольщиков, а также их немецких и чешских друзей будет неполной, если не сообщить, что те, кто непосредственно повинен в их смерти, и прежде всего начальник мюнхенского гестапо штандартенфюрер СС Освальд Шефер, были оправданы боннскими судебными властями и выпущены на свободу...

Выражаю глубокую признательность дирекции Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ за содействие в получении этого архивного документа. Документ публикуется с некоторыми сокращениями, он снабжен примечаниями, рассказывающими о дальнейшей судьбе участников БСВ и их близких. Все географические названия и фамилии даны так, как они написаны мюнхенскими гестаповцами. Вот его текст.

#### ИЗ СУДЕБНОГО ДЕЛА 10 I 112/44

2 N 189/44

#### I

##### Раскрытие БСВ

4.6.1943 г. за большевистские интриги была арестована, а затем передана в концентрационный лагерь Аушвиц восточная работница Валентина Бондаренко, род. 28.11.1923 г. в Штеровке. У нее было обнаружено письмо, из которого следовало, что среди используемых для работы в империи иностранцев существует тайная организация. Бондаренко заявила, что получила это письмо от неизвестного лица из Берлина, однако более подробных сведений она ни при каких обстоятельствах дать не пожелала<sup>1</sup>.

Поскольку арестованную не удалось склонить к сколько-нибудь правдивому признанию, нужно было иным путем попытаться проникнуть в эту организацию. Прежде всего соответствующие указания были даны агентам, находящимся в каждом из лагерей для иностранцев.

9.11.1943 г. осведомитель, посаженный в VI мюнхенский лагерь для иностранцев, донес, что ему удалось установить контакт с разыскиваемой организацией и что 9.11.1943 г. в Мюнхене на Мариенплац назначена встреча, на которую он приглашен.

Проведенное затем тщательное наблюдение, посадка новых агентов и их сообщения сразу привели к аресту 23.12.1943 г. 24 восточных рабочих, среди которых находи-

лись все активисты и члены БСВ из лагерей для иностранцев на Фюрстенридерштрассе и Гофманштрассе. При этом удалось изъять два пистолета и 200 патронов, которые были закопаны в различных местах.

Проведенные вслед за тем допросы, обыски и очные ставки постепенно привели к аресту 383 человек и окончательному выяснению обстоятельств возникновения и размеров этой тайной организации, которая наверняка приобрела бы в ближайшем будущем опасные для германской империи размеры.

#### II

##### Духовные зачинщики БСВ

Возникновение БСВ связано с деятельностью еврея Иосифа Фельдмана, род. 24.8.1900 г. в Запорожье, который до июня 1941 года был начальником отдела в НКВД...

После начала германо-русской войны Фельдман вступил в Красную Армию, в которой до пленения, происшедшего якобы 7.8.1941 г. близ Умани, служил батальонным комиссаром. Он сумел скрыть свое происхождение и представился немцам украинцем. Учитывая знание Фельдманом немецкого языка, он был назначен переводчиком лагеря военнопленных близ Умани. В соответствии с разработанными планами ему удалось вскоре бежать из лагеря

25.5.1942 г. он якобы получил от уполномоченного Центрального Комитета партии Орлова задание поехать на работу в Германию, для того чтобы создавать там

<sup>1</sup> Валентина Петровна Бондаренко была спасена Советской Армией от гибели в концлагере Освенцим. Теперь она бухгалтер Петровеньковского шахтоуправления в Донбассе.

среди военнопленных и восточных рабочих группы Сопротивления, которые, при извечных условиях, подобно бандитским группам в России и в других занятых Германией странах, должны были с тыла нападать на немецкий фронт.

Имея фальшивые документы, выданные на имя Георгия Фесенко, род. 24.8.1900 г. в Запорожье, Фельдман 1.6.1942 г. в качестве восточного рабочего прибыл в Мюнхен, где он первоначально использовался как переводчик транзитного лагеря восточных рабочих на Шванзеештрассе<sup>1</sup>.

Начиная с ноября 1942 г. в этом лагере содержались русские военнопленные, главным образом высшие офицеры, направлявшиеся затем в различные рабочие команды.

Фельдман остался в лагере на Шванзеештрассе, ставшем лагерем военнопленных, и вновь был использован как переводчик. Он немедленно стал вести среди военнопленных враждебную немцам устную пропаганду. Утверждая, что немцы намереваются расстрелять всех русских военнопленных, он предложил совместно бежать и пробиваться к Красной Армии. Фельдман якобы имел также возможность слушать у одного русского эмигранта московское радио и сообщения его распространял среди военнопленных.

В это же время у него имелась листовка, написанная якобы русским комиссаром иностранных дел... и, видимо, сброшенная над имперской территорией с русского самолета, которую он размножил и распространил в лагере для военнопленных. Пользуясь своим положением переводчика, Фельдман мог установить политическую благонадежность всех находившихся в лагере людей и ему было легко добиться удаления из лагеря тех военнопленных, которые были непригодны или ненадежны для его целей.

Вскоре в лице бывшего майора авиации Карла Озолина, род. 7.11.1902 г. в Риге, он нашел весьма подходящего и деятельного сотрудника для создания гайной организации<sup>2</sup>. Оба составили так называемый «черный список», который должен был быть пе-

<sup>1</sup> Родных или близких Георгия Фесенко (батальонного комиссара Иосифа Фельдмана) разыскать пока не удалось. О его дальнейшей судьбе говорится в заключительной части донесения.

<sup>2</sup> Член партии с 1919 года майор Карл Карлович Озолин 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Он был прославленным летчиком и авиаци-

он переправлен в Москву. В этот список были включены те из военнопленных, которые либо перебежали на сторону немцев, либо добровольно поехали на работу в Германию...

### III

#### Возникновение программы

Находившийся в лагере русский военнопленный Роман Петрушель, род. 9.3.1913 г. в Ташкенте, в прошлом бухгалтер, служивший в Красной Армии якобы простым солдатом, из-за своей близости к младшему лейтенанту Комарову, о котором было известно, что он добровольно перешел на сторону немцев, не внушал доверия военнопленным<sup>1</sup>.

Петрушель обратился поэтому за помощью к знакомому майору Михаилу Конденко, род. 25.5.1906 г. в Богдановке<sup>2</sup>, который, успокоив его, заявил, что можно организовать гораздо лучшую и более сильную организацию, чем та, которую создали Озолин и Фельдман.

Конденко предложил учредить организацию всех военнопленных, которая прежде всего должна работать для достижения следующих целей:

- 1) во время пребывания в плену сохранять в своей среде безусловную дисциплину;
- 2) наносить, где только возможно, ущерб врагу в его стране;
- 3) устранять в своих рядах предателей.

Оба решили именовать создаваемую организацию «Братское сотрудничество военнопленных», сокращенно БСВ.

В первые дни марта 1943 г. Петрушель назначен командиром Тихоокеанского флота. В годы культа личности Сталина его необоснованно репрессировали. Накануне войны майор Озолин был возвращен в ряды военно-морской авиации. 20 августа 1941 года во время штурмовки вражеских колонн, рвавшихся к Перекопу, он был сбит и попал в плен.

<sup>1</sup> Красноармеец Роман Владимирович Петрушель 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Накануне войны он работал бухгалтером-ревизором в Махачкале. В 1941 году в боях за Киев Р. В. Петрушель попал в плен. Его семья живет во Фрунзе.

<sup>2</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, начальник оперативного отделения штаба 109-й стрелковой дивизии коммунист майор Михаил Иванович Конденко находился среди последних защитников Севастополя. На Всеармейской спартакиаде 1938 года он был удостоен звания чемпиона Советской Армии по конному спорту.

составил программу БСВ, воспроизведенную им по памяти.

Спустя несколько дней во время встречи Петрушель с Фельдманом последний подчеркнул, что пленные не должны работать, ибо своим трудом будут наносить удар в спину своему народу.

Петрушель показал свой проект программы Фельдману, который потребовал дополнения ее следующими пунктами:

- 1) пропаганда Советского Союза в Германии;
- 2) требование саботажа в военном производстве и в экономике;
- 3) разложение германских вооруженных сил;
- 4) проведение совместно с немецкими коммунистами революции в Германии и
- 5) борьба против генерала-предателя Власова и его сообщников.

Кроме того, программа должна была содержать такие подстрекательские лозунги, как «Долой Гитлера!», «На борьбу с фашизмом!» и т. д. Петрушель подготовил другой проект программы, в который Фельдман внес изменения, реконструировавшие ее содержание.

В этот проект Конденко внес новые изменения. По его предложению в программу были включены пять различных комитетов и представителями этих комитетов названы вымышленные лица.

Согласно этому проекту программы Объединенный совет БСВ должен был состоять из следующих представителей:

- 1) от польского комитета БСВ — Ханценовский,
- 2) от французского комитета БСВ — Марале,
- 3) от югославского комитета БСВ — Проткович,
- 4) от английского комитета БСВ — Антекао,
- 5) от комитета БСВ Советского Союза — Федотов, Днепрец.

Фамилии Ханценовский, Марале, Проткович и Антекао вымышлены, в то время как Федотов была кличка Петрушеля, а Днепрец — Конденко. Для русского комитета были выбраны две фамилии, причем одна из них — часто встречающаяся в Великобритании, а другая — распространенная на Украине.

Фамилия Днепрец была рассчитана на украинцев и должна была призывать их к сотрудничеству.

Возникшую таким образом программу Конденко обсудил с некоторыми русскими офицерами, которые внесли в нее незначительные изменения...

Важнейшими пунктами этой программы были следующие:

- 1) организация и вооружение всех находящихся в Германии военнопленных и иностранных рабочих,
- 2) насильственное свержение национал-социалистского правительства,
- 3) оказание помощи Красной Армии, а также английской и американской армиям вторжения в случае вступления одной из них в Германию,
- 4) осуществление всех видов саботажа на предприятиях военной промышленности,
- 5) передача военной информации любого характера.

Для того, чтобы придать программе большую убедительную силу и при возможном обнаружении ее ввести в заблуждение немецкие органы власти, в программе было указано, что 9.3.1943 г. в Берлине состоялась конференция Совета БСВ, утвердившая ее. В действительности же дата была выбрана произвольно, хотя, возможно, в этот день было совещание Конденко с Петрушелем. Далее, путем указания места конференции добровольческая армия генерала Власова, люди которой рассматривались основателями БСВ и будущими его членами как предатели, должна была быть заподозрена как зародыш тайной организации.

По приказанию Конденко Петрушель совместно с военнопленным красноармейцем Иваном Кононенко, род. 1.1.1920 г. в Красноселье<sup>1</sup>, и известным Петрушелю своей враждой к немцам, изготовил пять копий программы. Три экземпляра их получил Конденко, а Фельдман и Кононенко — по одному экземпляру. Оригинал с одной ранее снятой копией остался у Петрушеля. Конденко условился с Петрушелем об организации передачи программы в различные лагеря военнопленных других национальностей, чтобы перевести ее на английский, французский, польский и югославский языки и распространить там.

<sup>1</sup> Киевский комсомолец красноармеец Иван Евменович Кононенко 13 августа 1944 года бежал из концлагеря Дахау, двадцать пять дней находился «на воле». 8 сентября был снова арестован, доставлен в Дахау и согласно особому распоряжению Главного управления имперской безопасности в тот же день расстрелян.

Таким образом они хотели, чтобы и среди этих военнопленных была создана организация, руководствующая указанной программой. По требованию Конденко каждый военнопленный в случае перевода в другой лагерь должен был пытаться взять с собой программу, чтобы в новом лагере можно было создать организацию.

Спустя несколько дней по инициативе Конденко программа была распространена среди большинства офицеров упомянутого лагеря и многими переписана. Таким образом в кратчайшее время почти все офицеры лагеря имели текст программы.

Это показалось Конденко слишком опасным. Он предложил распространить слух, что в лагере в ближайшее время будет произведен обыск и что поэтому все тексты программы БСВ нужно уничтожить.

Из боязни раскрытия организации он якобы отошел от всякой деятельности в БСВ, имея в виду особенно то, что не все военнопленные последовали его желанию уничтожить текст программы.

#### IV

##### Первичная ячейка БСВ в лагере военнопленных на Шванзеештрассе в Мюнхене

После прекращения организаторской деятельности Конденко руководство создаваемым в соответствии с программой БСВ приняли Озолин и Фельдман.

По инициативе Фельдмана они якобы создали в середине марта 1943 г. лагерьный комитет, в состав которого первоначально входили следующие военнопленные:

Руководитель — майор Карл Озолин.

1. Член комитета — Иосиф Фельдман.

2. Член комитета — лейтенант Владимир Моисеев, род. 25.12.1915 г. в Бугуруслане<sup>1</sup>.

3. Член комитета — капитан Михаил Зингер, род. 22.1896 г. в Сталинграде<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, лейтенант артиллерист 25-й Чапаевской дивизии Владимир Моисеев в действительности был студентом третьего курса Одесского кредитно-экономического института комсомольцем Борисом Львовичем Гройсманом. Его родные живут в Одессе. В плену Б. Л. Гройсман принял имя и фамилию друга — флотского политработника артиллериста Владимира Моисеева, павшего в борьбе за Севастополь в последние дни его обороны.

<sup>2</sup> Коммунист Михаил Ильич Зингер 4 сентября 1944 года был расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Он участвовал в обороне

4. Член комитета — капитан Георгий Старовойтов, род. 27.3.1906 г. в Орше<sup>1</sup>.

Задача лагерного комитета состояла прежде всего в отыскании соответствующих людей и назначении их уполномоченными бараков, а также в наблюдении за их организаторской деятельностью.

По заданию лагерного комитета и при его поддержке до 18. 5. 1943 г. из плена бежало по меньшей мере 5 русских офицеров, получивших категорический приказ вести среди находящихся в Германии гражданских рабочих всех наций большевистскую пропаганду в духе программы БСВ. Все так называемые уполномоченные бараков были отобраны лагерным комитетом БСВ главным образом из тех офицеров, которые по предложению Фельдмана были уже назначены немецкой лагерной администрацией старшими бараков или барачными полицейскими.

Нет нужды в доказательстве, что на эти должности Фельдман предложил назначить только таких военнопленных, которые были ему известны как убежденные коммунисты и ненавистники немцев, которые искусно покрывали единомышленников и плохо обращались с теми, кто хорошо работал.

Уполномоченными бараков были назначены:

1. Для барака 6 — ефрейтор Иван Мишаков, более подробных данных нет<sup>2</sup>.

2. Для барака 7 — подполковник Мусагит Хайрутдинов, род. 26.3.1901 г. в Трукмен<sup>3</sup>.

Одессы и был среди последних защитников Севастополя. Жена капитана Зингера, Софья Львовна Зингер, живет в Одессе.

<sup>1</sup> Военврач II ранга Георгий Яковлевич Старовойтов 4 сентября 1944 года был расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Весной 1942 года он участвовал в тяжелых боях на Керченском полуострове и попал там в плен. Его жена Вера Игнатьевна Старовойтова живет в Ленинграде.

<sup>2</sup> Родные ефрейтора Ивана Мишакова еще не разысканы.

<sup>3</sup> Коммунист ленинского призыва полковник Мусагит Хайрутдинович Хайрутдинов 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Он попал в плен в 1942 году на Дону, командуя стрелковым полком. Три брата полковника погибли на фронте. Сам он, ветеран Советской Армии, многие годы служил на Дальнем Востоке и участвовал в боях у озера Хасан. Татарский поэт Самат Шакир опубликовал недавно в журнале Союза писателей Татарии волнующие стихи Хайрутдинова, написанные им на фронте.

3. Для барака 8 — подполковник Николай Баранов, род. 27.4.1901 г. в Щелково<sup>1</sup>.

4. Для барака 9 — капитан Михаил Зингер.

5. Для барака 10 — подполковник Михаил Шихерт, род. 25.7.1905 г. в Черкассах<sup>2</sup>.

Представителями уполномоченных барачков были, как правило, барачные полицейские. Все уполномоченные барачков получили от Озолина задание вовлечь в организацию всех подходящих для этого военнопленных их барачков и организовать переписывание программы БСВ и воззвания комиссара иностранных дел в таких размерах, чтобы каждый член БСВ имел копию обоих документов. Все уполномоченные выполнили задание Озолина и направляли ему списки завербованных в БСВ лиц. В то время, как уполномоченные барачков вербовали членов организации и вовлеченных в нее людей готовили к выполнению ближайших задач, Озолин по инициативе Фельдмана начал сбор военной информации...

В конце марта или в начале апреля 1943 г. Фельдман сообщил Озолину, что в ближайшее время можно рассчитывать на возмущение гражданского населения Мюнхена, так как большая часть его очень недовольна плохим продовольственным снабжением и террористическими налетами. Оба пришли к выводу, что это возмущение нужно будет поддержать действиями их тайной организации. С этой целью Озолин разработал план и схему наиболее целесо-

образных действий военнопленных их лагеря. По плану Озолина он, как лагерный писарь, должен был воспользоваться своим правом свободного передвижения внутри лагеря. В соответствии с этим планом уполномоченный 10-го барака подполковник Шихерт должен был со своими людьми напасть на зенитную батарею, расположенную вблизи лагеря, и, захватив орудия и другое оружие зенитчиков, уничтожить прислугу батареи. Уполномоченный 9-го барака капитан Зингер должен был напасть на лагерную охрану и разоружить ее; в то же время находившийся в 10-м бараке лейтенант Владимир Моисеев должен был немедленно отпереть 6, 7 и 8-й бараки. Русские военнопленные, занятые на работах по ликвидации последствий террористических налетов на Мюнхен, в соответствии с заданием Озолина... раздобыли по меньшей мере десять пистолетов, принесли их с собой в лагерь и распределили среди особо доверенных людей.

Этим оружием, а также оружием, захваченным во время нападения на лагерную охрану и зенитную батарею, военнопленные должны были вооружиться и оказать поддержку революционному населению Мюнхена. Фельдман сообщил Озолину, что он имеет связь с тайной организацией восточных рабочих в Мюнхене и что эта организация точно так же будет содействовать вооруженному восстанию. По предложению Фельдмана после подавления лагерной охраны и захвата позиций зенитной обороны Озолин и Шихерт должны были с вооружившимися к этому времени военнопленными вырваться из лагеря в город и захватить важнейшие здания, и прежде всего здание главного телеграфа и главной почты; в то же время Зингер со своими людьми должен был двинуться в Аллах, чтобы соединиться и совместно действовать с находившимися там и тоже восставшими русскими военнопленными.

С помощью содержащихся там русских военнопленных и восточных рабочих, которые также были организованы и соответствующим образом подготовлены, Фельдман хотел вооружить людей, не имевших еще оружия.

Время выступления Фельдман должен был согласовать с руководителями сильной нелегальной коммунистической группы в Мюнхене. 20.4.1943 г. Фельдман якобы с волнением сообщил Озолину, что надеяться

<sup>1</sup> Дочь расстрелянного 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау члена партии с 1920 года подполковника Николая Андреевича Баранова, Светлана Баранова 27 октября 1958 года писала мне: «Я, конечно, не смогу описать, какое впечатление на меня, мать и всех моих родных произвела статья в «Новом мире»... Мне был год, когда началась война, и мы эвакуировались из Севастополя. Об отце мне часто рассказывала мать, и я узнала, что он был добрый, отзывчивый, требовательный к себе и к окружающим человек...»

<sup>2</sup> Начальник штаба артиллерии 25-й Чапаевской дивизии коммунист подполковник Михаил Петрович Шихерт 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Он был среди защитников обоих черноморских городов-героев. Об участии подполковника Шихерта в последних боях за Севастополь писал в своей книге «Севастопольцы», вышедшей в 1942 году, писатель А. М. Хамадан, сам погибший в оборонительном сражении за черноморскую твердыню.



на предполагавшееся восстание больше нечего, так как главные руководители немецкой коммунистической группы арестованы и частично казнены<sup>1</sup>.

В начале апреля 1943 г. Озолин по просьбе Фельдмана начертил схему аэродромных сооружений в Мюнхене, обозначив при этом взлетную дорожку, ангары, мастерские, склады оружия и авиабомб, равно как и близлежащие постройки (жилые бараки рабочих и военнопленных). Эту схему Озолин передал Фельдману.

Фельдман якобы... переправил сведения военного характера вместе с вычерченной им схемой, а также планом Мюнхена с обозначенными на нем замаскированными объектами через одну русскую эмигрантку за границу. Точных данных об этом получить, однако, не удалось, так как, несмотря на неоднократные и жесточайшие допросы, Фельдман никаких показаний не дал.

## V

### Незаконная деятельность Петрушеля, распространение БСВ в Шлейсгейме, Баден-Вюртемберге и в Остмарке

1.5.1943 г. Петрушель передал через проволочную ограду лагеря военнопленных на Шванзеештрассе восточной работнице Марии Кузькиной, род. 15.1.1923 г. в Краснодоне, ранее часто приходившей к лагерной ограде и тайно обменивавшейся с Петрушелем письмами, программу БСВ<sup>2</sup>.

В приложенной к программе записке он призывал Кузькину действовать совместно с другими восточными рабочими в духе программы. Кузькина тотчас же поговорила с сопровождавшими ее восточными рабочими Иваном Пантелеевым, род. 22.8.1920 г. в Татаровке, и Александром Тюриным, род.

1.6.1925 г. в пос. Шахты 16/17<sup>1</sup>, которые немедленно выразили свою готовность к сотрудничеству, о чем в тот же день она сообщила Петрушело. Через несколько дней во время маскировочных работ в Ботаническом саду Петрушель познакомился с восточным рабочим и бывшим капитаном Красной Армии Константином Яровым, род. 18.5.1910 г. во Владимире<sup>2</sup>. Петрушель сообщил Ярову о существовании среди военнопленных тайной организации и потребовал создания боепособной организации также и среди восточных рабочих. Яров должен был выяснить у Кузькиной, насколько уже продвинулась вперед организаторская деятельность. Он должен был также получить у Кузькиной программу этой организации. Позже Петрушель передал различные указания организации, основанной Яровым, Кузькиной, Пантелеевым, Тюриным и другими восточными рабочими. Об организаторской деятельности, которая в связи с этим получила дальнейшее развитие, ниже будет сказано подробно.

В июне 1943 г. Петрушель, зачисленный к этому времени в состав вспомогательной прислуги одного из зенитных подразделений, был переведен в Шлейсгейм, близ Мюнхена. В соответствии с указаниями, данными сперва Конденко, а потом Озолиным, Петрушель взял с собой в Шлейсгейм программу БСВ, а также копии изданных к тому времени инструкций и немедленно приступил там к созданию организации. Сперва он завербовал бывшего сержанта санитарной службы, военнопленного Сергея Селиверстова, род. 8.10.1919 г. в Воронино<sup>3</sup>, а затем Михаила Стреленго (конспиративная кличка Архитекторов), являвшегося якобы восточным рабочим, которым он дал для ознакомления привезенную с собой программу БСВ. Стреленый до сих пор не разыскан. Одновременно Петрушель якобы установил связь с лагерным переводчиком

<sup>1</sup> 24 апреля 1943 года шведская газета «Нюа даглигт аллеханда» сообщила, что в Мюнхене состоялся судебный процесс «17», обвинявшихся в принадлежности к антифашистской подпольной организации. Две женщины и трое мужчин были приговорены к смертной казни, а остальные двенадцать антифашистов — к длительным срокам тюремного заключения.

<sup>2</sup> Дочь коренного донецкого шахтера, комсомолка Мария Ивановна Кузькина в 1942 году была угнана из родного Краснодона на принудительные работы в Мюнхен. В 1944 году она была казнена в концлагере Осенцим. Родные М. И. Кузькиной живут в Краснодоне.

<sup>1</sup> Иван Пантелеев и Александр Тюрин 4 сентября 1944 года расстреляны на полигоне концлагеря Дахау. Их родные еще не разысканы.

<sup>2</sup> Родных капитана Константина Ярова разыскать еще не удалось. О дальнейшей судьбе капитана Ярова говорится в заключительной части донесения.

<sup>3</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, сержант Сергей Яковлевич Селиверстов был сыном рабочего паровозного депо станции Новосокольники и до призыва в армию работал стрелочником на станции Шубино.

по имени Николай. Последний также до сих пор не обнаружен.

В середине сентября 1943 г. Петрушель вместе с другими 40 русскими военнопленными был переведен в 558-й зенитный полк в Карлсруэ. Уже 21.9.1943 г. он прибыл в лазарет в Раштатт по поводу операции слепой кишки. В этом лазарете он находился примерно два месяца. За это время Петрушель сблизился с различными русскими военнопленными и восточными рабочими и, передавая им программу БСВ, вербовал их в организацию. Прежде всего он познакомился с двумя восточными работницами Юлией Яковлевой, род. 23.7.1914 г. в Ростове, и Зоей Масловой, род. 24.4.1921 г. в Курске, которые посещали находившихся в этом лазарете русских военнопленных<sup>1</sup>. Наряду с программой Петрушель передал Яковлевой различные инструкции. Благодаря посредничеству Яковлевой Петрушель через короткое время познакомился с восточным рабочим Леонидом Гиренко, род. 1.1.1913 г. в Харькове<sup>2</sup>. Оба вскоре тесно сдружились, и Петрушель поручил Гиренко создать БСВ среди восточных рабочих в Бадене. С этой целью Петрушель передал Гиренко программу и имевшиеся у него инструкции БСВ.

Дальнейшие указания Гиренко регулярно получал от Петрушеля через Яковлеву и Маслову. В состав местного комитета в Раштатте, образованного Гиренко, кроме него, первоначально вошли также Яковлева и Маслова, которые, однако, вскоре были заменены двумя восточными рабочими, так как Яковлева и Маслова должны были посвятить себя выполнению важных заданий. По нашей просьбе члены этой группы арестованы полицейским управлением Карлсруэ.

В Раштаттском лазарете, среди находившихся там на излечении русских военнопленных, Петрушель развернул очень ин-

тенсивную вербовочную работу в интересах БСВ. Передав программу и различные инструкции БСВ бывшему лейтенанту Вигалию Леонову, род. 23.3.1923 г. в Никиткино<sup>1</sup>, и бывшему красноармейцу и военнопленному Петру Коневу, род. 18.1.1920 г. в Козловке<sup>2</sup>, Петрушель завербовал среди других военнопленных также и двух последних в БСВ. Вскоре после этого в раштаттском лазарете для военнопленных, при содействии наиболее способных лиц из числа завербованных в БСВ, Петрушель создал так называемый штабной комитет, в состав которого вошли следующие офицеры Красной Армии:

1. Лейтенант Виталий Леонов.
2. Лейтенант Григорий Терушкин, род. 16.4.1917 г. в Москве<sup>3</sup>.
3. Старший лейтенант Валентин Деничев, род. 29.1.1919 г. в Краснорудье<sup>4</sup>.

Вследствие большой текучести больных в лазарете Петрушель достиг того, что организация очень быстро распространилась во всех направлениях, что он очень искусно использовал.

Созданная русскими военнопленными указанным путем, организация разгромлена управлением государственной полиции. До 15.5.1944 г. в порядке проведения направляемой отсюда операции по ликвидации БСВ в Бадене арестовано 119 восточных рабочих и русских военнопленных. Из Раштатта или Карлсруэ нити организации протянулись в Гейдельберг, Маннгейм, Эппинген, Виллинген, Баден-Баден, Людвигсбург, Оффенбург, Мальсбах и Вейсенбах, где в большинстве

<sup>1</sup> Родные лейтенанта Виталия Леонова пока не разысканы.

<sup>2</sup> В архивных материалах концлагеря Маутхаузен есть следующая запись: «Конев Петр, род. 18.1.1920 г., уроженец Козловки, слесарь, проживавший в Свердловской области, 1 августа 1944 г. направлен гестапо Инсбрука в Дахау, лагерный номер 111288. 26 ноября 1944 г. переведен в концлагерь Маутхаузен, а 5 декабря 1944 г. в Кварц (Кварц — условное название Мелька — филиал концлагеря Маутхаузен — Е. Б.). Женат, жена Екатерина, урожденная Сидорова». Родных Конева пока разыскать не удалось.

<sup>3</sup> Комсомолец старший лейтенант Григорий Владимирович Терушкин накануне войны был студентом Московского института стали. Как выдающийся снайпер, он принимал участие в международных соревнованиях. В плен старший лейтенант Терушкин попал на Калининском фронте. Его родные живут в Москве.

<sup>4</sup> Родные старшего лейтенанта Валентина Деничева не разысканы.

<sup>1</sup> Комсомолка Зоя Николаевна Маслова до войны жила в Курске, где и теперь проживают ее близкие. Она работала картографической в «Союзоргучете». В июле 1942 года З. Н. Маслова была угнана в Раштатт и определена в лагерь принудительного труда деревообделочного завода. Родных Юлии Яковлевой разыскать еще не удалось.

<sup>2</sup> В архивных материалах концлагеря Маутхаузен имеется следующая запись: «Гиренко Леонид, род. 8.1.1913 г., уроженец Харькова, лагерный номер 79059, казнен 25 сентября 1944 г.». Родных Гиренко Леонида разыскать еще не удалось.

случаев были созданы местные комитеты, уже разгромленные соответствующими управлениями государственной полиции. Есть основания предполагать, что организации БСВ существуют в Рейнско-Майнской области, в Пфальце и в Северном Вюртемберге, так что там можно ожидать дальнейших арестов.

Названный выше военнопленный Петр Конев после выписки из лазарета для военнопленных в Раштатте, где он вступил в связь со многими членами БСВ, был снова направлен в 3-ю батарею 506-го зенитного полка в Карлсруэ. Там он немедленно начал вербовать в БСВ русских военнопленных, используемых в качестве вспомогательной прислуги. Сперва он сблизился с военнопленными:

- 1) Николаем Киричуком, род. 7.5.1918 г. в Феликсовке,
- 2) Василием Аниловым, род. 22.4.1921 г. в Роговатом,
- 3) Иваном Елисеевым, род. 5.5.1918 г. в Рязань-Кораблинском<sup>1</sup>, которых он вовлек в БСВ, ознакомив их с полученными от Петрушеля программой и инструкциями.

Вслед за тем Конев, Киричук, Анилов и Елисеев завербовали в БСВ еще 13 членов. Вскоре Конев был переведен из 1-й батареи, находившейся в Карлсруэ, в 3-ю батарею, расположенную в Дармштадте, вследствие чего руководство организацией перешло к Анилову. В Дармштадте Конев вовлек в организацию бывшего сержанта Ивана Оливерова<sup>2</sup>. Последний с декабря находится в бегах и до сих пор не обнаружен.

7.12.1943 г. 1-я и 3-я батареи 506-го зенитного полка были передислоцированы из Карлсруэ и Дармштадта в Неттерс. близ Инсбрука. Таким образом, завербованные Коневым в Дармштадте члены БСВ опять собрались в Неттерсе. По дороге к новому месту расположения они несколько недель находились в районе Дахау, где Киричук встретился сперва с Коневым, а затем в декабре 1943 г. благодаря содействию Алексея Мурия, род. 18.3.1920 г. в Вогеничи, и якобы являвшегося русским танкистом, с восточным рабочим Константином Моисеенко, род. 22.1.1908 г. в Могилев-Подольске<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Родные Николая Киричука, Василия Анилова и Ивана Елисеева еще не разысканы.

<sup>2</sup> Родных сержанта Ивана Оливерова разыскать еще не удалось.

<sup>3</sup> Родных расстрелянных 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау Алексея

Последний был уполномоченным БСВ в Дахауском лагере восточных рабочих, и о его деятельности, равно как и о его связях с мюнхенской организацией, подробно будет сказано ниже.

В интересах дальнейшего развития БСВ Конев и Киричук поддерживали в последующее время из Инсбрука письменную связь с Моисеенко. 12.2.1944 г. во время ареста Моисеенко у него были изъяты различные письма Конева и Киричука, подписанные подпольными кличками Орлов, Коля. Из этих писем видно, что оба они действовали в интересах БСВ. Инсбрукское управление государственной полиции поставлено в известность о содержании обнаруженных материалов, и ему направлена просьба о проведении необходимых мероприятий. В результате слежки, произведенной на месте, к 29.4.1944 г. там арестовано 80 восточных рабочих и русских военнопленных, вовлеченных Коневым и Киричуком в БСВ, которые призывались 1.5.1944 г. вырваться из лагерей и совершать террористические акты...

## VI

**Неудачная попытка шталага VII А разгромить БСВ в лагере военнопленных на Шванзеештрассе, распространение БСВ в Вильдпольсриде, шталаге VII А и в Бойменгейме**

В мае 1943 г. руководство лагеря военнопленных на Шванзеештрассе получило бесспорную информацию о существовании среди русских военнопленных тайной организации. Далее следует иметь в виду, что запрещенные листовки и прежде всего так называемое письмо комиссара иностранных дел распространялись главным образом среди русских офицеров. 18.5.1943 г. большинство из них, являющихся, как установлено теперь, главными деятелями БСВ, включая Озолина, Моисеева, Зингера, Черноухова<sup>1</sup>,

Мурия (по некоторым сведениям Алексея Мурина) и Константина Васильевича Моисеенко разыскать еще не удалось.

<sup>1</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, коммунист воентехник I ранга Александр Григорьевич Черноухов в 1938 году окончил Московский гидрометеорологический институт и возглавлял затем Феодосийскую метеостанцию. Его жена М. И. Починнок живет и работает теперь в Мелитополе, а дочь Нина окончила недавно физико-математический факультет Днепропетровского университета.

Старовойтова, Петрова<sup>1</sup>, Конденко и Красицкий<sup>2</sup>, были отправлены в шталаг VII А в Моосбурге и все вместе заключены в I-й штрафной барак. Затем они были допрошены работниками лагеря по поводу существования тайной организации и распространения листовок, однако все русские офицеры в соответствии с заранее принятым решением отказались что-либо сообщить о существовании тайной организации. Озолин показал лишь, что все русские офицеры, возвращенные тогда в шталаг VII А, условились говорить, что якобы о распространении листовки комиссара иностранных дел слышали, но сами ее никогда не видели.

Шталаг VII А не считал необходимым сообщить об этой деятельности государственной тайной полиции. Больше того, в конце июня 1943 г. он передал Озолина и большинство вышеперечисленных офицеров в рабочую команду в Дорнахе, что дало им возможность проверить пригодность для БСВ находившихся в ней русских военнопленных.

В Дорнахе Озолин вовлек в БСВ бывшего полковника Михаила Тарасова, род. 20.9.1898 г. в Крынковке, с которым он еще в I-м штрафном бараке шталага VII А говорил об организации<sup>3</sup>. При этом Тарасов якобы сообщил Озолину, что в соответствии с программой он еще в шталаге VII А пытался организовать БСВ и что только за-

ключение в штрафной барак помешало ему продолжить эту работу. Другие переведенные в Дорнах деятели БСВ также успешно вовлекли в организацию новых членов. Еврей Михаил Зингер завербовал бывшего подполковника Дмитрия Шелеста, род. 29.5.1900 г. в Первомайске<sup>1</sup>. От других офицеров последний узнал дополнительные сведения об организации. Завербованный Озолиным в лагере военнопленных на Шванзеештрассе, бывший майор Иван Петров, род. 1.11.1900 г. в Ленинграде, вовлек в БСВ еще в упомянутом лагере бывшего майора Михаила Красицкого, род. 28.3.1892 г. в Великой Глуше; последний в свою очередь вовлек в Дорнахе в БСВ бывшего капитана Никиту Калитенко, род. 28.5.1901 г. в Ново-Петровке<sup>2</sup>.

Уже в начале июля 1943 г. Озолин вместе с 12 русскими военнопленными, в большинстве деятелями БСВ, пытался бежать из Дорнаха. Они намеревались через Швейцарию пробиться в Россию, но вскоре были вновь схвачены и... получили 21 день строгого ареста. Через некоторое время остальные русские, которые, как теперь установлено, являлись деятелями БСВ, были возвращены из рабочей команды 289 в Дорнахе в шталаг VII А и как «нарушающие порядок» элементы вскоре переданы в концентрационный лагерь Дахау в распоряжение Мюнхенского управления государственной полиции. Однако в чем заключалось нарушение ими порядка — указано при этом не было.

6.8.1943 г. Озолин вместе с большинством уже названных бежавших с ним из Дорнаха русских офицеров был направлен в штрафную команду 3370 в Вильдпольсри-

<sup>1</sup> Под именем майора Ивана Петрова (из Ленинграда) скрывался комиссар 243-го полка 181-й стрелковой дивизии Иван Васильевич Бугорчиков. Он расстрелян 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау.

<sup>2</sup> Ветеран Советской Армии, командир стрелкового полка майор Михаил Львович Красицкий 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. Он попал в плен, обороняя дальние подступы к Волге. Жена майора, Мария Ивановна Красицкая, живет в Ленинграде. Бывший адъютант майора Красицкого Ф. Егоров в своей повести «Не склонив головы» нарисовал правдивую картину гибели полка, которым командовал Красицкий. Несколько глав из этой повести с предисловием К. Симонова были опубликованы в пятой книжке «Нового мира» за 1958 год.

<sup>3</sup> Коммуниста полковника Михаила Михайловича Тарасова расстреляли 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Он также был ветераном Советской Армии и являлся депутатом Тбилисского городского Совета. Еще до войны полковник Тарасов был удостоен ордена Красной Звезды. В плен он попал весной 1942 года на Керченском полуострове, командуя артиллерией стрелковой дивизии. Жена Тарасова и три его дочери живут теперь в Тбилиси.

<sup>1</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау подполковник Дмитрий Семенович Шелест двадцать два года своей жизни отдал Советской Армии. В 1936 году он окончил Военно-инженерную академию, служил потом в штабе Черноморского флота, был участником обороны Одессы и Севастополя. В плен он попал вместе с последними защитниками города героя в Крыму.

<sup>2</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, коммунист капитан Никита Артемьевич Калитенко проходил службу в 217-м артиллерийском полку, который накануне войны дислоцировался близ Ковеля. На рассвете 22 июня 1941 года этот полк принял тяжелый бой с превосходящими силами врага. Более двух с половиной месяцев капитан Калитенко участвовал в сражениях и в середине сентября, защищая Чернигов, попал в плен.

де, близ Кемптена. Там содержались почти исключительно такие русские военнопленные, которые уже нанесли вред или в большинстве своем были замешаны в политической деятельности. Среди находившихся в этой рабочей команде людей Озолин нашел весьма пригодных для своих целей лиц. Он постоянно продолжал там высказываться во враждебном немцам духе, а также продолжал свою вербовочную работу в БСВ, вследствие чего ему и другим деятелям организации до момента их ареста удалось завербовать примерно 50 новых членов; все они обнаружены и арестованы.

Имеются основания для предположения, что в шталаге VII А среди русских военнопленных также имелась организация БСВ и что там был организован комитет. Руководителем этого комитета, по-видимому, был капитан Комарницкий или лицо с примерно такой фамилией, которое пока еще не удалось схватить. Последний, должно быть, имел несколько различных подпольных кличек: Комарницкий, Попов, Лебедев. Далее, уже названный выше бывший подполковник Николай Баранов, который в лагере военнопленных на Шванзеештрассе был барачным уполномоченным БСВ, должно быть, играл внутри организации руководящую роль.

О существовании такой организации в шталаге VII А говорит также то, что бывший красноармеец Иван Марченко, род. 25.5.1918 г. в Гомеле, по его показаниям в декабре 1943 г. в лазарете шталага VII А был завербован в БСВ русским военнопленным Николаем Писаенко, который являлся санитаром<sup>1</sup>, более подробных сведений о последнем нет.

В конце декабря 1943 г. Марченко якобы был вновь возвращен в свою рабочую команду в Аугсбурге.

Он бежал в Мюнхен с намерением через Швейцарию возвратиться в Россию, в Красную Армию. Прежде всего он рассчитывал раздобыть себе гражданскую одежду в одном из лагерей восточных рабочих однако спустя два дня в Мюнхене был вновь задержан.

Бывший военный инженер III ранга Николай Умнов, род. 24.4.1912 г. в Оренбурге<sup>2</sup>, в середине февраля 1944 г. с помощью

Баранова установил связь с Комарницким, вовлекшим его в БСВ.

Вместе с другими 200 русскими офицерами Умнов 22.2.1944 г. был переведен в Бойменгейм, район Донаверта, в рабочую команду 3380.

Комарницкому это было известно заранее, и он передал Умнову три листовки, написанные им и Барановым, поручив сообщить их содержание всем русским военнопленным и восточным рабочим, с которыми бы Умнов установил связь. Одна из этих листовок подстрекала против германской армии, так как незадолго до этого при попытке к бегству часовым был застрелен бывший капитан Комаров. Вторая листовка призывала к саботажу, а третья содержала известия с фронта. Затем Умнов получил от Комарницкого задание записать содержание этих листовок в зашифрованном виде в свою записную книжку, чтобы позже, на основании этой записи, подготовить такие же листовки и распространить их. Умнов дословно записал две листовки в свой блокнот и свои записки вместе с листовкой, посвященной расстрелу капитана Комарова, благополучно увез с собой при переводе из шталага VII А в Бойменгейм. Позднее он написал листовки и распространил их. В Бойменгейме он вовлек в БСВ различных восточных рабочих и русских военнопленных. Соответствующее расследование и розыски еще не закончены. Одна из листовок, написанных и распространенных Умновым, датированная 17.3.1944 г., называется «Заветные мечты политических носителей германского фашизма» и подписана «Капитан Климов»...

## VII

### Создание БСВ среди восточных рабочих. Образование Временного совета БСВ. Связь с АНФ

Как уже упоминалось, 1.5.1943 г. Петрушель передал программу БСВ из лагеря военнопленных на Шванзеештрассе Марии Кузькиной... и вскоре после этого поручил бывшему капитану Константину Ярову принять на себя руководство организацией среди восточных рабочих в Мюнхене.

два дня до начала Великой Отечественной войны закончил оружейно-техническое училище и был направлен в Одесский военный округ. С этого момента и до 1957 года его жена Анастасия Никитична Подкопаева ничего не знала о судьбе своего мужа.

<sup>1</sup> Родные Ивана Марченко и Николая Писаенко еще не разысканы.

<sup>2</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау, военный инженер III ранга Николай Иванович Умнов за

Вслед за тем Яров с помощью Петрушеля установил связь с Кузькиной, и она... совместно с несколькими восточными работницами, занятыми на мюнхенской бельевой фабрике фирмы Штауффер, систематически переписывала программу... Вскоре после этого Яров установил связь с бывшим сержантом Алексеем Мартыненко, род. 8.9.1919 г. в Яготине... передав ему один экземпляр программы<sup>1</sup>. Последний был уже к тому времени знаком с бывшим старшим лейтенантом Иваном Корбуковым, род. 1.11.1918 г. в Вигуриной Поляне<sup>2</sup>...

Корбуков был полностью согласен со всеми требованиями программы, немедленно вступил в связь с врачом Василием Винниченко, род. 3.4.1903 г. в Краснодаре, которого он знал как убежденного коммуниста еще по транспорту, доставившему их в Германию, и вовлек последнего в БСВ<sup>3</sup>. Уже в следующее воскресенье в комнате Винниченко в лагере для иностранцев (больница) состоялась совещание, на котором Винниченко... познакомился с Яровым. В это же время Корбуков вовлек в БСВ восточного рабочего Константина Плахотнюка, род. 9.11.1925 г. в Умани, с которым он был знаком еще на родине... Спустя некоторое время Плахотнюк познакомил с Корбуковым своего отца, профессора ботаники Николая Плахотнюка, род. 6.12.1894 г. в Орадковке, который как восточный рабочий использо-

вался в ботаническом саду и имел право свободного местожительства<sup>1</sup>.

После подробного разговора о целях БСВ Николай Плахотнюк обещал, как авторитетное лицо, принять на себя руководящие функции в организации. В начале августа 1943 г. в комнате Николая Плахотнюка состоялась конференция, на которой был создан Временный совет БСВ среди восточных рабочих, состоявший из следующих лиц:

1. Василий Винниченко — первый председатель.
2. Д-р Николай Плахотнюк — первый секретарь.
3. Иван Корбуков — первый член.
4. Константин Плахотнюк — второй член.
5. Алексей Мартыненко — третий член.

Главнейшей задачей этого Совета было вербовать в БСВ людей из различных лагерей для иностранцев, отбирать надежных из завербованных лиц и назначать их уполномоченными, соответствующим образом наблюдать за их деятельностью, давать им инструкции, а также устанавливать связи с иностранными рабочими других наций и с немецкими коммунистами.

Этот комитет, далее, должен был оказывать поддержку тем русским военнопленным, которые намеревались бежать из плена. Их следовало обеспечивать гражданской одеждой, деньгами и продовольственными карточками. По согласованию с Озолиным и Фельдманом 9.7.1943 г. Петрушель направил инструкцию Совету БСВ города Ном (Мюнхен), в которой ясно излагались задачи Совета БСВ. Примерно в средних числах августа 1943 г. в закуской-автомате на Зендлингертерплац в Мюнхене, где постоянно действовал черный рынок иностранцев, Корбуков познакомился с подданным протектората Карлом Мервартом, род. 12.7.1918 г. в Ленинграде<sup>2</sup>. В Мервар-

<sup>1</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау комсомолец сержант Алексей Михайлович Мартыненко до войны работал электротехником на Харьковском тракторном заводе, потом был призван в армию. Осенью 1941 года он попал в плен, бежал из лагеря и в 1942 году как «восточный рабочий» был отправлен на принудительные работы в Мюнхен.

<sup>2</sup> Комсомолец старший лейтенант Иван Семенович Корбуков расстрелян 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Он работал на строительстве гор. Комсомольска, потом поступил в военное училище и по его окончании участвовал в боях на Карельском перешейке зимой 1939—40 года. В плен попал в 1942 году на Северном Кавказе, бежал из плена, попал в облаву и как «восточный рабочий» был угнан в Германию

<sup>3</sup> Коммунист Василий Акимович Винниченко 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. До войны он был известным в Ростове лектором-международником, а после окончания вуза стал научным сотрудником Ростовского института микробиологии. В Ростове и теперь живет его жена и дочери.

<sup>1</sup> Комсомолец Константин Николаевич Плахотнюк и его отец агроном Черкесского Зеленстроя Николай Анисимович Плахотнюк расстреляны 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Константин Николаевич вместе со своим отцом был отправлен из Черкесска в Германию в конце 1942 года. Мать Константина Плахотнюка, Нина Герасимовна Коломийцева, живет теперь в Черкесске.

<sup>2</sup> Карел Сватоплук Мерварт был сыном офицера чешского полка, сражавшегося на стороне России в 1914—1915 годах. 15 января 1945 года Мерварт был казнен в Бранденбургской тюрьме. Совсем недавно я полу-

те Корбуков сразу же нашел подходящего для своих целей человека, так как Мерварт сразу же выразил свое враждебное отношение к немцам. Корбуков смог его очень хорошо использовать еще и потому, что Мерварт, кроме немецкого и чешского, владел также и русским языком.

В ответ на предложение Корбукова Мерварт тотчас же согласился работать в БСВ и в последующее время действительно активно сотрудничал в нем. Он выполнял также функции курьера, совершая поездки в Вену и Прагу. В Вене Мерварт установил связь между нелегальной организацией восточных рабочих и Мюнхеном. Тем не менее до более тесных связей между обеими группами дело не дошло, так как венская группа вскоре после этого была раскрыта. Мерварт совершал поездки, используя фальшивые отпускные документы. Уже в июле 1943 г. восточный рабочий Василий Козлов, род. 20.8.1924 г. в Нусан-ад-Элли<sup>1</sup>, который незадолго до этого был вовлечен Корбуковым в БСВ, познакомил последнего с бухгалтером Эммой Гутцельман, урожденной Голлейс, род. 17.11.1900 г. в Розенгейме<sup>2</sup>. Эмма Гутцельман и Корбуков работали на одном и том же предприятии. Исходя из своих враждебных государству

чил из Праги письмо от брата Карела Мерварта — инженера Мирослава Мерварта, который был арестован гестапо по делу 10.3.112/44 дробь 2.Н.189/44 и освобожден из заключения в результате крушения гитлеровского рейха. Мирослав Мерварт, в частности, пишет: «В конце 1943 г. Карел рассказал мне о своей деятельности в Мюнхене и сказал, что в случае нужды обратится ко мне за помощью, поскольку г. Сушице, где я работал, находился прямо на тогдашней границе Чехии и был окружен лесами Шумава, в которых можно было найти убежища для бежавших из Мюнхена. Но обратиться ко мне за помощью Карел уже не успел, так как его арестовали 15 января 1944 г.».

<sup>1</sup> Василий Васильевич Козлов 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. До угона в Мюнхен он работал в крымском колхозе. Его родители, Анастасия Николаевна и Василий Александрович Козловы, работают в колхозе им. Кирова Урожайновского сельсовета Симферопольского района.

<sup>2</sup> Во время воздушной бомбардировки Мюнхена, воспользовавшись проломом в тюремной стене, Эмма Гутцельман бежала из предварительного заключения. Пять месяцев она находилась на нелегальном положении, укрываясь от полиции; во время новой авиационной бомбежки Мюнхена она погибла.

настроенный, Гутцельман доброжелательно относилась к восточным рабочим. Она постоянно вела с ними недозволенные разговоры. Не удивительно поэтому, что в ответ на пожелание Корбукова она тотчас же пригласила его к себе на квартиру и предоставила ему там возможность слушать московское радио. В конце концов Корбуков еженедельно по два-три раза приходил к Гутцельман и узнавал при этом не только последние новости московской и других радиостанций, но также и то, что не только Эмма Гутцельман, но и ее муж, механик Ганс Гутцельман, род. 29.5.1906 г. в Мюнхене, ведут нелегальную работу против государства<sup>1</sup>. Через Гутцельмана Корбуков установил связь со слесарем Карлом Цимметом, род. 14.4.1895 г. в Регенсбурге<sup>2</sup>. После начала германо-русской войны Циммет написал ряд враждебных государству листовок и передал их для печатания типографу Рупперту Губеру, род. 31.3.1896 г. в Ахольфинге<sup>3</sup>. Уже в это время Циммет намеревался создать нелегальную организацию. Для осуществления этого замысла в январе 1943 г. он установил связь с супругами Гутцельман, познакомившись при этом также со слесарем Георгом Яресом, род. 28.12.1903 г. в Дармштадте<sup>4</sup>.

После того, как позже Циммет познакомился также и с Корбуковым и тем самым установил связь с БСВ, в августе 1943 г. он, в согласии с супругами Гутцельман и Георгом Яресом, решил основать нелегальную организацию, которой они дали название «Антинацистский немецкий народный фронт», сокращенно АНФ. Одновременно они образовали Центральный комитет АНФ, состоящий из следующих лиц:

1. Карл Циммет — первый председатель, руководитель пропаганды.

<sup>1</sup> Ганс Гутцельман 15 января 1945 года казнен в Бранденбургской тюрьме. В Германской Демократической Республике его имя занесено в список выдающихся борцов немецкого антифашистского движения Сопротивления.

<sup>2</sup> Карла Циммета спасла от гибели в Бранденбургской тюрьме Советская Армия.

<sup>3</sup> Рупперт Губер 15 января 1945 года казнен в Бранденбургской тюрьме. В Германской Демократической Республике его имя занесено в список выдающихся борцов немецкого антифашистского движения Сопротивления.

<sup>4</sup> Георг Ярес был замучен во время гестаповского следствия.

2. Ганс Гутцельман — второй председа-  
тель.
3. Георг Ярес — третий председатель.
4. Эмма Гутцельман — кассир.
5. Карл Мерварт — переводчик и связной  
с БСВ.

В последующее время на квартире Гутцельмана или Циммета происходили неоднократные совещания между Цимметом, Яресом и супругами Гутцельман — с одной стороны, и Корбуковым, Мервартом, Винниченко и Николаем Плахотнюком — с другой, относительно строительства обеих нелегальных организаций и необходимой организационной тактики; при этом участники совещаний слушали московское радио, а также передачи других радиостанций. Во время этих совещаний Мерварт не только выполнял обязанности переводчика, но и вдохновлял присутствующих на активные действия. Подготовленные для выдачи членам АНФ членские карточки были введены и в организации БСВ; в последнем случае они были лишь другого цвета. В обеих организациях собирались членские взносы. С помощью членов БСВ Ярес пытался передать содержащимся в концлагере Дахау коммунистам выпущенную приверженцами АНФ листовку, озаглавленную «Дер Веккер» («Будильник». — *Е. Б.*). По поручению Яреса Эмма Гутцельман сделала на этой листовке следующую приписку: «Сентябрь 1943 г. Товарищам Р. и К.! Мы приветствуем Вас как борцов за наше общее дело. Будьте уверены, что наше движение полно жизни, что, как мы в этом убеждены, уже недалеко время, когда победа будет за нами. Недалеко время, когда мы будем вместе продолжать работу, а до той поры крепитесь и будьте осторожны. С революционным приветом!

Антинацистский народный фронт,  
Мюнхенский центр».

Позднее члены АНФ обеспечивали штатской одеждой беглых русских военнопленных... Эмма Гутцельман хранила средства БСВ, полученные в результате сбора членских взносов; она выдала из этих средств Мерварту 200 марок на покупку в Праге пишущей машинки с русским шрифтом. Точно так же она хранила списки членов организации, которые ее брат Голлейс сжег тотчас же после ее ареста<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Людвиг Голлейс погиб от рук гестаповцев.

Лица, которых удалось арестовать в связи с нелегальной деятельностью АНФ, в том числе и Мерварт, 8.3.1944 г. преданы суду. Их дело будет рассматриваться фольксгерихтсгофом...

Особенно недостойно то, что они не только позволяли русским слушать московские радиопередачи, предоставляли русским военнопленным штатскую одежду, но также и готовы были вместе с членами БСВ ударить с тыла по германскому фронту, хотя должны были бы понимать, что в случае успеха их плана они немедленно были бы оттеснены русскими. АНФ, несомненно, в кратчайшие сроки расширил бы свои ряды, если бы его ликвидация не произошла уже в начальной стадии, ибо особенно Циммет, Ярес и Ганс Гутцельман настоятельно стремились вовлечь в организацию новых членов...

Между тем в августе 1943 г. Корбуков созвал во Фреймане конференцию завербованных и назначенных лагерных уполномоченных, на которой выступили он, Винниченко, Николай Плахотнюк и Мерварт. Были обсуждены организационные вопросы, военное и политическое положение и оглашены последние сообщения московского радио. Одновременно выступившие призвали собравшихся теснее сплотиться в работе, особенно в интересах вовлечения новых членов и сохранения конспирации. Кроме того, лагерные уполномоченные получили задание распространить в своих лагерях среди членов БСВ принятые на конференции решения, а также оглашенные новейшие сообщения...

## VIII

### Образование комитета БСВ, боевых групп и Высшего совета

После неоднократных незначительных изменений в составе Временного совета БСВ, основанного в августе 1943 г., в связи с состоявшейся 5.9.1943 г. конференцией в роще близ Фреймана, на которой наряду с вышеназванными лагерными уполномоченными приняли участие и другие восточные рабочие, был образован новый комитет БСВ...<sup>1</sup>

Члены штаба получали от комитета БСВ особые распоряжения для подготовки и проведения актов саботажа, шпионажа и

<sup>1</sup> Далее в донесении говорится о создании при комитете БСВ оперативного штаба.



пропагандистских мероприятий, равно как и задания по установлению связи с немецкими коммунистами Их деятельность особенно направлялась инструкцией от 8.8.1943 г. всем комитетам БСВ...

В октябре 1943 г. при посредничестве Варламова Корбуков познакомился с инженером Иосифом Урбановичем, род. 17.3.1892 г. в Полоцке, который в качестве восточного рабочего был занят на заводе БМВ в Аллахе<sup>1</sup>. Поскольку Корбуков нашел в его лице заслуживающего особого доверия человека и последний проявил большой интерес к делу строительства организации, Корбуков, Винниченко, Николай Плахотнюк, Мерварт, Батовский<sup>2</sup> и Мария Кузькина во время состоявшегося вскоре совещания в пустом бараке, находившемся вблизи барака для иностранцев на Гофманштрассе, поручили Урбановичу принять на себя руководство созданием боевых групп. Предполагалось из особо доверенных членов БСВ создать в различных лагерях для иностранных рабочих боевые группы, которые позже надлежало свести в боеспособную дивизию; в подходящее время ее надеялись использовать как ударную силу против тыла немецкого фронта. Урбанович обещал провести всю необходимую работу. Чтобы располагать для этого достаточным временем, он должен был прекратить свою работу на заводе БМВ и снять комнату в частной квартире. Его обеспечение должно было осуществляться за счет членских взносов... То, что к созданию боевых групп серьезно стремились, видно уже хотя бы из того, что вскоре после упомянутого совещания из вышеуказанного комитета и из числа участников штаба выбыли те члены, которые вследствие недостатка времени... плохо выполняли свои задачи. Вместо комитета БСВ был образован Выс-

ший совет БСВ, который состоял из следующих лиц:

1. Иван Корбуков — руководитель.
2. Николай Плахотнюк — секретарь.
3. Иосиф Урбанович — руководитель боевых групп.
4. Иван Кононенко — начальник архива.
5. Карл Мерварт — переводчик и связной.

По случаю годовщины Октябрьской революции 24.10.1943 г. в указанной выше роще близ Фреймана состоялась следующая конференция (функционеров и членов БСВ). После ее открытия Корбуков<sup>1</sup> Николай прежде всего говорил о значении Октябрьской революции для России и для всего мира. Затем, вовлеченный Шихертом в ряды БСВ, бежавший при помощи Ярова и Корбукова из лагеря военнопленных на Шванзеештрассе в Мюнхене, русский военнопленный Виктор Басков, род. 19.9.1916 г. в Высоково, говорил об организационных делах<sup>2</sup>. Мерварт передал последние сообщения с фронта и из-за рубежа, подчеркнув при этом в особенности, что Красная Армия непрерывно наступает и в ближайшее время ворвется в Германию. Он указал также при этом присутствующим, что необходимо более интенсивно работать в духе БСВ. В заключение говорил Корбуков, который подчеркнул, что все члены БСВ должны сохранять строжайшую тайну по поводу существования организации и в случае возможных арестов ни в коем случае не предавать ее; он предложил расходиться с места конференции мелкими группами и притом незаметно. Примечательно, что во время таких конференций во все стороны выставлялись дозоры, которые при приближении незнакомых лиц давали сигнал, чтобы собравшиеся незаметно расходились.

## IX

### Попытки распространения БСВ среди военнопленных других национальностей и дальнейшие связи с немцами

Уже неоднократно упоминавшийся беглый русский военнопленный Иван Кононенко должен был по указаниям Корбуков-

<sup>1</sup> Расстрелянный 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Яков Дмитриевич Варламов (лагерный номер 61445) до начала войны работал на симферопольском заводе имени Куйбышева и был депутатом Симферопольского горсовета. Родственники Урбановича Иосифа Витольдовича еще не разысканы.

<sup>2</sup> Симферопольский комсомолец рабочий кожзавода имени Дзержинского Савелий Георгиевич Батовский (Александр Ватовский) расстрелян 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Его родные живут в Крыму.

<sup>1</sup> Можно предположить, что речь идет о Н. А. Плахотнюке.

<sup>2</sup> Лейтенант Виктор Александрович Басков 4 сентября 1944 года расстрелян на по-

ва перевести программу БСВ на французский язык, чтобы на основе этой программы можно было бы создать такую же организацию среди французских военнопленных.

В июле или августе 1943 г. Кононенко установил связи с русским эмигрантом и французским военнопленным Вадимом Николаевым, род. 25.4.1907 г. в Краснодаре, который использовался как переводчик и санитар в мюнхенском лазарете для военнопленных на Вестендштрассе. Кононенко сообщил Николаеву о существовании БСВ и передал ему воззвание Объединенного совета БСВ к военнопленным от 9.3.1943 г.; он просил перевести оба документа<sup>1</sup> на французский язык и вербовать в БСВ французских военнопленных. Николаев, однако, перевел на французский язык только воззвание... 7.6.1944 г. Николаев передан военному суду в Моосбурге.

Владимир Моисеев, который был избран вторым членом лагерного комитета в Мюнхенском лагере военнопленных на Шванзеештрассе, оказался включенным в состав рабочей команды, которая была тогда занята на работах вблизи общественной уборной на Штигльмаерплац. Там с ним встретился Фельдман, который попросил его установить связь с одной немецкой гражданкой и попросить ее разрешение слушать у нее московские радиопередачи, поскольку он хотел быть информированным о военном положении, а также хотел полученные сведения сообщать другим русским военнопленным. Во время посещения общественной уборной на Штигльмаерплац Моисеев, который относительно хорошо говорил по-немецки, познакомился с работавшей там уборщицей Марией Баллейс, род. 18.1.1904 г. в Мюнхене; Моисеев сообщил ей, что Красная Армия находится в непрерывном наступлении. Примерно шесть раз Баллейс угощала Моисеева хлебом и кофе, из чего Моисеев сделал вывод, что она является противницей национал-социализма. Он спросил ее затем, имеет ли она радиоприемник и позволит ли, чтобы переводчик из его лагеря слушал у нее радиопередачи. Баллейс ответила согласием, и Моисеев привел к ней Фельдмана, который

потом многократно слушал у Баллейс московские радиопередачи, распространяя затем их содержание в лагере для военнопленных. Баллейс отрицает до сих пор, что разрешала Фельдману слушать в своей квартире иностранные радиопередачи. Она утверждает также, что якобы не давала русским военнопленным продовольствия. Она арестована<sup>1</sup>.

Еврей Фельдман... в квартире одного немецкого коммуниста по имени Роберт неоднократно слушал московские радиопередачи, а также получал сведения о них от восточных работниц, которые работали вместе с Робертом. Роберт в действительности является механиком Робертом Цурлем, род. 27.12.1910 г. в Мюнхене, происходящим из старой коммунистической семьи, работающим в мюнхенской фирме «Штейнхель и сыновья», где в его подчинении находилось несколько восточных работниц. Исходя из производственных соображений, он посчитал для себя целесообразным изучать русский язык и якобы по этой причине в большей степени, чем разрешалось, общался с подчиненными ему восточными работницами. После долгого запирательства он вынужден был признать, что поддерживал тесный контакт с восточной работницей Анной Симкиной, род. 21.3.1912 г.<sup>2</sup> С помощью этой и других восточных работниц он вступил в связь с Фельдманом якобы для того, чтобы совершенствовать свое знание русского языка. В последующее время Цурль по меньшей мере дважды якобы случайно встречался на улице с Фельдманом. Он отрицает, что Фельдман слушал у него московские радиопередачи или посвящал его в свои нелегальные стремления. Очная ставка Цурля с Фельдманом невозможна, так как Фельдман умер еще до ареста Цурля. Распоряжение об аресте Цурля уже дано.

Кастелянша Мария Герман, урожденная Бюхнер, род. 26.3.1890 г. в Глоне, совместно с ее мужем Стефаном Германом уже в январе 1941 г. постоянно слушала радиопередачи из Лондона. Весной 1943 г. она познакомилась с восточной ра-

лигоне концлагеря Дахау. До войны он учительствовал в Солигаличском районе Костромской области. Там и теперь живут его мать Екатерина Александровна и отец Александр Павлович Васковы.

<sup>1</sup> По-видимому, имеется в виду воззвание Объединенного совета БСВ и программа БСВ.

<sup>1</sup> Дальнейшая судьба Марии Баллейс и других упоминаемых ниже мюнхенских антифашистов нам не известна.

<sup>2</sup> Анна Ивановна Симкина (ныне по мужу Пилюгина) была спасена Советской Армией от гибели в Освенциме. Она живет в Ухте: на ее руке и понюхе отчетливо виден освенцимский номер 83046.

ботницей Марией Забродой<sup>1</sup> и систематически передавала ей содержание сообщений английского радио. Последняя в свою очередь передавала эти сообщения русским военнопленным. По заданию Ярова и Корбукова Заброда обеспечила побег Виктора Баскова и Павла Гладкова, род. 21.9.1920 г. в Виннице<sup>2</sup>, которые уже в лагере военнопленных на Шванзеештрассе были завербованы Шихертом и Хайрутдиновым в БСВ; для этой цели она хранила в погребе штатскую одежду, которую получила от Корбукова. После успешного побега Заброда привела обоих военнопленных к Корбукову, который прежде всего дал им деньги и продовольственные карточки, а спустя несколько дней при помощи лагерного уполномоченного лагеря для иностранных рабочих в г. Дахау Константина Моисеенко пристроил в Дахауский лагерь для иностранных рабочих, в который только что прибыл сборный транспорт с рабочими из числа политических. Баскову удалось под фальшивым именем Залигалин устроиться на работу. Спустя некоторое время оба они прибыли к Корбукову, которому сообщили подробности о своем побеге и о том, как устроились на работу. При этом они обсуждали вопрос о том, как в будущем лучше преодолевать возникающие трудности. Затем Басков написал письмо Шихерту, в котором сообщил об успешном побеге через транзитный лагерь для иностранных рабочих, а также о создании БСВ среди восточных рабочих. При этом он подчеркнул, что к руководителю организации действительно относится с доверием. В ответном письме Шихерт сообщил Баскову, что не обрадован успешным побегом<sup>3</sup>. Он просил Баскова в будущем сообщать ему все важное о БСВ, а также другие новости и особенно новости с фронга. При этом он просил Баскова пользоваться своей конспиративной кличкой. В последующем письме Басков сообщал Шихерту, между прочим, о споре, который возник между

Яровым и Корбуковым по поводу руководства организацией. Он призывал к осторожности. В последующее время между Шихертом и Басковым установилась регулярная переписка, при помощи которой оба обменивались важными новостями. Письма Баскова Мария Заброда передавала одному из военнопленных, занятому на внешних работах, который проникал в лагерь для военнопленных и там передавал их Шихерту. Подобным же образом ответные письма передавались Баскову. Позднее Басков сообщил Шихерту, что он и Гладков нуждаются в деньгах и просят организовать для них сбор денег среди военнопленных. Это было сделано... В различных случаях содействовала передаче писем Баскова одному из русских военнопленных также и Герман. Она, кроме этого, передавала русским военнопленным продовольствие. 13.3. 1944 г. Мария Герман арестована и привлечена к ответственности в связи с делом Карла Циммета и других... Ее муж Стефан Герман в последнее время был служащим полиции ПВО и в связи с тем, что он слушал иностранные радиопередачи, был передан полицейскому суду в Мюнхене, который приговорил его к двум годам тюремного заключения.

## Х

### Подпольные клички

Для того, чтобы сделать невозможным или затруднить раскрытие организации полицией, по предложению Корбукова и Винниченко функционеры БСВ среди восточных рабочих должны были пользоваться только установленными подпольными кличками и под этими именами должны были быть известны рядовым членам организации. Установлено, что нижеследующие функционеры БСВ пользовались такими подпольными кличками:

1. Роман Петрушель: Федотов, Мученик, Знаменев, Саша.
2. Иван Кононенко: Николай Костров, Минин.
3. Мусагит Хайрутдинов: Самсон.
4. Мария Кузькина: Чайка.
5. Константин Яров: Захаров, Костриков.
6. Константин Моисеенко: Константинов, Советов.
7. Алексей Мартыненко: Шахов, Май.
8. Иван Корбуков: Кречет, Иван Семенович.

<sup>1</sup> Марию Петровну Заброду спасла от гибели в Освенциме Советская Армия. Теперь она живет в городе Красный Луч.

<sup>2</sup> Техник-интендант II ранга Павел Никитович Гладков 4 сентября 1944 года расстрелян на полигоне концлагеря Дахау. До войны он окончил пехотное училище. Его мать А. С. Гладкова живет в станице Суздальской Краснодарского края.

<sup>3</sup> В тексте, видимо, ошибка. По смыслу должно быть: «обрадован успешным побегом».

9. Савелий Батовский: Буревестник.
10. Алексей Кириленко: Музыкант<sup>1</sup>.
11. Борис Яжемский: Борис Келесов<sup>2</sup>.
12. Симон Перцов: Софийский<sup>3</sup>...

## XI

### Методы вербовки, благоприятные и неблагоприятные предпосылки распространения БСВ. Личность Петрушеля

Вербовка членов БСВ среди русских военнопленных, а также среди восточных рабочих неоднократно осуществлялась под угрозой, что в случае отказа вступить в организацию нежелающие принимать в ней участие будут ликвидированы после наверняка ожидающегося поражения Германии. Если некоторые члены БСВ и действительно были вынуждены в какой-то мере таким образом вступить в организацию, то огромное большинство примкнуло к ней на основании внутреннего убеждения, чтобы тем самым активно содействовать поражению Германии. Это относится прежде всего к тем, кто прежде был членом комсомола или коммунистической партии, или являются евреями или кадровыми офицерами Красной Армии. Из прилагаемого списка в той мере, в какой это удалось установить, видна их прежняя политическая деятельность, а что касается военнослужащих Красной Армии — воинское звание.

В этой связи следует сказать, что в отношении личности Петрушеля существует сомнение и правомерно предположение, что здесь речь идет не о простом солдате Красной Армии или политически необученном партийном человеке.

Еврей Фельдман заявил во время допроса, что первоначально подумал, что Петрушель также был политруком Красной Армии; однако Петрушель это постоянно отрицал. Это показание Фельдмана никто из соучастников

не подтвердил. В действительности Петрушель отличается своими способностями и, по-видимому, очень начитан. Он заявил, что во время своей торговой деятельности в одном из кооперативов постоянно стремился совершенствовать образование. Однако, несмотря на все усилия, не удалось получить данных, что он играл руководящую роль в компартии или в Красной Армии. Не исключено, что Петрушель намеренно выдвигался Фельдманом, Конденко, Озолиным и другими на передний план, чтобы сами они могли остаться в тени.

Относительно быстрое... распространение БСВ в большей степени следует, конечно, объяснить современным военным положением Германии. С другой стороны, преступные действия среди русских военнопленных, возможно, несознательно стимулировались руководством шталага VII А в Моосбурге тем, что подозреваемые в большевистской деятельности русские военнопленные, и в особенности евреи и офицеры, не передавались тайной полиции с сообщением подробностей их действий, как того требует изданное распоряжение верховного командования вермахта, а распределялись по другим лагерям военнопленных или рабочим командам. Лагерное руководство исходило при этом из предположения, что таким образом, возможно, удастся разгромить существующую организацию. Однако ее деятельность таким образом косвенно стимулировалась, ибо после произведенного расследования лица, действовавшие в интересах тайной организации, тотчас же с успехом возобновляли свою деятельность в новом районе. Командир военнопленных в VII военном округе поставлен об этом в известность, и его просили в будущем в подобных случаях передавать подозреваемых военнопленных государственной полиции и сообщать ей подробные данные об их действиях.

Распространению организации способствовало также то, что восточные рабочие вследствие недостаточной охраны неоднократно имели возможность устанавливать связи с русскими военнопленными. Так, например, Мария Кузькина, Константин Яров, Иван Корбуков, Юлия Яковлева, Зоя Маслова и Леонид Гиренко установили связь с Петрушелем, хотя он являлся военнопленным и поэтому содержался в лагерных условиях. Точно так же распространению БСВ среди восточных рабочих способствовало то, что последние взаимно посещали различные ла-

<sup>1</sup> Алексей Кириленко расстрелян 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Родные его еще не разысканы.

<sup>2</sup> Борис Яжемский — в действительности лейтенант Абрам Исаевич Яжемский — накануне войны был студентом исторического факультета Иркутского пединститута. Он расстрелян на полигоне концлагеря Дахау 4 сентября 1944 года. Родные лейтенанта Яжемского живут в Иркутске.

<sup>3</sup> Симон (Семен) Перцов расстрелян 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Его родные пока не разысканы.

гера для иностранных рабочих и имели возможность пользоваться правом почтовой переписки. В будущем представляется особенно целесообразным обратить особое внимание на переводчиков.

Тот факт, что внутри БСВ неоднократно издавался строгий приказ, по которому подлежал ликвидации всякий, кто в случае ареста становился предателем, что почти все функционеры имели клички, а беглые военнопленные или уклонявшиеся от работы восточные рабочие имели фальшивые документы, что многие члены БСВ были членами комсомола или коммунистической партии,—все это с самого начала создало особые трудности для обнаружения организации. Вот почему при большем количестве заключенных и вследствие недостаточных возможностей их охраны не все попытки совершения козней можно предотвратить.

Тем не менее можно с уверенностью предположить, что тайная организация уже почти до основания ликвидирована. Поиски еще не обнаруженных членов БСВ, таких, как Иван Мишаков, Михаил Стреленый, Иван Оливеров, Комарницкий, будут продолжены. Следует упомянуть, что в результате террористического налета на Мюнхен в ночь с 24 на 25 апреля 1944 г. большая часть имевшихся к тому времени протоколов дознания, показаний и конфискованных вещественных доказательств была уничтожена. Поэтому необходимо отдельных обвиняемых допросить снова, что задерживает следствие.

Иосиф Фельдман 8.3.1944 г. умер в лазарете концлагеря Дахау от закупорки вен<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> По данным картотеки концлагеря, Иосиф Фельдман замучен в Дахау не 8, а 10 марта 1944 года.

в то время как Константин Яров уже в ночь ареста 12.1.1944 г. совершил самоубийство, повесившись в своей камере. Из лиц, которые при ликвидации БСВ были арестованы в районе действия мюнхенского полицейского управления, в настоящее время еще находится в заключении:

- а) русских военнопленных — 137,
- б) восточных рабочих — 131,
- в) восточных работниц — 19,

Всего 287 человек.

Арестованные мужчины переданы в концлагерь Дахау, а 17 восточных работниц, которые являлись членами санитарной группы БСВ и активно действовали в интересах организации, направлены в женский концентрационный лагерь Аушвиц.

31 человек из числа восточных рабочих и восточных работниц, против которых были выдвинуты лишь незначительные обвинения, после допроса были освобождены из полицейского заключения и переданы мюнхенскому управлению по использованию рабочей силы.

Обращает на себя внимание то, что очень многие арестованные восточные рабочие имели значительные суммы денег. Можно предположить, что по меньшей мере часть этих денег получена в результате наказуемых действий и прежде всего вследствие черной торговли, а также в результате сбора членских взносов; все эти деньги изъяты у восточных рабочих и переданы в имперскую кассу.

Шефер.

Заверяю: гауптштурмфюрер СС  
(подпись)

Е. Бродский,

*кандидат исторических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ЛЕНИН И КНИГА.** Политиздат. М. 1964. 511 стр. Цена 1 р. 2 к.

В своих воспоминаниях М. Фофанова приводит такие слова В. И. Ленина.

«Знаете, я поинтересовался, что вы читаете, и прочел эту книжку. Там же замечательные мысли! И как интересно, захватывающе она написана! Какое громадное практическое, хозяйственное значение имеют болота! Подумайте, что творится в нашей матушке России. Подумайте, какой огромный процент земли находится под болотами. А ведь они могут стать центрами богатейших торфяных разработок, добычи дешевого топлива и, значит, дать нам дешевое электричество...»

Так Владимир Ильич говорил осенью 1917 года о книге В. Н. Сукачева «Болота». В дни, когда партия большевиков готовилась к вооруженному восстанию, Ленин находил время читать специальную литературу, строить планы будущего развития электрификации страны!

Ленин и книга — как много кроется за этими словами! Ленин был автором гениальных произведений по вопросам политики, экономики, философии; вдумчивым читателем; строгим и взыскательным критиком, доброжелательным к соратникам и беспощадным к врагам; Ленин был и редактором и страстным пропагандистом книги, заботившимся о ее издании и распространении.

В сборнике «Ленин и книга» собраны статьи, письма, документы В. И. Ленина, воспоминания его родных и соратников, письма к В. И. Ленину, а также некоторые декреты и постановления Совнаркома, касающиеся книгоиздательства. Читатели найдут в шести разделах сборника интереснейшие материалы. Ленинские мысли о социальной природе книги, о ее роли в жизни общества, высказывания об отдельных писателях, оценки книг, советы книгоиздателям, забота об издании и распространении книг, указания о работе библиотек — вот далеко не полный перечень вопросов, дающих представление о содержании сборника.

Думается, что сборник бы только выиграл, если бы в него были включены и такие материалы, как ленинские «Тезисы о производственной пропаганде», а также документы В. И. Ленина, связанные с изданием и пропагандой литературы по электрификации России, по торфу и т. п.

**А. Черняк.**

**А. ГИНДИН.** Рядом с Ильичем (О Петре Ананьевиче Красикове). Красноярское книжное издательство. 1963. 36 стр. Цена 4 к.

Седьмой соредaktor ленинской «Искры», приглашенный, по предложению Ленина и Плеханова, в качестве «арбитра» при спорах между членами редакции. Член Организационного Комитета и вице-председатель II съезда партии, того самого, где и родился большевизм как течение политической мысли. Автор первой большевистской книги на эту тему — «Письма к товарищам о Втором съезде РСДРП». Член Петербургского Комитета партии в годы первой русской революции. Член Исполкома Петроградского Совета после Февраля. Редактор журнала «Революция и церковь». Заместитель председателя Верховного Суда СССР... Таков — лишь в самых основных его чертах — революционный «послужной список» Петра Ананьевича Красикова — сверстника Ленина и одного из его ближайших идейных соратников в начале века.

Жизненному пути П. А. Красикова, члена Коммунистической партии с 1892 года, посвящена изданная в Красноярске книга А. М. Гиндина Автор впервые публикует в ней множество биографических и автобиографических документов.

Особенно интересны сделанные П. А. Красиковым в тридцатых годах записи о его красноярских беседах с В. И. Лениным, о встречах с Плехановым в 1892 году в Женеве. Записи эти немаловажны для истории взаимоотношений ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и плехановской группы «Освобождение труда».

— Мы сделали и сделаем все, чтобы привлечь и сберечь для нашего общего дела такой блестящий ум и сделать общим достоянием такую огромную литературную силу, — говорил тогда Ленин о Плеханове.

Приводит автор и принадлежащую Владимиру Ильичу меткую характеристику достоинств и недостатков молодого Красикова. По ленинскому отзыву, он бывал в юности порой «ленив и халатен, но он умен, толков, знает дела, умеет драться...»

Как известно, Сталин расправлялся с ленинскими кадрами не только физически, но и морально. Честный ленинец в Верховном Суде явно мешал сталинским беззакониям. Бросить в тюрьму одного из редакторов ленинской «Искры» и старейших коммунистов Сталин не отважился. Но осенью

1938 года Петра Ананьевича без каких бы то ни было оснований снимают с работы и переводят «в резерв». Это происходит на шестьдесят восьмом году его жизни и на сорок шестом году пребывания в партии. Менее чем через год он скоропостижно умер.

Книга А. М. Гиндина впервые рассказывает еще об одном представителе старой большевистской гвардии.

Б. Яковлев.

★

**ЭЛИЗАБЕТ ГЭРЛИ ФЛИНН.** В Олдерсонской тюрьме. Записки политзаключенной. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1964. 230 стр. Цена 57 к.

Первую свою автобиографическую повесть «Своими словами» председатель Национального комитета Коммунистической партии США Элизабет Флинн закончила накануне того дня, когда она была арестована американской полицией.

Изданной она увидела эту книгу лишь в Олдерсонской тюрьме, где отбывала заключение. А прочитать ее Элизабет Флинн смогла только после освобождения, в 1957 году.

Об этом она рассказала во второй книге воспоминаний, посвященной годам своего тюремного заключения. Теперь эта книга, так же как и первая часть воспоминаний, издана в русском переводе. Элизабет Флинн — «замечательная бунтарка», как назвал ее пролетарский поэт Америки Джо Хилл, — показывает в новой своей книге, что так называемая «образцовая женская тюрьма», где вместе с нею томилась и другие политзаключенные, а также уголовные преступницы, не меньше уродует и калечит человеческие души, не меньше подрывает здоровье, чем все другие — не «образцовые» — американские тюрьмы. Самое страшное заключается в том, что на основе фашистского закона Смита о «контроле над мыслями» угодить в тюрьму за свои убеждения может любой американский гражданин. Именно так и случилось с автором книги и шестнадцатью другими прогрессивными деятелями и руководителями компартии США в 1951 году.

Книга Флинн «В Олдерсонской тюрьме» — это не только воспоминания. Это продолжение неустанной борьбы за права и счастье всех обездоленных в США, за высокие идеалы коммунизма, которой отдана вся жизнь замечательной революционерки. «Мы всегда будем помнить, — пишет она, — как людей там доводили до отчаяния, как их заставляли выносить ничем не оправданные страдания, задыхаться в гнусной атмосфере этого кладбища человеческих душ».

Флинн не просто вскрывает аморальную и антигуманную сущность карательной системы США, но и страстно борется за ее изменение, убедительно доказывая, что ждать реформ от управления тюрем, от федеральных судей не приходится. И мы понимаем, что от автора требовалось немало подлинного мужества, чтобы написать такую книгу и издать ее в Америке, где, как она сама предвидит, будет пущена в

ход клевета, передержки и самая беспардонная ложь, чтобы дискредитировать правду этой книги.

В тюрьме Элизабет Флинн исполнилось 65 лет. В этот день в числе многих ее поздравили известный ирландский писатель Шон О'Кейси. Он писал ей в тюрьму: «Помоему, бессмысленно думать о вас иначе, как об отважной и благородной женщине, которая, подобно большинству художников, поэтов и мыслителей, стремящихся к новым решениям жизненных проблем, неизменно и принципиально считала, что все люди рождаются равными и поэтому должны пользоваться одинаковыми возможностями жить полноценной жизнью».

Новая книга Элизабет Гэрли Флинн еще раз подтвердила справедливость этой характеристики женщины.

Л. Серебрянник.

★

**С. СТЫКАЛИН и И. КРЕМЕНСКАЯ.** Советская сатирическая печать. 1917—1963. М. Госполитиздат. 1963. 483 стр. 1 р. 35 к.

«Смех не только признак силы, но сама — сила... Смех — признак победы...» — с этих слов А. В. Луначарского начинается эта книга, посвященная советскому сатирическому слову, первый и единственный в своем роде справочник, который помогает разобраться в нашем сатирическом «хозяйстве».

Книга построена по алфавитному принципу, так что «Крокодил» непосредственно соседствует с «Красотами штиля» и «Кривым зеркалом». В подобном соседстве расположились без малого триста сатирических изданий. О каждом издании сообщаются самые основные сведения: выходные данные (время издания, количество страниц и вышедших номеров, издающий орган, тираж и т. д.), направление и проблематика, отделы и рубрики, сотрудники — литераторы и художники и т. д.

И все-таки книга по своему значению далеко выходит за рамки понятия «справочник». «Перед нами — широкая и яркая картина становления и развития советской сатирической публицистики со всеми ее достижениями и недостатками, успехами и слабостями, удачами и неудачами», — так совершенно справедливо оценил значение книги Борис Ефимов в предисловии.

Авторы не только рассмотрели сотни сатирических изданий и аннотировали их. Политические карикатуры и обложки изданий, подобранные для иллюстраций, отлично рассказывают о становлении и возмужании Советской республики, о внешних и внутренних проблемах, стоявших перед ней в тот или иной период. Кроме того, эти же иллюстрации показывают развитие советской сатирической графики. Огромный труд авторов зримо предстает перед нами, когда в конце книги мы просматриваем «указатель источников». Оказывается, среди считанных библиографических указателей нет ни одного, посвященного сатирической печати!

Среди многих тщательно выполненных

авторами указателей (именной, географической и т. д.) есть один, который заставляет серьезно задуматься, — это указатель хронологический. Именно здесь явственно предстает перед нами история возникновения и развития советской сатиры. Не лучше ли было бы весь материал располагать не по малообязывающему формальному принципу — алфавитному, а по принципу хронологическому, чтобы все издание, сохраняя ценность справочника, стало бы непосредственным предшественником будущей «Истории советской сатиры»?

Впрочем, и в настоящем своем виде книга станет деятельным помощником ученых, писателей, журналистов, студентов и всех тех, кому дорога наша сатирическая публицистика.

Р. Борисов.

★

**АЛЕКСЕЙ ГЛУХОВ.** Баллада о десанте. Рассказы. Воениздат. М. 1963. 128 стр. Цена 27 к.

Этот небольшой сборник — первая книжка А. Глухова. В ней более двух десятков рассказов-миниатюр. Почти все они о войне, о десантниках-парашютистах. Сюжет в них не играет особой роли, иногда он едва обозначен — все внимание сосредоточивается на внутреннем содержании событий, через которые проходит один общий для большинства рассказов лейтмотив. Этот лейтмотив — мужество «Только порожек отделяет твердую поверхность от бездны, от пропасти. Какой мучительный шаг нужно сделать, чтобы преодолеть этот порог!» («Прыжок»).

А. Глухов стремится к достоверной передаче изображаемого. Вот как рисует он мгновения, предшествующие выброске с парашютом и самый прыжок: «Плотный, осязаемый поток воздуха напоминает стремительное течение реки. Он втягивает непослушное тело обратно в самолет... Но вот усилие воли — и тот же поток подхватывает сжавшийся комок и легко, с радостным остервенением швыряет его далеко назад от самолета — вниз, к земле».

Герои рассказов Глухова — это, как правило, люди высокого душевного строя. Они умеют быть суровыми, беспощадными мстителями в этой навязанной нам войне (рассказ «Ненависть»). Но и здесь, на фронте, где смерть всегда рядом, люди не перестают тянуться к красоте, к искусству. Его облагораживающей, выпрямляющей силе посвящены рассказы «Паспорт взвода», «Картина».

А. Глухов лаконичен, но иногда он жертвует при этом емкостью содержания. И тогда возникает ощущение, что писателю как бы не хватает дыхания («Песня», «Медаль»).

Первая книжка рассказов Алексея Глухова — бывшего рядового парашютно-десантных войск — лишь скромная страница в нашей литературе о Великой Отечественной войне, но важно, что написана она человеком, чутким к художественной правде.

Ю. Шилов.

**ЛИЛЛИ ПРОМЕТ.** Деревня без мужчин. Роман. Перевод с эстонского. «Советский писатель». М. 1963. 412 стр. Цена 53 к.

Русские читатели знают Лилли Промет как автора сборника рассказов «Акварели одного лета». Сейчас на русском языке появилась новая книга писательницы — «Деревня без мужчин».

Сюжет ее несложен: летом 1941 года несколько эстонских семей эвакуируется в татарскую деревню Старый Такмак. О жизни этих людей в колхозной деревне, об изменении их мироощущения и давних привычек и рассказывает Л. Промет в своем романе.

На первых страницах книги эстонские беженцы, объединенные чувством страха перед войной, тревоги перед неизвестным, надеждой на скорое возвращение, сливаются в одну массу. Но чем дальше читаешь роман, чем больше узнаешь героев, тем явственнее становится, как непохожи их судьбы и характеры, как по-разному они относятся к жизни. Тяжелые годы, проведенные в эвакуации, явились для них своего рода испытанием на цельность человеческой личности, на прочность убеждений.

Своих героев — людей разных слоев общества — писательница раскрывает постепенно, неторопливо: через их отношения друг к другу, к колхозному труду, к местным жителям.

Казалось, что инженер Роман Ситска думает только о себе; его не слишком удручает даже смерть внучки и отчаяние невестки Лилли. Все мысли его жены Ванды обращены в прошлое — к коврам, гостиной, уютной спальне, которые пришлось бросить. Но жизнь заставила Ситсков во многом измениться. Их духовное прозрение не выглядит в книге ни искусственным, ни неожиданным. И в этом заслуга писательницы. Она умеет найти незаметные с первого взгляда детали и штрихи, которые, накладываясь друг на друга, заставляют читателей поверить в правду происходящего.

Осторожными и тонкими мазками, без всякого пережима рисует Л. Промет и образ восемнадцатилетней Кристины. Смена ее чувств: страх, одиночество, несчастная любовь, а затем тепло дружбы с русской учительницей Гэтьяной, радость от сознания своей причастности к общему делу, от приносимой пользы детям — своим ученикам — передача психологически убедительно, и поэтому убедительно звучит и итог, к которому она приходит: надо быть достойной людей и времени.

Однако в обрисовке образа лейтенанта Лутсара авторская манера не дала желаемого результата. Лутсар олицетворяет в книге зло. За красивой внешностью скрывается жестокий человек, циник и эгоист, к тому же симпатизирующий фашистам. Но образ получился откровенно иллюстративным, плакатным. Жизнь Лутсара в Такмаке (кстати, не понятно, почему этот здоровый мужчина в военные годы находится в деревне) и его смерть (он замерз в поле)



выглядят случайными и никак не влияют на ход событий.

Есть в романе и другие не совсем удавшиеся автору персонажи. Так, мало свежих красок в фигуре заведующей столовой Аньки, любительницы пожить на чужой счет. Образ Татьяны Лесковой служит как бы параллелью образу Кристины или Лили, собственная жизнь Татьяны, ее взгляды, ее характер показаны мало.

Роман «Деревня без мужчин», без сомнения, вызовет не меньший интерес русского читателя, чем книга «Акварели одного лета», о которой в свое время было много теплых отзывов в печати.

Г. Койранская.

★

**В. КАВЕРИН.** Три сказки и еще одна. Детгиз. М. 1963. 158 стр. Цена 43 к.

С самого возникновения советской детской литературы одной из труднейших проблем оказалась проблема новой сказки. Были периоды, когда весь мир фантастики ставился под подозрение. Дружный натиск Маршак, Чуковского, Олеси, Шварца вернул сказке ее полноту и поэтичность, благодаря им сказка обрела и новые современные черты.

К числу тех, кто открывал новую страницу в жанре литературной сказки, относятся и В. Каверин.

В его сказке, написанной еще в 1939 году, «О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки» переосмысливается традиционный образ Кошея. Кошеево царство — коричневая страна фашизма. Фантастика здесь не теряет своей художественности, а детская психология — жизненной правды.

В прошлом году вышла книга Каверина «Три сказки и еще одна». В этих сказках наш привычный мир как бы светится изнутри добрым и чистым светом. Мы встречаем все тех же фей и волшебников, и колдовство превращает девочек в сорок, но при этом они остаются нашими маленькими современниками; Снегурочка не тает весной, потому что уже зимой крепко вошла в теплый человеческий быт. Фея вежливости осведомлена о том, что делается во Дворце пионеров.

Все это не противоречит природе сказки, в которой всегда проступали бытовые черты. Ведь серый волк выходит из русского леса, а веселый портняжка — из средневековой мастерской.

Образы в сказках Каверина пластичны и изящны, моральный пафос его сказок высок: преодолеть колдовство может только подвиг. Фея, в наказание за грубость превратившая мальчика в песочные часы, говорит Тане, когда та просит расколдовать товарища: «Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день» (а это и было любимым Таниным занятием). Таня выдерживает полгода. Но вот ей приходится танцевать на сцене в зеркальном зале Дворца пионеров. Она мужественно танцует с закрытыми глазами, чтобы даже нечаянно

не посмотреть в зеркало, и падает, но зато колдовство снимается в награду за ее маленький, но подлинный подвиг, потребовавший от нее напряжения всех душевных сил.

Сказка Каверина всегда зовет к подвигу, сильному и понятному для ребенка, зовет не поучая, а увлекая красотой и поэтичностью и обращаясь к самому лучшему, что есть в каждом из наших детей.

Поэтому она так светла и оптимистична.

Надежда Павлович.

★

**Ю. ДАВЫДОВ.** Вижу берег. Повести. «Молодая гвардия». М. 1964. 176 стр. Цена 30 к.

Главные герои обеих повестей, составивших книгу, — русские мореплаватели. Не Дежнев, не Беринг, не Лазарев — ни одно из тех имен, что сразу и много говорят читателю, даже если он вовсе не искушен в истории географических открытий. Чтобы написать эти повести, Ю. Давыдову предстояло раскопать факты, затерянные во флотских архивах, более того — с самих имен героев стряхнуть пыль незаслуженного забвения.

Повесть «Вижу берег» рассказывает об экспедиции лейтенанта Отто Евстафьевича Кошебу, совершившей в 1815 году значительные открытия в южных широтах, а главное (пожалуй, для автора повести это и в самом деле главное), несшей дружбу и помощь туземцам-островитянам. Повесть романтична и грустна — как была романтична первооткрывательская жажда Кошебу, как была грустна его судьба, сломанная тяжестью монархического режима.

Повести Ю. Давыдова — если повторить старую шутку — это «история с географией». В повести «Вижу берег» — условно говоря — возобладала география, романтика географических открытий. В «Шхуне «Константин» главное — история.

В этой повести речь идет о куда более скромном и близком путешествии — о гидрографической экспедиции лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова на Аральское море. Но как ни детально рассказано в ней о труде первых гидрографов Арала, она прежде всего — художественный рассказ о предреформенной России, о веяниях и настроениях той поры. Сложность и противоречивость времени — и в нелегком характере Бутакова, сочетавшем дерзость и верноподданничество, и в раздумьях солдата Шевченко (волей судьбы ссыльный поэт оказался участником экспедиции Бутакова), и в горьких воспоминаниях старого моряка Мертваго, живущего еще декабристским духом (страницы, посвященные Мертваго, — лучшие в книге).

Книга черовна. Не в том общепринятом смысле, когда речь идет о чередовании провалов и удач. В книге традиционное историческое бытописание борется с настоящей прозой, которая, оставаясь исторически достоверной, в то же время естественно насыщена современностью.

Надо думать, вскоре к Ю. Давыдову при-

дет настоящая сравняемость. Эту надежду поддерживает сравнение его первых книг с книгой 1964 года.

Ст. Рассадин.

★  
**О. СЕМЕНОВСКИЙ. В. В. Воровский — литературный критик.** Государственное издательство «Карта Молдовеняскэ». Кишинев. 1963. 289 стр. Цена 42 к.

О виднейшем критике-марксисте В. В. Воровском в послевоенные годы вышло немало книг. О Семеновский ставит своей задачей «осветить лишь некоторые стороны литературно-критической деятельности Воровского, не получившие должного отражения в уже опубликованных исследованиях».

Автор объясняет работы Воровского-критика не только характером мировоззрения, но и своеобразием эпохи, общественной борьбы. Ценно также, что в книге уделено много внимания Воровскому-фельетонисту, продолжавшему в этой своеобразной сфере творчества свою литературную борьбу. Учены и проанализированы нередко остававшиеся вне поля зрения ученых литературно-критические выступления Воровского на страницах «Одесского обозрения», «Черноморского портового вестника», «Нашего слова».

О. Семеновский раскрывает суть полемике Воровского с идейными и литературными противниками, защитниками «искусства для верхних десяти тысяч». И очень хорошо, что автор далек от мысли видеть во врагах критика марionеток, падающих от дуновения самого легкого ветерка. Вводя материал из периодических изданий («Весь», «Обозрение», «Просвещение», «Наша заря», «Петербургские ведомости») и книг начала века («Культурные задачи нашего времени» А. Богданова, «Критические этюды» Е. Колтановской, «Леонид Андреев» В. Брусянина, сборник «Вехи»), исследователь показывает серьезную философскую и эстетическую подоплеку литературных споров тех лет.

Из книги явствует, сколь много значили для Воровского задачи политической борьбы, как правильно понимал он сложную проблему «искусство и жизнь». В книге раскрыто, что дал критик для понимания особенностей творчества отдельных писателей (Толстого, Чехова, Горького, Л. Андреева, Бунина, Куприна и других), для трактовки таких полярных явлений, как «литература пролетарская» и «литература декадентская», для защиты социальных и эстетических задач искусства, рожденного жизнью и служащего миллионам.

Однако хотелось бы, чтобы автор книги больше внимания сосредоточил на индивидуальности Воровского-критика. Почему бы, например, одну из глав книги не посвятить принципам литературно-критического исследования, выработанным Воровским? Сейчас автор удовлетворился лишь отдельными наблюдениями в этой области.

Л. Розанова,

*кандидат философских наук.*

г. Иваново.

**З. БОГУСЛАВСКАЯ. Вера Панова. Очерк творчества.** Гослитиздат. М. 1963. 208 стр. Цена 50 к.

Работа З. Богуславской, посвященная творчеству Веры Пановой, полемична по отношению к мнениям тех критиков, которые порой говорили об авторе «Спутников» как о художнике, чуждом современности, тяготеющем к «вневременной человечности».

«Время,— пишет З. Богуславская,— всегда одно из действующих лиц произведений Пановой. Оно может быть вынесено в заголовки, как во «Временах года», или оставаться глубоко спрятанным за узором любовной истории, как в «Сентиментальном романе», но оно осязательно присутствует в каждом творении писательницы». Ведь современность — это не только точная дата, к которой прикреплено повествование. Современность — это и идеи, к которым приковано внимание общества, это нравственный облик поколения, его образ мысли и строй переживаний, его представления о добре и борьбе против всего отживающего, косного. Чуткость Пановской к биению общественного пульса, пронизывающая художественную ткань ее лучших произведений, открывает, по мысли исследовательницы, «в прозе фактов и событий самую тончайшую поэзию».

Значительный интерес для читателя представляет стремление З. Богуславской проникнуть в «тайны» художественной лаборатории Пановой, определить характер ее повествования, указать на поиски писательницей новых выразительных средств. С именем Пановой автор книги связывает особую манеру письма, характерную для нашей послевоенной литературы. Правда, эта мысль не получает в книге серьезного развития, и об этом стоит пожалеть.

Вообще наряду с вдумчивыми суждениями и значительными обобщениями в книге есть места, производящие впечатление недосказанности. Так, например, З. Богуславская интересно замечает: «Не детали внешнего портрета, не обстановка, в которой развернутся события, а речь, ее содержание и лексика, ее ритмика и характер — вот с чего начинается герой Пановой». С этим связан дар писательницы «мгновенного перевоплощения» из одного героя в другого — перехода от одной разговорной интонации к другой, без видимого вмешательства автора в происходящее. Но какова механика такого перевоплощения и перехода? В книге это не раскрыто.

Справедливо считая, что художественным открытием «Сентиментального романа» были образы Кушли, Марии Петриченко, Ильи Городничского, З. Богуславская почти не обращает внимания на Севастьянова, а ведь это центральный герой романа. Ничего не говорит она и о том, помогает или нет история его любви раскрытию идеи романа в целом.

И, однако, книга З. Богуславской при всем этом интересна. Она не повторяет других

работ о Пановой. Она дает нам новые важные штрихи к творческому портрету известной советской писательницы.

А. Стрельцов.

★

**И. А. СЕНЧЕНКО.** Революционеры России на Сахалинской каторге. Сахалинское книжное издательство. Южно-Сахалинск. 1963. 192 стр. Цена 63 к.

Печальную славу снискал в царской России Сахалин — «остров отверженных», превращенный в место каторги и ссылки. Из Одессы, вокруг Азии, шли сюда пароходы с заключенными. Каторга начиналась для них уже в пути: изнурительное путешествие через тропики в закрытых трюмах длилось более двух месяцев и не каждый его выдерживал.

О невероятно тяжелых условиях на Сахалинской каторге, о нечеловеческом отношении со стороны тюремной администрации к заключенным рассказал А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин». Книгу очерков о Сахалине написал также журналист В. М. Дорошевич. Смертная казнь представлялась многим каторжникам лучшим исходом, чем пребывание на страшном острове изгнания.

Однако Чехов и Дорошевич писали о тяжелом положении лишь уголовных каторжан Сахалина. К политическим ни тот, ни другой допущены не были. Содержались же политические в еще более ужасных условиях: о том свидетельствует требование департамента полиции, чтобы начальник острова учредил более строгий надзор за политическими каторжанами, чем за уголовными. В разное время департамент полиции и главное тюремное управление высылали приамурскому генерал-губернатору и начальнику острова предписания и инструкции относительно режима содержания политкаторжан.

Книга кандидата исторических наук И. А. Сенченко — первая попытка показать Сахалинскую политическую каторгу, которая после Шлиссельбургской крепости была наиболее тяжелым испытанием для революционеров. Именно в эти места царизм отправлял своих самых опасных политических врагов. Автор подчеркивает, что история Сахалинской политической каторги была тесно связана с преследованием революционеров России в восьмидесятых—девяностых годах прошлого века.

Большинство сахалинских политкаторжан осталось верными революционному знамени, каторга не сломила гордый дух этих отважных людей. Автор отмечает, что политическая пропаганда, которую вели политкаторжане и ссыльные среди местного населения, вызвала активизацию общественного движения на Сахалине — особенно в годы русско-японской войны и первой русской революции.

Книга, написанная на основе архивных источников и воспоминаний современников, знакомит читателя с биографиями ряда видных русских и польских революционеров, с условиями, в которых жили политкаторжане,

с тем, как они боролись против администрации, чиновничества, тюремных порядков, какой вклад внесли в развитие хозяйства, науки и культуры этого сурового края. В книге помещены портреты многих политкаторжан.

А. А. Иглицкий.

★

**ЗИНОВИЙ ДАВЫДОВ.** Звезды на башнях. Образы Старого Кремля. «Советский писатель». М. 1963. 184 стр. Цена 21 к.

**В. К. ЛУЦЕНКО.** Московский Кремль (Прошлое и настоящее). «Советская Россия». М. 1963. 232 стр. Цена 41 к.

«Сколько вместил этот обнесенный зубчатой стеною холм событий, трагедий, торжеств и бед! Народ может глядеться в эти стены, как в зеркало, и узнавать себя», — пишет о Кремле автор книги «Звезды на башнях» З. С. Давыдов. Эта книга, законченная им незадолго до своей смерти (1957 г.), — отнюдь не ученое исследование, а историческая повесть, написанная сочно и образно. Автор раскрывает историю возникновения Московского Кремля, жизнь великих зодчих, строивших его дворцы и храмы, описывает многие события, происходившие в кремлевских стенах.

Значительно меньше рассказано в этой книге о современном Кремле. Очерк В. К. Луценко «Московский Кремль» в известной мере восполняет этот пробел. Луценко ограничился лишь краткой справкой о древнем Кремле и сосредоточил главное внимание на его недавнем прошлом и настоящем. В главах «Ленин и Кремль», «Сердце нашей Родины», «Все для народа» автор обстоятельно и живо рассказывает о Московском Кремле с первого дня Великой Октябрьской социалистической революции до настоящего времени. Этот рассказ тесно переплетается с историей важнейших событий в жизни всей нашей страны — от первых дней советской власти до XXII съезда Коммунистической партии, принявшего Программу построения коммунизма.

В очерке весьма подробно рассказано о гряде советских реставраторов — замечательных энтузиастов нелегкого дела, возвращающих подлинный вид историческим памятникам русского национального искусства.

М. Попов,

кандидат исторических наук.

★

**М. ПОСТУПАЛЬСКАЯ, С. АРДАШНИКОВА.** Обручев. «Молодая гвардия». М. 1963. 431 стр. Цена 84 к.

Биография В. А. Обручева — это в какой-то мере и история становления геологической науки в дореволюционной России и развития ее в СССР. Обручев начал тогда, когда геологи насчитывались в стране единицами, а в день празднования своего девяностолетия он уже называл себя ветераном многотысячной армии советских геологов, которая выдвигается на первое место по достигнутым результатам изучения земли.

Книга Поступальской и Ардашниковой знакомит нас с основными научными проблемами, занимавшими ученого, его исследованиями и открытиями. Много места отводится в ней обручевской теории образования лёсса, его работам по тектонике, по древнему оледенению и проблеме древнего теменн Азии. Подробно описаны его экспедиции. Перед читателем предстает Обручев-геолог, педагог и писатель, автор солидных научных томов и увлекательных научно-фантастических книг. Здесь он весь — с его взыскательностью к себе и другим, с его душевной щедростью, с педантичностью и азартом, с цепким, зорким глазом искателя и художника. «Сколько раз он думал о том, что человек, постигающий всю великую сложность окружающего мира, способен и удивляться, и радоваться, и приходить в восторг там, где равнодушный невежда, для которого все просто, будет пребывать в самодовольном безразличии».

В книге дана общественная атмосфера, в которой проходила деятельность Обручева. Истинный служитель науки, посвятивший ей всю свою жизнь, Обручев никогда не замыкался в стенах своего кабинета. В этом смысле он верен традициям рода Обручевых, которые были связаны с русским революционно-демократическим движением. Он был всегда с теми, кто боролся за справедливость, и в 1912 году его даже отстранили за это от преподавательской работы в Томском технологическом институте. Когда после октябрьских боев знакомый профессор озабоченно спросил его: «Что же вы теперь делаете делать, Владимир Афанасьевич?» — Обручев спокойно ответил: «То, что делал всегда — служить России. Народной России...»

Е. Городецкая.

★

**М. ЛАПИДУС.** Открыватель подземных тайн. «Советская Россия». М. 1963. 383 стр. Цена 45 к.

Именем академика Губкина назван новый город в центре России — «столица» Курского железорудного бассейна. Его имя носят институты и улицы. Но удивительная жизнь, прожитая им, к сожалению, мало известна широкому читателю. Книга «Открыватель подземных тайн» удачно восполняет этот пробел.

Рекомендуя в предисловии книгу М. Лапидуса, член-корреспондент Академии наук СССР М. Варенцов, который был ассистентом и ближайшим помощником Губкина, называет ее «по существу первой обстоятельной работой о замечательном советском геологе». Мы бы добавили: не только обстоятельной, но и увлекательной.

Автор воссоздает яркий образ Ивана Михайловича Губкина, показывает пройденный им путь. Босоногий крестьянский парнишка, внук бурлака и сын отходника из глухого муромского села Владимирской губернии, ученик захолустной учительской семинарии, сельский учитель в «мелёвьем углу»... Но как же и когда он стал ученым-геологом?

Ответ на это дает сам Губкин. «Случайно набрал на «Геологию» фон Котта, — вспомнил Иван Михайлович, — эта довольно посредственная книжка определила мои научные стремления. Я в мечтах своих видел уже не просто высшее образование, а именно геологическое образование. Но до него было еще очень далеко...»

В книге подробно рассказывается, как тридцатилетний сельский учитель, обремененный семьей, пробивался в высшую школу. Преодолев все барьеры, он выдержал экзамены в Петербургский горный институт. Им двигало упорство, влюбленность в науку, одержимость. Та целеустремленная одержимость, которая, будучи помноженной на талант, и создает великих людей.

Не менее интересны и главы, рассказывающие об открытиях И. М. Губкина; ученый-коммунист показан в обстановке борьбы и поисков, показан не изолированно, а в научном коллективе, во взаимосвязях с учителями и учениками.

В числе учителей Губкина можно по праву назвать В. И. Ленина. Владимир Ильич очень ценил Губкина; с первых шагов советской власти привлекал его для консультации и решения важнейших хозяйственных вопросов. В бумагах Ленина, относящихся к топливным делам, не раз упоминается имя Губкина.

Наука — для жизни! Таков был девиз Губкина, сформулированный им еще в 1918 году. Он звал науку, скинув тогу мудреца, «в простой рабочей блузе подойти поближе к жизни, к ее повседневным злобам и заботам». Этот призыв актуально звучит и поныне.

П. Подляшук.

★

**Н. А. ЗИНЕВИЧ.** Ф. Г. Толль (1823—1867). Очерк жизни и деятельности. «Книга». М. 1964. 56 стр. Цена 12 к.

**А. Г. КАЛЕНТЬЕВА.** Влюбленный в литературу. Очерк жизни и деятельности С. А. Венгрова (1855—1920). «Книга». М. 1964. 80 стр. Цена 19 к.

Всесоюзная книжная палата вот уже двадцать лет издает специальную серию, посвященную видным деятелям русской культуры — издателям, библиографам, литературоведам, библиотечным работникам, которые всю свою жизнь были связаны с книгой. Едва ли нужно говорить о целесообразности подобного издания. Ценность этой серии увеличивается тем, что составляется она опытными книговедами и по большей части на основе неизвестных ранее материалов.

До 1964 года вышли работы, посвященные Х. Д. Алчевской, В. Г. Анастасевичу, Б. С. Боднарскому, К. Н. Дерунову, Н. В. Здобнову, А. И. Калишевскому, И. А. Крылову, Н. М. Лисовскому, И. Ф. Масанову, В. И. Межову, А. В. Мезьер, Ф. Ф. Павленкову, П. П. Пекарскому, Ф. Ф. Рейсу, Н. А. Серно-Соловьевичу, В. В. Стасову, А. Д. Торопову, Л. Н. Троповскому, А. Г. Фомишу.

Как видим, список этот обширный, но все же недостаточно полный. До сих пор не изданы книги, посвященные таким деятелям, как Н. И. Новиков, А. Ф. Смирдин, Н. А. Рубакин, И. Д. Сытин. Отсутствие четкого плана издания чувствуется не только в подборе имен, но и в нерегулярности выхода книг, в тиражах и объеме самих работ. Так, объем книг колеблется от одного до семнадцати листов, а тираж — от полутора до пятнадцати тысяч экземпляров. До прошлого года издавалась в течение года одна-две книги (и то не всегда), и только с 1963 года стала заметна необходимая в подобных изданиях периодичность. В прошлом году было выпущено четыре книги, столько же намечено издать и в нынешнем.

Первый очерк серии 1964 года посвящен общественному деятелю шестидесятих годов Ф. Г. Толлю, который известен главным образом как издатель «Настольного словаря для справок по всем отраслям знаний» в трех томах (СПб., 1863—1864). В брошюре освещен весь жизненный путь Ф. Г. Толля, его участие в кружке петрашевцев, ссылка на каторгу в Сибирь и т. д., а также его разносторонняя деятельность в качестве педагога, библиографа, критика, беллетриста. В приложении дана тщательно составленная библиография трудов Ф. Г. Толля.

Следует заметить, что издания серии «Деятели книги» имеют не только познавательное, но и практическое значение. В этом отношении показательной является книга «Влюбленный в литературу», посвященная С. А. Венгерову. Автор книги, кратко сообщив об общественной, научной и издательской деятельности проф. С. А. Венгерова, подробно останавливается на разборе его основных библиографических работ: «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» «Источников словаря русских писателей» и других. Эти пособия и до настоящего времени не утратили своего значения, и потому критический разбор их будет чрезвычайно интересен и полезен всем, кому приходится работать с книгой.

В нашей стране количество любителей книги неизменно растет, и потому надо приветствовать издание работ о русских книжниках.

Н. Мацуев.

★

**А. ФИДЛЕР. Рыбы поют в Укаяли.** Перевод с польского. Географгиз. М. 1963. 240 стр. Цена 77 к.

Норвегия и Мадагаскар, Канада и Мексика, Бразилия и Перу, Гаити и Индокитай — где только не побывал неутомимый исследователь природы, наш современник и друг, известный польский натуралист Аркадий Фидлер. Ученый, страстно влюбленный в свою науку, — он не мог не поделиться с другими богатством собственных наблюдений, мыслей, радостью познания нового. Так родились его рассказы и повести.

У книг А. Фидлера счастливая судьба. Переведенные на многие языки мира, они быстро исчезают с прилавков книжных магазинов и не залеживаются на полках библиотек. С большим интересом встречена и книга «Рыбы поют в Укаяли». Это рассказ о совершенном в тридцатых годах путешествии по лесам Амазонки и ее притоков — по огромному краю, который и сегодня «так же полон тайн, дик и неисследован, как и столет назад». В этом «настоящем раю для натуралиста» можно обнаружить не только поющих рыб, но и «самые причудливые из чудес природы: цветы диковинной расцветки, таинственные орхидеи с чувственным ароматом, бабочек, более ярких, чем цветы, колибри, которые меньше и ярче бабочек, самых невероятных птиц, млекопитающих, которые в других местах вымерли много миллионов лет назад...»

Однако «Рыбы поют в Укаяли» — не только рассказ о природе. Это удивительно емкая книга. В ней содержится множество разнообразнейших и интереснейших сведений о Бразилии и Перу, какими увидел их автор. А. Фидлер открывает для нас не только романтику Амазонки, но и изнанку этой романтики: истребление и рабство индейцев, трагедия сборщиков каучука, жесточайшую эксплуатацию охотников, рыболовов, лесорубов, продажность и коррупцию правителей и чиновников. Картины городов, порггереты людей, жанровые сценки, исторические очерки удались Фидлеру не менее, чем пейзажи. С глубокой симпатией пишет он о своих друзьях и помощниках: забавном маленьком Чикиньо, девочке Долорес, «идальго и оборванце в одном лице» Эмилиано, метисах Педро и Валентине, об индейцах племени чамы и кампа.

В главе «Жестокость», рассказывая о вероломстве и подлости конкистадоров, писатель находит замечательную концовку — описание смертельной схватки двух насекомых: жука единорога с богомолем. Это не просто сцена, отлично написанная натуралистом. Тут острая и беспощадная аналогия. Жестокость конкистадоров — это тупая, бессмысленная и омерзительная жестокость насекомых. Тот же прием использован автором в главе «Пауки» для характеристики капитана Ларсена, высасывающего все жизненные соки из своих жертв — индейцев и «каболо» — сборщиков каучука и лесорубов. А. Фидлер показывает не только трагическое положение угнетенных, но также их протест и борьбу.

Несомненные литературные достоинства (недаром же Фидлер удостоен серебряного лаврового венка польской Академии литературы) — увлекательность и живость изложения, экономное и точное использование образных средств, поэтичность повествования — присущи этой книге так же, как отличаются они и все другие работы Аркадия Фидлера.

А. Зайцев.

Барнаул.

**СЛОВО СКОРБИ И УТЕШЕНИЯ.** Немецкая поэзия времен Тридцатилетней войны 1618—1648 годов. В переводах Льва Гинзбурга. Издательство художественной литературы. М. 1963. 190 стр. Цена 1 р. 25 к.

С какого момента для русского читателя начинается лирическая поэзия Германии, даже если этот читатель — человек образованный? Вероятно, с конца XVIII века, с Гёте и Шиллера, открытых для нас многими поэтами-переводчиками — от Жуковского до Пастернака и Заболоцкого. Конечно, читатель знает, что и прежде была немецкая лирика, но практически познакомиться с ней он не мог.

Лев Гинзбург создал книгу, которая должна решительно изменить наше живое представление о немецкой литературе. В сборнике «Слово скорби и утешения» перед нами проходят поэты XVII века, переведенные им: у каждого свое лицо, своя интонация, каждый из них писал, оказывается, проникновенные стихи, к тому же нужные сегодняшним людям.

Как по-разному звучат произведения Фридриха Логау и, скажем, Ангелуса Силезиуса! Логау — создатель множества великолепных по сжатости, остроте мысли и слова эпиграмм:

Что значит в наши дни быть баснословно  
смелым?—  
Звать черным черное, а белое звать белым.  
Чрезмерно громких од убийству не слагать.  
Лгать только по нужде, а без нужды  
не лгать.

Силезиус—автор философских двустиший, знаменитых изречений:

Ты, грешник, сетуешь на то, что пал Адам?!  
Не пал бы первым он,— ты б сделал это сам.

Или:

Мудрец в господен рай не рвется, умирая:  
При жизни он успел вкусить блаженства рая.

Тут же рядом — совсем иные голоса, иные темпераменты: грубоватая народно-ироническая песня-серенада Абрагама а Санта Клара «Ночные музыканты»:

По улицам ночным,  
По переулкам спящим —  
Четыре дурака —  
Мы инструменты тащим;

и горькие строки великого трагического поэта эпохи Тридцатилетней войны Андреаса Грифиуса:

О, скорбный край, где кровь потоками  
течет!  
Мы восемнадцать лет ведем сей  
страшный счет.  
Забиты трупами отравленные реки.

Но что позор и смерть, что голод и беда.  
Пожары, грабежи и недород, когда  
Сокровища души разграблены навеки?!

Казалось бы, поэзия стареет раньше, чем, например, живопись: Кранах, Рембрандт не станут архаикой, язык красок вечен, а слова и грамматика со временем меняются. Грифиус не всегда доступен современному немцу. В переводе старые поэты могут внезапно помолодеть или даже воскреснуть для новой жизни. Это произошло с переведенными Львом Гинзбургом стихами далекой эпохи, и теперь они в нашем сознании встали рядом со стихами Шиллера и Бехера, Гейне и Брехта.

Надо еще сказать, что книга великолепного издания: суперобложка, переплет, фронтисписы художника Г. Клодта служат достойной одеждой этому сборнику хороших стихов.

Е. Эткинд.

Ленинград.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущев.** К победе разума над силами войны! 432 стр. Цена 73 к.

**Н. С. Хрущев.** О некоторых вопросах, связанных с осуществлением курса партии на интенсификацию сельского хозяйства. Записка в Президиум ЦК КПСС 13 апреля 1964 года. 48 стр. Цена 6 к.

**Н. С. Хрущев.** Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том 8 560 стр. Цена 60 к

**Ю. В. Андропов.** Ленинизм озаряет наш путь. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 94-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 22 апреля 1964 года. 32 стр. Цена 3 к.

**Декреты Советской власти.** Том III. 664 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Их простота и человечность** (Сборник документов и воспоминаний о К. Марксе и Ф. Энгельсе). 336 стр. Цена 44 к.

**П. Петров.** Революционная деятельность большевиков в якутской ссылке. 80 стр. Цена 9 к

**Н. Самарин** Варри Голдуотер — сеятель ненависти. 48 стр. Цена 6 к.

**М. И. Ульянова.** О Ленине. 128 стр. Цена 15 к.

**Ф. Фомин.** Записки старого чекиста. 256 стр. Цена 26 к.

**Л. Фотьева.** Из воспоминаний о В. И. Ленине (Декабрь 1922 г.— март 1923 г.). 80 стр. Цена 10 к.

### «МЫСЛЬ»

**В. Веселовский.** Философское значение законов сохранения материи и движения. 143 стр. Цена 30 к.

**Н. Джандильдин.** Коммунизм и развитие национальных отношений. 204 стр. Цена 50 к.

**Б. Евгеньев.** Светлая, светлая дорога... Повесть о Москве-реке. 230 стр. Цена 72 к.

**А. Зубов.** Человек заселяет свою планету. 175 стр. Цена 32 к.

**Из практики партийного руководства хозяйством.** Сборник статей. 280 стр. Цена 1 р.

**И. Маергойз.** Чехословацкая Социалистическая Республика. 732 стр. Цена 2 р. 26 к.

**Л. Мендельсон.** Теория и история экономических кризисов и циклов. Том III. 527 стр. Цена 1 р. 59 к.

**Применение электронно-вычислительных машин в управлении производством.** 509 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Селезнев.** «Общий рынок» и международная торговля. 96 стр. Цена 20 к.

**Г. Филатов.** Итальянские коммунисты в движении Сопротивления. 224 стр. Цена 81 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Аграновский.** Большой старт. Повесть 124 стр. Цена 14 к

**А. Адамович.** Становление жанра. Белорусский роман. Перевод с белорусского. 340 стр. Цена 78 к.

**А. Бондаревский.** Весна в глазах. Стихи. 64 стр. Цена 9 к

**А. Глебов.** Рассказы о сильных. 376 стр. Цена 70 к.

**Б. Емельянов.** Талант Рассказы. 160 стр. Цена 28 к.

**К. Каладзе.** От Черного моря до белых вершин. Стихи. Перевод с грузинского. 120 стр. Цена 17 к.

**А. Караганов.** Жизнь драматурга. Творческий путь А. Афиногенова. 520 стр. Цена 88 к.

**И. Кулин.** Записки консула. Перевод с украинского. 240 стр. Цена 37 к.

**Л. Лиходеев.** История одной поездки. Юмористическая повесть 200 стр. Цена 21 к.

**А. Мартынов.** Радость. Стихи. Перевод с эрзя-мордовского. 84 стр. Цена 9 к.

**Р. Нигмати.** Искра. Поэма и стихи Перевод с башкирского. 76 стр. Цена 11 к.

**И. Нолле.** За Синей Птицей. Роман. 452 стр. Цена. 83 к.

**И. Осипов.** О тех, кто в пути. Очерки. 304 стр. Цена 42 к.

**Федор Панферов.** Воспоминания друзей. Сборник. 464 стр. Цена 65 к.

**И. Радволина.** До новой встречи, друзья! Очерки. 244 стр. Цена 43 к.

**С. Ройтман.** Свет и тень. Стихи. Перевод с еврейского. 136 стр. Цена 16 к.

**В. Рушник.** О тех, кто зажигает звезды. Повесть и очерки. 332 стр. Цена 56 к.

**М. Рыльский.** Вечерние беседы. Публицистические очерки, заметки, статьи. Перевод с украинского. 312 стр. Цена 38 к.

**В. Сириос-Гира.** Вот и зсе. Роман. Перевод с литовского. 264 стр. Цена 40 к

**А. Смольников.** Перелесок. Стихи и поэма. 88 стр. Цена 12 к.

**Солнце над барханами.** Рассказы туркменских писателей. Перевод с туркменского. 320 стр. Цена 68 к

**Л. Уварова.** Сын капитана Алексича. Повести и рассказы. 312 стр. Цена 62 к.

**Е. Шаблювский.** Народ и поэзия Шевченко. Перевод с украинского. 512 стр. Цена 1 р. 7 к.

**О. Шестинский.** Позиция Книга стихов. 108 стр. Цена 12 к.

**И. Эренбург.** Люди, годы, жизнь. Книга III и IV. 792 стр. Цена 87 к.

**М. Юфит.** С севера на юг. Рассказы. 312 стр. Цена 59 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Астуриас.** Зеленый Папа. Роман. Перевод с испанского. 343 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Э. Багрицкий.** Стихи и поэмы. 380 стр. Цена 77 к.

**Басё.** Лиринга. Перевод с японского. 196 стр. Цена 26 к.

**В. Гончаров.** Стихи и поэмы. 216 стр. Цена 45 к.

**М. Домбровская.** Ночи и дни. Роман в двух томах. Перевод с польского. Том 1. 712 стр. Цена 1 р. 50 к. Том 2. 615 стр. Цена 1 р. 33 к.

**Ю. Ивакин.** Сатра Шевченко. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 92 к.

**В. Луговской.** Стихи 288 стр. Цена 53 к.

**И. Неучй-Левцкий.** Повести и рассказы. Перевод с украинского. 575 стр. Цена 92 к.

**Песни Хиросимы.** Стихи. Перевод с японского. 168 стр. Цена 32 к.

**В. Солоухин.** Лирические повести. Рассказы. 608 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Сонеты Шекспира в переводах С. Маршала.** 207 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Л. Татьяничева.** Лирические стихи. 216 стр. Цена 42 к.

**Тао Юань-мин.** Лирика. Перевод с китайского. 152 стр. Цена 24 к.

**С. Хаким.** Стихи. Перевод с татарского. 240 стр. Цена 40 к.

**Г. Холопов.** Огни в бухте. Гренада. Романы. Рассказы о войне. 519 стр. Цена 96 к.

**М. Шагинян.** Воскрешение из мертвых. Повесть об одном исследовании (О чешском композиторе И. Мысливечке). 408 стр. Цена 80 к.

**В. Шекспир.** Гамлет. Перевод Б. Пастернака. 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Шекспир в мировой литературе.** Сборник статей. 384 стр. Цена 1 р.

**И. Ямпольский.** Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859—1873). 624 стр. Цена 1 р. 69 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Азбука автоматики.** Сборник. 352 стр. Цена 68 к.

**Ф. Бега, В. Александров, Петровский.** Биография выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства. 320 стр. (Жизни замечательных людей). Цена 66 к.

**О. Бедарев.** Не поле перейти. Роман. 224 стр. Цена 47 к.

**Г. Буравкин.** Голоса расстояний. Стихи. Перевод с белорусского. 80 стр. Цена 10 к.

**О. Гончар.** Тронка. Роман в новеллах. Перевод с украинского. 336 стр. Цена 69 к.

**И. Комзин.** Свет Асуана. 208 стр. Цена 50 к.

**В. Лацис.** После ненастья. Повесть. Перевод с латышского. 272 стр. Цена 59 к.

**Л. Леонов.** Литература и время. Избранная публицистика. 351 стр. Цена 64 к.

**И. Маркин.** Курский перевал. Роман. 384 стр. Цена 73 к.

**У. Мэннин.** Бог создал воскресенье. И рассказы. Перевод с английского. 176 стр. Цена 32 к.

**О. Нзенву.** Жезл офо. Роман. Перевод с английского. 208 стр. Цена 39 к.

**Первый шаг в агрохимию.** Сборник. 224 стр. Цена 50 к.

**В. Солоухин.** Свидание в Вязниках. Рассказы. 256 стр. Цена 56 к.

**М. Сингаевский.** Моя радиостанция. Стихи. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 12 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Елагин.** Снежный ком. Повесть. 160 стр. Цена 34 к.

**А. Крутецкий.** Школа ненависти. Повесть. 80 стр. Цена 24 к.

**П. Куракин.** По зову сердца. Повесть. 256 стр. Цена 64 к.

**Б. Ляпунов.** Неоткрытая планета. 188 стр. Цена 50 к.

**От подполья до звезд.** Рассказы о коммунистах. 496 стр. Цена 95 к.

**Э. Потье.** Это есть наш последний... Избранные стихи. Перевод с французского. 192 стр. Цена 28 к.

**Г. Скребицкий.** От первых проталин до первой грозы. Повесть о детстве. 352 стр. Цена 83 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**В ту ночь, когда шел снег.** Новеллы современных иранских писателей. Перевод с персидского. 124 стр. Цена 30 к.

**М. Занд.** Шесть веков славы. Очерки персидско-таджикской литературы. 252 стр. Цена 48 к.

**С. Кляшторный.** Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. 214 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Г. Меликишвили.** Урартский язык. 74 стр. Цена 30 к.

**Рудани.** Стихи. Персидский текст и перевод. 512 стр. Цена 72 к.

**Страны Аравии.** Справочник. 366 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Д. Стюарт.** Неподходящий англичанин. Перевод с английского. 206 стр. Цена 52 к.

**Т. Шумовский.** Арабы и море. По страницам рукописей и книг. 192 стр. Цена 50 к.

#### «НАУКА»

**О. Бадер.** Древнейшие металлурги Приуралья. 176 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Великое движение современности.** Возникновение и развитие движения коллективов и ударников коммунистического труда в промышленности СССР. Сборник статей. 408 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Вопросы диалектологии восточнославянских языков.** 208 стр. Цена 80 к.

**Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам (18—21.XII.62).** 518 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Б. Гвоздарев.** «Союз ради прогресса» и его сущность (Кризис латиноамериканской политики США). 184 стр. Цена 61 к.

**В. Евстигнеев.** 70 героических дней. Краткий исторический очерк обороны Одессы. 104 стр. Цена 16 к.

**Л. Ельницкий.** Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н. э. 288 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Из истории классовой борьбы и национально-освободительного движения в славянских странах.** 360 стр. Цена 2 р. 17 к.

**И. Комар.** География хозяйства Урала. Районная экономико-географическая характеристика. 396 стр. Цена 2 р. 64 к.

**Н. Коперник.** О вращениях небесных сфер. Малый комментарий. Послание против Вернера. Упсальская записка. 654 стр. Цена 3 р. 28 к.

**М. Кубланов.** Иисус Христос — бог, человек, миф? 168 стр. Цена 27 к.

**Б. Кузнецов.** Галилей. 326 стр. Цена 1 р. 8 к.

**В. Кутейщикова.** Роман Латинской Америки в XX веке. 335 стр. Цена 90 к.

**Л. Леонтьев.** Ленинское исследование империализма. 374 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Плодородие и мелиорация почв в СССР.** Доклады к VIII Международному конгрессу почвоведов. 235 стр. Цена 98 к.

**Л. Поляк.** Алексей Толстой — художник. Проза. 463 стр. Цена 1 р. 46 к.

**Принципы топонимики.** Сборник статей и материалов. 152 стр. Цена 50 к.

**Проблемы развития литератур народов СССР.** 424 стр. Цена 1 р. 28 к.

**Рассказывают ученые-химики.** 256 стр. Цена 43 к.

**Революционное народничество 70-х годов XIX века.** Том 1. 1870—1875 гг. 529 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Советская социалистическая демократия.** 358 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Труды Государственной комиссии по электрификации России ГОЭЛРО.** 299 стр. Цена 1 р. 88 к.

**Ю. Ходанов.** Как рождаются научные открытия. Генезис экспериментальных открытий. 96 стр. Цена 15 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Викторов.** Звездный класс. Документальная повесть. 184 стр. Цена 31 к.

**А. Волков.** Женихи Юмористическая повесть. Перевод с марийского. 160 стр. Цена 40 к.

**К. Воробьев.** У кого поселяются аисты. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 77 к.

**А. Десятник.** На Унде-реке. 96 стр. Цена 9 к.

**И. Керимов.** Махач. Роман. Перевод с кумыкского. 248 стр. Цена 53 к.

**Н. Мар.** 50 интервью. 608 стр. Цена 87 к.

**А. Михайловская.** Музейная экспозиция (Организация и техника). 518 стр. Цена 1 р. 41 к.

**Н. Мурзиди.** Северодвинские зарисовки. 240 стр. Цена 30 к.



**С. Орлов.** Колесо. Стихи. 128 стр. Цена 18 к.  
**Удачный дебют.** Сборник рассказов. 224 стр. Цена 35 к.  
**Р. Фатуев.** Кавказские повести и рассказы. 288 стр. Цена 60 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Баторгин.** Перед судом царского самодержавия. 292 стр. Цена 46 к.  
**Т. Добровольская.** Верховный Суд СССР. 164 стр. Цена 54 к.  
**Польская Народная Республика.** Законы и постановления. Перевод с польского. 296 стр. Цена 21 к.  
**А. Рускол, А. Денисов.** Производственные колхозно-совхозные управления и их правовое положение. 128 стр. Цена 15 к.  
**Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР по**

**вопросам уголовного процесса. 1946—1962 гг.** 336 стр. Цена 67 к.  
**Л. Ураков.** Общественное обвинение и общественная защита в советском уголовном процессе. 124 стр. Цена 15 к.

КАЗГОСЛИТИЗДАТ (АЛМА-АТА)

**С. Ерубаяев.** Мои сверстники. Роман. Перевод с казахского. 139 стр. Цена 32 к.  
**А. Сарсенбаев.** Сын капитана. Повесть. Перевод с казахского. 151 стр. Цена 40 к.

«КАРТЯ МОЛДОВЕНЯСКЭ» (КИШИНЕВ)

**Е. Дамиан.** Метель. Повесть и рассказ. Перевод с молдавского. 258 стр. Цена 34 к.  
**В. Малева.** Песня пробивает себе путь. Повесть и рассказы. Перевод с молдавского. 240 стр. Цена 49 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 5-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 4/V 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/VI 1964 г.  
 А 05351. Формат бумаги 70×108<sup>1/2</sup>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
 Зак. 969. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

**ПОДПИШИТЕСЬ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1964 ГОДА  
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«НОВОЕ ВРЕМЯ»**

Регулярно читая журнал, вы будете своевременно получать подробную информацию о международных событиях.

«НОВОЕ ВРЕМЯ» освещает внешнюю политику Советского Союза и зарубежных государств, рассказывает о жизни народов разных стран.

В журнале печатаются политические комментарии и заметки, статьи о текущих международных событиях, экономические обзоры, статьи о проблемах рабочего движения, очерки о зарубежных странах, памфлеты и фельетоны, рецензии на новые книги, портреты и биографии государственных и политических деятелей, географические и политические карты, ответы на вопросы читателей.

«НОВОЕ ВРЕМЯ» издается на семи языках: русском, английском, немецком, французском, польском, чешском и испанском.

В виде приложения к журналу подписчики получают важнейшие документы советской внешней политики. Во втором полугодии подписчикам будет разослано специальное приложение — атлас «Нового времени», содержащий политические и экономические карты государств.

Подписка на любое издание журнала принимается без ограничения всеми отделениями «Союзпечати», конторами и отделениями связи, общественными распространителями печати, организаторами подписки в воинских частях и учебных заведениях в сроки, установленные для приема подписки на центральные газеты.

Подписная цена: на 6 месяцев — 3 р. 30 к.  
на 3 месяца — 1 р. 65 к.

В случае затруднений с оформлением подписки обращайтесь непосредственно в редакцию по адресу: Москва, К-6, Пушкинская пл., М. Путинковский пр., дом 1/2.

**Редакция журнала «Новое время»**